

# КОНТИНЕНТ 49

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER KONTINENT

...если можно удержаться от творческой деятельности, то всегда лучше так и поступать. Перевод — как любая другая форма деятельности — удается только тогда, когда оригинал, т. е. неповторимая духовная сущность, становится навязчивой идеей переводчика.



Андрей Наврозов

Чувство правоты — живое чувство, тесно связанное с выполнением обязанностей. Когда человек достойно выполняет обязанности, он опирается на свою правоту, в силу чего доволен собой и смело смотрит в глаза людям; при невыполнении обязанностей чувство правоты у него отсутствует.



Димитрий Панин

В первые же месяцы существования советской власти Ленин недвусмысленно заявил и многократно потом повторял, что ценообразование есть инструмент государственной политики. Государство — монокапиталист не имеет не только никакой нужды конструировать цену соответственно стои-



мости своих товаров — оно не имеет и никакой возможности это сделать. В одних случаях оно устанавливает цену наугад; соответственно той урезанной и искаженной, всегда запаздывающей информации, которой располагает. В других... оно декретирует ее в своих интересах...

Дора Штурман

Произнесу: Россия... Вечер...  
Еще скажу: Мороз... Москва...  
И вот, как траурные свечи,



Зажглись  
любимые слова.  
Снова внимаю им  
тревожно  
И чувствую, что  
все болит,  
А зимний ветер  
осторожно  
С моей душой  
говорит.

Ирина Муравьева

Но особенно давило на сознание не столько то, что ты находишься сейчас в таком положении... но что у тебя нет и никаких надежд на будущее... что после отбытия срока заключения в Тобольском политизоляторе нас ожидает фактически бессрочная ссылка в какую-нибудь сибирскую глушь...



Илья Гольц

*Главный редактор:* Владимир Максимов  
*Зам. главного редактора:* Наталья Горбаневская  
*Ответственный секретарь:* Виолетта Иверни  
*Заведующий редакцией:* Александр Ниссен

*Редакционная коллегия:*

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон  
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский  
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес  
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург  
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер  
Пауль Гома · Петр Григоренко · Милован Джилас  
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти  
Эжен Ионеско · Роберт Конквест · Наум Коржавин  
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц  
Эрнст Неизвестный · Амос Оз · Норман Подгорец  
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре  
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский  
Карл-Густав Штрём

### *Корреспонденты «Континента»*

- Израиль    Авраам Бен-Яков  
              Avraham Ben-Yakov  
              6, Hagana str.  
              Jerusalem 97852, Israel
- Италия     Сергей Рапетти  
              Sergio Rapetti, via Beruto 1/B  
              20131 Milano, Italia
- США        Эдуард Лозанский  
              Edward D. Lozansky  
              508 23rd Street N. W.  
              Washington, DC 20037, USA
- Япония    Госуке Утимура  
              Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
              189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова





# КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал

49

Издательство «Континент»  
1986



## СОДЕРЖАНИЕ

### *К тысячелетию Крещения Руси*

<b>Геннадий Русский</b> – Житие и страдания старца Корнилия	7
<b>Ирина Муравьева</b> – «Но, как везде, здесь сладостна земля...». Стихи	19
<b>Андрей Тарковский</b> – Жертвоприношение	25
<b>Алексей Цветков</b> – Жалобы часовщика. Цикл стихотворений из книги «Mirabile dictu»	78
<b>Саша Соколов</b> – Тревожная куколка	84
<b>Михаил Крепс</b> – «Утро» и другие стихотворения	92
<b>Лев Консон</b> – Короткие повести	101
<b>Лев Друскин</b> – Стихи	104
<b>Ирина Ратушинская</b> – Рассказы и сказки	111
<b>Андрей Наврозов</b> – Из Эмили Дикинсон. Переводы 1980 – 1981 гг.	128
<b>М. Тверской - Ямской</b> – Каждому свое. Стихи	138
<b>В. Денисов</b> – Краденый бог. Повесть. Окончание	140

### РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

<b>Дмитрий Панин</b> – Правда и права человека	165
--	-----

### ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

<b>Адам Михник</b> – Мы все – наследники Мицкевича. (Поляки по отношению к России). Пер. с польского	177
---	-----

### ЗАПАД – ВОСТОК

<b>Осмо Юссила</b> – Правительство в Териоках 1939 – 1940. Главы из книги. Окончание. Пер. с финского под ред. Ю. Г. Фельштинского	207
--	-----

### ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

<b>МАН</b> – Они сами это сделали	239
-----------------------------------	-----

### ИСТОКИ

<b>Илья Гольц</b> – Тобольский политизолятор	249
--	-----

### ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

<b>Дора Штурман</b> – Свобода духа и действия	277
---	-----

## **ИСКУССТВО**

- Азарий М а р ь я м о в** – Оружие пропаганды и агрессии. (Прошлое и настоящее советского документального кино) 301

## **ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ**

- Кирилл П о м е р а н ц е в** – Георгий Иванов и его поэзия 325

- ВМЕСТО КОЛОНКИ РЕДАКТОРА** 337

- НАША ПОЧТА** 343

## **КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

- Михаил Л е м х и н** – Желябов, Нечаев, Карлос и другие 359

- Майя М у р а в н и к** – Галина неистовая 369

- Анатолий К о п е й к и н** – Две культуры 375

- Василий Б е т а к и** – Мемуары двух поэтов 380

- Вячеслав З а в а л и ш и н** – Предтеча позднего «авангарда» 388

- Ю. К у б л а н о в с к и й** – Казнь Льва Мехлиса 393

- Галина К е л л е р м а н** – Размышления о русском нонконформизме 397

- Ф. С а л к а з а н о в а** – «КГБ во Франции» 401

- Александр Г и н з б у р г** – Опыт страдания 410

- КОРОТКО О КНИГАХ** 415

- ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ** 421

## **НАША АНКЕТА**

- Беседа с генеральным секретарем Международного ПЕН-Клуба **Александром Б л о к о м** 433



Геннадий Русский

## ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СТАРЦА КОРНИЛИЯ

### *1. (Старец Капитон. Прибл. 1620 – 1635)*

Отец наш Корнилий, Конон мирское имя его, родом из Тотьмы-городка на Сухоне-реке, где Спасова Суморина обитель. Рано потеряв родителей своих, обывк ходить по церквам и монастырям и чаял жизни совершенной, иноческой. Узнал от благочестивых людей, что на Шуге-реке в лесах спасаются дивные старцы, равные древним пустынножителям, и направился к ним.

Тридцать их было старцев с начальным старцем Капитоном. Вели житие столь ужасное и жестокое, что непредставимо уму человеческому, колико возможно сносить подобные тяготы. Обременены были каменными и железными веригами, дни проводили в трудах, ночи в молитве, хлеба вкушали единожды по захождении солнца, а иные через день, сна вкушали малую толику, не спали на ребрах своих, а стоя или сидя, удерживая тело крюками.

Были отцы чудного и дивного воздержания, среди них Леонид, Прохор, Яков, другой Прохор и излюбленный ученик старцев премудрый Вавила, родом из францов, из стран люторских, из града Паризии, обличем страховиден и космат, взор огненный, а языком нем.

Не было средь старцев священноиноков, и не было церкви с пением, а молились всяк особо, неустанно тво-

рили умную молитву. В неделю сходились в часовне и тамо молились вкупе, и учил начальный старец, что время близко, исполнились сроки и едино спасение в пустыне, Страшен Суд грядет и жесток будет, в великой чистоте надлежит быть, а посему казнить грешное тело аки лютого врага.

Недостижимой высоты были речи, и внимал им отрок Конон со страхом и восторгом, и мечтал подражать подвигу лесных старцев. Робко просил он начального старца Капитона принять его в число братии. Тот рек кратко.

– Не для новоначальных сие испытание. Понеже ты юн сый, не можеш понести трудов наших. Место сие пусто и утешения кроме. Даю тебе совет благ: иди в Комельский монастырь, тамо начинай.

И, благословив, отпустил.

Горько стало Конону, что не принял его великий старец, но внял отеческому совету и пошел в Корнилиев монастырь, что в Комельском лесу в Вологодских пределах.

Пришел в монастырь и говорил игумену, что от старца Капитона он, хочет постричься.

Покачал головой игумен и промолвил:

– О Капитоне, Капитоне! Дерзаешь святых превозмочь. Блюдишься, како опасно ходиши! Самовластие творишь, от Церкви отторгаешься, близок есмь ереси люторовой... А ты, чадо, знай: по виду те старцы великие постники, а по духу церковные мятежники, выше Церкви ся возомнившие. Отринь сей соблазн и яви послушание, тогда бысть инок.

Два года искушался Конон в монастырских службах и по испытании пострижен был в иноческий чин и наречен Корнилием в память зиждителя монастырского. По пострижении отдал был под начал старца, Корнилием же именем, и пробыл у него в послушании долгие годы, отсекая всякую свою волю и подражая отца своего добрым нравам, труды прилагая к трудам.

## II. (Хождение по монастырям. 1635 – 1652)

По преставлении учителя своего взял Корнилий благословение наставника монастырского ходить по монастырям, не простого хождения ради, а видеть новых веры подвижников и учиться их богоугодному житию. Не забывал он Капитона и лесных старцев, запали они в сердце, не внимал осудительным речам; к ним бы направился, но исчезли старцы с прежнего места, отошли в иные леса, камо неведомо.

Побывал он в дивном Кирилловом монастыре, немало изумлялся здешнему иноческому житию. Занимались здесь иноки книжным делом, были ума высокого, благочестивого, премудрые вели речи.

Побывал в славном морском монастыре Соловецком. Здесь совершали иноки свой подвиг в неустанных работах: занимались каменным строительством, солеварением, рыбной ловлей, иными простыми трудами.

Побывал и на Анзерском острове у тамошнего старца Елеазара. Жили там иноки строго, но и у них не нашел он столь великого земного отрешения, как у Капитона. Тамо приметил он одного инока, Никон ему имя, видом муж благочестивый, а взгляд порченный.

С Поморья пошел Корнилий в Москву. Побывал по пути по многих обителях, был и у Троицы Сергиевой.

В Москве живал у Спаса на Новом, в Чудове, в Симонове. У святейшего патриарха Иоасафа хлеба пек два года, зане искусен бяше в хлебопечении.

От Москвы перешел в Новгород, у митрополита Афония тоже хлеба пек.

По кончине Афония прислан был на митрополию Никон, его же Корнилий знал чернецом.

Крут был Никон со старшими, ласков с младшими. Говаривал Корнилию: «Корнильющко, чего ко мне под благословение не подходишь?», – а тот избегал Никона, боялся его неведомо почему. Соблазнял его Никон игу-

менством в Древеницком монастыре, но избег Корнилией соблазна, отошел к Москве.

В Москве прислуживал у святейшего патриарха Иосифа. Зазнал о ту пору боголюбивых отцов: царского духовника Стефана Вонифатьева, протопopa Казанской церкви, что на Красной площади, Ивана Неронова, юрьевецкого протопopa Аввакума Петрова и других немало.

Бысть дивное видение некоему старцу в Чудове о ту пору: видел в тонком сне змия пестрообразного, оплетшего царские хоромы. Дознались чудовские старцы, что в ту ночь беседовал царь с Никоном, о чем неведомо. Одначе догадывались: не долгий жилец стал Иосиф-патриарх, и готовил царь ему в преемники Никона.

Так и случилось.

### *III. (Раскол. 1653 – 1662)*

Ох, запомнят, на веки запомнят православные ту предпостную неделю!

Огласили по церквам никонову память: впредь креститься тремя перстами, а служить по новым книгам.

Не было средь православного люда никого, что рад был новизне, а куда денешься? – власть!

Но нашлись немногие, твердые адаманты веры, встали за древлеотеческое благочестие; аки в древние времена при царях-отступниках, так и в нынешние явились новые страстотерпцы и мученики.

О ту пору не прилучилось быть Корнилию в Москве: вместе с иноком Досифеем ходил на Дон. А вернувшись, что увидел? Логгин Муромский и Даниил Костромской умучены от Никона. Иван Неронов сослан на Спас-Каменный, Аввакум в Сибирь, Павел Коломенский, Ермил Ярославский, Даниил Темниковский и иные многие – все сосланы и страждут.

Везде в московских церквах служили по-новому. Отряс Корнилий прах от ног своих и отошел в северные пределы, идеже жива старая вера.

Нестройно стало в Кирилловом монастыре, старцы гораздо спорили, вычитывали друг другу старые книги. Молодые иноки рьяно кричали, что не подобает менять ни единый аз, старые отвечали, что несть страшнее для Церкви разделения и отпадения, и все проклинали Никона, смутившего всю русскую землю.

В малой Ниловой пустыне жили благочестиво: книги старые и вера старая. У них и остался Корнилий.

Но пришел черед и дальней пустыни. Присланы были новые книги и новый священник.

Братия новые книги не приняла, а от священника отеклась.

Тогда прибыл пристав с людьми, вводить новизну силой.

Корнилий о ту пору прислуживал пономарем. Говорила ему братия перед заутреней: «Ты начни, а мы тебя не поддадим!» И перед службой спросил Корнилий нового попа, по старым или по новым книгам будет он служить, а тот ответил высокомерно: «Пономарь, знай свое дело!» Корнилий разжег кадило и снова с опрятством говорил: «Отступись, отче, не служи по-новому!», – а тот ударил его. Корнилий же во священном рвении оглоушил отступника кадилом и разбилось кадило.

И бысть великая голка и шум.

Бросились пристав с людьми на Корнилия, били до крови, а братия стала отбивать его и отбили, вывели из церкви и сказали: «Беги, Корнильюшко, нам ничего, тебе худо, вздернут ты на релях!»

И ушел Корнилий в забеги.

#### *IV. (В бегах. 1662 – 1665)*

Пришел Корнилий в Пудожскую волость и жил там в пещере на Водле-реке.

Вспомнился ему старец Капитон и понял он великую его прозорливость: провидел сей светоч грядущее и готовил к битве свое воинство. А пришло время – и нет никого: иные умучены, иные разосланы, иные молчат страха ради, иные в леса ушли, как и он, грешный.

По некотором времени пришел к нему соловецкий старец Епифаний с Суны-реки, принял его Корнилий с радостью. Вместе ушли они на Кяткозеро, построили келии.

Много дивного поведал Епифаний. Великую борьбу перенес с бесами. Всякие пакости творила ему непризненная сила. Хотели келию сожечь, но сохранена бысть чудесным медяным вольяшным образом Владычицы. Хотели во сне задавить, но Матушка, явившись по просьбе, имала беса и мяла руками, потом старцу дала и тот мял проклятое мясище бесовское. Тогда извечные враги иноков напустили мелких кусающих тварей, сиречь мравиев, и те не давали покою, грызли тайный уд, горько и больно, и взмолился он к Пречистой и освобожден был от пакостных тварей. Напоследок же подбил враг поселян и согнали те старца с Виданьского острова.

Два года прожили старцы вместе, ели осиновою кору, вываря в трех растворах, толкли и месили по ржаному раствору, тем и питались, благодаря Бога.

Небывалая весть дошла до лесного озера: Никон, хобот сатанин, пал. Прогнал его царь от лица своего.

Великие надежды вселяла сия весть, мнилось, царь вернулся к отеческому благочестию.

Дошла и иная весть: Аввакум, великий страдалец, ехал из дальних Даур, всем верным слал благословение.

Мнилось: теперь и убедить царя, пронзить его сердце кротким словом, а царь добр, богомолен, наш он, русак, поймет!

Великое было мечтание: идти на Москву, образумить царя.

Положили на себя старцы сорокадневный пост, затворились в келиях, молили Господа вразумить и наставить.

И бысть Епифанию глас: «Иди к Москве!», – а Корнилию гласа не было.

И сокрушался он своему недостойнству.

А Епифаний, радуясь умильно, исписал тетрадку посланием к царю и отошел, веруя крепко, что его простое слово дойдет до царского сердца.

Не скоро пришла с Москвы весть о Епифании, како вознаградил его царь: за то, что правду рек, велено ему язык урезать, а за то, что правду писал, велено руку усесть.

#### *V. (Последнее отступление. 1666 – 1692)*

В лето по Рождеству Христову на одну тысячу 666 – число зверя! – как о том в Кирилловой книге сказано, свершилось последнее отступление, сиречь неправедный собор. Бысть и знаки небесные: о то лето солнце затмилось.

Осудил нечестивый собор и проклял столпов истинной веры, казням и ссылкам предал. Аввакума-страдальца, Епифания-мученика, Лазаря-попа, Федора-диакона на Пустоозеро увезли, в холодные тундры, в земляные струбы.

По некоем времени приходил к старцу на Кяткозеро инок Филипп, грамотку принес от пустозерских отцов. Звал идти на муки. Молился Корнилий и паки не бысть знаменья. Ушел Филипп к Новгороду, тамо был поиман и сожжен на Москве.

Лютовали шиши антихристовы, хватали верных.

Бежал от них старец: с Кяткозера на Нигозеро, с Нигозера на Водлозеро, с Водлозера на Немозеро.

Великое нестроение было в земле. Карал Господь нечестие государево. Разинщина смутила царствие. Бунташное настало время.

Крепко держал благочестие Соловецкий монастырь, и туда хотел идти старец, но паки невидимая рука отвела: осадили монастырь царские войска, не стало туда прохода.

Свирепели новые Пилаты. На Москве сожгли в струбе Афанасия-юродивого, в иночестве Артемий. На Мезени посадского человека Луку с Федором-юродивым на релях вздернули. На Ижме Киприану главу ссекли. В Боровском боярыню Федосью в темнице голодом заморили. А иных сколько! имена их, Ты, Господи, веси!

Мужески стояла обитель Зосимы и Савватия, а пала кознями вражьими.

Но дал Господь явственное знамение и покарал заблудшего царя: чрез седмицу после соловецкого разорения в муках кончил царь живот.

Ждали правоверные от нового царя Федора Алексеевича возврата на прежнее: неужто страшная кончина родителя не заставит образумиться?

Дождались: спалили в Пустозерском остроге четырех отцов.

И снова явил знамение Господь: чрез две седмицы положил конец животу царя Федора Алексеевича.

И снова надеялись на стрелецкую царицу, правительницу Софью, а та вместо благодарности казнила стрельцов-староверов с попом Никитой.

И качавшиеся поняли, что сия власть – антихристова.

Озлобился народ на неправду, крепла старая вера. На муки и в огонь готовы были люди. Бежали правоверные в леса, а коли настигали слуги Пилатовы – самосозжигались. Пылало Поморье гарями.

А Корнилий с Немозера бежал на Мангозеро, с Мангозера на Гавушозеро. Бывал и в Каргополе, та-



мошного Спасова монастыря игумен втайне был старой веры, укрывал старцев. Живал там и Игнатий-диакон, звал с собой Корнилия на Палеостров, но паки отвела незримая рука, а Игнатий славную огненную кончину приял. На Гавушоозере Корнилия с другими старцами едва не словили стрельцы, и бежали зимней ночью, в жестокий мороз, ночевали у ногды, и неведомо как Господь сохранил.

Тридесят лет от озера к озеру переходил Корнилий, напоследие же основался на Выгу-реке, на устье речки Сосновки.

Достиг он крайних пределов жития человеческого – ста лет.

## VI. (Плач старца Корнилия. 1694)

Пришли на Выг двое верных: Даниил Викулов да Андрей Денисов. Замысел имели великий: начинать на Выгу общежителство, идеже жить иноческим чином, и мирянам праведным тож возле жить, и бысть устроение по старой вере, по воле Божьей.

В вечеру беседовали велемудрый Даниил и сладкоречивый Андрей со старцем, просили благословения на зиждательство, и сказано им было прийти наутро.

С трепетом душевным подходили Данило с Андреем и с келейником старцевым Пахомием к келье – словами старцевыми решалось всё. Последний подвижник, всех отцов и страдальцев переживший, должен был благословить или развеять их мечтание аки дым.

Подойдя к келии, остановились. Не посмел келейник позвать старца: голос доносился из кельи.

Старец тосковал и вопиял.

– Господи! Господи! – и от слов его дух перехватывало. – Пошто так? Пошто лишил мя венца мученического? Я ли не молил Тя о сем? Пошто аз един остался недостоин пути сего?

О дивный отче Капитоне, наставниче юности моей, пошто отсек мя от ся? О всепречудный Вавило, пошто не бых с тобой в вязниковских лесах, не прошел дыбу и огонь? О великий страдальче Аввакуме, друже средовечия моего! пошто аз не бых с тобой на Пустоозере, не восприял мук темничных и восхождения огненного? А ты, любезный брате Епифане, тих и кроток аки агнец, а сколь мужеский воин Христов! пошто не мне рвали язык и секли персты? Отцы мои милые! недостоин аз, окаянный, развязать ремена ваши! А ты, храбрый отче Никанор со братиею, отцы и страдальцы соловецкие, пошто не бых с вами, не терзали мя слуги Пилатовы, не влачили по отоку морскому? А ты, дивных праведник инок диакон Филипп, един отошел к Нове-граду, тамо ят и умучен на Москве, а я, я, Господи! А ты, огнепальный инок диакон Игнатий, пошто не вознесся аз с тобою с палеостровской гари? И от таковых отцов оставлен бысть Корнилий! Не токмо отцы, а и жены благочестивые, боярыня Федосья со иными женами небесных риз сподобились. Ниже слабых жен, ниже отроков усердных стоишь ты, Корнилий! Все пострадали Христа ради, всех умучили слуги Пилатовы. Меня единого чаша сия миновала. Пошто, Господи?! Чем недостоин аз бых венца Твоего?!

И бил себя кулаком в грудь, и звенели вериги, и плакше горько. Понуру стояли Данило с Андреем, утирал слезу Пахомий.

— Все пострадали до единого, никого нет на сем свете, един аз, гриб старый, трухлявый, негодный. Пошто не прибрал мя в срок, Господи? С худой славой скончаю дни свои; люди молвят: Корнилий, лесной бегун, мук убоялся. Ты ведаешь, Господи, не убоялся я, Ты запрещал, не дал венца страдания по недостоинству моему! Господи! Господи! Кончается век мой, и что содеял, чем сослужил Тебе? Нет дел моих праведных, одни грехи незамолимые, мерзок есмь пред лицом Твоим, Господи! Пошто сберег мя на долгие дни в муках сих?

В смущении отошли трое от келии.

Стояли молча. Вздохнул Андрей.

– Что ты, Ондрюша? – тихонько спросил Викулов.

– Ах, друже, – ласково отвечал Андрей, – велика боль старца, столь велика, что сыскать ли ей равных? Дерзаю все ж мыслить: не впусте сберег его Господь. Иначе кто б остался от прежних? На ком еще отческа благодать почил? Чудные отцы соловецкие, пустозерские, палеостровские, московские, керженские, раменские, сибирские своей чистой кровью веру укрепили. Так, друже, так! Велика их жертва перед Господом, несть выше подвига как положить душу свою за други своя, так сказано. Вера крепится кровью мученической. Так, друже, так, да не вся правда! Ежли всех умучат, удавят, сожгут, кто ж останется? Не токмо мученичеством, обаче строительством вера утвердилась. Так в древлей церкви бысть, а мы им подобны. Обще жили тогда, малыми островками в мере нечестия. Нам с тобой, друже, таковой островок созидать.

– Дерзновенно... – прошептал Пахомий.

– Господь рек: дерзай, чадо, вера спасла тя! Время приспе дерзанию! Велик был напор вражьей силы, а не погубили отеческой веры – много наших, не пережечь, не перевешать. Вся верная Русь за нами! Не смиряются те с нами, но и гнать как прежде не будут. Молодой царь живет немецким обычаем, к вере прохладен. Видали его наши в Архангельском городе: греховно живет, бражник и табашник, нравом крут, но ума ясного. Воевать намеревается, а на войну деньги надобны. Деньгами откупимся. Вдвое, втрое заплатим против тягла. Будем созидать наше общежителство вдали, но не в тайне, в яви, но опасливо, властей не бегая, царя не проклиная, кесарю кесарево отдавая. Доколе возможет, хранить будем согласие правоверное.

– А доколе возможет, Ондрюша? – раздумчиво проговорил Викулов.

– Про то Господь ведает...

Отворилась дверь келии и вышел старец, опираясь на клюку, согбенный, усохший, окостеневший, лицо что кожа дубленая, сизая борода. Глянул на пришельцев безбровыми очами. Глазами поманил к себе.

Данило с Андреем светло переглянулись и поспешили под благословение.

### **Продажа кассет артистки ВЕРЫ ЕНЮТИНОЙ**

Всем, кто любит русскую литературу, кому дорог русский язык, кому трудно самому читать из-за возраста или по состоянию здоровья, – советуем приобрести кассеты артистки Веры Енютинной.

Обширный каталог состоит из 130 кассет.

**Детский отдел:** Русские народные и современные сказки, сказки Пушкина, Толстого, Мамина-Сибиряка. Библия для малышей. Рассказы из русской истории.

Уроки русского языка для начинающих и иностранцев.

**Отдел прозы:** Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Лесков, Чехов, Куприн, Андреев, Бунин, Набоков, Ремизов.

**Поэзия:** Все русские поэты, начиная с Баратынского и кончая Пастернаком и Цветаевой.

**Для любителей театра:** Кассеты с отдельными сценами из пьес Шекспира, Чехова, Островского, Ибсена.

Цена кассеты – 5 ам. долл. плюс пересылка.

Каталог – бесплатно.

Чеки, заказы и вопросы посылайте по адресу:

V. Enyutin, 3, Pillsbury str. Claremont N. H. 03743 USA

«НО, КАК ВЕЗДЕ, ЗДЕСЬ СЛАДОСТНА  
ЗЕМЛЯ...»

СНЕГОПАД

Из низко нависших, небесных,  
Раскрывшихся, темных глубин  
На ветви продрогшего леса,  
На влажную землю равнин  
Бесшумнее самой бесшумной из рек  
Двигается снег.

И так, как морщины лица никогда  
Не спрячут бывшего страдания,  
Как шторма не спрячет морская вода,  
Как губы не спрячут признанья,  
Так небо печали не прячет  
И снегом безудержным плачет.

Всю эту – в слепящем беззвучьи –  
Плывущую песню пространства  
Хранили тяжелые тучи  
С любовью и постоянством.  
Теперь ее снег донесет  
До слуха деревьев и вод.

\* \*  
\*

Тоска по родине – давно  
Разоблаченная морока

*М. Цветаева*

Произнесу: Россия... Вечер...  
Еще скажу: Мороз... Москва...  
И вот, как траурные свечи,  
Зажглись любимые слова.

Опять внимаю им тревожно  
И чувствую, что все болит,  
А зимний ветер осторожно  
С моей душою говорит.

Он уверяет: «Ты забудешь  
Бульваров сонный снегопад  
И вечно горевать не будешь,  
Услышав: дом... Россия... сад...

Давай оплачем город милый,  
Твою потерю и беду,  
Бульвары, детство и могилы,  
Ты начинай, я подожду».

Не торопясь, я начинаю  
Нанизывать горчайший ряд  
И с самого начала знаю,  
Что кончу так: Россия... Сад...

\* \*  
\*

Я чувствую себя в плену дождя,  
Который так устал по крышам биться,  
Дыхание с трудом переводя,  
Я, как и он, мечтаю – приземлиться.

О тихий дом, о самый тихий дом!  
В каком лесу и над какой рекою?  
Дыхание переводя с трудом,  
Я признаюсь, что я тебя – не стою.

Не странно ль, что морская синева  
Таит в себе печаль воспоминанья?  
А волны набегают, как слова,  
С трудом, с трудом переводя дыханье...

\* \*  
\*

Тоска – как море. Бёрега и дна  
Не видно, лишь привычные ладони  
Расталкивают воду... Ни погони,  
Ни рыб, ни птиц. Одна, совсем одна...

Тоска – как роща. Мокрая листва  
Лежит, сугробов белых тяжелее,  
И воздух влажен так, что ты едва  
Дыханье переводишь на аллее.

Тоска – как рана. Не пройдет без слез.  
Тоска – как старая карета в переулке,  
Она появится, и, медленный и гулкий,  
Все поглощает стук ее колес.

\*            \*  
                 \*

В моем саду, где золотые тени  
Ложатся на дощатое крыльцо,  
Стоит июль – раздолье всех цветений,  
Когда-то на руку надевший мне кольцо.

Июль. Мне страшно. Месяц перемены,  
Веселый час свершений роковых!  
Я на волне холодной венской пены,  
А дом мой спит под шум ветвей родных.

\*            \*  
                 \*

Как лист осенний, тот, что лес покинул  
И, повинясь ветру, прилетел  
В неведомое чуждое пространство,  
Так я, застывшая среди этих темных тел  
С тяжелым грузом в сердце – постоянством  
И памятью о дереве родимом, –  
Смотрю на жизнь, стремящуюся мимо  
По берегу лазурнейшего моря...

\*            \*  
                 \*

Сегодня снилось: приближаюсь к дому,  
Которого на свете больше нет.  
По переулку ветхому, родному,  
Струится снег и пляшет зимний свет.

Я в комнате, которой нет, но нежно  
Мне возвращает память всю ее –  
Вот теплый кафель печки белоснежной,  
Вот круглый стол, вот стопкою – белье.



Я здесь росла. Мои воспоминанья:  
И Новый год, и кашель, и сирень –  
Все начиналось здесь. За серым зданьем  
Трамвайным звоном жаловался день.

В подъезде пахло коркой апельсинной,  
А во дворах проветривали хлам,  
Под абажуром, шелковым, старинным,  
Мне заплетали косы по утрам.

О Время, убивающее силы!  
С тобою не поспоришь – жги, круши!  
Оставь мне только переулок милый  
На самом дне, во глубине души.

\* \*  
\*

Смотрю на мир сквозь страшную печаль.  
О, как беспомощно, о, как все скоротечно!  
Не понимаю, отчего мне жаль  
Тебя, себя и этих птиц беспечных?

Смотрю на мир сквозь пелену потерь.  
Он расплывается, теряет очертанья...  
Что делать мне? И как мне жить теперь?  
Вокруг весна. Вокруг воспоминанья.

Наверно, здесь не будет соловья  
И запаха шиповника ночного.  
Но, как везде, здесь сладостна земля  
И, как везде, здесь слышно Божье слово.

МУРАВЬЕВА Ирина – родилась в Москве в 1952 году. В 1973 году закончила филфак МГУ. Занималась переводами англоязычной

и немецкой поэзии, больше всего переводила Лонгфелло, Рильке, Фроста, Дикинсон. В Москве ничего, кроме литературоведческих работ о Пушкине, не печатала. В 1985 году эмигрировала в Америку. Живет в Бостоне.

## «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе  
Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти  
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

### *Обычной почтой*

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

### *Воздушной почтой*

Европейские страны, Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка, Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка.  
В цену входит выходящее 6 раз в год приложение  
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под  
редакцией А. М. Некрича.

**Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.**

## ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

*С надеждой и верой*

*Посвящается моему сыну Андрею*

### ПРОГУЛКА

Приближалось время белых ночей. Оттого, что царило полное безветрие, а солнце уже скрылось за скалами и только небо сияло за поросшими лесом вершинами, отражаясь в мелкой воде залива, возникало блаженное чувство, будто время остановилось.

Под замершими без движения соснами стоял деревянный дом с высокой крышей и светлыми крашеными наличниками.

На дощатой террасе женщины накрывали стол белой крахмальной скатертью. Пахло дымом и домашним печеньем. В глубине рощи сохло развешенное на веревках белье.

В тени долины, отлого спускающейся к морю с изрезанными берегами, собирался дым и стоял неподвижным туманом, в котором придорожные сосны, словно призраки, меланхолично брели по каменистой дороге вниз, к сверкающему ртутью заливу.

Послышалось велосипедное дребезжание, и к дому подкатил маленький человечек с небритым лицом и почтовой сумкой через плечо.

– Госпожа Александер... ой, госпожа Аделаида! Это опять я! – крикнул он. – Еще телеграмма! Вы распишетесь или господин Александер?

– Давайте сюда! – ответила с террасы высокая девушка в белом платье и спустилась вниз по деревянным ступеням террасы. У нее было недовольное, не-

сколько туповатое выражение лица, как-то не идущее ее возрасту. – Давайте я распишусь, – сказала она, – они с Малышом вниз пошли, к заливу.

– Нет, нет, барышня, я сам. Мне не трудно на велосипеде. Мне даже приятно... – Почтальон уже, позванивая поломанными спицами, разогнался и, перекинув ногу через раму, на ходу устраивался на сидении.

– Вот это праздник, это я понимаю! – оглянувшись, засмеялся он. – Прямо завалили телеграммами!

– Приходите сами поздравить его сегодня к ужину! – крикнула ему вдогонку хозяйка – немолодая женщина с пышной прической и воспаленными, как бы от слез, глазами.

– Спасибо, госпожа Аделаида! Обязательно, если позволите! – донеслось издали. Жалобно звякнул велосипедный звонок, и все смолкло.

Некоторое время женщины смотрели ему вслед. На террасу с вазой, полной цветов, вышла прислуга в белом переднике и остановилась около стола. Прислушалась.

– Тихо-то как... – негромко произнесла она. Это была статная черноволосая женщина лет двадцати восьми – здоровая, румяная, с ярким вызывающим взглядом.

Почтальон весело катил под гору. Обогнув по белой кремнистой дороге старую сосновую рощу и миновав длинную изгородь, он притормозил и остановился, прислонившись к старому расшатанному столбу. Прислушался.

– Тишина... Прямо безмолвие... – пробормотал он вполголоса и добавил, озираясь вокруг, – «...И сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса...»\*

Господин Александер, обняв Малыша, примостившегося у него на коленях, сидел на краю каменистого обрыва, недалеко от того места, где дорога делала пово-

---

\* Откровение Св. Иоанна, гл. 8, стих 1.

рот. Внизу, под ними, словно тусклое зеркало, неподвижно стояла вода залива.

Малыш только что перенес небольшую операцию на связках, и врачи запретили ему разговаривать. Шея его была забинтована, и от этого он выглядел очень несчастным.

Отец продолжал давно уже, видимо, начатый рассказ:

– Мы с мамой остановили машину, как раз здесь где-то, – он огляделся по сторонам, – где-то недалеко отсюда. И отправились пешком. Заблудились, одним словом. Первый раз здесь были. Потом начался дождь: мелкий такой, противный, осенний, в общем. От которого, знаешь, настроение портится и люди без причины ссориться начинают. Дошли мы до поворота, ну там, где кривая сосна растет, в это время как раз выглянуло солнце, и дождик кончился, и место это осветило так! И так мне вдруг стало жалко, что не я, то есть что не мы с мамой живем в этом доме, здесь, под соснами! Потому что лучше этого места ничего нет и быть не может. Так он стоял красиво! И казалось, что если здесь жить, то до самой смерти можно счастливым оставаться...

Малыш исподлобья взглянул на отца.

– А? Да не бойся! Не бойся, сынок! Нет никакой смерти. Есть, правда, страх смерти, и очень он мерзкий, страх этот, и многих заставляет он делать то частенько, чего люди делать были бы не должны... А представь себе, как бы все изменилось, если бы мы перестали бояться смерти, а? Вернее, страха смерти? Хотя ученые считают, что этот страх необходим. Как способ защиты, что ли... Ну, как физическая боль, которая предупреждает об опасности. Не думаю, не согласен... Хотя ни дети, ни повредившиеся в уме смерти не боятся, как сказал Сенека. Кстати, мысль эту он неплохо закончил: «И позор тем, кому разум не дает такой же безмятежности...» То есть как у детей, он имел в виду.

Малыш дернул отца за рукав.

– А... да, я отвлекся немного. Ну и... Одним словом, стояли мы с мамой как обалдевшие, и смотрели на красоту эту, и не могли оторваться – тишина, покой! И ясно стало, что дом этот создан именно для нас. Ну вот... А потом оказалось, что он продается. Дом был здорово запущен и стоил недорого. И мы тут же купили его, не думая ни минуты. Это было уже из области чудес... Здесь ты и родился. Ты любишь его? Любишь свой дом, сынок?

Малыш важно кивнул головой. Потом встал и подошел к противоположному краю площадки. Внизу тускло поблескивала затуманенная поверхность залива. Было тихо, и, казалось, неподвижный воздух словно сковал движения деревьев и редких дымных облаков на горизонте.

Господин Александер тоже поднялся и, подобрав с земли корявую сухую ветку, воткнул ее толстым концом в расщелину скалы.

– Красиво, правда? – окликнул он сына. – Икебана!\* Только не по-японски огромная!

Подошел Малыш, присел на корточки и стал укреплять сухой ствол в расщелине при помощи камней и комьев земли. Сухой кривой ствол на фоне туманно посвечивающего моря выглядел действительно очень красиво.

Малыш улыбнулся.

– Ты знаешь, однажды, очень давно это было, старец из одного монастыря – звали его Памве – воткнул вот так же на горе сухое дерево и приказал своему ученику – монаху Иоанну Колову – монастырь был православный, – приказал ему каждый день поливать это дерево до тех пор, пока оно не оживет. – Господин Александер казался очень серьезным. – И вот в течение многих лет, каждый день Иоанн по утрам наполнял ведро водой и отправлялся в путь. Чтобы отнести в горы одно

---

\* Икебана (яп.) – искусство составления букетов.

ведро, требовался весь день от восхода до заката. Каждое утро Иоанн отправлялся на гору с ведром воды, поливал эту корягу, а вечером, уже в темноте, возвращался в монастырь. И так целых три года. И вот в один прекрасный день поднимается он на гору и видит: все его дерево сплошь покрыто цветами!

– Все-таки, как ни говори, метод, система – великое дело! Ты знаешь, мне иногда кажется, что если каждый день в одно и то же время совершать одно и то же действие – как ритуал – систематически и непременно – каждый день, точно в одно и то же время непременно, – мир изменится! Что-то изменится! Не может не измениться! Ну, скажем, утром ты просыпаешься, встаешь ровно в семь часов, идешь в ванну, наливаешь стакан воды из-под крана и выливаешь его в унитаз. Всё.

Малыш беззвучно рассмеялся, закрыв лицо ладонями: смеяться ему тоже было запрещено.

– Через определенное время что-то произойдет благодаря этому стакану, не может не произойти! Нет, совершенно серьезно. Ты знаешь, например, что военным запрещается ходить по мостам в ногу? Маршировать на мостах? Нет? А знаешь, почему? Ритмический шаг многих ног, ритм этот раскачивает мост со страшной силой, и мост рушится. Да, да! Ты никогда не слышал об этом? А разве любое другое однообразное каждодневное действие – вроде нашего стакана с водой – не ритмично?

Звякнул велосипедный звонок. Господин Александер и Малыш обернулись. Почтальон слез с велосипеда и положил его у дороги на земле.

– Ну, господин Александер, теперь вы так просто от меня не отделаетесь: я приглашен вечером поздравить вас с днем рождения. Большая честь для меня! – он вытащил из сумки телеграмму и помахал ею в воздухе. – Это уже последняя. Почта закрыта, и если кто и опоздал, то придется ему ждать до завтра. Прошу вас! – почтальон протянул телеграмму, карандаш и бланк для подписи.

Господин Александер расписался и развернул телеграмму.

– Очки забыл, – рассеянно похлопав себя по карманам, заявил он расстроено. – Прочтите вы!

Почтальон церемонно принял голубой листок, встряхнул его, расправляя, и огласил следующее:

– «Поздравляем дорогого друга день его юбилея точка Обнимаем великого Ричарда доброго князя Мышкина точка Дай вам Бог счастья здоровья покоя точка. Твои ричардовцы идиотовцы всегда верные любящие точка».

Малыш снова беззвучно рассмеялся.

– Ой-ой-ой, как трогательно! – смущенно пробормотал господин Александер.

– Шутка? – позволил себе вопрос почтальон. – Шутка друзей! «Идиотовцы». Неплохо сказано...

– Да уж какая тут шутка!

– Понимаю, – быстро среагировал почтальон и повторил как бы про себя: – Дай вам Бог счастья...

Он вручил господину Александеру телеграмму и неожиданно спросил:

– А какие у вас отношения с Богом?

– Боюсь, что никаких, – не сразу понял тот. – А в каком, собственно, смысле?

Помолчали.

– Да... Незнакомы друг с другом! Не имел чести быть представленным, – огорченно произнес господин Александер.

– Ну, да это не беда, не беда, – успокоил его почтальон и вдруг заключил: – Вот вы – известный журналист, литературный и театральный критик, лекции по эстетике в университете молодым людям читаете. Эссеист также... А все невеселый какой-то! А велосипед мой скоро развалится, и придется покупать новый, чего делать, должен сказать, очень и очень не хотелось бы. – Он поднял велосипед и прислонил его к дереву.



– Это вы на что, простите, намекаете? Я по поводу «веселья».

– Не сокрушайтесь очень-то и не тоскуйте, – не слушая собеседника, посоветовал почтальон. – И не ждите.

– Как то есть «не ждите»? – возмутился господин Александер. – Да кто вам сказал, что я жду чего-то?!

– Ой, да нет, что вы! – замахал руками почтальон. – Вы не подумайте, я ведь понимаю! Я ведь с большим уважением. Поклонник, так сказать, давний почитатель! – испуганно оправдывался почтальон.

– Простите, вы... не знаю вашего имени...

– Отто! Просто Отто, всегда к вашим услугам!

– Очень хорошо! Ну и чего же я жду, по-вашему, Отто?

– Да не только вы! – как бы испугался Отто. – Разве вы один только? Все мы ждем чего-то! Вот, скажем, я – в качестве, так сказать, примера! Всю жизнь чего-то жду. Всю жизнь чувствовал себя как на вокзале, честное слово! И всегда мне казалось, что то, что уже было, была еще не жизнь, а так, ожидание жизни, ожидание чего-то настоящего, главного! А у вас разве не так? Мне всегда почему-то казалось, что у всех так. – Почтальон Отто казался подавленным.

– Нет, в этом смысле, конечно... Я понимаю, о чем вы. Просто я не предполагал... Что вас могут занимать подобные вопросы, – примирительно сказал господин Александер.

– Да нет! Занимают! К несчастью... Иногда такая чушь в голову лезет, честное слово... Вроде карлика этого... Пресловутого... – Почтальон окончательно смутился.

– Какого карлика? Господи, вы мне уже совсем голову заморочили, честное слово!

– Ну как же! – изобразил удивление Отто. – Ну, этого... горбатого! Ницшеанского! Ну, от которого Заратустра в обморок завалился!

– В обморок? А вы... что же? С Ницше знакомы? – пытаюсь скрыть удивление, спросил господин Александер и посмотрел на сына. Малыш, поймав отцовский взгляд, изобразил немой восторг – ему ужасно нравился этот почтальон.

– Вы что, знакомы с ним? Я имею в виду – с Ницше, – продолжал господин Александер.

– Нет, лично с ним я знаком не был, – не замедлил с ответом почтальон, – и специально изучать его, конечно, не изучал...

– Почему «конечно»? – заинтересовался господин Александер.

– Но интересовался, не скрою.

– Ну и...

– Ну и лезет иногда в голову что-нибудь в духе этого дурацкого «вечного возвращения», скажем. Вот живем, мучаемся, ждем чего-то, надеемся, теряем надежду, страдаем, умирая, умираем наконец и тут же снова рождаемся, но только не помним о том, что уже было, и все начинается сначала, не буквально так же, пусть в другой манере, а все-таки так же безнадежно и неизвестно зачем. Нет, именно так, как было, без малейших отклонений! Совершенно так же, именно буквально, следующий сеанс, так сказать! – почтальон Отто входил в раж. – Я бы именно так и сделал, если бы от меня зависело! Есть в этом что-то... веселенькое. А?

– Да было это уже! Было! Тоже мне Свидригайлов... Не думайте, что вы это изобрели! – испугался за сына господин Александер. – Неужели вы в самом деле верите, что человек способен соорудить конструкцию, ну, что ли, универсальную?! Смоделировать, так сказать, абсолютный Закон, Абсолютную Истину?! Да это же все равно, что создать новый универсум, стать демиургом!

– А что, разве так уж непохоже? – сопротивлялся Отто. – Чего же тут невозможного?

– Что? На что непохоже?! – взвился господин Александер. – Вы сами-то верите в своего карлика?! В возвращение свое дурацкое?!

– Иногда верю, знаете... А раз верю, значит, так и будет. «Каждому по вере его...» – словно извиняясь, признался Отто. – А это что? Здесь вроде никакой сосны не было?

Малыш удовлетворенно улыбнулся и, подойдя к своему «произведению», стал утаптывать землю у основания ствола.

– Очень красиво! – похвалил почтальон. – Есть в этом что-то даже... японское, что ли. Очень мило. Я, пожалуй, отправлюсь с вашего позволения! Скоро вечер, а мне еще о подарке подумать надо.

Почтальон откланялся и, сев на велосипед, укатил вниз, в сторону поселка.

Малыш упал на землю и стал кататься по сухой траве, поднимая пыль. Так в свой немой период он выражал радость.

– Занятный у нас почтальон, что и говорить, – заключил господин Александер. – Только не понимаю, почему его понадобилось приглашать в гости... И именно сегодня?

Малыш замычал и встал с земли.

– Да нет, я не против! Только... Очень занятный субъект. Конечно, он не просто почтальон. Видно, так жизнь у него сложилась. Он, ведь, кажется, недавно в наших местах... А? Что ты там мычишь?

Господин Александер обнял сына, закутав в широкие полы своей старенькой куртки.

– Как там у нас говорится? «В начале было слово!»\* А ты у меня немой, совсем как рыба семга!

Отец взял его на руки, подбросил и посадил к себе на плечи. Лицо Малыша немедленно приобрело торже-

---

\* Евангелие от Иоанна, гл. 1, стих 1.

ственное выражение: высшим удовольствием для него было путешествовать на плечах у отца.

– Пошли вниз, к воде. Только не держись за мою бедную голову – я так ничего не вижу и не слышу. Вот так. Ну что, пошли?

Накатанная дорога, повторяя повороты берега, шла почти у самой воды. Малыш сидел на плечах у отца. Они брели по влажному песку, вдоль кромки воды, почти неподвижной. Вокруг не было ни души.

– Видишь ли, сынок, мы заблудились. Люди – все люди, человечество – идет по какому-то ошибочному, страшно опасному пути. Началось это давно, очень давно, когда мы еще жили в пещерах, а может быть, и раньше. Первое, что человек ощутил, как только почувствовал себя человеком, был страх. Ему было страшно, он боялся всего – зверей, грозы, темноты. Но вместо того, чтобы ужиться с природой, разделить с ней свою судьбу, подружиться с ней, человек стал защищаться. Страх – плохой советчик. Общение людей превратилось в насилие друг над другом. Хотя общение могло и должно бы было стать для человека высшим наслаждением. Человек теснится в ужасных городах, мучает себя и своих близких, тогда как нет ничего более прекрасного, чем общение... Видишь, как все исказилось!..

Малыш снова замычал и запрыгал у него на плечах. Отец присел на корточки и спустил его на землю.

– Тяжелый ты стал! Вырос.

Малыш выкопал из песка большую темно-зеленую бутылку и, встав на камень возле самого берега, стал мыть ее в воде.

– А ты знаешь, – продолжал господин Александер, – в том городе, где мы с мамой жили раньше, один человек дом себе построил из бутылок. Скреплен он был, конечно, как полагается – цементом, деревом, металлом даже, кажется. Но дом получился удивительный – смотреть на него приезжали из других городов, ото-

всюду. Кончилось это плохо: он стал брать деньги с любопытных, которые хотели осмотреть его дом изнутри, и таким образом сам превратился в музейный экспонат. Семья его не вынесла такой жизни, и он остался совсем один в своей бутылочной копилке...

На дороге, около своей машины, стоял франтоватый человек с бородкой и издали прислушивался к монологу господина Александера.

– Ну что, здесь он? – вылезая из машины, спросила госпожа Аделаида.

– Как он последнее время, ничего?

– Хорошо, а что? И работает много.

– Монологи мне его не нравятся... Александер! – крикнул он.

Господин Александер и Малыш обернулись и обрадованно замахали руками в знак приветствия. Малыш бросился к ним со всех ног, а отец крикнул:

– Доктор! Подождите! Мы сами подойдем! Вы не приспособлены для такого хождения... по Сахаре! Это целое предприятие, если хотите!

Доктор поморщился.

Вслед за сыном господин Александер вышел на дорогу и, широко улыбаясь, направился к машине.

– Ну, молодой человек, как дела? – спросил гость, поймал Малыша за рукав и, притянув его к себе, потрепал по волосам. – Плохо жить молча? То-то! Но полезно, очень полезно. Общение, друг мой, тяжелая обязанность, и не всем она по плечу.

Малыш изо всех сил улыбался.

– Он у меня молодец! – глядя на сына, сказала госпожа Аделаида.

– Почему «у меня»? – спросил отец.

– И горло полощет вовремя, и спать сам отправляется, – улыбалась мать.

– Горло полощет... Горло полощет – это пустяки! А как он вел себя во время операции! А? Мужчина рас-

тет, одним словом! А ну-ка, юноша, откройте-ка рот... – доктор повернул Малыша к свету и, пригнувшись, внимательно осмотрел ему горло. – Молодец, можешь закрывать пасть. Если и дальше так пойдет, через неделю начнем разговаривать. Кстати, Ганди один день в неделю не разговаривал ни с кем. Систематически. В течение многих лет.

– Почему? – удивилась госпожа Аделаида.

– Опротивели, полагаю, все до обалдения, – серьезно ответил доктор и обнял господина Александера.

– Ну, спасибо, Виктор. Удрал-таки от своих больных! Удрал и бросил на произвол судьбы. А элегантный-то какой! – господин Александер сиял.

– Как же-с... В такой день позвольте соответствовать. Поздравляю, Александер, – уже серьезно прибавил доктор. – Подарок в багажнике, будет вручен за ужином.

– Еще и подарки! – застеснялся господин Александер.

– А не пора ли нам всем домой? – предложила госпожа Аделаида.

– Именно пора. И именно нам всем! – тонко улыбнулся господин Александер. – Мы сделаем так: вы поезжайте, а мы с Малышом придем пешком. Нам надо закончить наш разговор. Верно, сынок?

– Только недолго, пожалуйста, – сказала госпожа Аделаида. – Хорошо, Малыш? Дома уже почти все готово.

– Как пойдём? По дороге или берегом? – спросил господин Александер, когда машина скрылась за поворотом. – Пойдем по берегу. Смотри, какая красота!

Вернувшись по своим следам обратив к воде, они направились в сторону дома, следуя капризным изгибам берега.

– Ну, так вот, сынок, – продолжал прерванный разговор отец. – Человек всегда только защищался – друг от друга, от Природы, внутри которой жил. Даже вое-

вал с ней, отвоевывал у нее чего-то все время. Осквернял ее непрерывно. В результате возникла цивилизация, основанная на силе, власти, страхе и зависимости. А весь наш так называемый технический прогресс всегда служил для того только, чтобы изобретать или предметы комфорта, удобства, или орудия силы для сохранения власти. Мы как дикари – употребляем микроскоп в качестве дубинки. Нет, нет – дикари гораздо духовнее нас, я ошибся! Любое достижение науки мы немедленно обращаем во зло. Что же касается комфорта, то какой-то умный человек сказал, что грех – это то, что не является необходимым. Если это так, то наша цивилизация вся от начала до конца построена на грехе. Мы пришли к ужасной дисгармонии, несоответствию то есть, между развитием, материальным и духовным. Наша культура, вернее цивилизация, в корне ошибочна, сынок. Ты скажешь, что можно изучить проблему и сообща искать выход. Может быть. Если бы не было так поздно. Слишком поздно...

Малыш подпрыгнул и, взметая песок, помчался по пляжу. То ли на него слишком сильное впечатление оказали апокалипсические пророчества отца, то ли еще не по уму оказались для него все эти тяжеловесные рассуждения.

Он скакал по песку, швырял вверх прибрежный мусор, кувыркался, катался по земле, в общем, бесился. Отец смотрел на него со снисходительной улыбкой.

Наконец, устав, Малыш ничком упал на землю и замер без движения.

Отец издали смотрел на него.

Малыш не двигался.

Прошла минута, другая...

Малыш лежал, не шелохнувшись, и, кажется, не дышал.

У господина Александра заколотилось сердце.

– Сынок... – шепотом проговорил господин Александр – голоса не было. – Малыш... Ты что? Что с

тобой?.. Сынок! – попытался крикнуть он и, в несколько прыжков преодолев разделяющее их пространство, рухнул перед Малышом на колени.

– Сынок... что? Что с тобой?.. – бормотал он, плохо соображая. Наклонившись, он прижал ухо к груди сына, чтобы услышать, бьется ли сердце. Малыш не дышал.

Внезапно он вскочил на ноги, расхохотался, по обыкновению безмолвно, и стал скакать вокруг отца, весьма довольный своей шуткой.

Не сознавая, что делает, словно защищаясь, господин Александер размахнулся как-то нелепо и ударил сына по лицу.

Малыш упал.

– Сынок... – с трудом проговорил отец, – Господи, что со мной!..

Малыш встал с земли и, не оглядываясь, побрел в сторону дороги.

– Малыш! Подожди! – крикнул отец и бросился за ним.

Малыш побежал. На бегу оглянулся. Рубашка его была вся в крови.

Господин Александер остановился и закрыл лицо руками.

Неожиданно со стороны дороги раздался автомобильный сигнал и вслед за ним голос доктора.

– Эй, Александер! Малыш! Где вы там!? Вас уже ждут все! Э-гей! Стол накрыт!

Малыш испуганно оглянулся и замер в растерянности. Затем лихорадочно стал стаскивать с себя рубашку. Вывернул ее наизнанку, снова надел и бросился к воде.

Прыгнув на плоский камень, лежащий у самого берега, он встал на колени и, зачерпнув обеими горстями, плеснул себе в лицо.

Отец с недоумением следил за его действиями.

Малыш, оглядываясь, как вор, умылся, прыгнул обратно на берег, поскользнулся, упал, вскочил снова



и бросился к отцу. Подбежав, он протянул вверх руки, как бы прося, чтобы тот взял его на плечи. У господина Александера внутри как будто что-то оборвалось. Он понял: Малыш заметал следы.

Отец поднял его на плечи. В ушах звенело. Он оглядывался по сторонам и ничего не видел.

## ВОЙНА

Господин Александер сидел в гостиной у окна и перелистывал толстую монографию, посвященную древнерусской иконе: шуршали страницы, мелькало золото, белизна цвета слоновой кости, алые, словно огонь, складки одежды, ладошки охряных скал, фрагменты никогда не существовавшей фантастической архитектуры.

Доктор сидел у противоположной стены, возле камина, в котором по причине лета стояла ваза с цветами, и курил, глядя в окно.

Стало сумеречнее, но не темнее: словно чувствовался возраст света, неестественная задержка темноты, которая давно уже должна была наступить, но не наступала.

– Удивительно! – задумчиво улыбаясь, произнес господин Александер, шелестя страницами. – Какой странный аристократизм, духовность, мудрость и вместе с тем простодушие, прямо-таки детское! Глубина и простодушие в сочетании. Невероятно! Как молитва... А теперь все это утеряно! Мы и молиться-то разучились...

Доктор улыбнулся и дернул плечом – движением для него неожиданным и как бы несвойственным.

– Сегодня у меня трудный день, – сказал он. – Вернее, какой-то вышедший из-под контроля, что ли...

– Спасибо, Виктор. Замечательная книга. И за вино спасибо. Будем пить его за ужином. А главное, за то, что приехал.

– У тебя нет такого ощущения, что жизнь не удалась? – неожиданно спросил доктор.

– Нет. Почему же? – твердо ответил господин Александр, подумав, и добавил уже не слишком уверенно: – То есть раньше было именно так, как ты говоришь. А после того, как родился Малыш, все изменилось. Не сразу... Постепенно. По мере того, как он рос... Я к нему очень привязан. Боюсь, даже слишком. В этом есть что-то обидное даже. Готовил себя к жизни более... Высокой, скажем... Изучал философию, историю религий, эстетику. А кончил тем, что надел на себя кандалы – совершенно добровольно, впрочем, – и счастлив тем самым. Вот сегодня, например, гуляли мы с Малышом... – господин Александр не договорил и мрачно замолчал.

В гостиную вошла Марта – дочь госпожи Аделаиды от первого брака.

– Вот прислали мне телеграмму друзья... – господин Александр вынул из кармана смятый конверт. – Подписались смешно – «идиотовцы» и «ричардовцы». Бывшие театральные друзья. Это оттого, что мы вместе играли Шекспира и Достоевского.

– А я помню, – сказала Марта, глядя на доктора.

– Что... – не понял Виктор. – Что ты помнишь?

Марта покраснела.

– Я помню эти спектакли.

– Да будет тебе! – засмеялся господин Александр.

– Нет, правда! – настаивала Марта. Щеки ее горели, и от этого она казалась очень красивой.

Вошла госпожа Аделаида и остановилась в дверях. Ей очень шли сумерки, царившие в комнате.

– Я помню, как вы уронили вазу вместе с подставкой! – продолжала Марта. – И после этого у вас все время лились слезы. Я очень хорошо помню! И вазу

тоже помню – она была синяя с рисунком, кажется, белые хризантемы были на ней!

– А ведь, правда, помнит! – засмеялся господин Александер. – А слезы – это уже не от гениальности – мне в глаз что-то попало. Боль была адская! Еле до занавеса дотянул.

– Конечно, помнит! – вступила в разговор госпожа Аделаида. – Кстати, Александер был потрясающим Мышкиным! За что и был приближен. А он взял и бросил всё! Театр, всё! Это после того, что он сделал в «Идиоте» и «Ричарде»! До сих пор не понимаю.

– Что «всё»? – обиделся господин Александер.

– А?

– Ты сказала – я бросил всё. Что «всё»?

– Ну, театр... Всё!

– Успех! – едко добавил господин Александер. – Кстати, театр – это еще далеко не «всё»! Потом, я просто не смог. Понимаешь?

– В каком смысле не смог? – спросил из своего угла доктор.

В комнатах сгущались сумерки. Марта включила лампу, стоящую на серванте.

– Ой, зачем, Марта! Погаси! – испуганно вскрикнула госпожа Аделаида.

Марта щелкнула выключателем. Стало еще темнее.

– Смотрите, как красиво, – успокоилась госпожа Аделаида. – А свет все разрушает.

Помолчали немного.

– Мне почему-то вдруг стало стыдно, – сказал господин Александер. – Стыдно стало притворяться кем-то другим. Изображать чужие чувства. А главное, стало стыдно быть искренним на сцене. Это не сразу случилось, конечно. Не неожиданно. Даже критик один заметил.

– Ты хочешь сказать, что для того, чтобы быть актером, нельзя иметь свое Я? Быть личностью? – спросил Виктор, в темноте затягиваясь сигарой.

– Не совсем... Я хочу сказать, что Я актера растворяется в его персонажах. А мне не хотелось, наверное... Растворяться. Во всем этом было что-то... греховное, по-моему. В этом растворении. Что-то женственное, безвольное!

– А женственное, конечно, это уже греховное! – сказала госпожа Аделаида. – Просто, ты знал, что мне нравилось, что ты актер, и сделал наоборот. Вот и всё!

– Не знаю, может быть...

– Не «может быть», а определенно так! – настаивала госпожа Аделаида.

– Вполне возможно, я и говорю, – урезонивал ее господин Александер. – Ведь не очень приятно, когда тебе отдают предпочтение потому только, что ты актер. Или знаменитый доктор. Или художник. Одним словом, имя! Вообще, было что-то в моей актерской карьере подозрительное, ужасно глупое, хотя считалось, что я был не самым плохим актером.

– Глупый! – сказала госпожа Аделаида. – Ты был замечательным актером!

– Ты был великим актером, Александер, – с ударением произнес доктор.

– Вот именно! – не выдержала Марта.

– Ты-то откуда можешь знать! – довольно засмеялся господин Александер.

– Как откуда? Все говорят!

– Вот видишь, Виктор, «все». А ты помнишь, что по этому поводу один очень умный человек сказал? «Странные люди – эти актеры. Да и люди ли они?»

– Ты уже тысячу раз цитировал своего Томаса Манна, – перебила госпожа Аделаида. – Только это оскорбительно, по-моему.

– Нисколько! – отозвался доктор. – Не всегда Человек означает только нечто достойное, а всё за его пределами – недостойное и низкое. Просто странно, видимо, что человек сам по себе, добровольно, превращается в произведение искусства. Обычно результат поэтичес-

ких усилий всегда настолько отдален от автора, что иногда не верится, что шедевр – рукотворен.

– Вот именно! – удовлетворенно произнес господин Александр. – Спасибо, Виктор, защитил!

– Одним словом, увлек меня своим театром, овладел и бросил, – рассмеялась госпожа Аделаида. – Мне нравилось быть женой знаменитого актера, и я не вижу в этом – простите – ничего ужасного! Позвольте, кто же это? – она вышла на террасу, за ней Марта.

– Ты знаешь, Александр, я уезжаю, – сказал Виктор тихо.

– Что-нибудь случилось? Куда? – В темноте голос господина Александра прозвучал почти неестественно, как на сцене.

– Совсем. Мне предлагают клинику в Австралии.

– Где?! Ты с ума сошел! Что произошло? – господин Александр захлопнул книгу и положил ее на окно.

– Почтальон Отто надвигается! – раздался с террасы голос Марты. – Везет что-то!

На дворе, под соснами, царил неподвижный полусвет-полусумрак.

По дороге, в сторону дома, спотыкаясь, брел почтальон Отто и вел рядом с собой велосипед, на котором лежало привязанным что-то громоздкое, тяжелое и плоское: то ли картина в раме со стеклом, то ли зеркало – издали было трудно понять.

– По-моему, это подарок, – догадалась госпожа Аделаида и близоруко прищурилась. Марта засмеялась.

Мужчины тоже вышли на террасу.

– Ты мне потом все расскажешь, – имея в виду прерванный разговор, сказал господин Александр.

– Кто это? – спросил доктор.

– Почтальон. Его зовут Отто, – ответил господин Александр.

– Он, действительно, какой-то... Он нездешний, кажется? – спросила госпожа Аделаида. Марта снова засмеялась.

– А вот мы у него сейчас спросим, и всё, – улыбнулся доктор.

Отто прислонил к лестнице свой велосипед с грузом и, не отпуская руль, поклонился.

– Добрый вечер. С праздником! Это вам от меня что-то вроде подарка.

На нем был черный поношенный пиджак и галстук неопределенного цвета.

Женщины рассмеялись. Все подошли к перилам террасы и с интересом разглядывали таинственный груз.

– Спасибо, спасибо большое! – сказал господин Александр. – Что же это такое?

– Мне трудно будет одному, – смутился Отто.

Господин Александр и доктор спустились с террасы, чтобы ему помочь.

Отто размотал шпагат, при помощи которого громоздкий таинственный предмет крепился к раме велосипеда, и подарок с некоторым трудом был водружен на террасе.

Это была старинная карта за толстым стеклом и в тяжелой раме красного дерева.

– Спасибо... – еще не разглядев как следует и не совсем понимая, что это такое, поблагодарил господин Александр.

– Это карта Европы конца семнадцатого столетия, – объяснил Отто.

– Настоящая? – обрадовалась Марта.

– Ну, как может быть настоящая? Копия, конечно, репродукция, – подойдя ближе, заметил доктор.

– Нет, нет! Настоящая, оригинал! Как же можно... – обиделся Отто.

– Не может быть! – всплеснула руками госпожа Аделаида. – Боже, какая прелесть!

Господин Александер наклонился и стал рассматривать подробности, изображенные на истершейся от времени бумаге. – Но это слишком дорогой подарок! Я не знаю, право, смогу ли...

– Только, ради Бога, не говорите ничего этого! – запротестовал Отто.

– Но это слишком! Я понимаю, что вам не жалко, но...

– Почему же не жалко? Жалко, конечно.

– Простите? – не понял господин Александер.

– Всякий подарок, который вы делаете, всегда как-то жалко. А иначе что же это за подарок?.. Здравствуй, Мария!

На террасе появилась женщина лет тридцати пяти, худощавая, с удивительно добрыми глазами и какими-то испуганными движениями. Она улыбнулась Отто, не ответив, и обратилась к хозяйке.

– Я всё сделала, госпожа Аделаида, мне можно идти?

– Да, да, конечно, Мария, спасибо. Ах, да! Если бы вы только тарелки подогреть поставили, ладно? А остальное уж Юлия сама сделает, хорошо?

– Хорошо, госпожа Аделаида, я сейчас поставлю тарелки. Тарелки поставлю и пойду, хорошо? Больше ничего?

– Нет, нет, Мария, можете идти, здесь же Юлия остается... Да! И свечи! И можете идти.

– Тарелки, свечи... – Мария снова неловко улыбнулась и скрылась в доме.

– Моя соседка! – с непонятной никому гордостью заявил Отто.

– Простите... – замялся доктор.

– Отто. Меня зовут Отто.

– Простите, Отто, а каким это образом вас забросило сюда, в эти края? Насколько я понимаю, вы недавно здесь? – доктор, взяв этот светский тон, отсту-

пил в глубину террасы и уселся на диван. – Вы не курите? – прибавил он, протягивая собеседнику портсигар.

– Я однажды был в морге и видел вскрытого покойника, курившего всю свою жизнь. Видел его легкие изнутри. С тех пор я не курю.

– Покойника, курившего всю жизнь? – заинтересовался Виктор. – Ну и что это было?

– Страшное дело! Лучше уж и не вспоминать... Вы правы, я всего два месяца здесь. Раньше я преподавал историю в гимназии, а потом отправился на пенсию и уехал сюда. Оказался здесь. Здесь жила раньше моя сестра, сейчас уже покойная. Я в ее дом и перебрался. Жизнь здесь не дорогая. Теперь у меня и расходов меньше, и времени больше для моих занятий. И даже средств.

– Насколько я знаю, вы служите на почте?

– Да, я почтальон. Но не постоянно. В свободное время.

– Как прекрасно было верить, наверное, что мир таков, каким здесь изображен, – разглядывая карту, сказал господин Александер. – Эта Европа – как Марс! Ну, то есть ничего общего с истиной!

– А ведь жили! И не плохо жили, – сказал Отто. – «...Моя потребность в свободе так велика, что если бы мне вдруг запретили доступ в уголок, находящийся где-нибудь в индийских землях, я почувствовал бы себя ущемленным. И я не стал бы прозябать там, где вынужден был бы скрываться, если бы где-то в другом месте можно было обрести свободную землю и вольный воздух...» И вот таким образом думали, да и поступали, в свое кровавое и варварское время.

– И кто же это такой, свободолобец ваш? – спросил доктор.

– Дикарь Монтень, с вашего позволения, – ответил Отто.

– О! – издал неопределенное восклицание доктор и выпустил тонкую струю табачного дыма.



– У меня странное чувство, – продолжал свое господин Александер, – что наши современные карты тоже никакого отношения к истине не имеют.

– К какой истине? – спросил Отто. – Вы упорно настаиваете на какой-то истине.

– «Что есть истина?» – рассмеялся доктор.

– Да не бывает никакой истины! – возмутился Отто. – Все дело в том, насколько мы способны перебарывать сведенья! А то вот – смотрим и не видим ни черта! Вон бежит таракан вокруг тарелки и воображает, что целеустремленно движется вперед!

– Откуда вы знаете, о чем думает таракан, который бежит вокруг этой вашей тарелки? Может быть, это у него ритуал такой? Тараканий...

– Вот именно, – зло буркнул Отто. – «Может быть». Все может быть!

– Замечательная карта... – господин Александер сидел на стуле, возле своего подарка, и не мог от него оторваться.

– Я рад, – заметил почтальон удовлетворенно. – Карта, действительно, высший класс!

– Кстати, где Малыш? – заметался господин Александер, встав со стула. – А? Мама? Где Малыш?

– Я не знаю, – ответила госпожа Аделаида. – Он все время здесь клубился.

– Мне показалось, он был расстроен чем-то, – заметил доктор.

– Я сейчас вернусь, – сказал господин Александер и спустился с террасы под сосны. – Ужинать пора!

– Вы сказали, что приобрели больше времени для своих занятий, – обратился доктор к Отто. – Что вы имели в виду?

– Видите ли, – ответил тот, – я коллекционер... в каком-то смысле.

– Ах, действительно? – думая о жарком, вскинула брови госпожа Аделаида.

– А почему в каком-то особом смысле? – спросил доктор.

– Как вам сказать... Я коллекционирую события... Те, которые принято считать необъяснимыми. Но достоверные. Вот на то, чтобы собрать доказательства того, что они достоверные, и уходит много времени. Да и денег, конечно. Ездить много приходится. Поэтому я и почтальон... к тому же.

– Ну, хорошо... – не поняла госпожа Аделаида. – Как то есть необъяснимые?

Марта слушала, улыбаясь от удовольствия.

– Вот бы Малыша сюда, – сказала она. – Он обожает такие истории.

– Правда? – обрадовался Отто.

– И все-таки я не совсем понимаю, – доктор чиркнул спичкой и раскурил погасшую сигару.

– Ну, вот, например... – задумался на мгновение Отто. – Или нет... Вот хотя бы это. Еще до войны это было. Жила в Кенигсберге вдова с сыном. Началась война. Сына призвали в армию, ему лет восемнадцать было. Ну, они решили пойти к фотографу и сделать снимок на память. Вдвоем – мать с сыном. Снялись они, сына отправили на фронт, а через несколько дней его убили.

– Боже мой... – вздохнула госпожа Аделаида.

– За неразберихой и несчастьями, – продолжал Отто, – дама наша про заказанные фотографии, конечно, забыла...

– Почему конечно? Как раз она никак не могла бы забыть об этих фотографиях! – удивилась госпожа Аделаида.

– Ну, хорошо, – вмешался доктор, – это неважно, в конце концов...

– В общем, неважно, почему, только фотографии она не выкупила. Кончилась война, переехала она в другой город, подальше от воспоминаний...

– Она что, так даже и не попыталась разыскать этого фотографа!? Последний снимок сына! – снова перебила Отто госпожа Аделаида.

– А ведь вы нам, ангел мой, не даете рта раскрыть! – заметил доктор.

– Ну, ма! – взмолилась Марта.

– Хорошо, хорошо! Молчу, молчу! Простите, Отто.

– Да нет, ничего... Пожалуйста... – почтальон неожиданно расхохотался. – Ладно! Одним словом, где-то, году... не важно, кажется, году в шестидесятом, она пошла в фотоателье и заказала себе снимок, захотела подарить кому-то на память. Снялась, одним словом, а когда получала уже готовые фотографии, то увидела на них не только себя, но и сына своего погибшего. Ему было восемнадцать лет на снимке этом, а ей соответственно с тем временем, когда она фотографировалась.

– И это так все и было? – воскликнула Марта. – Как вы рассказали?

– Так все и было, – ответил Отто.

– И как вы это проверили? – спросил доктор.

– Я разговаривал с этой женщиной. И потом у меня ведь и эта фотография есть, где она и сын ее в военной форме сорокового года.

– Господи... – прошептала госпожа Аделаида.

– Потом у меня есть фотокопия его метрики и заверенная нотариусом копия извещения матери о смерти сына.

– А вы нас не разыгрываете? – спросил доктор вежливо.

– Нет. У меня подобных случаев около 300 собрано. 284, чтобы быть точным. Это те, которые я успел проверить. А непроверенных еще больше, наверное... Просто мы слепые, ничего не видим, – вздохнув, заключил Отто.

Он вдруг прислушался, встал с кресла, на котором сидел, и неожиданно рухнул на пол.

Все испуганно вскочили.

Через некоторое время встал с пола и Отто.

– Что это было? Как по-вашему? – спросил он хмуро.

– Вам плохо? – слабым голосом спросила госпожа

Аделаида.

– Ничего подобного, не беспокойтесь... – ответил

Отто. – Это ангел нехороший меня крылом задел.

Все с недоумением смотрели на него во все глаза.

Отто сел в кресло и расхохотался. Весело, по-детски заразительно. Все облегченно вздохнули.

– Ну и шутки у вас, господин почтальон! – усмеялся Виктор.

– Да уж какие тут шутки, господин доктор! – отозвался Отто, вытирая слезы, выступившие у него от смеха. – Тут уж не до шуток...

Господин Александер стоял под соснами и смотрел: ...Посреди озера с темной водой, подернутой тонким туманом, стояла высокая скала, разрушенная с западной стороны, а с южной покрытая густым лесом. Восточная ее часть была бледно-охристой с ржавыми пятнами и потеками, растрескавшаяся. У подножия ее с этой стороны белела песчаная отмель, на которой лежал выброшенный непогодой мусор, разбитые доски, водоросли.

На вершине скалы стоял замок, башни которого освещало заходящее солнце. Оконные стекла отражали закат.

Иллюзия масштаба и правдоподобия была настолько велика, что, когда господин Александер оглянулся, отвлекся взглядом от «озера» на сосны и свой дом под ними, у него закружилась голова, как от полета.

Потом он услышал плеск воды и, сделав несколько шагов в сторону, увидел опущенный в лужу водопроводный шланг для полива цветов, вздрагивающий от тугой струи, поднимающей песчаную муть у западной оконечности озера, то есть лужи, разлившейся у его ног, кото-

рая так была похожа на настоящее озеро, если отвлечься от ее истинных размеров.

Позади послышался шорох. Он вздрогнул и обернулся: в тени деревьев стояла Мария, их приходящая прислуга, и смотрела на господина Александра с видом застигнутой на месте преступления.

– Мария? – удивился он. – Что это такое? Кто это... сделал... лорды?

Мария молчала и только виновато смотрела.

Господин Александр с раздражением ждал ответа.

– Это Малыш, – наконец сказала Мария.

– Что Малыш? – не понял он. – Где он, кстати?

– Наверху... В своей комнате, по-моему, он был.

– Ну хорошо, а это? – кивнул он в сторону «замка».

– Это они с Отто для вас сделали... Это его подарок. Не успел только вот воды налить... Не выдавайте меня, господин Александр, – в голосе ее появились жалобные интонации. – Он сам хотел показать вам все это.

Сердце его сжалось. Он опустил голову и вздохнул.

– Я пойду... – тихо сказала Мария, повернулась и скрылась среди деревьев.

– Поздравляю вас! – донеслось до него из темноты.

Господин Александр, стараясь не шуметь, вошел с заднего входа, пересек неосвещенную гостиную – с террасы раздавались голоса доктора, госпожи Аделаиды и смех Марты, – по деревянной лестнице поднялся на третий этаж, под самую крышу, и, осторожно отворив дверь, оклеенную обоями, заглянул внутрь.

В комнате было полутемно, и сначала господин Александр ничего не мог разглядеть. Он прислонился к притолке и стал ждать, пока глаза его привыкнут к темноте. Потом осторожно подошел к кровати. Наклонился.

Малыш спал. Дыхание его было глубоким, а выражение лица – грустным и озабоченным.

Господин Александер долго стоял и смотрел на него, затаив дыхание и стараясь справиться с дрожью во всем теле. Его било, словно в лихорадке.

Когда он вошел в гостиную, все, даже Юлия, стояли и смотрели телевизионную передачу. Что-то вроде последних новостей, как ему показалось в первое мгновение.

– Ну что ж, будем ужинать? – сказал он. – А Малыш спит, будить его, как ты думаешь?

Ему никто не ответил. Как будто его и не существовало вовсе. Только доктор машинально обернулся на звук его голоса. Взгляд его был слепым, невидящим и напряженным одновременно в дрожащем свете телевизора.

Говорил Премьер, глава правительства.

– ...повсеместно организуются такие пункты. Это тоже вменено в обязанность армейских офицеров. Каждый сознательный гражданин, собрав все свое мужество и сохраняя хладнокровие, должен содействовать армии в целях сохранения спокойствия, порядка и дисциплины, ибо единственно страшный наш внутренний враг теперь – паника. Потому что она заразительна и непослушна воздействию здравого смысла. Только порядок и организованность, дорогие сограждане! Только порядок – вопреки хаосу! Заклинаю вас, обращаюсь к вашему мужеству и, несмотря ни на что, – к вашему разуму!

Господин Александер почувствовал, как горячая и тяжелая тошнота толкнула его в сердце. Ноги стали ватными. Он сделал неуверенное какое-то движение и оказался на стуле, около дверей, открытых на террасу. Механически он отметил, что на сервированном там столе горят свечи.

– Что, – попытался спросить он. – Теперь доктор закрывал собой экран телевизора, но господин Александер как-то не понимал, что можно подвинуться, чтобы лучше видеть. – Неужели все-таки...

Доктор коротко кивнул головой.

«Как болванчик», – мелькнуло в сознании господина Александера. Его колотило и тошнило от страха.

«Адреналин, – подумал он, – слишком много адреналина...»

– ...в нашей стране тоже есть такая база с четырьмя боеголовками, и, по всей вероятности, теперь это самым трагическим образом может решить всё... – металлически бубнил телевизор.

– Но надо же что-то делать?! – голос госпожи Аделаиды прозвучал резко и как-то бессмысленно.

– ...каждое мгновение общение наше может быть прервано, но главное я успел сказать вам, дорогие соотечественники. Всем оставаться на местах, ибо сейчас нет такого уголка в Европе, где было бы безопаснее, чем там, где мы сейчас с вами находимся. В этом смысле все мы вынужденно оказались в одинаковом положении.

Премьер испуганно бросил взгляд в сторону, затем, заторопившись и глядя куда-то за пределы поля зрения телекамеры, продолжал:

– ...все районы будут контролироваться особыми военными частями с целью... – он прервал сам себя и на мгновение взглянул в лицо своей аудитории. Глаза его были сильно увеличены толстыми стеклами очков. – Да хранит вас...

Экран вспыхнул и погас. Свет его медленно таял в темноте гостиной.

– Я всю свою жизнь ждал этого... Вся моя жизнь была ожиданием вот этого самого... – закрыв глаза, произнес господин Александер внятно.

– Господин Александер, господин Александер, – забормотала Юлия, не двигаясь с места.

– Но надо же что-то делать?! – повторила свой нелепый возглас госпожа Аделаида.

Он прозвучал настолько так же, как и в первый раз, что Отто испуганно встал с дивана, на котором сидел безо всякого движения и, подойдя к госпоже Аделаиде,

взял ее за руку. Та почти грубо выдернула ее и снова крикнула с каким-то даже брезгливым отвращением:

– Господа мужчины! Что же!? Что же вы молчите, чёрт побери?! Надо же что-то делать?!

И опять это «надо же что-то делать!» прозвучало как с заезженной пластинки.

Госпожа Аделаида беспомощно посмотрела на мужа, отвернулась, бросилась к доктору, упала перед ним на колени, обняла его и, уткнувшись лицом в его жилет, замерла без движения.

Отто подошел к Марте. Белая как полотно, она стояла и смотрела на растворяющийся в темноте экран телевизора. Взяв за руки, он попытался усадить ее в кресло, но она повела плечом, скользнула мимо него и, подойдя к матери, опустилась на пол рядом с ней, продолжая смотреть на темный уже экран, но взгляд ее был отсутствующим, и было ясно, что она смотрит, но ничего не видит, слушает, но не слышит. Думает о чем-то, но не сознает, о чем именно.

– Юлия! – позвал вдруг доктор хрипло и откашлялся. – Юлия, принесите от меня мой саквояж, пожалуйста. Он на комодe, кажется.

Юлия вышла.

Вдруг госпожа Аделаида закричала:

– Боже мой, Виктор! Родной мой! Но сделайте хоть вы что-нибудь, наконец!

Голос ее был глухой, похожий на рычание: она кричала, лицом уткнувшись доктору в грудь.

– Тише! – жестко сказал доктор. – Малыш спит, и будить его нельзя ни в коем случае!

– Это я виновата, это мне наказание! – вдруг, словно очнувшись, пробормотала госпожа Аделаида, отвернувшись от доктора и неудобно притулившись на ковре.

– Тише! – почти шепотом произнес доктор. – Малыш спит, не надо его будить.



– Малыш! – закричала она звонким и неожиданно молодым голосом. – Малыш! Где он?! Юлия, где он?! Боже мой, Александер, ты что, не понимаешь разве?!

Доктор прижал ее к себе, чтобы унять, но она продолжала кричать что-то и билась, билась...

Марта зачем-то придерживала мать за локоть, но как-то вяло, словно не понимая, зачем она это делает, что-то говорила тихо и неубедительно, глядя ей в затылок.

Вернулась Юлия с саквояжем. Отто, господин Александер, словно обрадовавшись возможности делать что-то, помогали доктору.

Достав завернутый в полотенце стерилизатор, он попросил Отто зажечь свет, достал шприц, отломил головку ампулы, набрал иглой жидкости чайного цвета и, не забыв протереть спиртом руку госпоже Аделаиде, сделал ей укол.

– Тебе? – Виктор вопросительно взглянул на господина Александера.

– Нет, нет, я вот лучше выпью чего-нибудь... Зачем... – ответил тот, подошел к бару и налил себе полстакана коньяку.

– Только не очень, – сказал доктор. – А то еще хуже станет.

Госпожа Аделаида лежала на диване, закрыв глаза, и тихо постанывала, словно от боли.

– Пойди сюда! Марта, подойди сюда! – велел доктор.

– Нет, я не буду, мне не надо! – испугалась она.

– Ну да Господь с тобой, Марта, – успокаивая девушку, он привлек ее к себе, поцеловал и стал гладить ее волосы. Марта изумленно смотрела на него.

– Это безболезненно совершенно! И так же необходимо, поверь. Это всех нас приведет в порядок.

– Нет, не надо, мне не надо! – сопротивлялась Марта.

Тем не менее, укол был сделан и ей, и теперь она, сжавшись в комочек, сидела в кресле и широко открытыми глазами смотрела на доктора, как будто видела его впервые.

– Нет, нет, не беспокойтесь, спасибо вам. Вот мне действительно не надо, – ответил Отто на вопросительный взгляд доктора.

– А вам, Юлия?

Юлия презрительно поджала губы, взяла плед, висящий на спинке кресла, и накрыла им госпожу Аделаиду.

Господин Александер налил в стакан коньяку и протянул его Отто. Тот взял, но пить не стал. Подержал некоторое время и поставил на каминную доску.

– Не могу сейчас... я потом, может быть, – извинился он.

– Юлия! Надо идти к Малышу. Нельзя, чтобы он сейчас проснулся.

Доктор, сменив иглу, набрал новый шприц, нацепил на него клочок ваты и стал подниматься по лестнице.

– Я пойду вам помогу! Пусть Юлия здесь с мамой...

– Марта еле говорила. Лекарство уже оказывало свое действие.

– Полежи, полежи лучше, мы сейчас вернемся! Отто, побудьте здесь, с ними, я сейчас...

Господин Александер допил свой коньяк и вслед за доктором и Юлией поднялся наверх.

Малышу тоже был сделан укол, Юлия раздела его и уложила в постель, под одеяло. Он пробормотал что-то, тяжело вздохнул и уснул еще крепче.

Господин Александер не решался войти к нему в комнату. Он стоял за дверью и трясся словно в лихорадке.

Отто снял телефонную трубку и стал слушать. Ничего. Ни гудков, ни треска, ни таинственных электрических шорохов. Ничего. Телефон уже умер. Отто осторожно положил трубку на место.

– Боже мой, почему мы всегда поступаем наоборот? Всегда!

Голос госпожи Аделаиды был почти спокойный, умиротворенный. Она смотрела на Отто удивленными заплаканными глазами.

Марта спала в кресле, поджав под себя ноги.

– Всегда любила одного, а замуж вышла за другого. Почему?

– Может быть, вы выпьете чего-нибудь? – неуверенно спросил почтальон.

– Нет, ничего, спасибо, Отто... Нет, я, пожалуй, понимаю, почему. Просто мы боимся быть от кого-то в зависимости! Когда двое любят друг друга, то всегда по-разному. Всегда – один сильнее, другой слабее. А слабее всегда тот, кто любит не рассуждая, без оглядки. Я как будто проснулась сейчас, как после какого-то дурного сна. Как после какой-то другой жизни... Я всегда чему-то сопротивлялась, боролась с чем-то, сражалась! Как будто кто-то во мне сидел и говорил: только не сознавайся, только ни в чем не соглашайся – иначе погибнешь! Боже, какие мы бываем дуры все-таки!

– Важно, что ты поняла это наконец! – ответил Виктор, спускаясь по лестнице. За ним шли Юлия и господин Александер. – Ну как? Тебе лучше?

– Да, только слишком поздно...

– Ну и что мы будем делать? – спросила Марта. Она тоже проснулась, но продолжала лежать в своем кресле, не двигаясь и не открывая глаз.

– Телефон, конечно, не работает, – взглянув на Отто, спросил доктор. Отто отрицательно качнул головой.

– Можно сесть в машину и отправиться на север, туда, поглуше, но нет...

– Сейчас всюду одно и то же! – перебил его Отто, – и неизвестно, где хуже...

– Нет, нет! Мы остаемся здесь! – твердо заявила госпожа Аделаида и решительно поднялась с дивана.

От резкого движения ее качнуло в сторону: закружилась голова.

– Осторожней! – Виктор усадил ее обратно.

– Мы никуда не поедem. Мы будем ждать здесь,  
– сказала она. – Виктор! – позвала она и протянула  
руки.

Подошел доктор, госпожа Аделаида привстала, обняла его за шею и нежно поцеловала, наклонив к себе.

– А теперь мы будем ужинать! – сказала она и заплакала.

– Простите, я должен идти, – сказал Отто. – Мне надо кое-что... приготовить.

Он неловко поклонился и вышел на террасу. Никто не обратил на него внимания.

Господин Александер, опустив голову, машинально рассматривал содержимое докторского саквояжа, который раскрытым стоял на стуле, посреди комнаты. Вдруг он вздрогнул: в специальном кармане, оттопыривающемся от тяжести, лежал тяжелый черный револьвер.

Господин Александер бросился по лестнице наверх.

– Что такое? Александер! – крикнула вслед ему жена.

– Ничего, ничего, он сейчас вернется, – успокоил ее доктор. – Я потом схожу за ним.

## МОЛИТВА

В кабинете – огромной комнате с выходом на верхнюю террасу, с камином, с полками, забитыми книгами, с кожаным диваном и огромным письменным столом, – было почти темно. Из окон были видны верхушки сосен и мутное неживое небо.

Господин Александер достал из секретера бутылку коньяку, налил полстакана и выпил целиком, не отрываясь.

– Виктор! Виктор!.. – слышался шепот из коридора.

Господин Александер прислушался и подошел к двери, которую оставил открытой.

В коридоре было темно. Темно было и в комнате Марты, которая находилась как раз против кабинета.

Дверь в нее тоже была открыта, и в темноте тускло светился завешенный прямоугольник окна и зеркало, отражающее серый свет, падающий на потолок.

У зеркала стояла, как ему показалось, Марта. Он подошел ближе и увидел, что она совершенно раздета. В темноте, как скульптура, мерцало обнаженное тело.

– Идите сюда... Виктор! Я люблю вас... Помогите мне...

И опять было непонятно, чей это шепот. Марты?

Господин Александер, стараясь не наткнуться на что-нибудь в темноте и не зашуметь, на цыпочках отступил обратно в кабинет и осторожно прикрыл за собой дверь.

Выпив в темноте еще коньяку, он почувствовал тошноту и головокружение. Тогда он встал на колени, сложил руки и, устремив взгляд на черные вершины неподвижных деревьев, стал молиться по-настоящему первый раз в жизни.

Смысл его молитвы был таков:

– Господи! Спаси нас в эту ужасную минуту... Не дай погибнуть моим детям, друзьям, моей жене, Виктору, всем, кто любит Тебя, верит в Тебя, кто не верит в Тебя, потому что слеп и не успел о Тебе задуматься, потому что еще не был по-настоящему несчастен, всем, кто в эту минуту лишается надежды, будущего, жизни, возможности подчинить свои мысли Тебе, кто переполнен страхом и чувствует приближение конца, страхом не за себя, а за своих близких, за тех, кого некому, кроме Тебя, защитить, потому что война эта последняя, страшная, после которой уже не останется ни победителей, ни побежденных, ни городов, ни деревень, ни травы, ни деревьев, ни воды в источниках, ни птиц в небесах...

– Я отдам Тебе всё, что у меня есть, брошу свою семью, которую люблю, свой дом, откажусь от Малыша, стану немым, не буду разговаривать больше ни с кем и никогда, откажусь от всего, что связывает меня с жизнью, но только сделай так, чтобы все было как раньше, как утром, как вчера, чтобы не было этого смертельного рвотного животного страха! Помоги, Господи, и я сделаю все, что Тебе обещал!..

Господин Александер подполз к дивану, залез на него и забылся тяжелым, как обморок, сном с лицом, мокрым от слез, и с истерзанной душой.

Ему приснился сон. Будто он спускается с низкой оштукатуренной растрескавшимся цементом террасы прямо в парк и, не разбирая дороги, идет по грязи, по лужам с полурастаявшим студнем весеннего снега, по бурой прошлогодней траве в сторону высокой чугунной ограды с выломанными прутьями, чтобы проникнуть через одному ему известный лаз и очутиться на улице. Срезать целый квартал.

Он идет, на ходу заматывая длинный теплый шарф и застегивая пальто.

Вот тут его и прострелило. Он заметил, что шнурок развязался на его башмаке, и нагнулся, чтобы его завязать. Он завязал шнурок, выпрямился и вдруг страшная неожиданная боль, как удар ломом по позвоночнику, пронзила все его существо.

И теперь он стоял скрюченный, в крайне неудобной позе – одной ногой в сером сугробе, другой в похожей на мочало прошлогодней траве, залитой жидкой грязью, – не имея возможности пошевелить даже мизинцем.

В грязном парке черные старые липы стояли по колено в лужах, покрытых отвратительной пузырящейся пленкой.

Было неестественно тихо, и свет над ним был какой-то сиреневый и яркий, но сам по себе, так как

ничего не освещал и выглядел просто как сияние в низком весеннем небе, покрытом снеговыми тучами.

Нет, тишина... тишины никакой не было, она была наполнена звонким и многоголосым воробьиным криком. Этаким воробьиный базар!

Это ему тоже показалось странным, потому что обычно воробьи кричат так только в хорошую солнечную погоду, а сейчас шел снег и была ночь или поздний вечер.

Ему было так больно, что даже когда он, не шевелясь, перевел лишь взгляд с одного окна своего дома на другое в надежде увидеть там кого-нибудь, кто мог бы ему помочь, то снова почувствовал этот раскаленный лом, которым он был пронзен, точно бабочка булавкой в чьей-то коллекции.

– Господи... что же это?! – шептал он. – Что они там, неужели ничего не видят?! Да подойдите же кто-нибудь к окну, наконец! О, Боже мой... за что же они меня так мучают! – закричал он беззвучно. – Неужели нет никого?!

Лицо его выражало страх и судорожно подергивалось от невыносимой боли, рот был перекошен.

Он неподвижно стоял в нелепой позе среди залитых водой деревьев, падал снег, а он плакал и неразборчиво бормотал что-то...

Пронзительно верещали воробьи.

Ну что ты, что ты... Успокойся! Сейчас... Юлия! Дайте же воды, наконец! Сейчас... Двадцать капель!

В свете ночника, по мокрой подушке мотается из стороны в сторону его голова, текут слезы из закрытых глаз, госпожа Аделаида прижимает к его губам рюмку с мутной жидкостью.

– Выпей, выпей, слышишь? Вот так... вот и всё... Сейчас... Сейчас все пройдет... Просто плохой сон... Сейчас пройдет... Ну, вот и всё...

Его разбудил дребезжащий стук в окно. Было темно. Он лежал под одеялом. Под головой у него была подушка.

Снаружи, на верхней террасе, кто-то стоял, прижавшись лицом к стеклу, и время от времени осторожно стучал в окно чем-то металлическим.

Некоторое время господин Александер воспринимал все окружающее как продолжение сна.

Наконец, с трудом поднявшись с дивана, он подошел к застекленным дверям и, повернув ключ, вышел на террасу.

Только приблизившись вплотную, он узнал Отто.

– Что... – произнес господин Александер, ничего не понимая со сна.

– Простите, что разбудил вас... Вы ведь спали?

– Ну, ну! Что случилось?

– Есть еще один шанс, – шепотом сказал Оскар. – Последний.

– Шанс? Какой шанс? – тоже почему-то шепотом ответил ему господин Александер.

– Ну, шанс, надежда!

– Какая надежда? Что с вами?

– Со мной ничего. А вот Мария может! Мария!

– Мария? Какая Мария? Что может?

– Вы должны пойти к ней и уговорить, понимаете? – сбивчиво шептал Отто.

– Куда должен? Кого уговорить... Войдем, вам надо выпить коньяку. Я вот выпил, и мне лучше. Входите, да входите же вы!

Они неслышно вошли в кабинет. Господин Александер щелкнул выключателем.

– Уже и света нет... Сколько же я спал? – Он разыскал спички, свечу в подсвечнике. Метнулось желтое пламя, тени побежали по стенам. Он поставил подсвеч-



ник на стол, достал чистый стакан, налил половину и протянул Отто.

– А вы все коньяком лечите, – и послушно сделал два больших глотка.

– Его нельзя так... стаканами. Это ведь очень хороший коньяк, – зашептал Отто снова.

– Где все, спят? – спросил господин Александер.

– Они внизу, за столом. Они любят вас очень.

Помолчали. Господин Александер прихлебывал из стакана.

– Вам надо идти к Марии. Немедленно, – лихорадочно прошептал Оскар.

– К какой Марии? Можете вы, наконец, яснее?

– Да Мария, прислуга ваша. Я сейчас все объясню. Только вы это... Не кидайтесь!

– Да не тяните вы! Кто на вас кидается, ей-Богу? И что у вас за манера все время с какими-то приседаниями, подготовками! – шипел на Отто господин Александер.

– Она живет на хуторе, за озером... Рядом с церковью, ну, которая сейчас закрыта, не действует!

– Кто? – не понял господин Александер.

– Да не «кто»! Я говорю, церковь, церковь уже не работает!

– Я спрашиваю, кто живет, а не про церковь! При чем тут церковь-то!

– Как кто живет? Да Мария же, Мария, прислуга ваша, я уж полчаса вам объясняю! – возмутился Отто. – Вы можете повнимательнее? Это очень важно, понимаете?

– Что повнимательнее, я и так прекрасно знаю, где живет Мария! Мне жена показывала.

– Ну так вот... – Отто вдруг сник и стал озираться вокруг с каким-то затравленным видом. – Разрешите, я сяду... я что-то... я, кажется...

Не найдя поблизости стула, он опустил на ковер и прислонился спиной к дивану.

– Это простительно, Отто, простительно, уверяю вас... Я тоже... рядом с вами, – господин Александер опустился на пол рядом с Отто. – Ну так что вы говорили насчет прислуги?

– Да не насчет прислуги я говорил! – начал было Отто и вдруг оборвал свой шепот. – Слышите!?

– Что? – вздрогнул господин Александер и прислушался.

Помолчали. Было тихо. Только снизу время от времени слышались тихие голоса и звяканье посуды.

– Что это было? – спросил наконец Отто.

Они сидели на полу, тесно прижавшись друг к другу, и говорили шепотом.

– Не знаю... Мне показалось – музыка...

Они снова прислушались, но никакой музыки не было.

– В общем, вам надо идти к Марии, – сказал наконец Отто.

– Зачем?

– Вы хотите, чтобы все это кончилось?

– Что кончилось? Вы о чем? – испугался господин Александер.

– Всё! Война, всё! Чтобы этого больше не было! – с таинственным видом продолжал Отто.

– Боже мой, Отто!

– Вам надо пойти к Марии и переспать с ней.

– Что?

– Я сказал – вы должны переспать с Марией.

– Как это... переспать с Марией?!

– Очень просто. Она живет одна. И если при этом вы будете желать только одного – чтобы кончилось все это, – все кончится, и ничего не будет!

– Что вы говорите, Отто! – господин Александер обнял его за плечи и рассмеялся. Рассмеялся и расплакался. Он вдруг почувствовал себя погибшим и обессиленным. Страх ушел куда-то, уступив место глухой, безысходной тоске.

– О Господи, Отто! – он вынул из кармана платок и высморкался.

– Вы не понимаете!.. Это правда, святая правда! – злобно продолжал шептать Отто. – Она обладает особыми свойствами, я собрал доказательства, она ведьма!

– Как то есть... ведьма? – еле слышно произнес господин Александер.

– То есть в хорошем смысле...

Они снова немного помолчали. Потом господин Александер сказал:

– Продолжаете свои ницшеанские штучки?

– А у вас другой выход есть? Ведь нету альтернативы. Нету!

– Какой альтернативы, Отто! Какой альтернативы, о чем вы, Отто?!

– Я пойду лучше, – прошептал Отто и встал на колени около дивана. – У задних дверей я оставил велосипед. Машину не берите, вас услышат. Поезжайте к Марии. Только осторожно – у меня на переднем колесе две спицы выломаны, так я однажды зацепился штаниной и в реку чуть не упал...

– Какой штаниной? – не понял господин Александер.

– Правой. Будьте осторожней, – он поднялся с пола, открыл балконную дверь и вышел на террасу. Снова осторожно прикрыв дверь, он поманил господина Александера рукой. Тот подошел к окну.

– А это что такое? – прошептал Отто, глядя куда-то за спину хозяина.

– Где?

– Картина... На стене! Что там, я что-то не разберу. Застекленная. Темно.

– Это ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. Леонардо. Репродукция, конечно, – объяснил господин Александер.

– Господи, страшная какая, – и прибавил вполголоса, прижавшись губами к стеклу: – Ведь у вас все равно нет другого выхода!

Он отошел к краю террасы, перекинул ногу через перила, видимо, там была специально приставлена лестница, и скрылся в темноте. На стекле осталось только облачко от его дыхания. Через некоторое время и оно исчезло.

Господин Александер долго смотрел на темное стекло ВОЛХВОВ. Картина была действительно очень страшная.

Ему вспомнились стихи:

Мы с тобой на кухне посидим.  
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож, да хлеба каравай...  
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери  
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,  
Где бы нас никто не отыскал\*.

Он вышел на террасу, перелез через перила, спустился вниз, тем же путем, что и Отто, проник в неосвещенную гостиную, достал из докторского саквояжа револьвер, положил его в карман, прокрался в прихожую, снял с вешалки пальто, надел его, снова поднялся, теперь уже по внутренней лестнице, наверх, постоял в раскрытых дверях комнаты, где спал Малыш, прислушиваясь к тому, что делалось на террасе – ему почему-то показалось, что там очень весело, он даже услышал как бы чей-то смех, – вернулся в кабинет, вышел через стеклянную дверь на верхнюю террасу, предварительно заперев комнату изнутри, снова по той же самой лестнице Отто спустился вниз, обошел дом, взял велосипед, стоящий у задних дверей, вывел его по глухой тропинке

---

\* О. Мандельштам. Собр. соч. в трех томах. № 224. Междунар. Литер. Содружество. 1967 г. Издание второе.

на дорогу, разогнался, подпрыгивая на одной ноге, и покатил в сумраке в сторону хутора, где жила Мария.

По пути ему попалась брошенная машина. Дверца ее была открыта, и изнутри свешивалась не то простыня, не то скатерть.

На террасе, освещенной свечами, за столом, накрытым белой скатертью, сидели доктор, госпожа Аделаида, Марта, Малыш, Юлия и пили за здоровье господина Александра.

Хутор состоял из трех жилых домов и нескольких хозяйственных построек, над которыми возносились в неосвещенное небо черные сосны. За деревянным из жердей забором стоял светлый автомобиль с открытым багажником.

В дальнем доме тускло светилось окно в верхнем этаже, под крышей. В доме, где жила Мария, было темно.

Господин Александр прислонил велосипед к изгороди и обошел дом, заглядывая в окна. Всюду было темно, и слепые стекла отражали ночное небо.

Он вернулся к дверям и постучал. Никто не ответил. Через несколько минут, когда он уже совсем отчаялся, где-то в глубине дома раздались шаги, в окошечке, расположенном у входа, появился яркий прыгающий свет, и господин Александр услышал сонный голос Марии:

– Кто там?

– Это я! – замирая, ответил он.

– Господин Александр?!

Мария узнала его голос сразу, открыла дверь и уставилась на него с выражением смятения и испуга. В руке она держала горящий электрический фонарик. На плечи ее, поверх белой ночной рубашки, была накинута черная шерстяная шаль.

– Что-нибудь случилось?

Он не отвечал и смотрел на нее каким-то новым взглядом, будто впервые видел.

– Что же мы здесь... Входите!

Пройдя через несколько дверей, они оказались в просторной комнате с небольшим количеством простой деревенской мебели, с очагом, в котором рдели догорающие угли.

Между окнами, закрытыми плотными занавесками, стоял стол без скатерти, на котором горела керосиновая лампа с абажуром молочного стекла.

У противоположной стены стояла широкая железная кровать с пухлой периной и многочисленными подушками.

– Случилось что-нибудь? Что вы молчите? Дома что-нибудь? – придерживая шаль на груди, она стояла посреди комнаты, и вид у нее был растерянный и жалкий. – Опять дома, наверное, что-нибудь... А?

– А вы разве... У вас что, телевизора нет? – спросил он.

– Есть маленький, да только свет как погас часов в одиннадцать, так и не зажигался больше, – она подошла к выключателю и щелкнула им несколько раз туда-сюда. – Боже мой, вы же мокрый весь! Где вы так?

– Я в воду с велосипеда упал.

– А вы разве на велосипеде?

Она поспешно подошла, сняла с него пальто и, повесив его у камина на спинку стула, проводила в ванну.

Там он умылся, а она светила ему фонариком.

Вернувшись в комнату, он сел на ее постель и закрыл лицо руками. Мария смотрела на него со страхом и жалостью.

– Вы плохо чувствуете себя? – спросила она наконец. – Может быть, кофе?

– Когда я еще не был женат, до того как мы наш дом купили, я часто ездил к своей матери в деревню. Она тогда еще жива была. Ее дом, маленький такой дом был, стоял в саду, небольшой такой сад был, запущенный страшно, заросший, дикий. Много лет подряд никто не ухаживал за ним, мне кажется, не входил даже. Мама

была уже очень больна и почти не выходила из комнат. Хотя было в этой садовой запущенности что-то по-своему прекрасное! Теперь-то я понимаю, в чем дело! В хорошую погоду она часто сидела у окна и смотрела в сад. У нее и кресло особое было у окна. И вот однажды пришла мне в голову мысль привести все в порядок там, в саду то есть. Расчистить газоны, выполоть сорняк, обрезать деревья, в общем, создать нечто по своему вкусу, собственными руками, к маминой радости... Две недели подряд я резал, стриг, косил, копал, подрезал, пилил, расчищал... Буквально не поднимая головы. Я старался все привести в порядок как можно быстрее – маме становилось все хуже, она все время лежала, а я хотел, чтобы она еще успела посидеть в кресле и увидела свой новый сад. Одним словом, когда я все сделал, кончил все это, пошел, принял ванну, надел чистое белье, новый пиджак, галстук даже, сел в ее кресло, чтобы как бы ее глазами увидеть все, что сделал, и выглянул в окно. Приготовился, в общем, насладиться. Выглянул я в окно и увидел... Такое я увидел! Описать всего этого я не в силах. Куда девалось всё? Вся красота, естественность... Это было отвратительно... Все эти следы насилия... Я помню, когда моя сестра была молодая, она пошла в парикмахерскую и отрезала волосы. Мода, видите ли, была такая. У нее были потрясающей красоты волосы – золотые, как у леди Годивы... Когда она вернулась домой, страшно довольная, отец увидел ее и заплакал... Вот и с садом было что-то в этом духе...

– А мама? – спросила Мария.

Где-то за стеной часы прокуковали три раза.

– Уже три часа! – испугался господин Александер. – Мы же ничего не успеем!

– А ваша мама? Видела? – повторила она.

– Мария, – сказал господин Александер и замолчал. Он сидел на кровати, закрыв лицо руками, и рассказывался из стороны в сторону. Она, не решаясь загово-

ритель, тоже молчала. – Вам очень неприятно, что я здесь, у вас... Спать вам не даю...

– Что вы, что вы... – пробормотала она.

– А вы могли бы... А вы могли бы полюбить меня? – он отнял руки от лица, стараясь разглядеть в полутьме ее лицо.

– Как?... – прошептала она, теряясь.

– Полюбите меня, прошу вас, спасите меня, спасите всех, я ведь знаю, все о вас знаю... Он мне сказал!

Мария сидела, не двигаясь, и молча смотрела на него.

– Пойдите сюда, ко мне, слышите? Спаси меня, Мария...

– Что вы... Что вы такое говорите? – она встала со стула, в глазах ее мелькнул страх. – Уходите! Идите домой! Хотите, я вас провожу? У меня тоже велосипед...

Он достал из кармана револьвер и дотронулся стволом до виска.

– Не убивай нас... – тихо сказал он. – Спаси нас, Мария!

– Ну зачем же это?! Господи, бедненький вы мой! – вскрикнула она, бросилась к господину Александру и, обняв его за плечи, не то стала успокаивать, не то просто старалась скрыть за торопливым лихорадочным шепотом свои настоящие чувства.

– Ну зачем же, не надо, не надо, что с вами, кто вас напугал так! Успокойтесь, успокойтесь, я ведь понимаю, дома, наверное, что-нибудь... Знаю я ее, злая она... Обидели вас, напугали... не бойтесь ничего, не бойтесь... все хорошо, все хорошо, вот так... снимите ботинки... давайте пиджак, давайте его сюда... вот так... теперь это... вот...

Она подбежала к столу, приподняла стекло на лампе и дунула на дрожащий язычок пламени...



В комнате было тихо. Только за стеной, в ванной, наверное, капала вода из крана и отщелкивал секунды маятник под часами с кукушкой.

...Словно счетчик адской машины.

Мария спала. Господин Александер приподнялся на локте и прислушался. Потом, стараясь не разбудить Марию, он встал, бесшумно оделся в темноте, взял со стула пальто, сунул обратно в карман револьвер, на цыпочках вышел из дома и через минуту уже ехал на велосипеде в рассветных сумерках по белой дороге, среди редких прибрежных сосен.

Дома, у себя в кабинете, он выпил коньяку, лег на диван, завернулся в одеяло и тут же уснул.

Ему снилось, что он летает. Он летел над пустынным скалистым берегом, над неподвижным морем, над верхушками сосен.

«...Почему это снится мне? Ведь обычно снится то, что нам уже известно, что мы испытали... Но ведь человек не летает! Как же может тогданиться такое?.. Или летает? Только мы не помним об этом? Где, когда?..»

Он летел над приморским городком, низко, едва касаясь крыш, шарахаясь в сторону от паутины электрических проводов, а внизу, по улицам и переулкам, мчалась прочь из города обезумевшая от страха толпа, и ему казалось, что это они от него бегут, на лету он оглянулся и увидел, что небо загромождено иссиня-черной тучей с желтым взлохмаченным брюхом. Она наваливалась на город, а люди бежали, бежали, падали, вставали, снова бежали и опять падали...

Он закричал и проснулся.

## УТРО

Комната была наполнена ярким солнечным светом. Снизу доносились неразборчивые голоса.

Господин Александер откинул одеяло, встал, подошел к окну и задернул шторы.

Его одежда аккуратно висела на спинке кресла, возле письменного стола.

Он вернулся к дивану, присел было, но тут же вскочил, словно ужаленный: настольная лампа под зеленым шелковым абажуром горела, отбрасывая дневные бледные блики на стекла книжного шкафа.

Он подошел к столу, дрожащей рукой несколько раз выключил и включил свет.

Сердце заколотилось, заторопилось и как хищник прыгнуло вверх, к горлу. Он бросился к телефону и снял трубку. Послышался гудок. Он набрал номер.

– Алло! – раздался искаженный мембраной голос.

– Алло, Мартин? – задыхась, проговорил господин Александер.

– Да, да, кто это? Ты, Александер? – ответил голос.

– Да, да, я! Конечно, я!

– Голос у тебя какой-то... Плохо слышно!

– А вот так лучше? – окрепшим голосом спросил он.

– Да, так лучше.

– Я хотел спросить... Редактор у себя, или...

– Вот именно, Александер, вряд ли он сможет с тобой увидеться сегодня, у него совещание, а потом... Постой, да ведь ты, кажется, сговорился с ним через неделю?

– Нет, нет, ничего, – сказал господин Александер.

– Я просто хотел... тут кое-какие мелочи возникли. Неважно, я позвоню завтра тогда.

– А-а... Ну и прекрасно. Да, поздравляю тебя!

– С чем? А! Ну да, конечно! – и господин Александер положил трубку.

Кружилась голова. Он открыл зеркальную створку шкафа, достал халат, надел его и, подойдя к двери, выглянул в коридор. Там никого не было.

Он вернулся к столу, достал чистый лист бумаги, написал что-то, взял кнопку, снова подошел к двери, открыл ее, приколот к ней записку со стороны коридора, закрыл дверь, запер ее на ключ, вышел на террасу, убедился, что с этой стороны дома никого нет, спустился вниз все по той же приставленной к террасе лестнице, прячась за деревьями, обошел вокруг дома и оказался как раз против нижней террасы, где вокруг стола уже сидели за завтраком госпожа Аделаида, доктор и Марта. Малыша не было видно.

– Малыш... Где же Малыш?.. – почти простонал господин Александер.

Отсюда, из-под сосен, было трудно разобрать, о чем они говорили, и он подошел ближе, чтобы лучше слышать.

Засмеялась Марта. Мать, кажется, сделала ей замечание.

– Да я и не смеюсь вовсе! – обиделась Марта.

– И когда же вы это решили? – обратилась госпожа Аделаида к доктору.

Тот не ответил.

– И почему именно в Австралию? Что за фантазии, ей-Богу!

– Не знаю, почему именно Австралия... Не знаю, неважно... Просто я устал.

– Ну, хорошо! А как же мы? Александер, наконец?

– Именно от вас я и устал больше всего на свете. Мне надоело быть нянькой. Нянькой и надзирателем. Вытирать всем вам сопли! Пардон...

– Виктор, вы с своим уме?! Что вы говорите?! Марта! Пойди... пойдти туда!

– Мам, я...

– Иди, позови отца завтракать! Он уже проснулся, наверное.

– Мама, я лучше...

– Боже мой, да что же это такое, наконец!

– Хорошо, хорошо, хорошо... иду!

Марта встала из-за стола и пошла в дом. На ходу обернулась:

– Я вас не отпускаю, Виктор! Не знаю, как мама, а я – нет!

Госпожа Аделаида нервно рассмеялась и, достав платок, вытерла слезы.

– И вот поэтому тоже, – присовокупил доктор. – Не будучи ни отцом, ни мужем, нести всю тяжесть семейной жизни, все ее обязанности! Не обладая, кстати, никакими правами. Я устал и от этой неестественности тоже.

– Ну, хорошо, вам наплевать на меня, на Марту, на Малыша! Но Александер, ваш друг!

– Он и останется моим другом.

– Но он нуждается в вас!

– У него есть жена, которая может прекрасным образом ухаживать за ним. Должна, по крайней мере... У него семья, прекрасный дом, сын, которого он обожает!

– Прекрасно...

В дверях появилась Марта с листком бумаги в руке. Господин Александер узнал свою записку.

– Потом, – сердито бросила госпожа Аделаида доктору, стараясь быть спокойной. – Мы еще поговорим обо всем, ладно?

Виктор меланхолично пожал плечами и отпил из чашки.

– Слушайте, – сказала Марта. – Он заперся на ключ и оставил вот это.

– Да? Что такое? – спросила госпожа Аделаида как-то невпопад.

Марта прочла:

– «Милые мои, я очень плохо спал ночью. Не будите меня насильно. Я проснусь сам и спущусь. Пойдите погуляйте немного. Малыш вам покажет японское дерево, которое мы с ним вчера посадили. Или

сегодня? Не помню, но это неважно. Целую вас всех, дорогие мои. Лекарство я принял. Заранее простите.

19 июня 1980 года, 10 часов 11 минут утра.

Ваш папа А.»

– Действительно, а не прогуляться ли нам? – сказал доктор и встал из-за стола.

– «Заранее простите...» Что это значит – «заранее простите? – возмутилась госпожа Аделаида. – И что это за точность такая? Астрономическая?

– Мама, ну ты же знаешь его, – сказала Марта.

– «Его...», – вздохнул доктор. – Между прочим, нежности его хватит на вас на всех до самого конца. Да еще останется. «Его...» А ведь он совсем ребенок!

– Что же я такого обидного сказала? – удивилась Марта.

– А вот у тебя на «него» нежности хватит?

– Хорошо, Виктор, а почему он, собственно, ребенок? Может быть, я тоже хочу быть ребенком! – капризным голосом заявила госпожа Аделаида.

– Мало ли кто чего хочет! Я вот, например, в Австралию хочу! – ответил доктор и стал спускаться с террасы.

– Хорошо, идем, – сказала госпожа Аделаида. – Юлия! Идем с нами! Берите Малыша и пошли!

### СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Господин Александер бросился обратно под сосны.

– Это что еще такое, ей-Богу... – бормотал он на бегу, – «ребенок...» Чепуха какая-то... Австралия! Какая-то Австралия!.. Хотя теперь уже все равно...

Он снова обошел дом, поднялся по лестнице, никем не замеченный, вошел к себе в комнату, достал из письменного стола какие-то бумаги, бумажник с деньгами, кредитными карточками и чековой книжкой, паспорт, стянул все это резинкой, засунул в карман халата, достал из пальто револьвер, отворил дверь и прислушался.

Никого не было слышно. Он спустился вниз. Ни в гостиной, ни на террасе никого не было, все ушли.

Он разыскал докторский саквояж, открыл его и положил револьвер на место. Затем вышел на террасу. Огляделся по сторонам. Никого не было, все ушли.

Тогда он взял стул и поставил его на стол, прямо на скатерть. Потом другой. Через некоторое время вся летняя мебель возвышалась горой посреди террасы, достигая потолка.

Он спустился с террасы, подошел к машине Виктора, открыл дверцу. Ключ был на месте. Господин Александер отогнал машину подальше от дома и вернулся за автомобилем госпожи Аделаиды. В машине ключей не было. Он вернулся в дом, долго и безуспешно искал их повсюду, потом махнул рукой, вышел на террасу, взял спички, снова вышел на террасу, чиркнул спичкой и поджег скатерть с одного угла.

У него закружилась голова.

Когда скатерть загорелась, он обошел стол и поджег ее с другой стороны. Затем спустился с террасы, отошел в сторону и стал смотреть.

Огонь разгорался медленно, словно нехотя.

Господин Александер лег на землю, лицом вниз. Когда ему стало нестерпимо жарко, он отполз подальше, почти под самые сосны, и только тогда снова посмотрел на дом.

Дом пылал как свеча. Трещало и гудело пламя, перекидываясь на дымящиеся верхушки сосен. Вспыхнул элегантный автомобиль госпожи Аделаиды...

Когда доктор, Марта, госпожа Аделаида и Юлия вернулись с прогулки, все уже было кончено. Нестерпимым жаром тянуло от пожарища. Дым стелился по земле и стекал вниз, в ложину, спускающуюся к морю.

Задышавшись, доктор подбежал к господину Александеру и наклонился над ним.

Тот встал с земли и сказал хрипло:

– Это я сделал, не беспокойся... Слушай, Виктор, я хотел тебе сказать что-то очень важ...

Но тут он вдруг вспомнил и замолчал. Замолчал с тем, чтобы уже не заговорить никогда. Как обещал.

Потом приехала скорая помощь, вызванная из города, и санитары помогли господину Александру усесться внутрь.

Доктор и г-жа Аделаида тоже хотели ехать в клинику вместе с ним, но господин Александер забеспокоился, стал размахивать руками, выталкивать из машины и жену и Виктора, и, посоветовавшись, они решили оставить его одного на попечение санитаров. Машина тронулась...

Когда они проезжали мимо сухого дерева, которое они с сыном посадили вчера у края обрыва, господин Александер увидел Малыша.

Он шел по дороге и с трудом тащил тяжелое, не по росту огромное ведро с водой. Когда машина поравнялась с ним, он остановился, поставил ведро на землю и посмотрел ей вслед. Господин Александер испуганно отодвинулся от окна, чтобы сын его не заметил. Скорая помощь проехала мимо и, пыля по белой дороге, скрылась за поворотом.

Малыш вытер пот подолом рубашки, с трудом поднял ведро и направился к своему дереву. Там он остановился, подтащил ведро к самому стволу и наклонил его.

Горячая растрескавшаяся земля жадно глотала воду.

Малыш поднял пустое ведро и пошел обратно, вниз по дороге, к тому месту, где раньше был его дом.

Он не знал, сколько ему придется поливать эту корягу, но был уверен, что не пропустит ни одного дня и будет носить сюда воду до тех пор, пока дерево не зацветет. Ведь отец сказал ему, что оно зацветет.

San Gregorio, январь-февраль 1984 года

## ЖАЛОБЫ ЧАСОВЩИКА

*Цикл стихотворений  
из книги «Mirabile dictu»*

1

ветлы волглые в усмерках сизы  
комарей шилоротый отряд  
в лебеде ништяки звездогрызы  
силикатную озубь острят  
кычет в сучьях пернатая дура  
роет воду ершей агентура  
шумен жукр нороящий в ночи  
на предмет пропитанья и крова  
все валдайское наше до рева  
хошь в америку струги точи

в самой таволге дремной хитро бы  
буровая известна дыра  
тружаки подземель углеробы  
темень тьмущую жмут на-гора  
отдоившись как есть на пригорок  
в казакине взлетишь negliже  
мировой несгораемый морок  
под стожары сягает уже  
утро по ветру рылом к кордону  
враз порты подобрал для пардону  
конь ли блед с седоком на борту  
тихо тикает время во рту



врозь прозябанье у трав и дерев  
 некому жизнь прошептать умерев  
 бездна березы бахчи иван-чая  
 с ботанизиркой на зорьке в поля  
 кануть растением не отвечая  
 деревом впредь никому не боля

прежде в предсердии скудной страны  
 суп мастерили из стеблей травы  
 дрогнешь гектар за сохой отхромавши  
 в ложке глаза плотвяные глупы  
 браво солдатская дружба на марше  
 песню светила до самой луны.

бритвенник времени крепкий гробовник  
 леший силен с кистенем уголовник  
 серпень так слепень лосиный закон  
 вымрешь из области ждать произвола  
 марш нам из вагнера грянь радиола  
 сидни да блудни в овсах испокон

было из наших в поту ежевик  
 редкий начпред выходил стержневик  
 зря что за фауной меньше ухода  
 прорва в траве пескаря и удода  
 по ветру трактором хоть свет обогни  
 дымной рябины горят головни

быть горю вред как голому луна  
 так чтожеству в женитвах отучиться  
 что аж бы жизнь не стоила ума  
 почувствовать и тотчас очутиться

не вещества  
быть полувообще  
тень актеона в существе оленьем  
или ядро актиния расще-  
непоправимым  
пленное явленьем

быватели поступков и пространств  
мгновенные сотвердя желаний  
чтобы устроить тщетному контраст  
как неудобству жабы бок жирафий

кто утлый зад вздымает из седла  
чья с костных башен мысль гудит мордато  
легко белея в будущем когда-то  
до новых встреч родные навсегда

4

в бегах от ябед и сутяг  
в палм-бич на старческом покое  
болит на чем кому сидят  
лицо такое  
или по скудости в ки-уэст  
где ньюджерсийских житель мест  
снимает росчерком батиста  
слезинку с дамского бедра  
одно романтику беда  
пизда костиста

так русский удручен изгой  
ушелец флагов и оружий  
когда над рачьей мелюзгой  
себе он ротмистр и хорунжий  
под репу тренирует грунт  
и резко делает во фронт

мужайся пастырь мнимых рыб  
герой старинного пасьянса  
четвертый наблюдая рим  
где бедра дивные лоснятся  
и где заезжее лицо  
любимец многих демонстраций  
о камни бедное цело  
и даровито как горацій  
но в лоб ему что комендантский гость  
крестцовая уже стучится кость

5

вот дедушка сторонник мидий  
поживу рыщет из песка  
ему как стронцию рубидий  
морская фауна близка  
годами он господствует над пляжем  
куда и мы как трилобиты ляжем

но впредь как миносу соваться на весы  
чем гостье в пасть как эскарго на вилке  
я жив я тоже гражданин весны  
земную жизнь дойдя до половинки  
и дальше в лес  
а дед в пределе узком  
свой геноцид ведет моллюскам

мать мидия мы свидимся в раю  
прощай в зобу его свирепом  
я мал мне тоже жаль идти в рагу  
и умереть и быть скелетом  
бог вещества я существую лес  
любую сойку в нем и росомаху  
им не бывать покуда я исчез  
как эта устрица к салату  
глядящая печально изо рта  
как в радамантовы врата

## 6

не ветер колдует калека  
 не в око звезды недолет  
 судьба одного имярека  
 покоя мне спать не дает  
 мы смежными были мирами  
 совместный знавали успех  
 и нежные джунгли герани  
 в окне пламенели у всех  
 нас речь поименно хранила  
 над бережной бездной держа  
 но врозь повернула планида  
 и день наступил дележа

кто божьей назначен коровкой  
 на тучные стебли ползти  
 в америке этой короткой  
 побыть напоследок прости  
 устроена детству беседка  
 и времени ноша легка  
 в хитиновом сердце инсекта  
 где анкер стрекочет пока  
 чтоб с гулками вровень горами  
 нас вынесла к пойме вода  
 и ветви вечерней герани  
 сомкнутся над нами тогда

## 7

приходится что поступаю зря  
 что без толку внутри организован  
 и в постепенном приступе тщедушья  
 то щучью воду нежно именую  
 то мышь деньгами выдать попрошу  
 я карамзин эпохи кайнозоя  
 мне совести известен рудимент

две добрых феи свинка и ветрянка  
вертели веретенышко надзора  
наотмашь мышь и ласточку-певунью  
в паштет определили в октябре

и вот я вновь устроен к вам в ужовник  
отпущенник твердынь императива  
в вирджинии где бенжамен констан  
предусмотрел нам дерево свиданий  
там тикает предательская птица  
с храповником в рубиновом очке

но ласточка из ссылки возвратится  
как ленин в ежедневном пиджачке

Вышел из печати новый номер бюллетеня инициативного комитета Ассоциации «НОВАЯ РОССИЯ» (эта ассоциация ставит целью создание русскоязычной политической автономии).

Основное место в бюллетене занимают письма, в которых зарубежная русская общественность дает различную оценку движению за «Новую Россию». В их числе – мнения ряда видных представителей русской эмиграции.

Желающих получить бюллетень просим обращаться по адресу: Lavrov Publishing House, P.O.Box 431, Bay Station, Brooklyn, N.Y. 11235. USA.

## ТРЕВОЖНАЯ КУКОЛКА

*Ирине РАТУШИНСКОЙ*

...Все по плану

Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом  
Бредил всеми землями, путая быль и небыль.

Нам бы знать – за что нас так, Боже?

*Ирина Ратушинская*

Какая промашка! Вместо того, чтоб родиться и вырасти в несравненном Буэнос-Айресе, где вместо: *Кóмо эста́ усте́?* – все спрашивают друг у друга: *Кóмо э́стан лос айрес?* – и отвечают: *Гра́сиас, гра́сиас, муй буэ́нос*, – и где веломальчик газеты *Ой* демонстративно читает ее без всякого словаря и вдобавок едет без рук, а кондуктор – обыкновенный трамвайный кондуктор – по памяти декламирует пассажирам пассажи *Октавио Паза*, – то есть вместо того, чтоб явиться там, среди этих начитанных и утонченных и стать гражданином по имени *Хорхе Боргес*; а впрочем, нет, погодите, – в *Упсале* – в неопишущей *Упсале* – или где-нибудь возле – в краю готической хмурой мудрости – и слывя профессором *Ларсом Бакстрёмом*, – быть им: во имя прелестной *Авроры* из славной семьи *Бореалис* самозабвенно творить ворожбу, именуемую *свенск поэ́й*; или вот: не взыскуя ни *Рима*, ниже *Афин*, – в несказанном *Иерусалиме*: о лучезарное детство на улице *Долороса*, среди вериг и преданий, – о Господи, да что там в *Иерусалиме*, оставим его в покое до будущего года, ведь можно явиться и под – в неказистом, пропахшем фалафелями *Вифлееме*, а нет – в преисполненной былого величья и мулов *Афуле*, а нет – в развеселом *Содоме* – и жизнь напролет как ни в чем не

бывало болтая с приятелями экклезиастовым языком, сделаться мастером гильдии Амоса Оза; словом, вместо чего бы то ни было из перечисленного или чего-нибудь в том же возвышенном и нездешнем духе – являешься и живешь чёрт-те где – лепечешь, бормочешь, плетешь чепуху, борзопишешь и даже влюбляешься, даже бредишь на самом обыкновенном русском – и вдруг, не успев оглянуться, оказываешься неизвестно кем, кем угодно, вернее, не кем иным, как собой. Вопиюще! Осознав происшедшее, ощущаешь себя как бы жертвой случайной связи – связи эгоистических обстоятельств, времен. Ты словно облеплен весь паутиной, запутался в неких липких сплетениях, в некой пряже. Проклятые Парки. Смотрите, как я спеленут, окуклен. Немедленно распустите. Мне оскорбительно. Где же ваше хваленое благородство. И муха ли я? Вы слышите? Видимо, нет. Во всяком случае – ноль вниманья. Неслыханно. В общем, типичное удовольствие ниже среднего. Так вы шутили когда-то в юности. То есть не вы, а они, иные. А тебе, осознавшему происшедшее во всей его неприглядности, было не до веселья. Наоборот, обретаясь в силках присущего априори наречия, ты впал в хроническое угрюмство. И если порой улыбался, то лишь из вежливости; да и то сардонически. Впрочем, жизнь обставала. Ища побороть депрессию, ты по афишке с постскриптумом: Слабонервных просят не беспокоиться, – трудоустроился в морг. Начав с помощника санитаря, выбился в препараты. В обязанности твои входило бритье клиентов и ассистирование на вскрытиях. Объявить, что вскрытие неэстетично, – значит слукавить, жеманно спрятаться под вуалью литоты. На взгляд абстрактного гуманиста оно от разнузданного глумления над покойным отлично только ведением протокола. И тем не менее этой, по выражению циников, операции по поводу смерти подвергаются все, скончавшиеся в больнице. Порядок свят: исключения по протекции. Бесправие несчастных напоминало о собственном. Вы

были невольники двух несогласных стихий. Ты – невольник присущего языка; клиентура – летального безъязычия. Жить и пошло, и вредно, жаловался ты прекрасным дамам по соловьиным садам. Однако и смерть – не выход. Ибо и смерть не обеспечивает нам свободы воли. И поверял им строки, сочившиеся профессиональной печалью. И в зале – по скользкой эмали – кружился полночный скелет – из бледнооранжевой дали – струился задумчивый свет. Терзания надломленного таланта отзывались в дамах сплошной экзальтацией. Тронут сочувствием, ты шептал им положенное и обретал желаемое. О, сколько бальзама давали в те юные ночи за звонкий русский сезам. А как ярились сирени по берегам зари. А как розовели в лучах ее уши неумолимых, как судьбы, котов, стерегущих возле аквариумов своих ювелирных рыб. И все-таки ты полагал себя обделенным. Хотелось таких берегов, где в обиходе иные сезамы. Их либе дих, сага по, те амор, твердили тебе героини грез. Но грезы порой оборачивались кошмарами. Чу! Позвольте, но где же выбор? говоришь ты кому-то в маске и в чем-то вроде инквизиторской мантии. Говоришь горячечно, нутряно, точно как Достоевский на исповеди у Фрейда. Выбора не дано, отвечает он холодно и высоколобо. Но ведь без выбора нет свободы, а без свободы – счастья, не так ли? Возможно, только откуда ты взял, что имеешь на счастье право? Право? мне говорили, что никакого права не нужно, что ежели мотылек рождается для полета, то личность – для счастья. Ты не личность, роняет он, ты – личинка. Да как вы смеете – что за бестактность – этс-тера. Между тем его маска спадает. Волевое лицо узурпатора. Скорбные седые глаза василиска. Неулыбчивый рот палача. Трещущий и раздвоенный, словно у игуаны, язык. Даже растроенный. Расчетверенный. Не счесть. Помилуйте, кто вы? Я – неизреченное Слово. Я Слово, бывшее в начале начал. Я – немецкое да и зеркально затранскрибированное английское я. Я – ай. Я –



я. Я – Он, Который утверждает: Я Есмь. Я Есмь, подтверждают поборники всесопряжения. Я – враг твой. Я – бич. Я – неволя, недоля и доляняя незабудка. Я – любит-не-любит. Я – стерпится-слюбится, слюбится – воспарится. И воспарив над юдолью, начнешь препарировать бытие, вычленять из него парную, кровоточащую суть. Не корми ею птиц небесных: те сыты печенью Огнекрада. Но капля по капле, кусок за куском претворяй ее в прозу живую. Терпи и трудись. Я же дам тебе и стило, и крылья. Ибо Я – язык твой. В силу закона о сообщающихся сосудах, субстанциях и состояниях от такого-то и такого-то сон и явь незаметно перетекали друг в друга, смешиваясь, будто в доме Облонских, когда к тем запросто, без звонка и без запонок, эдаким фармазоном, заезжал покуражиться замечательный русский мечтатель Обломов. Пил, топал, свистел, бранился и требовал, чтобы долой барокко, а да здравствует-де рококо. Пример, достойный всемерного подражанья. Однако к Облонским ты не был вхож, и пойти по стопам кумира было, собственно, не к кому. И вот, похерив амбициозные планы, ты поступал по сказанному языком твоим – терпел и трудился. Дело происходило в пределах от а до я и от там до сям. Лицедействуя на подмостках большого света, ты не затмил гигантов этого балагана единственно потому, что подвизался на скромных ролях. Зато ты сделался чародей мгновения, виртуоз эпизода. Никакой Оливье не сумел бы столь ловко подать пальто, споткнуться и опрокинуть поднос. Эпизодов случалось с избытком. В платяя твоего артистического гардероба можно было бы приодеть всю голь карнавальную Копакабаны. На досугах ты открывал многоуважаемый шкаф и бережно перебирал висевшие в нем наряды. Так сентиментальный мемуарист листает гроссбухи собственных сочинений. С какою-то грустью. Помимо препаратурского халата тут наблюдались: сюртук конторского клерка, униформы циркового уборщика и театрального бренд-

майора, безрукавка истопника и фрак трубочиста, костюм жокея и фартук рыночного торговца, китель егеря и траченная собаками телогрейка их дрессировщика, шинель рядового и смирительная рубаха. Последней ты дорожил как реликвией. Парадоксально: этот неброский наряд символизировал твою постепенную эмансипацию от общественно-политических предрассудков. Ибо именно в ней ты ступил на путь, ведущий в граждане мира и председатели шара. В ней в то хмурое потолстовски утро тебя увозили из мерзкой солдатской казармы – в самое вольное изо всех учреждений отчизны. Карету, украшенную красным крестом, подали к краю плаца, где муштровали гвардию. И ведомый сквозь строй ее почетного караула, ты кричал верно-подданным, вселяя в них бодрость и гордость за своего короля: Долой рококо и барокко, да здравствует сюрреализм! И в той же рубахе семьсот двадцать девять уколов спустя предстал ты пред высочайшей комиссией. Ну-с, теперь-то вы сознаете, батенька, что вы никакой не Дали? сказали тебе военные эскулапы. Так точно, теперь я – дивная куколка, выросшая из простой полночной личинки. Какая прелестная метаморфоза. Смотрите, я совершенно окуклен. Прямо роденовский Онорэ. Благодарю вас. Я благоустроен. Я больше ни в чем не нуждаюсь. И где-то внутри, в средоточье, где прежде щемило, мне сейчас бесконечно; точнее – бесконечно уютно. Но в целом – я весь тревога. Уведомлен ли о случившемся сам Сальвадор? Необходимо телеграфировать. Цито! Мол, честь имею. Преобразился. И подпись: Тревожная Куколка. Позаботьтесь, уж будьте любезны. Только боюсь, маэстро не вытерпит этой утраты. Ау, мы были с ним так двуедины. Рыдает. Смирительная рубаха на глазах темнеет от слез. И именно в ней в знак протеста против конквистадорской политики поздне-средневековой Испании и лично Америго Веспуччи маршировал ты своим нелюбимым городом вскоре по выписке. Ты унес ту рубаху келейно. Ты по-

хитил ее из дурдома словно герой-лазутчик – знамя из неприятельской штаб-квартиры. То было знамя морального большинства, ведущего необъявленную войну с Художником. Совершив сей подвиг, ты в значительной мере ослабил гидру. Однако был по крайней мере еще один повод для ликования. В соответствующем документе значилось вожделенное: Никуда не годен. Основание: Бред ничтожества на фоне вялотекущей мегаломании. И – ликовал. И являлся в своей рубахе среди недобитых гениев от изящных искусств, меж эстетов, дерзавших гласить крамолу на съездившихся площадях и в томных салонах. И в зале – по скользкой эмали – из бледнооранжевой дали. О рубаха! Это именно в ней ты прожег свою юность, будто бы сигаретой – дыру. Ах, навывлет. Какая неаккуратность. Ну разве неясно, что с подобного рода вещами следует обращаться бережно. Ведь – реликвия. Вспомни, это именно в ней ты кипел отличиться в лучших своих эпизодах, служа вышибалой, менялой шила на мыло, натурщиком, вечным студентом и прочим ловким Гаврилой. В ней, терпя и трудясь, ты вырос в типичного представителя своего экстра-класса – класса лишних в своем отечестве. В ней влился в ряды достославного ордена Отставной Козы барабанщиков. Ордена мятущихся и бунтующих, неприкаянных и непридельных, правдоискателей и юродивых ради идеи-фикс, где магистром сеньор Кихот. Барабанщик милостью Божьей, барабанщик до мозга костей, ты был откровенным врагом всего, что не нравилось. И не беда, что в силу оукленности собственно барабанить было тебе не с руки. Что нүжды. Зато ты стал выдающимся теоретиком барабана, отважным его идеологом. И сражаясь за правое дело Священной Козы, барабанил не палочками по ее барабанной шкуре, но сердцем – в ребра, но кровью – в висок, но ею же – в барабанные перепонки свои, но воплем – в чужие. Вот почему, умирая, ты сможешь сказать: Руку на сердце, я был неплохим барабанщиком

перед Богом. Похороните же с почестями. Только попусту в изъян не вводите – саван не шейте. Обрядите в рубаху – и баста. На память о том периоде, когда я жил-был, боролся и барабанил. И если угодно – мыслил. Ты мыслил как куколка. Как индивидуум. Как поколение. Как класс. Потому что тебя было много. Гораздо больше, нежели платьев в фиглярском твоём шкапу. И больше, чем тех эпизодов. Однажды ты оглянулся и понял то самое, что за век до того осознал великий американский мечтатель Уолт Уитмен, а именно: ты многолик и массов. Тебя было столь много, что хватило бы на батальную киномассовку. Да что массовка. Достало бы на хорошую гекатомбу. И осознал, что едва ли не каждый из твоего бесчисленного числа окуклен тебе подобно – обряжен в ту же холстину. И ужаснулся ты за злосчастный народ свой, рожденный в смирительной косоворотке. И язык его стал тебе горек. Ведь казавшееся в бреде молодого ничтожества мантией Великого Инквизитора, было на деле таким же – как у тебя и у каждого – красным смирительным. И исполнилось предреченное им в страшных видениях ранних лет. Опечалившись за него, разделил с ним заботы и возлюбил его. Он растворился в твоей крови и стал пылью на крыльях твоих. Потому что в те дни ты раскуклился и воспарил. Но не волшебной набоковской бабочкой, а угрюмым и серым ночным мотылем, окрыленным непреходящей тревогой. Правда, лучше парить угрюмо и серо, нежели не парить никак. Поступая указанным образом, ты осознал себя малой, но вольной молью родного наречия и хлопотал воспарять все выше. Однако же в целом язык – как и прежде – влачилсЯ внизу, во прахе немилрой юдоли, или лежал, как бесправный больничнЫй труп – жертва летального безъязычия. И тупые, бескрылые препараторы в алых косоворотках все глумились над ним, язвя. О несчастный, бессильный, окукленный и оглуленный русский язык, говорил ты себе, перифразируя Ивана Тургенева. И молился. Господи, сохрани и

помилуй присущее нам наречие, ибо иным не владеем. Сохрани и помилуй нас, тревожных его мотыльков, слабо реющих по свету и мельтешащих среди других языков и народов. От Упсалы до Буэнос-Айреса. Нас, угрюмых и серых, носящих на крыльях своих прах его летописей и азбук, пепел апокрифов, копоть светильников и свечей. Нас и тех, которые ищут выхода из смиренных обстоятельств, чтобы воспарить вслед за нами. И тех, что не ищут. И тех, что не воспарят. Воззри на нас и на них. Поговори к нам высоким Твоим эсперанто. Дай знак. Укрепи. Наставь. Подтверди, что Аз Есмь, и что это уже не сон, а явь. А сон – разбуди и откройся. Лишь мне, малому мотылю. Мне, моли. Мне, праху и пеплу. Шепни на ухо. Прошелести опавшим листом – листом ли рукописи – бамбуковой рощей; за что?



**Израильский журнал на русском языке не только для евреев.** Каждую неделю: *Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами.* – Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Харарец», «Джерузалем пост» и т. д.) – Лучшее из журналов Свободного мира. – Самиздат. – Роман в продолжениях. – Письма читателей. – Дискуссии без цензуры. – Новые рассказы и повести несоветских русских авторов. – Что происходит по ту сторону кордона и др.

Цена для Европы на 3 месяца – 75 марок ФРГ,  
для США и Канады – 30 долларов США,  
включая пересылку авиа.

УТРО

Человеческая ладонь похожа на географическую карту.  
Линии на ладони похожи на реки.  
По рекам плывут лодки.  
В лодках сидят люди.  
Любят, поют, смеются.  
Иногда умирают.

По берегу идет прохожий,  
Рядом с ним – разноглазая лайка,  
Нюхает пристально воздух,  
Ждет интересных событий.  
Прохожий мечтает о славе,  
Лайка мечтает о слове,  
Оба мечтают о счастье.

Человеческая ладонь похожа на географическую карту.  
По берегам рек примостились домишки.  
В домишках примостились заботы.  
Иногда они смотрят из окон.  
Бедный мечтает о деньгах.  
Богатый мечтает о деньгах.  
Оба мечтают о счастье.

Жена сидит у окошка,  
Ждет законного мужа.  
Девушка сидит у окошка,  
Ждет незаконного ребенка.  
Старуха лежит у окошка,  
Ждет незнакомой смерти.  
В глазах у троих – надежда.

Человек расстается с постелью,  
Направляется к туалету,  
Топчет босыми ногами  
Утренний, звонкий кафель.

Что творит – человек не знает.  
Человек, осторожно, люди!  
Человек ничего не слышит.  
Человек умывает руки.

### ЧУЖИЕ ЛИЦА

Среди рыночного хлама  
В пыльных рваных коробках  
Лица дореволюционных фотографий  
Одинакового коричневого цвета  
На добротном глянцевином картоне  
С именованным клеймом фотографа в нижнем углу  
В торжественные моменты жизни.

Старомодные праздничные наряды,  
Причудливые шляпы и шляпки,  
Чьи-то кокетливые мамыши,  
Гордые женихи и невесты,  
Чопорные бабушки-колдуньи,  
Самодовольные отцы семейства,  
Милovidные гимназисты и гимназистки,  
Резвые пухлощечные детки –  
Чужие родственники.

У всех умные выразительные лица.  
Они смотрят с надеждой на будущее.  
А их будущее уже прошло.

Этот, верно, погиб на войне.  
Этого унесла болезнь.

Этот застрелился из-за долгов.  
Эта утопилась из-за несчастной любви.  
Этого расстреляли за политику.  
Эта умерла от голода.

Где их дети, внуки, потомки,  
Которые бы их хранили  
В бархатных тисненых альбомах  
С золотыми застежками?

Чужие, безродные лица.  
Их давно уже нет на свете.  
А они смеются.

#### СТИХОТВОРЕНИЕ О ЛЮБВИ (РУКОВОДСТВО)

Очень легко написать стихотворение о любви,  
Сравнив глаза любимой с чем-нибудь ярким,  
Губы – с чем-нибудь красным,  
Стан – с чем-нибудь стройным и т. д.  
(Не забыть рифмы!)

Или, если любимая красотой не блещет,  
Похвалить ее ум, доброту, характер.

Или, если любимая ничем не блещет,  
Описать силу своей любви к ней  
(навсегда, без ума, горячо, неземная).

Или, если о своей любви особенно сказать нечего  
Описать в красках вечер первой встречи  
(море, звезды, тюльпан в волосах, бокалы).

Или, если первой встречи не было,  
Описать в красках вторую встречу или третью.



Или, если вообще не было ни встреч, ни любимой,  
Создать их силой своего поэтического воображения.

Или, если нет ни встреч, ни любимой, ни поэтического  
воображения,

Написать стихотворение о том,  
Как легко написать стихотворение о любви,  
Сравнив глаза любимой с чем-нибудь ярким,  
Губы – с чем-нибудь красным и т. д.  
(При этом не забыть рифмы!)

### ЧЕЛОВЕК РАЗДЕВАЕТСЯ

Человек раздевается:  
Скидывает башмаки и шляпу,  
Снимает пиджак и брюки,  
Стягивает рубашку,  
Прячет в тумбочку совесть,  
Швыряет любовь в корзину,  
Вешает на крючок надежду –  
Человек-невидимка.

### ТРАКТАТ О ЗЕРКАЛЕ

Во всем мебельном семействе  
Один подкидыш – зеркало.  
Среди домашних теплых и слепых вещей  
Оно одно выглядит таинственным чужестранцем,  
Предметом иного мира,  
Пришельцем из космоса.  
Холодным.  
Светлым.  
Гладким.  
Зрячим.

## Зеркало. Зыркало.

Ни один предмет мебели не удостаивается  
Такого пристального ежедневного внимания.  
Ни одна вещь не является  
Источником таких душевных мук,  
Восторгов, огорчений, слез, отчаяния.

Другие предметы быстро выходят из строя.  
В шкафах ломаются ящики.  
В диванах лопаются пружины.  
Обивка теряет невинность.  
Стулья превращаются в инвалидов.  
Только зеркало не стареет.

Еще недавно перед ним стояла  
Шестилетняя девочка с розовым бантом,  
Сегодня в него глядится  
Морщинистая вдова в черном платке.  
Неужели это одно лицо?  
Все в мире покрывается трещинами, гаснет, стареет.  
Лишь зеркало сверкает чистотой и молодостью.  
Обычно оно переживает хозяина.

Иной раз, подходя к зеркалу, думаешь:  
Оно знало твою прабабушку,  
Которую ты и в глаза не видел.  
Ее подруг, родственников, обожателей.  
Было свидетелем всех тайных и явных встреч,  
Надежд, неудач, смертей, расставаний.  
Куда ушла эта жизнь?  
Кто ее помнит? Зеркало?

Человек привыкает к зеркалу, как к наркотику.  
Тираны репетируют перед ним явления народу.  
Влюбленные репетируют пылкие взгляды.  
Женщины – обольстительные улыбки.  
Поэты встречаются со своими двойниками –  
Самыми тонкими ценителями искусства.

Зеркало всемогуще и неумолимо.  
Оно превращает дурнушку в красавицу.  
Красавицу в дурнушку.  
Скрывает страшные пороки.  
Открывает страшные тайны.  
Спасает от одиночества.  
Приговаривает к одиночеству.  
Подписывает смертный приговор.  
Зеркало. Зверкало.

Все предметы созданы ради удобства.  
Зеркало создано, чтобы осложнять жизнь.  
Оно, несомненно, подарок дьявола.  
Без зеркала люди были бы счастливей.

Зеркало не отражает вампиров.  
Лучше бы оно не отражало  
Убийц, доносчиков, лицемеров, лжецов.

Зеркало манит человека внутрь.  
Он думает, что Зазеркалье интереснее жизни.

Стоя перед зеркалом  
Человеку хочется крикнуть:  
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»  
Так как все последующее  
Может быть гораздо хуже.  
Ибо время – неумолимо.  
Жизнь – улица с односторонним движением.  
А зеркало – безжалостное напоминание  
Обо всем этом.

## ДЕТСТВО

В серой шапке, похожей на беременную кошку,  
В рыжей потертой шубе искусственного меха  
Вспоминаю тебя, мама.

Тогда еще женщины носили муфты.

(Сейчас этого никто не помнит.)

В Раменском не было вечером электричества,

И ты зажигала маленький фонарик,

Аккуратно вделанный в муфту,

Работающий на двух батарейках.

Подарок отца в годовщину свадьбы.

Тогда тебе было около двадцати пяти, мама.

Ты умрешь через тридцать лет от рака легких,

А сейчас тебе только двадцать пять,

Или двадцать шесть.

Ты идешь по дороге к дому,

Усталая после работы,

В одной руке – сумка, в другой – сетка.

В сетке, кроме хлеба, вкусные вещи.

Иногда петушки на палочке, иногда фруктовые вафли.

Целыми днями я гоняю по улице железный обруч,

Подталкивая его твердой проволочной клюшкой.

(Сейчас эту штуку никто не помнит.)

Или дразню детдомовскую собаку Динго.

Или грызу жмых – угощение железнодорожницы тети

Фроси,

Или извлекаю серебряную ленту

Из выброшенного старого конденсатора –

Она красиво развевается на ветру,

И из нее можно делать птиц и лягушек.

В этом ноябре зима запоздала:

Нечем играть в снежки, не на чем кататься,

Рано прикручивать к валенкам снегурки.

Я маленький русский мальчик.

Через два года я стану евреем.

Через двадцать семь – американцем.

А сейчас мне только пять лет,  
Или шесть.

Набегавшись с мальчишками,  
Я вечером возвращаюсь домой, в тепло.  
(Тетя Фрося уже затопила печку.)  
Ножницами вырезаю из бумаги узоры,  
Играю с кошкой, слушаю радио, смотрю в окно.  
И когда в темноте начинает мелькать маленький огонек,  
Я радуюсь: это идет мама.

### АВТОМОБИЛЬ

Человек создал автомобиль  
По образу и подобию своему.

У автомобиля два глаза.  
У автомобиля четыре конечности.  
Сложный мозг.  
Ненасытный желудок.  
Потребительская философия.  
Автомобиль спит, ест, работает, гадит.  
У него есть имя, паспорт, прописка, национальность.

Автомобили делятся  
На богатых и бедных,  
Здоровых и больных,  
Счастливчиков и неудачников.  
Автомобили рождаются, стареют и умирают.

Человек создал автомобиль  
По образу и подобию своему.  
Но не автомобиль молится человеку,  
А человек автомобилю.  
Последний иногда убивает бога.  
Почти безнаказанно.

## СВИСТ

Свист неизвестной птицы.  
Свист пастушьей дудочки.  
Свист влюбленного под окном.  
Свист чайника на кухне.  
Свист уходящего поезда.  
Свист летящего осколка.  
Свист ветра в январе.  
Свист времени в пространстве.

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ!

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛ «ДВАДЦАТЬ ДВА»**  
(В каждом номере 224 страницы)

Оригинальная и переводная проза, поэзия, статьи. Актуальные проблемы мира и Ближнего Востока. Анализ политических ситуаций в России и на Западе.

С 38 номера начало публикации самого знаменитого детективно-политического романа десятилетия – «Маленькая Барабанщица», о сложнейшей операции израильской разведки против террористов. (Исключительное право перевода предоставлено автором Джоном Ле-Карре нашему журналу).

Подписная цена на год (6 номеров) 40 долларов (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56). Заказы с указанием начального номера подписки и чеки посылать по адресу: «22», Ramat-Gan, Israel, P. O. Box 7045.

## КОРОТКИЕ ПОВЕСТИ

\*            \*  
\*

Жарко... Пекло такое – деваться некуда. Мы заползаем под ящики, в тень, а сволочь пользуется этим и весь обеденный перерыв пудрит нам мозги. Каждый раз он что-нибудь преподносит, а вот сегодня забуксовал. Опять про службу свою в Рузаевке, про коридор, да про дверь стал рассказывать. По второму кругу пошел. Видать, выдохся начисто...

Я думал, как уеду из Союза, так уж больше этих не увижу, а получилось, что и тот служил в охране, и этот служил в охране. Те трудились на идеологическом поприще, а эти – в трибунале. Я не хочу сказать, что здесь собрались только такие, но все равно, если б ребята увидели, с каким быдлом я здесь вожу знакомство, они бы точно мне рыло начистили.

Про коридор тот я слышал не раз. И видеть кое-что пришлось, но вот про дверь я ничего не слышал. Ее тогда могло и не быть. Я сидел в Рузаевке сразу после войны. Время было тяжелое. Думаю, так обходились.

Коридор узкий, длинный, метров пятнадцать. В конце коридора дверь. Дверь не на петлях, а привернута к стене болтами, и нет за ней никакого входа или выхода.

...Идет осужденный по коридору. Приговор ему зачитали раньше. Идет он. Вроде все ясно... Но вот дверь его с толку сбивает. А вдруг за дверью ждут... может, это не совсем конец. ...Ведь других-то отправляют на рудники. Могут и его туда отправить.

Идет он по коридору. Шагов десять сделает, можно б дальше идти, коридор-то длинный, но у них правило. В инструкции сказано, чтоб дальше не пускать. Там даже отметина есть в полу... Он как доходит до этой отметины, так ему в затылок очередь из автомата.

\* \*  
\*

Курево кончилось. Я думал, у соседей найду. Проквырял к ним отверстие. Спрашиваю, а у них тоже нет.

Дня через два стучат ко мне в стену. Я ухом прижался к отверстию, слышу сосед зовет: «Эй, москвич! Тут к нам новенького бросили. Табак теперь есть. Хочешь, поделимся?» Я уж не ждал. Конечно, обрадовался. Потом я спросил у соседа, откуда он знает, что я из Москвы. А он, оказывается, сразу узнать может, любого. Он на Курском вокзале в Москве носильщиком работал.

В Озерлаге у нас в бригаде был учитель. Не помню, как получилось. Я кому-то рассказал про соседа. Учитель услышал. Стал жалеть, что носильщик тот в институте не учился. Говорит, большой ученый из него мог бы получиться. А меня зло взяло. Я еще в школе учителей не любил. Я сказал, что не все ль равно, как сидеть, с дипломом или без диплома... Учитель стал доказывать, горячиться. А я с ним спорить не стал. И не потому, что он у нас был раздатчиком, а просто связываться не хотел.

\* \*  
\*

Подумаешь... Осчастливила... Села в наш вагон. Делов-то куча... Голову повернула... А эти сразу замол-



чали. Только мы с Шульгой разговаривали, смеялись, как ни в чем не бывало. Да громко так.

Мы ехали до Москвы. Она вышла раньше – в Лосинках. Кто-то ждал ее на платформе. Там, как раз у перехода, щит стоял – разглядеть было трудно. А мы с Шульгой высунулись из окна, нам всё было видно – и как она шла, и как он смотрел на нее, и как потом они вместе пошли... И как она на него смотрела... Многие ничего разобрать не могли, а мы с Шульгой всё видели.

## **Журнал «БЪДЕЩЕ»**

на болгарском языке, ежемесячник,  
издающийся в Париже

*Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.*

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,  
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$  
Par avion: 50 \$)

## СТИХИ

\*            \*  
                 \*

Как пасмурно, как, право слово, стыдно  
Глядеть в окно, где с горем пополам  
Толчется снег, и ничего не видно  
Сквозь этот мутный пляшущий бедлам.  
Набрось пальто – до лавочки недолго.  
Не поленись... Купи кусочек дня  
С кусочком неба – хватит и осколка...  
Ты попроси. Скажи, что для меня.  
Колокола в развале снегопада...  
У нас куранты по-другому бьют.  
Бог с ними. Тех курантов мне не надо.  
Мне б молодости, если продают!

\*            \*  
                 \*

У меня пропадают вещи.  
Говорят, это признак зловещий.  
Вот лежит на окне тетрадь,  
Только что я листы ей тревожил,  
А на миг отвернулся – и что же?  
Где она? Днем с огнем не сыскать.  
А вчера этот письменный стол  
Как иголка в стогу затерялся,  
Где-то прятался, не отзывался,  
Но потом потихоньку пришел.

Происходят события эти,  
Словно мы между явью и сном...  
А сегодня я, вздрогнув, заметил,  
Что исчезла страна за окном.  
И река не по-нашему плещет,  
И не здесь я свой хлеб покупал.  
У меня пропадают вещи...  
Да и сам я, как видно, пропал.

\*            \*  
              \*

Степь прилегла к небесному подножью.  
Трава, пригревшись, дремлет у щеки.  
И бредит ночь. И мы уснуть не можем.  
И тянет грустной сыростью с реки.  
И я гляжу в минувшее, как в воду,  
Которая колыхается едва.  
И кто-то мне до самого восхода  
Читает окаянные слова.  
Из Библии, из Данте, из Корана,  
Из Пушкина проклятую строку...  
И я не знаю, поздно или рано  
Всё переделать на своем веку.

\*            \*  
              \*

Я заблудился в Монтиньоцо.  
Меня объехав на кривой,  
Смеялась улица-стервоза,  
Гора качала головой.  
А это было летом, летом,  
Когда земля цвела, цвела  
И ослепительным букетом  
В моря Италия плыла.

К воде с небесного обрыва  
Века катились, как шары,  
И было странно и красиво  
Мне стать участником игры.  
А это летом, летом было,  
Когда цвела, цвела земля...  
Чужая речь кругом бурлила,  
Сверкая, прыгая, юля.  
И я не мог найти дороги  
В тот дом, откуда вышел я,  
И плыл без страха и тревоги –  
Воздушный шарик бытия.

#### ФРАНЦУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Конечно, спасения нету,  
А все же – последний шанс...  
Мария-Антуанетта  
Раскладывает пасьянс.  
Сидит на скамеечке чинно  
И веером карты в руке,  
И, будто совсем беспричинно,  
Дрожит голова в парике.  
Ведь вышло однажды. Проверить  
Нельзя это точно – а жаль.  
Но как же, но как же не верить  
Словам госпожи де Ламбаль?  
Король затерялся... О, Боже!  
И дама легла не туда.  
Опять неудача... А, может,  
Получится вдруг?.. И тогда  
Соратники вырастут грозно  
У настежь раскрытых дверей...  
«Какие вы! Было бы поздно!»  
«Скорей, королева, скорей!»

Торжественный гул колокольный –  
О сколько голов упадет!  
И снова, крестясь богомольно,  
Шестерку к семерке кладет.  
А ужас всё шепчет ей в ухо:  
«Ты выйдешь сама из игры».  
И глухо, сочувственно-глухо  
Стучат под окном топоры.

#### ПОЭТ

Сидит он веселый и пьяный  
У письменного стола.  
И говорит мне: «Здравствуй!  
Ну как, – говорит, – дела?  
Нелегкая, брат, работа  
Стихи, – говорит, – писать.  
Но мы-то с тобой умеем,  
У нас, – говорит, – на ять».

Сидит сатир краснолицый,  
Прихлебывая перно.  
«Другим, – говорит, – не светит,  
А нам, – говорит, – дано.  
Давай, – говорит, – не бойся,  
Старайся – и в этом суть –  
До Лермонтова добраться,  
До Пушкина дотянуть».

Слетает поэзии муза,  
Готовая слушать нас.  
Но я ему «Мцыри» читаю –  
В десятый, наверное, раз.  
Читаю Бодлера и Блока,  
А он мне в ответ – Навои...  
И это до крови жестоко  
Потом перейти на свои.

## ВЕРЛИБР

Мне надоел стих,  
Подчиняющийся законам всемирного тяготения,  
Ограниченный размерами,  
Как параграфами устава.  
Ненавижу плод,  
Спелый и сладкий,  
Как ожидание.  
Не лучше ли  
Шипы и зазубрины неструганой мысли,  
Кисловатая оскоми́на верлибра?  
Ать! Два!  
Я тысячу лет был солдатом.  
Время военное,  
Но почему бы на минутку не выйти из строя?  
Жесткие руки швырнут меня спиной в колючую стену.  
Никаких священников – мы неверующие...  
Залп!

## РУСАЛОЧКА

В Копенгагене есть бронзовая статуя андерсеновской Русалочки. Ночью неизвестный злоумышленник отрезал ей голову.

*Из газет*

Русалочка! Ты дважды умерла!  
Тот человек, тот принц тебя не стоил.  
Я знаю, это он пришел с ножовкой.  
Пусть его полиция разыщет  
В старинной книге... Но ведь там он принц!

А пароход плывет по Скагерраку  
И капитан любезно объясняет,  
Что здесь доньше водятся русалки,  
Но их отлов недавно воспрещен.  
И все вокруг смеются этой шутке.

Моя святыня! Девочка моя!  
Тот человек, тот принц тебя не стоил.  
Я уйду в каюту. Я тоскую.  
И пароход вздыхает тяжело,  
Как будто бы кипит котел, и ведьма  
Помешивает варево любви.

\* \*  
\*

Теперь всё чаще, Господи, все чаще  
В тумане перепутанных дорог,  
Из бурелома, из словесной чащи  
Навстречу мне выходит слово Бог.  
Я от него не в силах уклониться  
И все-таки мне это только снится.  
Мой разум недоверчив – есть предел!  
Но отчего в душе легко и звонко?..  
.....  
Вчера в лесу я видел олененка –  
Бог, стоя рядом, на него глядел.

\* \*  
\*

Господи, дай умереть  
Не на больничной постели  
И не в ванне  
С плавающими по воде розовыми лепестками,  
А за столом,  
Зарывшись лицом в тетрадь,  
В белую страницу,  
Где последняя строчка,  
Самая лучшая,  
Не записана навсегда.

Но, может быть, ангелы  
Передадут ее другому поэту,  
Который родится завтра  
И проведет жизнь,  
Чудесно наполненную стихами.  
А когда настанет его день,  
Он упадет лицом в тетрадь –  
С этой строкой,  
Последней,  
Еще не записанной и не сказанной.  
Но, может быть, ангелы...  
.....  
Господи, только бы не забыли ангелы!

**Наталья Горбаневская**

**ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ**

С Т И Х И

*Осень 1982 – весна 1983*

Париж, «Контакт», 1985, 63 стр.      Цена 30 фр.

**ГДЕ И КОГДА**

С Т И Х И

*Июнь 1983 – март 1985*

Париж, «Контакт», 1985, 54 стр.      Цена 30 фр.

**Продаются в парижских книжных магазинах:**

LES EDITEURS REUNIS – 11 rue de la Montagne Ste-Geneviève, Paris 5e;

MAISON DU LIVRE ETRANGER – 6 rue de L'Eperon, Paris 6e;

LIBRAIRIE POLONAISE – 123 bd. St. Germain, Paris 6e;

POLEMIKA – 49 rue Gay-Lussac, Paris 5e.

**Книгу можно также заказать в издательстве через «Русскую мысль» (Kontakt c/o La Pensée Russe). При заказе десяти и более экз.**

**– цена одной книги 20 фр.**



## РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

### КИЕВСКИЙ РАССКАЗ

Хорошее было время – почки, лужи, октябрюта на улице, строем – быстрее, быстрее, кто там отстал – ты, Николаев? смотри у меня! И подсыхал Бибиковский бульвар, и ласково шелестели на нем цветные бумажки – в спринт играли жаждущие: эх, не надо, не надо пять тысяч – одну хотя бы, хотя бы одну, и я войду в дом как мужчина – Надежда, скажу я... Но не рвется проклятая бумажка, а может, и нет в ней ничего? жизнь, милая, ну за что ты меня так не любишь?

Хорошее было время, и место тоже ничего себе, но и временем и местом был недоволен непризнанный поэт Никифоров, который шел себе по бульвару в сторону Бесарабки, и чем дальше, тем грустнее ему становилось: ох, нехорошо кончался бульвар на том конце!

Нет, подумал Никифоров, не пойду. Нету сил.

А куда пойти, он не знал, потому что идти домой друг его, встреченный час назад, очень и очень не советовал, а к другу тоже было нельзя, и уж тем более нельзя к Майечке... гиблое место, думал поэт Никифоров.

Разумнее всего было бы пойти на вокзал и сейчас же уехать, но без чего угодно может прожить человек – без жены, без квартиры, без работы даже, и тем более без любви и ласки, и без хлеба можно прожить, и без масла – не спорьте, это уже проверено – безо всего этого, говорю я, можно обойтись. Кроме одного. Нельзя прожить без документов.

А документы поэт Никифоров держал в тумбочке, в том самом доме, куда очень и очень... Раз нельзя на вокзал, рассудил Никифоров, то можно в метро. И он кинул в щелку нагретый пятак и с неприятным чувством прошел между стойками – все ему казалось, что лязгнут сейчас автоматы и грянет свисток.

Он вышел на Брест-Литовский проспект, и снова накинута на него весна, затормошила и насмеялась над ним в лице птицы грача, ослепила и в довершение всего визгнула на него тормозами. Ну и ладно, подумал Никифоров. И поскольку был он хоть и непризнанный, а все-таки поэт, то тут же и сваял дурака.

Вместо того, чтобы хоть как-нибудь действовать – логично, продуманно, а главное – быстро, – он остановился посреди проспекта и уставился на деревья каштаны. Те не спеша выгоняли листочки, и не было в этих листочках самодовольной эмблемы, ничего такого они еще не значили, а висели себе лохмато и трогательно, как необрезанные щенячьи уши.

Никифорову почему-то стало обидно. Ну их всех, подумал он, вот стану здесь на газончике – и во что-нибудь такое превращусь, и тоже уши развешу.

А там глядишь – и времена переменятся, кинутся тогда черновики восстанавливать – а я тут как тут! Он оглянулся, не смотрит ли кто, разулся и стал укореняться. Пошло хорошо.

– И как же я, дурак, раньше до этого не додумался? – блаженно соображал Никифоров, выкидывая первый лист. Вскоре он познакомился с соседями. Ближайший, Яков Семенович, стоял тут с 52-го года и числился ветераном. Он помнил и оттепели, и засухи, хорошо изучил в свое время, куда шепки летят, и раз навсегда научился не поддаваться предательским апрельским обманам. Никифоров узнал от него много интересного и в свою очередь поделился последними новостями. Яков Семенович, впрочем, был в курсе.

Другим симпатичным соседом был Володечка, мальчик из интеллигентной семьи, совершенно, как оказалось, не подготовленный к простым житейским ситуациям. Он бредил Скрябиным, любил Анненского и хотел когда-нибудь стать историком. В сравнении с ним Никифоров чувствовал себя усталым и мудрым, и ощущение это оказалось приятным, хотя и грустным, конечно. С остальными Никифоров тоже быстро сошелся и стал постепенно втягиваться в общий неспешный ритм.

Но однажды ночью проснулся от предчувствия и разбудил Якова Семеновича. Они молча дождались рассвета, серого и теплого, с мелким дождичком, и все вроде бы шло как обычно – прошуршали дворники, сгустился поток на шоссе, и вот-вот начаться бы часу пик – там и день, и, может быть, стало бы полегче, но тут напротив них остановилось несколько машин.

Оттуда вышли и что-то вынесли, что – Никифоров не разглядел. С этим они подошли к ближайшему от угла дереву, и еще до того, как раздался выматывающий душу механический вой, Никифоров понял: будут пилить. Он увидел, как свалился тихий Андреич, но уже знал, что сам он еще успеет уйти, если сейчас, если сию секунду... и с отчаянием рванул корни.

– Я же просто гуляю, – думал он, заслоня Володечку, – ничего, что я босиком – вот такой я чудак... бег трусцой вокруг дома... как Лев Николаевич... а на газоне я случайно, готов штраф заплатить... Володечка! Ты запомнил адрес? Ты не перепутаешь? Майечка добрая, ты ее не стесняйся, так ей все и скажи... да быстрее же, дурачок, вон беги за автобусом!

И проводив его глазами, Никифоров выждал минуту, а потом ступил на асфальт и устремился следом. Но тут же почувствовал руку на своем плече.

Алексею Петровичу Иришину с утра было не по себе. Дела шли вроде бы нормально, и даже нашлись наконец накладные из треста, которые куда-то запропастились еще в пятницу. И все же Алексея Петровича не оставляло смутное беспокойство. Временами ему казалось, что на самом деле на работу он не явился, а вместо этого отоспался как следует, не спеша позавтракал, и теперь все еще сидит на теплой кухне, попивая какао «Золотой ярлык».

Ощущение это все нарастало, приобретая силу реальности. Наконец Алексей Петрович не выдержал и набрал номер.

На том конце кто-то поднял трубку.

– Алло, это квартира товарища Иришина? – спросил Алексей Петрович.

– Да, – ответил неприятный, но очень знакомый мужской голос.

– Алексея Петровича попросите, пожалуйста, – сказал Алексей Петрович.

– Я вас слушаю, – ответил неприятный голос.

При этих словах Иришин испытал даже что-то вроде облегчения. Он покосился на дверь и немного понизил голос.

– Здравствуйте, Алексей Петрович. Это вас Алексей Петрович Иришин беспокоит.

– Здравствуйте, Алексей Петрович, – сухо откликнулся голос.

– Я бы не решился беспокоить вас так рано, Алексей Петрович, если бы не...

– Ничего, я уже встал, – перебил голос.

В этот момент Иришин вдруг почувствовал, что совершенно не представляет, о чем бы еще поговорить. Повесить же трубку было как-то неловко.

– Вы откуда говорите? – спросил неприятный голос, когда пауза неприлично затянулась.

– Из «Рембыттехники», – поспешно ответил Алексей Петрович, испытывая почему-то желание добавить, – сэр.

– Ну и как там? Нашли накладные? – поинтересовался голос.

– Да-да, буквально сию минуту нашли, – заторопился Алексей Петрович, шевеля пальцами от напряжения.

– Прекрасно. Вот и займитесь ими сразу же, – распорядился голос. – Да, кстати, Варя просит напомнить, чтобы вы по дороге купили две пачки пельменей.

– Конечно, конечно, я помню.

– До свидания, – неласково сказал голос.

– До свидания, Алек... – начал было Иришин, но услышал короткие гудки и замолчал. Потом пожал плечами, без стука положил трубку на рычаг и придвинул поближе к себе большую коричневую папку с надломанным углом.

Над этой папкой Алексей Петрович просидел с небольшими перерывами до конца рабочего дня. И только надевая пальто, чтобы идти домой, вспомнил об утреннем разговоре и с досадой подумал, что это уже все-таки слишком – четвертый день подряд обедать одними пельменями.

## КРУШЕНИЕ МИФА

Овсянников написал диссертацию. Называлась она «Математические методы исследования некоторых мнимо загадочных сторон Бермудского треугольника». Используя мощный аппарат теории групп и материалы Международного геофизического года, Овсянникову удалось получить несколько поразительных результатов. Выяснилось, что сумма углов Бермудского треугольника равна  $180^\circ$ , а медианы пересекаются практически в одной точке.

В ученых кругах поползли слухи. Овсянникову присылали приглашения на конференции, симпозиумы и телепередачу для студентов-заочников. Шеф Овсянникова вел с Дальневосточным пароходством переговоры о внедрении. Неприятным диссонансом прозвучало выступление профессора Заохтенского, вице-президента Международной ассоциации Бермудистов-подводников. Почтенный старец не подвергал сомнению математические выкладки, но, опираясь на результаты замеров, проводившихся в 1910 году в Авачинской губе, считал результаты Овсянникова несколько завышенными.

Назревал серьезный научный кризис. Провести решающий эксперимент было поручено находившемуся в тех краях гидрографическому судну «Флуоресценция», на котором имелся 16-дюймовый башенный транспорт. В день выхода к гипотетической точке от «Флуоресценции» не было радиограмм. Не было их и на другой день. На третьи сутки Овсянников уже начал волноваться, что придется переделывать введение, но тут связь возобновилась.

Успех эксперимента был полным. В точке пересечения медиан был установлен опознавательный буй. Сумма углов треугольника даже превзошла теоретически предсказанную. Защита прошла с блеском.

Впрочем, о том, что медиан оказалось четыре, Овсянников на ней не упомянул. Впереди была еще докторская.

## СКАЗКА О ТРЕХ ГОЛОВАХ

Жил-был один дракон, большой лентяй.

У нормальных драконов, как известно, от семи до двенадцати голов, этот же отрастил только три, да и то с трудом. Всё же эти трое исправно соображали на троих, каждый раз ворую из автомата стаканы.

В один прекрасный четверг сел дракон обедать. Как положено: три тарелки с первым, три – со вторым, и три вишневых компота. Первая и Третья головы заулыбались и стали облизываться, а Вторая подумала: – Это ж сколько посуды мыть! – и затуманилась.

Помолчала-помолчала, а потом как брякнет:

– Надо, ребята, всю посуду обобществить. Вали все как есть в одну миску!

– И компот?! – ужаснулась Третья голова.

– И компот! – рявкнула Вторая, хотя про компот-то она и не подумала. Но делать нечего, – не пропадать же почину!

Обобществили; стали есть. Тут-то Вторая голова себя и показала: хруп-хруп, и всё подмела. Тем двум головам только косточки остались. Но Вторая голова быстренько им доказала, что в косточках как раз – все витамины. И обе головы как-то автоматически сказали Второй «спасибо», когда дракон вставал из-за стола. Хитрая голова сначала удивилась, но потом сделала свои выводы.

На следующий день она и говорит:

– Надо, ребята, организовать у нас ячейку. Нас тут как раз трое – и до сих пор еще не охвачены.

– А зачем нас охватывать? – робко спросила Первая голова.

– Надо, – внушительно ответила ей Вторая (потому что она уже поняла, что отвечать следует внушительно).

– Ну раз надо, то конечно, – согласилась Первая, – а что мы будем делать?

– А вот что положено, то и будем делать, – отвечала Вторая. – Да вы не смущайтесь – мы с вами таких дел наворотим!

– А я не умею дела воротить, – заикнулась было Первая.

– Не умеешь – научим, не хочешь – ...

– Хочу, хочу! – поспешно сказала Первая голова,

которой уж очень страшно показалось узнать, что будет, если вдруг она не захочет.

– Вот и ладненько, – бодро сказала Вторая, уже заметно войдя во вкус. – И ты, конечно, тоже с нами? – подмигнула она Третьей голове.

– Да нет, я как-то... – промямлила Третья голова, не реагируя на подмигивание. Теперь уже обе головы на нее набросились:

– Ты что же, такая-сякая, от коллектива отрываешься?!

– Ну, я подумаю... – слабо отбивалась Третья, явно сдавая позиции.

– Ну, подумай, подумай! Умнее других, значит, быть хочешь. Крепко подумай! – сказала Вторая голова каким-то новым тоном и тем положила конец беседе.

Всю ночь Третья голова вздыхала, всхлипывала и размазывала слезы ушами. А наутро сказала, что она хоть и не все понимает, но все же в общем согласна и против коллектива не пойдет.

Организовали ячейку.

Стали потихоньку дела воротить, хотя Третья голова по-прежнему не все понимала. Другие драконы, даром что с двенадцатью головами, стали в пояс кланяться. А кто пробовал по старой привычке огнем дышать, того съедали: раз – и нету.

И так оно все шло и шло, пока Третья голова наконец не стала кое-что понимать. Тут Вторая голова забеспокоилась.

– Что-то больно грамотная стала у нас Третья, – сказала она Первой голове, – к тому же уклон у нее какой-то правый... Не навязала бы она нам ненужную дискуссию!

Короче, подумали они, пошушукались – и съели Третью голову.

И все бы дальше пошло неплохо, да только Первая голова стала после этого как-то дергаться и кричать по



ночам. А это было очень неудобно, тем более, что при создавшемся положении у нее была половина голосов.

Пришлось Второй голове дожидаться ночи, и ее съесть. А удивленным знакомым она говорила, что Первая голова находится на излечении с полным обеспечением по состоянию здоровья.

Ну, а дальше все пошло уже совсем хорошо. И те, которые с семьей головами, по-прежнему кланялись в пояс, а те, которые с двенадцатью – и вовсе куда-то запропали.

А потом наш дракон, теперь уже одноголовый, поленился на конечной станции метро. И ему защемило голову дверью, и увезло в неизвестном направлении.

И это так и должно было быть, потому что какая же это сказка без счастливого конца?

## СЛУЧАЙ С АКСЮТИНЫМ

И вдруг Аксютин заметил дым. Вернее, это был еще запах дыма, но он безошибочно привел Аксютина в незнакомое парадное, а там уже потянуло гуще, и сомнений не осталось.

Заметались в памяти плакаты: «Не давайте детям...», «Не оставляйте включенными...», и даже какой-то Козьма – пожарный выплыл из глубин прочитанной литературы. И, пока Аксютин бежал, задыхаясь, по лестнице, оказалось, что теоретически он вполне подготовлен к тому, что должно сейчас произойти. Невесть откуда он помнил, что дышать надо через мокрый платок, дети имеют обыкновение прятаться от огня под кроватью, уходить надо по картизу, а последней рушится крыша.

На работу Аксютин опоздал и получил выговор.

## СНОВИДЕНИЕ

Алексей Иванович Аксютин проснулся в семь часов утра, но тут же понял, что еще спит. Им овладело хорошо знакомое чувство приятства и нереальности происходящего. «Ну-ка, – подумал Аксютин, – сейчас пойдет снег, и не вниз, а вверх».

Он глянул за окно. Там неслось и взвивалось, и у Аксютина сразу закружилась голова. И, уже не боясь проснуться, зная, что все будет хорошо, он вышел на улицу и задумался: пойти или полететь? Потом все же решил пойти: так хрустело под итальянскими ботинками, и такие они оставляли следы, и так не хватало этих твердых следов на мягкой неге квартала!

Троллейбус ждал на остановке. Аксютин неспешно вошел, улыбнувшись в пространство. Ему захотелось нарисовать человечка, и недрогнувшей рукой он вывел на замерзлом стекле полузабытую последовательность: ручки-ножки-огуречик... Пассажиры смотрели на него с завистью и уважением. Подходя к месту работы, Аксютин увидел начальника отдела. Тот горбился и спешил. Алексея Ивановича охватила сладостная жуть. Легко и раскованно он слепил снежок и попал. Несколько минут они, заливаясь смехом, подымали на воздух сугробы, а потом закурили и в дружеской беседе взошли по лестнице, устланной ковром – но не в честь заезжей комиссии, ну конечно же, нет!

И счастливый сон этот длился целый день, и в тот день все было дано Аксютину, чего он смел желать, и желанья его были как песня.

Он вернулся домой с работы, волнуясь, открыл дверь, сел и стал ждать. Он знал, что сейчас войдет Варя и закроет ему ладонью глаза, и он поцелует ее ладонь, как когда-то – Боже мой, сколько лет назад! «Опять ноги не вытер, убирай за вами», – сказала Варя из коридора. И потрясенный Аксютин вдруг ощутил, что все кончено, и навсегда, и это был не сон.

Ему захотелось плакать, и он отвернулся к окну. За окном таяло.

## ПОСЕЩЕНИЕ

И наконец пришельцы посетили Землю. Нас, конечно, уже не было, и цивилизация к тому времени тоже кончилась. Осталось несколько стен и заборов.

Пришельцы были паучки добросовестные, и так и записали: аборигены умели возводить стены и заборы. Самый молодой и талантливый пришелец вскоре сделал открытие: на всех уцелевших строениях был изображен один и тот же символ – сначала две палочки крест накрест, потом две палочки уголком, затем три палочки зигзагом и сверху точка.

На этом основании молодой и талантливый утверждал, что аборигены владели искусством письма. Но его аргументы показались остальным неубедительными. Если это буквы, сказали они, то для любого языка их слишком мало, а для двоичного кода слишком много. Так таинственный символ и не был разгадан, и все время занимал умы пришельцев. Некоторые перенесли изображение на стены своих кают, чтобы все время иметь перед глазами, но и это не помогло.

Тогда изображения стали появляться в кают-компаниях, медотсеке и даже в туалетах.

Капитан корабля сначала пробовал с этим бороться, но однажды ночью, смущаясь перед самим собой, вышел наружу с обломком кирпича и нацарапал символ на обшивке корабля. Ему было странно, но он ничего не мог с собой поделать.

Вскоре пришельцы вернулись домой. И там увлечение символом вспыхнуло как эпидемия. Символ этот был всюду, потом был только он один, а потом уже не было ничего. Остались только стены и заборы.

Так простое русское слово уничтожило цивилизацию захватчиков.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Космонавт Гаврюшин наконец возвращался на Землю. Не было его так долго, что к этому все как-то привыкли и перестали замечать его фамилию в газетах и репортажах. И сам он привык уже к своей станции до такой степени, что даже греховные сны ему не снились.

Он притерпелся к бедному своему зудящему телу, к ощущению нечистоты и опухлости, и не бодрил себя больше песнями, и не забавлялся идиотским плаванием вещей по кабине.

Теперь же всему этому оставалось чуть больше суток – ну потом, конечно, посадка – но это быстро – и упадет космонавт Гаврюшин на колени, и поцелует родную землю, а потом уже все всегда будет хорошо. Откуда, собственно, Гаврюшину пришла мысль именно землю целовать – он и сам не знал. Кажется, читал что-то такое или песню слышал. Но землю эту представлял себе до былиночки – всю в теплых морщинках – и пахнуть она будет такой кисленькой травкой – никак не вспомнить название, но в детстве Гаврюшин знал.

И когда свинтили люк и вынули ослабевшего Гаврюшина, он, не ступив еще ни разу, уже смотрел – где его земля, которую обнять.

Земля действительно была, но непохожая, киргизская какая-то, с ковылями, и, наверное, на вкус соленая. Гаврюшин тем не менее повалился, но упасть не успел – подхватили его бережные мускулистые руки.

Потом он шел церемониальным шагом – рука к виску – по красному ковру, и отвечал как положено, а потом были громадные паркеты – и Гаврюшин шел по Гаврюшину, перевернутому и сплюснутому, и каменные мозаики были, и ступени – но целовать это было бы как-то странно.

Потом Гаврюшин жил в лучшем доме в лучшем районе, зелени вокруг было море – даже удивительно, и как-то ранним утром, когда Гаврюшин вышел пробе-

жаться, ему почудился запах той кисленькой травки, и он нерешительно подошел к газону. Но на газон нельзя было пускать собак, и это почему-то смутило Гаврюшина, хотя он был без собаки, и никто его не видел. Ну не мог он здесь пасть на колени – и всё тут, хотя знал, что другого случая скорее всего не будет.

И действительно не было.

## НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Конечно, Санечку все очень любили. Откуда он появился в компании, никто не знал – вероятнее всего, его привели Можяевы. Во всяком случае, несколько раз он приходил вместе с ними, а потом и сам по себе – остроносый, скованный и бестолково одетый.

Его закрепощенность никому не мешала, потому что не распространялась на других, напротив – каждый себя при Санечке чувствовал остроумным и легким в общении.

– А-а, – кричали все, – Санечка пришел! Как дела, Санечка?

И хотя сам Санечка никогда ничего толкового не отвечал, сразу же выдвигалось несколько версий – как Санечкины дела. Наиболее интригующую тут же хором развивали и обыгрывали, и с этого начиналась беседа – из тех свободных и удачных бесед, что не гаснут уже до конца вечера, но длятся сами по себе, не требуя дальнейших забот.

Санечка сразу же как-то стушевывался, садился на любимое свое место – западный диванный валик – и так, жмурясь и раскачиваясь, просиживал, пока не начинали прощаться. Мало-помалу все привыкли к абсолютной Санечкиной бесполезности и к его манере невпопад реагировать на вопросы, а потом и полюбили эту манеру: чего-то уже без Санечки не хватало, и все развернуто радовались его появлению.

Однажды, впрочем, Санечка традицию нарушил. Было это у тех же Можаевых – собрались смотреть африканские слайды. Быстренько обшутили возможную фальсификацию, оттуда перекинулись на пришельцев и на личность Джонатана Свифта, и вдруг погас свет. Конечно, заметались, смастерили жучка, но оказалось, что света нет во всем доме и надо, следовательно, ждать. Тут-то Санечка помялся-помялся – и превратился в керосиновую лампу, и так стоял и горел.

Разумеется, отмочи такой номер Рубен или хозяин дома – все бы зашлись от эффекта, и славная эта история затмила бы собой прошлогоднюю, когда Евсеич, рисуясь ручной работы запонками, выбросил подряд восемь шестерок. Но все зависит от того, как подать – и поэтому Санечкино превращение никакого урагана не вызвало, было оно как-то смазано, и некоторые вообще не осознали, откуда эта лампа взялась. Отрегулировали огонь и продолжали разговор, а там и свет зажегся.

Все же событие это запомнили, и с тех пор, если что-то позарез было надо, просили Санечку. Санечка никогда не отказывал, и был попеременно то кассетным магнитофоном, то мороженицей, а когда Татьяна готовила кандидатскую, все праздники провел в облике пишущей машинки.

Теперь он уже реже дорывался до своего любимого валика.

– Санечка, – кричали ему, когда он, сутулясь, разматывал кашне на пороге, – где же ты пропадаешь? Уже двадцать минут, как вторая серия! изобрази, благодетель!

И Санечка безропотно превращался в цветной телевизор, не требуя подключения в сеть. Он слегка похудал и в бесполезные свои минуты мерз и хохлился в уголке, появилось в нем что-то птичье, а впрочем, это не бросалось в глаза.

Тем временем подошла весна – время нервное, безвитаминозное, и работы на всех навалилось чёрт-те сколь-

ко. Собирались теперь рано – очень все уставали. Шутки и истории были не то чтобы истощены, но не били ключом, и не предвиделось этого биения до самого сентября – когда снова все съедутся, горластые и загорелые, и тогда уж понавезут и порасскажут. Тем не менее, когда вышел Лешкин сборник, все созвонились, побросали дела и явились в полном составе, галдя еще с лестницы.

Санечка тоже пришел, хотя и опоздал к надписыванию экземпляров. Его приход не был замечен в общем стоне и грохоте, потому что Рубен как раз читал пародийную поэму, навзрыд подражая Лешкиным интонациям. В этот вечер засиделись, как никогда, а в половине второго неожиданно стали писать пулю – и задымили уже до утра. К утру темпераментный Кирюша, расчерчивая новый лист, сломал карандаш, и паста тоже кончилась, и ни у кого ничего пишущего при себе не нашлось. Тут-то и вспомнили про Санечку, и он, не говоря ни слова, превратился в пластмассовую точилку в виде горохового футбольного мячика с отверстием сбоку.

Второй раз о Санечке вспомнили, когда уже расходились. Он по-прежнему лежал на липком стекле, а вокруг были карандашные стружки и следы от стаканов.

– Санечка, – сказали ему, – ау, сынуля! Петушок пропал!

Но не шевельнулся пластмассовый мячик, и не оказалось в углу застенчивого Санечки, только маятник столовых часов грянул что-то очередное. Тогда забеспокоились, стали Санечку уговаривать.

– Ну очнись, старик! ты что, обиделся? – мягко ворковал Евсеич, и серебряный голос Анюты взывал к нему: – Санечка, лапа моя, что ты дуришь? – но без результата. Наконец решили, что Санечка всех разыграл – подложил точилку, а сам незаметно удрал, пообещали ему задать за такие штучки и ушли, почти успокоенные. Надо бы, конечно, было ему позвонить, но ни телефона его, ни адреса, как оказалось, никто не помнил.

Больше Санечка не пришел, и в следующий раз все это неприятно ощутили, но потом постепенно стали забывать эту дурацкую историю. Тем более, что точилка тоже куда-то задевалась.

## ПРОИСШЕСТВИЕ

В троллейбусе № 317, следующем по 9-му маршруту, было нехорошо. Время было утреннее, нервное, и свободных сидячих мест не было. Не хватало также стоячих. Кроме того, несколько пассажиров были в очках и шляпах, а некоторым и вовсе следовало ездить в такси. Особенно неприятно было на остановках. Входящие хотели войти, выходящие – выйти, а водитель хотел закрыть дверь, и уже несколько раз объявлял, что «будем стоять». Вскоре в троллейбусе не осталось ни одного человека, которого даже в пылу ссоры можно было бы назвать интеллигентом.

В это время в салон неожиданно влетел тихий ангел.

Он был совсем маленький, с пухлыми складочками и аккуратными белыми крылышками. Вел он себя действительно очень тихо, прошуршал над головами и уселся вверху на поручень, никому не мешая.

Тем не менее его все сразу заметили и ощутили неловкость. Неласковая речь сразу умолкла, и наступившая тишина привела пассажиров в еще большее смущение. Они деликатно переминались с ноги на ногу, стараясь не встречаться друг с другом взглядами. Никто не знал, как себя повести. И даже голос водителя, называвшего следующую остановку, прозвучал как-то неубедительно.

На остановке в троллейбус вошла немолодая женщина с красной повязкой на рукаве. Она стала проверять талоны, начиная с задней площадки, пока не дошла до тихого ангела, а когда дошла, то усомнилась, поль-



зуются ли ангелы правом безбилетного проезда. Вопрос был спорный, однако ангел спорить не стал и скромно вылетел, стараясь никого не задеть крыльями. Двери за ним беззвучно закрылись. Стало еще тише, чем прежде.

И все посмотрели друг на друга.

## «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue, New York, N. Y. 10018

**С 1 октября 1985 г. — ЗАГРАНИЧНАЯ ПОДПИСКА**  
**в любую часть света (кроме Канады) обычной почтой:**  
(газеты за неделю высылаются бандеролью)

	1 год	6 мес.
Ежедневные и воскресные издания:	\$ 160.00	\$ 85.00
Воскресные издания только:	\$ 65.00	\$ 40.00

В страны Европы и Латинской Америки *воздушной почтой:*

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 325.00	\$ 175.00
Воскресные издания только:	\$ 125.00	\$ 70.00

В страны Азии, Африки и Австралии *воздушной почтой:*

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 350.00	\$ 200.00
Воскресные издания только:	\$ 145.00	\$ 85.00

Подписываясь на газету, будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа в американских долларах.

При продлении подписки обязательно прикрепите компьютерную наклейку с Вашим адресом.

## ИЗ ЭМИЛИ ДИКИНСОН

*(Переводы 1980 – 1981 гг.)*

33.

Если забвение – память,  
То я не помню, что было.  
А если память – забвенье,  
То я почти всё забыла.

И если – весело плакать,  
И если – смешно грустить,  
Как счастливы мои пальцы:  
Связала – так распусти!

49.

Дважды всё иссякало.  
Это не так уж много.  
Дважды я нищей стояла  
Перед вратами Бога.

Летели ангелы тотчас  
Восполнить иссякший запас –  
Грабитель! Банкиру ж: Отче!  
У меня опять – ни гроша.

Мне говорят «Альдебаран»,  
Я говорю: звезда.  
Зачем науке, господа,  
Во всё влезать всегда?

Я раздавила червяка.  
«Ученый» причитает:  
Про жизнь чего-то, про века,  
Про то, что нужно – стаей.

Из леса принесла цветок:  
Чудовище сквозь лупу  
Считает чёрт-те знает что,  
«Тычинки»; ну, не глупость?

Бывало, бабочка в окно  
Влетит, и сядет.  
Теперь, как дура, «под стеклом»  
Сидит у дяди.

Что «небом» называлось,  
Теперь «зенит» –  
Куда я собираюсь –  
Там и они.

А если полюс, уточкой,  
Нырнет – и кверху ногами?  
Я надеюсь на худшее,  
Пока моя хоть память.

Может, и «Царство» уже старо?  
Надеюсь, хоть Его дети  
Не станут «по-новому» у Ворот  
Кривляться, когда как – петь им.

Надеюсь, Отец мой на небеси  
Введет Свою дочку верную –  
Скверную – вздорную – всякую – в синь  
Жемчужною лестничкой белою.

126.

Сражаться вслух – бесстрашно,  
*Галантнее*, однако,  
В сердцах которые, с шашкой,  
Идут на конницу страха.

Флаг водрузят – но нет ура –  
Падут – никто не видит –  
В чей мертвый глаз, как в преискурант,  
Никто не взглянет, сидя –

Зато, в простом оперенье,  
За них – взвод ангелов нежных –  
За рядом – ряд – равнение! –  
Летит – в мундирах снежных.

216.

В мраморных своих опочивальнях,  
Нетронуты утром –  
И нетронуты днем –  
Спят нищие жители воскресенья:  
В бархат обуты, одеты в лен.

Грандиозны года – с полумесяц – над ними  
Загребая миры  
И грядя, как твердь,  
Падает жемчуг – идут вельможи –  
Беззвучно – как точки – на тонкий – снег.

## 231.

Бог Своим добрым ангелам  
Играть разрешает с утра.  
Вон он! – Зачем же мне школьники? –  
Я с ним побежала играть.

Бог домой зовет – быстро, быстро!  
Ужин проворонишь.  
Бегу. – Зачем же мне шарики? –  
Поиграв *короной!*

## 280.

Когда хоронили, в моем мозгу,  
И плакальщики шли  
Взад и вперед, вразнос, в разгул  
Пока не был разбит –

Потом все сели. А потом  
Их упокой мой вздох  
Всё бил и бил, и убивал,  
Пока дух не оглох –

Потом, я слышу, несут гроб,  
И тащат по душе  
Как бы свинец – как бы оброк –  
Пространства шум уже –

Как будто небо – в синях звон,  
А бытие – часть сини,  
А я да тишь – два естества,  
Каких нет и в помине –

Потом и разум – вкривь и вкось  
Пополз; паденье в то,  
Что, ударяясь о миры,  
Я видела – потом –

Несем закаты – мы оба на конкурс –  
 Я и день – ох, уж мне эти дни!  
 Кончила два – и звезд таких, тонких –  
 А он всё возился с одним.

Его – цветастей – может –  
 Подруге, я: как букет!  
 Зато мой очень похожий,  
 И можно – в одной руке.

Могилы цвет – цвет зеленый,  
 Наружней могилы, конечно –  
 Просто неотличим от цвета полей,  
 Только вот камень – вечный,

Чтобы близким – место найти,  
 Где сон далек, как отказ,  
 Чтобы стать и сказать, что здесь,  
 На глубине цветка.

Могилы цвет – цвет белый,  
 Наружней могилы, конечно –  
 Просто неотличим от цвета пурги,  
 Или снег когда – вешний,

Когда солнце – из этой пушистости –  
 Прямо над сонной нивой,  
 Строит холмы – жилища,  
 В которых друзья не живы.

Могилы цвет – могилы внутри,  
 Все дело во внутреннем цвете –

Пурге не выбелить, как ни крути,  
И зелени – не олетить –

Холодный – помните? – он стыл,  
К чепцу приколот – позже,  
То, с чем он раньше встречен был,  
Хорек найти не может.

441.

Вот письмо мое миру,  
Который мне не писал –  
Вести – простая порфира –  
Сущность, как шепот – лесам:

Ее послание отдано  
В руки – теперь в тенях –  
Ради ее милых подданных  
Не судите сурово – меня.

456.

Так, что я жить могу и без тебя –  
Тебя люблю – всё как да как!  
Так, как Иисус?  
Так докажи же,  
Что Он любил – людей, дурак –  
Как я – тебя:  
Ведь я – тебя  
Не вижу.

Самим тепло, а меня – на мороз,  
 Но ведь не в этом же суть:  
 Откуда им знать про холод, нутром,  
 Ты это им, Боже, забудь –

Мои показания не допусти  
 В райское дело их, так как  
 Рай не дается тем, кто грустит  
 Или грешит – укладкой.

Мал ведь их грех – и, раз решив,  
 Что я и сама – не ропща –  
 Прости им – как меня простишь,  
 Или меня – не прощай.

## 614.

Ты мне виднее в темноте –  
 Не нужно света –  
 Как луч, сквозь призму пролетев,  
 Вдруг фиолетов –

Ты мне виднее в толще лет –  
 Без лампы Дэви –  
 Одна искра в одной щели –  
 И всё яснее.

Ты мне видней всего в земле,  
 Где доски – как оконца –  
 Горят во тьме – где свет нетлен,  
 Где грезят – не о солнце,

Где день не нужен никому,  
 Где темнота – светлее  
 Светил стоит – не как-нибудь,  
 А в апогее.



Как солнцу не угаснуть  
 Когда величье праздно:  
 Излишне ежечасно  
 Где ежечасно сказан

Тот слог бесшумный, чьи лучи  
 Нам подают надежды,  
 И чье «Увидимся!» молчит,  
 Когда любовь нам: «Где же?»

На славе деревянной  
 Слагая вечный ребус,  
 Как звезды, безымянно,  
 И царственно, как небо.

#### ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Предлагаемые вниманию русского читателя переводы американской поэтессы Эмили Дикинсон (1830 – 1886) были для меня непредвиденным опытом не только перевода, но и вообще какого-либо творческого усилия в сфере родного мне языка. С выезда из Советского Союза я выражаю себя по-английски, черпая идеи, вдохновение, а часто и саму суть мысли из русских источников. Настоящее выступление (мое первое в русской эмигрантской печати) – ход для меня обратный: иноземная художественная идея переведена в стихию русского языка.

Я считаю, что если можно удержаться от творческой деятельности, то всегда лучше так и поступать. Перевод – как любая другая форма деятельности – удается только тогда, когда оригинал, т. е. некая неповторимая духовная сущность, становится навязчивой

идеей переводчика. Перевод есть лечение от этой навязчивой идеи.

От Пастернака я лечусь вот уже двенадцать лет, но все еще им болен. Дикинсон я болел лет пять тому назад. Болезнь была быстротечная, но сейчас, мне кажется, может произойти рецидив.

Дикинсон – такое же крупное и уникальное явление мировой культуры, как Пастернак или Шекспир. Я ставлю их имена рядом, потому что, по моему мнению, вклад Пастернака в русский язык подобен ее вкладу в английский, а так как Шекспира у нас в России не было (Пушкин?), то и сравнивать их обоих приходится с Шекспиром.

Наследие Эмили Дикинсон состоит из 1775 стихотворений, собранных относительно недавно в их подлинном виде в издании Томаса Джонсона. В 1862 году Дикинсон так описала себя малознакомому человеку, которому она послала стихотворение «В мраморных своих опочивальнях», избрав его своим ментором:

У меня нет портрета, но я невелика,  
как птичка, волос мой ярк, как  
каштан, а глаза мои – как херес  
в рюмке, недопитой ушедшим гостем.

Я надеюсь, что мои переводы Дикинсон дадут хотя бы такое же приблизительное представление о ее стихах, как этот автопортрет дает о ней самой.

*Андрей Наврозов*

НАВРОЗОВ Андрей Львович – выехал из Советского Союза в 1971 году в возрасте 16-ти лет, ни дня не проучившись в советской школе. Получил семейное воспитание в двуязычной (русско-английской) среде. В США окончил Йэльский университет, после чего приобрел обанкротившийся «Йэль литерэри мэгэзин» и несколько лет был издателем-редактором, подвергаясь нападкам левой университетской

общественности. Одновременно сотрудничал в литературных отделах «Уолл-стрит джорнэл» и «Харперз», а в 1986 году назначен редактором литературного отдела нового чикагского журнала «Кроникл». В 1978 году выпустил книгу с переводами 48 стихотворений Бориса Пастернака на английский язык – над переводами Пастернака начал работать с первого курса университета и продолжает до сих пор.

**«ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ КУЛЬТУРЕ  
ИЗ СССР» (GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER  
UNABHÄNGIGEN KULTUR AUS DER UdSSR e. V.)  
создано в феврале 1984-го года в Мюнхене.**

Задачи Общества – содействие независимой культуре как внутри нашей страны, так и за рубежом; организация выставок, концертов, вечеров, лекций, дискуссий для широкого знакомства Запада с проблемами и достижениями независимой культуры из СССР; создание собственного культурного Центра.

За короткое время своей деятельности Общество уже организовало фестиваль Свободной культуры в Мюнхене, несколько крупных выставок, концерты и дискуссионные вечера. Свою активную деятельность Общество намерено продолжать и в будущем.

Всех, кому не чужды судьбы независимой культуры нашей страны – будь то литература, живопись, музыка, религия, борьба за социальные права, наука, спорт – приглашаем поддержать Общество.

*Рубина Арутюнян-Циммерман,*  
председатель  
*Оксана Антич, Эдуард Кузнецов*  
заместители председателя

Годовой членский взнос 60 нем. марок. Членские взносы и пожертвования просьба направлять: GFUK e. V., Bankkonto: Deutsche Bank München. Kto. 27 20 548 (BLZ 700 700 10) Адрес Общества: R. Arutjunjan-Zimmermann (GFUK), Liebigstr. 16, 8000 München 22, BRD

## КАЖДОМУ СВОЕ

«Рахманинов играл, Шаляпин пел.  
Какие титанические люди!»

*Дм. Бобышев*

Толстой был граф, а от жены убег.  
Куприн бесплатно посещал притоны,  
Распутничал Распутин, грезил Блок,  
Столыпин строил жесткие вагоны.

Саврасов пил, Алёхин тоже пил,  
А кто не пил, тот русским не был вовсе.  
Вучетич, разумеется, лепил,  
Поддубный, разумеется, боролся.

Лазо горел, Коровин рисовал,  
Ботвинник побеждал в борьбе упорной,  
Дункан плясала, Сталин убивал,  
Лев Яшин защищал ворота сборной.

Хрущев стучал ботинком по столу,  
Лысенко лез в науку против правил,  
Шапорин выл железом по стеклу,  
Маршак брюзжал, а Симонов картавил.

Шаляпин пел, Рахманинов играл.  
При жизни каждый чем-то занимался –  
Бездельничал, скандалил, воровал,  
Сидел, сажал, отсиживался, шлялся.

Жизнь прет на убыль, как ее ни мерь.  
Потомки разберутся, кто мы, что мы.  
А с Бобышевым ясно и теперь –  
Он пламенно рифмует аксиомы.

М. ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ – литературный псевдоним Марка Тв е р с к о г о. Марк Тверской родился в 1938 году, врач. В СССР был кандидатом медицинских наук, с 1974 года живет в Израиле, заведует отделением анестезиологии в Цфатском госпитале. Печатает каламбуры, эпиграммы и пародии в журналах «22» и «Круг».

## КРАДЕННЫЙ БОГ

...Из Двины оборудованное в Гамбурге вальжное прогулочное судно потащило нас дальше по Белому морю на Соловки. Попутчик мне на нем достался уже совершенно киношный: еще не весь войдя в каюту, он прямо с порога каркнул: давайте поставим все точки над и! Не успел я удивленно осведомиться — в каком же это слове, уж не в том ли крайне коротком в три буквы, — как он представился по полной форме: «Журналист Спасокукоцкий из Мурманска, объезжаю страну с целью написания книги очерков!» После того сразу сник и в дальнейшем большую часть времени пребывал в суровом молчании, добавляя в конце каждой насильно выуженной из него фразы присловие «чёрта с два!» — а я из ехидства не переставал в ответ справляться, отчего именно такое число нечистых считается за самое невероятное.

Когда он ел — а «питались» мы за столами кафе в том же порядке, как и жили, попарно, — то ежеминутно растворял свой рот таким образом, что становилась отчетливо видна пережеванная влажная каша, в которую его железные зубы старательно превращали закаленные яства; и до того это была скверная картина, что пропадал всякий аппетит и приходилось поневоле прятать на сторону глаза, лишь бы только не попасть взглядом в этот его чавкающий поглотитель.

В первый же вечер, опасаясь проводить его один на один с таким соседом, я отправился по барам и довольно-таки буйно напился. Помню еще, что за полночь выполз покачиваясь на пустой мостик над самым носом корабля и встретил там какую-то романтическую девчонку-десятиклассницу из Северодвинска; толком даже не позна-

---

Окончание. Начало см. в № 48. © R. Guerra.

комившись, мы с ней принялись так долго и цепко целоваться на ветру, то закрывая глаза, то впериваясь в темные водные пространства впереди, что мне весьма крепко продуло оба уха.

Вернувшись в конце концов по нагло вилявшему коридору мимо ряда расставленных прямо на полу гигиенических пакетиков, предназначенных для спасения застигнутых коварной тошнотой полуночников, я добрался до своей двери, за которой с тоской обнаружил, что корреспондент еще не спит; напротив, переварив хорошо размельченную пищу в блудный помысел, он извлек откуда-то из недр широчайшую бабищу, вроде тех глубоководных чудищ, глядя на которых сам невольно глаза выпучишь, и перенес к себе на диванчик. В момент моего появления его липкие лапки раскладывали там перед нею открытки из набора иллюстраций к жизни Лермонтова, а голос сладостно пел о любви «маленького Миши» — я не шучу, меня от этих слов еще пуще передернуло, чем от той слюнявой жвачки, — к своей «нежной бабулиньке».

Что касается до самих Соловков, то про них, к счастью или к несчастью, известно столько, что я лично предпочел бы по крайней мере половины того вовсе не знать. Мне самому больше других запомнилась там во всех смыслах высочайшая и быстрее прочих заметная диковина — огромный каркас звезды, водруженный вместо креста на монастырской колокольне. Про то, как залетела туда эта древняя восточная пентаграмма, мистический знак человека, издали напоминающая посаженного на кол мученика, экскурсоводы рассказывают только под занавес, среди приватного разговора; причем лепят они кто во что горазд всякие неправдоподобные истории, вроде той, будто бы один из невинно осужденных, загоревшись идеей заслужить прощение, впер ее на своем горбу, а потом, так никем и не помилованный, не сумел в одиночку спуститься вниз и погиб. Рассматривая ее задравши голову, я неожиданно сооб-

разил, где уже видел подобное — точно такой же пятигранник несколькими тысячами километров юго-западнее венчает надвратную церковь другой островной обители, Ниловой Столбенской пустыни посреди тверского озера Селигер, — и тут, словно мысленный фотоаппарат щелкнул, они соединились строкой «маленького Миши»:

— И звезда с звездой говорит!

На другой день, оторвавшись от групповой прогулки, я запаздывал с возвращением к ужину на корабль и решил срезать по полю дорогу, далеко огибавшую стороной небольшой консервный заводик. Проходя среди брошенных лодок и рыбьих костей, наскочил на ряды колючей проволоки с повисшими на ней кровавыми клочьями мяса; но у души все же хватило ума постараться изо всех сил глазам своим не поверить, и тогда дикое это зрелище, чуть-чуть преобразившись, превратилось в сушившиеся на прохладном беломорском солнце бурые водоросли ламинарии — почти единственный полезный продукт, по словам нашего гида, добываемый теперь на архипелаге.

После Соловков в прошлом зияет наиболее глубокий провал; по-видимому, бродя там среди голых, насквозь продуваемых пространств, я нагулял наконец такую тоску по оставленной на материке иконе, что только задним числом могу восстановить промежуточную сцену архангельского аэропорта, где в ожидании у кассы загадывал: отправлюсь туда, куда первым пойдет самолет — или домой в Москву, или все же обратно на Сухону. Я целиком подчинился случаю, и вас уже, конечно, не удивит, как и меня тогда, что судьба, будто рука безжалостного естествоиспытателя — добравшись до вершины спелого колоса мураша, одним щелчком сбросила снова под самый корень, назад в тот заколдованный несчастьями город.

Я сейчас еще смутно припомнил, что в воздухе от нечего делать наблюдал за лицами соседей по креслам: как-никак бесплатная возможность проследить за их



выражениями почти что у смерти в прихожей; и мне показалось, что при всей внешней хорохористости в глубине черт застыла молитва: пожалуйста, не надо сегодня губить, мы пока не готовы.

Короче, ровно неделю спустя, вечером в следующую субботу, я снова стоял в той же церкви-колокольне моего позора, будто бы никуда из нее и не уходил. В первое мгновение даже померещилось, что меня узнали, — но вполне вероятно, что это просто черное намерение слишком явно проступало насквозь, выдавая свое подлинное имя. Во всяком случае, не дожидаясь вопроса, одна из прихожанок сказала мне: опоздал, батюшка, приходи завтра — всенощная уже отошла, и нам давно пора запирать двери.

Ночь я промыкался на речном вокзале, а заутро, когда начало светать, поспешил ко храму, предполагая войти в него первым — да как бы не так! Внутри было понабито столько народу, что опоздавшие вынуждены оказались моститься в наружном дворике, куда от обедни долетали лишь отрывочные, наиболее громкие возгласения.

Я вышел вон за ограду и, обогнув церковный участок, выбрался на холмик над рекою по другую сторону забора и устроился там так, что впереди перед глазами тянулась прямая указательная струя реки, всем своим стремлением вдаль приглашавшая одуматься и уйти, куда не поздно, а обернувшись, я сквозь щель среди досок ограды мог наблюдать за западным входом в храм.

Воскресная служба тянулась невозможно медленно, и, чтобы хоть как-то скоротать ее, я пролистал вновь осколок тома графских стихотворений, после чего, так как заняться чем-то нужно же было, даже принялся учить наизусть ту мрачную погребальную песню из поэмы «Иоанн Дамаскин», зачин которой, помните, я уже читал в самом начале. Она запоминалась необыкновенно легко и, заводясь с полоборота, бралась сама себя повторять в тишине внутреннего моего человека; сти-

хия стихов, подгоняемая ритмом и рифмой, вселяла страшную реальность в представление о последнем часе, которое обретало завораживающую, черезъестественную силу и начинало крутиться перед взором наподобие пылающего колеса —

Как ярый витязь, смерть нашла,  
Меня, как хищник, низложила,  
Свой зев разинула могила  
И все житейское взяла.  
Спасайтесь, сродники и чада,  
Из гроба к вам взываю я,  
Спасайтесь, братья и друзья,  
Да не узрите пламень ада!  
Вся жизнь есть царство суеты,  
И, дуновенье смерти чуя,  
Мы увядаем как цветы, —  
Почто же мы мятемся всеу?  
Престолы наши суть гроба,  
Чертоги наши — разрушенье, —  
Прими усопшего раба,  
Господь, в блаженные селенья!

Конечно, череда бдительных совпадений не преминула в связи с этим подсунуть и настоящее отпевание, чуть ли не вдвое продлившее церковное многолюдье в то воскресение, и, пока оно пело и выло, я физически чувствовал, как тают последние остатки терпения. Сомнения, сплетшиеся со все возрастающим испугом перед будущим, замучили до такой степени, что стал уже склоняться к решению удалиться, бросив свое еще не слишком дорого — всего в один авиабилет — обошедшееся и, прямо скажем, святотатственное намерение.

Кроме всего прочего, успех его, и так достаточно неверный, затруднялся тем, что, хотя вход в храм был мне сквозь дырочку виден, присутствие или отсутствие народа в закутке, где висела икона, угадать снаружи

было невозможно, потому что створки дверей оставались плотно закрыты. Из-за этого приходилось время от времени подниматься с теплого пригорка, обходить снаружи забор — ворота во двор были с противоположной стороны, от рынка — и забредать как бы невзначай в церковь, рискуя привлечь лишний интерес, разбудить подозрение или уж по крайней мере неплохо запомниться десяткам внимательных людей. Делая такой круг, я постоянно проходил мимо странного полузашторменного окошка на первом этаже одного из окрестных строений, где в узком промежутке между стеной и занавеской притягательно мелькал яркий переливчатый предмет, напоминавший что-то отчаянно знакомое, которое я однако никак не мог опознать. Выйдя, наконец, из себя от бесцельного уничтожения в муторных метаниях прекрасного летнего дня, я загадал напоследок, что если окно так и останется закрыто и ничто мне не поможет выяснить имя окаянного заоконного дива, то поеду домой не оглядываясь, — пусть это станет приметой несчастья или удачи.

Чувствуя в членах озноб, надел рюкзак, покинул насиженную горушку и скорою ногой достиг заветного дома. Теперь ставни оказались чуть-чуть раскрыты, но все равно разгадать загадку было нельзя, не хватало света. Ну, вот как хорошо, — подумал тогда, — решено: уезжаю; и захотелось узнать, какая же штуковина неволью послужила хранительницей шаткой-валкой честности вашего покорного слуги. Осторожно надавливая на стекло двумя пальцами, отодвинул раму и увидел прямо напротив мужчину с большими руками, воткнутыми в карманы кожаной куртки, поверх которой торчала моя собственная красная рожа. Вы-то, уж, наверное, поняли давно — то было зеркало, обычное зеркало внутри туалета какого-то общежития.

Не разобрав хорошенько своего впечатления от этого открытия, сердитый и разочарованный до предела, я отправился назад в порт; но неожиданно словно

какой-то заморозок не допустил от мозга к суставам приказа «отбой», и они привычно, будто у старой грузовой лошади, повертели опять в церковь. Как на зло, сейчас-то она была пуста — только несколько вечных старух снова скоблили с пола воск своими громкими тесаками. — Следующий раз через неделю, — сказали они мне как знакомому, — в будущую субботу. Я кивнул, вышел на паперть, плотно прикрыл обе двери — назад внутрь храма и вперед наружу, и достал из кармана ножницы.

С этого момента все в душе окончательно оледенело, существо мое буквально раздвоилось: дух со стороны безмолвно наблюдал за тем, что творило отделившееся от него болезненно-легкое тело, и я думаю, что, если бы хорошенько пугнуть его в ту минуту, он вероятно вовсе вырвался бы и отлетел прочь. Ужас совершаемого, подымаясь морозом от ступней к макушке, постепенно полностью захолол нравственную волю, и она тихо заостенела.

Никогда, наверное, не перестану я изумляться, как в считанные секунды свободы действия руки, двигаясь от волнения втрое медленнее обычного, успели дотянуться до иконной связки, подхватить веревку над последним образом и буквально перепилить ее лезвиями. Тотчас же тело повернулось на всякий случай спиной к двери в церковь и приняло украденное в себя, прямо на грудь, спрятав его под рубаху за куртку, которую оставалось теперь лишь плотно застегнуть. Но пока выпущенная в спешке гирлянда билась о стену исподом своих осиротевших обитателей, молния моя неожиданно самым подлым манером застряла. Только собрался я ее дернуть что было мочи, КАК СЗАДИ РАЗДАЛСЯ ХЛОПОК И КТО-ТО ВОШЕЛ. Я понял тогда, что сердце, частенько у книжных героев вопия кидающееся в пятки или, наоборот, бегущее вверх к горлу, — не велеречивый оборот; оно мне вправду бросилось в голову с таким ударом, что я его чуть ли не

зубами держал, ощущая между щек вкус крови, давился и все никак не мог проглотить.

Против ожидания, пальцы не застыли навечно, не уронили схваченного; они сохранили спокойствие, плавно так вернули молнию к самому началу, резким движением закрыли ее по всей длине, защебив даже кусочек нежной кожицы на шее, и я, пошатываясь от поднявшейся внутри мутной волны, но так и не обернувшись назад, вышел вон. Запихнул руки в карманы, чтобы незаметно поддерживать показавшуюся вдруг необыкновенно большой икону, зримо топорщившую изнутри одежду, будто бьющаяся в садке рыбина, я помаленьку убыстрял шаги, убито ожидая за плечами неминуемого начала криков и погони. Пробрел двором, одной улицей, другой и потом, с пылающей от страха и стыда спиной, не поворачиваясь выбрался на шоссе спустя невообразимое количество времени — ему среди знакомых нам в обыкновенном состоянии чисел нет достаточного выражения.

Дальше вокруг прямо-таки с омерзительной последовательностью стали одна на другую накручиваться неприлично, невыносимо пошлые детективные сцены — не могу даже передать, до чего ненавистен мне этот самый, пожалуй, скучный и заезженный вид жизненной литературщины. Пытаясь спокойно рассуждать, я решил потом, что навряд ли все же подобного сорта вещи навязываются всякому преступнику разлившейся по поверхности современной цивилизации похабной полуобразованностью; скорее всего, необходимость их заключена непосредственно в событии преступления, переступания за черту, после чего провинившийся начинает все острее и острее воспринимать именно те черты действительности, которые целят в него позором, — и тут-то под ноги ему и подкатывается знакомая по множеству телебеллетристических примеров дорожка.

Сперва, после продолжительного безуспешного «голосования» на обочине, я ухитрился остановить

патрульную милицейскую машину, возвращавшуюся в гараж с дежурства; водитель почему-то сам предложил подкинуть в аэропорт, а я побоялся отказаться добровольно сесть. Влезая же, как ни тужился войти ловко боком, так надавил углом иконы себе в пах, что зрачки чуть из орбит не выскочили; при этом шофер подозрительно покосился в зеркало на диковинные маневры волосатого пассажира.

Не успели мы проехать и квартала, как на углу были остановлены постовым: ему, видите ли, захотелось потрепаться со своим знакомым за рулем, и, хотя в моих обстоятельствах это был и не самый худший случай столкновения с представителем власти, теперь уж он наверняка — отмечал мой внимательный испуг — запомнит и время встречи, и нетерпеливо ерзавшего на заднем сиденье ездока, а при допросе сможет без труда опознать его в лицо.

В аэропорту, желая поскорей да подальше закатиться от места своего — ну, этого самого, — я глупо суетился и торопился, чем, кажется, кровно обидел флегматичную кассиршу, настойчиво домогавшуюся вникнуть в самую суть моего требования дать улететь на ближайшем самолете куда угодно.

Потом взял билет до Львова и тут же стал корить себя за спешную оплошность в выборе средств передвижения: ведь из всех них только для самолета требуется предъявление паспорта, отчего задача найти его обладателя делается по силам и мальчишке-следователю, куда бы я ни направился со своей жалкой хитростью. Но, злорадно перечисляя внутри допущенные огрехи, я сразу же начинал совершать новые: пытаюсь замести за собою зрительную память, принялся вдруг при всем народе переодеваться, меняя куртку на серый пушистый свитер, — и тогда уж, конечно, те, кто до той поры мирно подремывал на скамейках вокзала в ожидании своего часа, пристально меня оглядели.

На летном поле почти у самого уже трапа среди табунка отбывающих негаданно возник вдребезги пьяный командировочный, который ни с того ни с сего так разъярился, вперемешку с рыганием выстраивая феерические матерные конструкции, что пилот вызвал наряд транспортной милиции, вылет задержали, и сытые, дымящиеся из-под перетянутой ремнями формы старшины еще долго кропотливо разбирались — что, с кем и сколько нужно делать. Я сидел на рюкзаке как-то рядом со своею заснувшей с открытыми глазами душой, баюкая ее словно девушку на коленях, и ни о чем более не мечтал, ничего не боялся: пускай себе берут заодно и меня, ежели охота, разве ж не заслужил?..

Юристы такое тяжкое психическое потрясение у здорового человека называют аффектом; рассказывают, что и за убийство в подобном состоянии могут оправдать. Но я не для того это говорю, чтобы как-то заявить себя невиновным, просто хочу поделиться сделанным открытием: единичный безобразник собственными силами со вдруг предстающим тогда гораздо более грозно и объемно миром справиться не сможет, без какой-то поддержки он немеет и каменеет и никакого явного преступления произвести не способен. А если все-таки оно состоялось, вот как у меня, то он действовал не один; и на самом деле, я вполне определенно чувствовал, что кто-то, меняясь иногда в числе и лице, со мной соучаствовал — значит, должен же нести и свою долю ответственности.

Воля с личностью мои стали приходить в себя в воздухе, когда окончательно поднялись с земли; отметьте, кстати, сколько во всем происшествии этих отрывов почвы из-под ног: река, море, самолет, снова река, и опять самолет... Сначала в оживающий рассудок полезла какая-то чушь и мелочь, как будто он, захлебнувшись страхом, вынужден был теперь отхаркиваться той кашей, что набилась за время отсутствия в рот и не мог сразу вступить в полное обладание всем существом.

Хорошо помню, какая была его первая мысль. «Веревочка, — заговорил неожиданно пришедший в меня ум. — На крючке иконы остался клочок веревочки, идентичной той, что на гирлянде в церкви. Ты ее выкинь — и дело в шляпе: мало ли где религиозную живопись достают; твоя же находка, кажись, не меченая».

Все еще опасаясь смотреть украденному в глаза, я не глядя переложил его в сумку и ощупал руками: так и есть, никакой регистрационной бирки не было, зато огрызок бичевы точно болтался на указанном месте; и когда это он, подлец, сумел его заметить, коли с самого начала дела зажмурил очи и устранился — вместо того, чтобы сразу властно остановить самоубийственное покушение утратившего всякие границы собственности.

Душа, тоже мало-помалу возвращавшаяся к движению, уже спросонья по привычке пустилась рассудку перечить: куда же ее в воздухе-то денешь, веревочку — наружу не выбросить, а внутри здесь места немного, как ни прячь, если захотят, непременно найдут. Вот приедут по свежему следу от паперти в аэропорт, изучат надпись на корешке билета — и передадут по радио во Львов, а там уж тебя прямо под белы руки встретят тепленького, тем более что главную улику сам им как на блюдечке несешь.

Потеряв понятие о мере и о том, с которой стороны ждать главной опасности, я, словно висельник на петлю, уставился на этот ничтожный клочок пеньки, за несколько минут выросший во что-то бездонное, всемирное, после чего мысли легче стало перейти к действительному источнику беды, к подлинному значению и возможным последствиям того, что я несколькими часами ранее, пусть и подталкиваемый кем-то, натворил.

Тут подумалось еще, что если Бог на самом деле существует в том виде, каким его рисовали в течение семи с половиною тысяч лет, то нет более удобного вре-



мени поразить меня за осквернение святыни, почти не нарушая вместе с тем естественного хода бытия, чем сейчас: стоит лишь уронить наш сорокаместный «Як» — и готово. — Не должно быть! — забасил тогда рассудок. — За что же невинным попутчикам погибать?! — А тебя об этом не спросят, — легко завернула обратно тощую его надежду душа. — Может, он весь нарочно набит такими же грешниками; во всяком случае, ты подобному решению не судья. Да вряд ли даже и другие там, на твердой земле, в куче обломков и останков, облитой отчаявшимися спасателями бензином и подожженной — чтобы удобнее было убирать прочь от взора живущих все следы и напоминания о произошедшем справедливом ужасе, — говоря словами только что усвоенного стиха, сумеют выяснить —

Средь груды тлеющих костей  
Кто царь? Кто раб? Судья иль воин?  
Кто Царства Божия достоин?  
И кто отверженный злодей?  
О братья, где серебро и золото?  
Где сонмы многие рабов?  
Среди неведомых гробов  
Кто есть убогий, кто богатый?  
Всё пепел, дым, и пыль, и прах,  
Всё призрак, тень и привиденье —  
Лишь у Тебя на небесах,  
Господь, и пристань и спасенье!  
Исчезнет всё, что было плоть,  
Величье наше будет тленье —  
Прими усопшего, Господь,  
В Твои блаженные селенья!

Ах, с какой ненавистью вышвырнул я скомканный в катышек обрывок веревки прямо на бетонной взлетной полосе львовского аэродрома!..

Сам этот город показался тогда как-то маловат укачавшейся от многочисленных передвижений душе, которую мучила нравственная тошнота; спустя несколько часов я его уже весь обегал, знакомые улицы начали повторяться, ноги постоянно выносили в новые одинаковые окраины и даже за их границу, в поле, потом я снова возвращался обратно на главную площадь с памятником Мицкевичу и все никак не мог найти покоя, не знал, чем унять требовавшее неперестанного движения тело.

В довершение напастей в какой-то закуской мне сунули блюдо под названием, которое я счел за украинский вариант голубцов, бывшее на самом деле вареным коровьим желудком. На беду, я по невнимательности разобрал подмену, только почти полностью сожрав эти их поганые «рубцы», после чего помчался скорей в соседнюю столовку и вместо того, чтобы выbleвать тут же все гастрономическое чудище вон, заел его новым дешевым обедом. Кстате сказать, мне представляется, что, при современном всеобщем дроблении на группы и классы, людей можно в определенном смысле разделить еще и на такие две категории: одна возвращает поглощенную мерзость в пространство, другая же, пожалев уплаченное и пережеванное, предпочитает протолкнуть его внутрь во что бы то ни стало, удержать и переварить; эта особая характеристика, кажется, что-то существенное да способна добавить к общей картине человека.

Прикатив в конце концов домой в Москву, я вскоре же удостоверился с тревогой, насколько все-таки нештучный опыт произвел над собой: сознание действительно сместилось с наложенного места и пришло в нездоровое равновесие, разучившись выбирать. Все ему было одинаково привлекательно и противно, интересно и скучно, дурно и хорошо; любая мысль и предложение раскатывались взад-вперед, вперед и назад, могли подобно подозрительным стихам-перевертышам равно

читаться слева направо и, наоборот, справа налево: так оно как — как оно, кат?

И часто, рассыпавшись на кубики, слова строились, собираясь под образец того потянувшегося за мною с севера погребального плача, не брезгуя временами перелицовываться и в прозу.

Ну, первым делом я в ответ по старой прихоти напился с друзьями. Клюкнул сразу много, да и с привычки окосел. Хотелось разотождествиться с тем «Он», который сотворил такое, что и сам не ждал, — а вышло так, что пропил память. Не помню вовсе, как уполз, залез в стиральную машину; меня поймали в тот момент, когда включал уже рубильник. Должно быть, в подсознание так застряла жажда очищения, что в отсутствие ума оно искало средств о т м ы т ь с я.

Чувствуете, откуда ритм у последнего периода?...

Говорят, после этого самокрестильного происшествия меня выложили на диван, где я молча просопел до полуночи, когда вдруг приподнялся и уста забормотали что-то несвязное; потом сделались понятны слова: «У меня голова кругом идет, голова кругом идет, кругом идет...» Тут я как завоплю: «Голова, стой!!!» — и тотчас упал обратно в подушки.

Очнулся один у себя дома, и опять рассудок, покинув оболочку, внимательно присмотрелся к ней со стороны: посреди как будто бы колыхавшейся на воде кровати в чистых белых простынях была брошена она, грязная и грешная. Так я и валялся, разъединяясь и вновь заходя в себя, а там внутри ворочался, выставив наружу кончики нервов как еж — всякое прикосновение, даже шевеление, вызывало душевную боль и физическую неприязнь. Накатил появившийся впервые на двинском теплоходе приступ омертвления воли: я не представлял в настоящем, да и в будущем тоже, веской причины, которая убедила бы в необходимости подняться и куда-то идти. Сама совесть, докучавшая с каждым разом плотнее, отгоняется в таком состоянии

лукавой ленью ума: поди-ка ты вон, говорит он ей зло и правдиво, мы ведь все же пока еще, слава Богу, не верующие; ну, мало ли, прихватили что плохо лежало — но вообще-то кто тут кому обязан — никто никуда не привязан!.. И совесть убиралась восвояси, оставив на прощание вместо себя в голове заведенной адскую машинку толстовского стихотворения, отсчитывавшую короткими слогами.

... вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-ТАТЬ...

Сдвинуться в тот день помогли в последний раз нашедшие общий язык размышление и жадность: они заметили — как, я полагаю, и вы, — что так до сих пор и не ясно было, что же именно за икона мне досталась, потому что с самого начала я привязался к ней вполне идеально, так сказать, в принципе, к одной только идее без определенной формы. Теперь уже дольше нельзя было терпеть, пришла пора приглядеться поближе — чего там такое я, испугавшись, добыл.

Это оказалось изображение Богоматери с младенцем Иисусом на руках; поверху его тянется славянская надпись «Образ Божия Матери Тихвинския». Как я позже разузнал, икона по своим чисто внешним, поверхностным данным весьма интересная, пусть и не музейной ценности, но очень чистого северного письма и безо всяких там украшений — окладов, венцов, цат и тому подобного лишнего блеска. Сам же я могу оценить ее только по внутреннему своему к ней отношению, по вызванному ею ответному, пусть и мутному, слившемуся с нечистой жадной приобретательства чувству — и снова не вижу для него иного слова, чем любовь. Но разве земная любовь проклята за похожее желание обладать ее, что ли, предметом? А мое вожеление было рождено даже в относительно большей чистоте: ведь до того, как она у меня появилась, я ее практически не видал, хотя и смотрел прямо в упор, — оттого что почти ничего тогда толком ни в иконописании, ни во всем нашем древнем искусстве не понимал. Двойное

ощущение приязни и вины родило и две одинаково верные, но взаимоисключающие мысли: не может такое счастье много длиться — и: как бы к нему не привыкнуть...

Я повесил образ, как обязывает обычай, в правый дальний от входа угол, и тут же другой, задний ум — тот самый, который не от Бога — взбудоражился и стал подначивать: эге, вооруженный лезвиями любитель старины, холостой однокомнатный рыцарь, а как ты впредь в присутствии двух этих новых пар глядящих в упор глаз станешь, например, принимать у себя друзей противоположного пола? Стыдно-то не будет?..

И понеслось, и поехало, и, как говорил литератор Мережковский, что пошло — то пошло, полилось потоком это второмыслие, закружилось в слабом на сопротивление помыслам сознании. Наиболее опасным здесь было то, что источник сомнений действительно находился глубже и умственного, и чувственного уровней существа; по самому дну души пробирался нерасчленимый, первозданный страх отдаться той любви, которая возникала при взгляде в угол. Выразить точнее его содержание я вряд ли сумею, трудно найти подходящие сочетания имен; а на поверхность показывается лишь слабая тень его — испуги и самоукорения, отравляющие воздух свободы сырым дыханием грядущей духовной тюрьмы — или смрадом вполне реального застенка. Они шевелятся внутри всякий раз, когда откуда-нибудь приносятся нечаянные радости, и успешно соревнуются друг с другом в их уничтожении. Как скоро я, скажем, гуляя в безлюдное воскресное утро по переулкам Ивановской горы возле Исторической библиотеки, начну извлекать, намыывать из легкого наслаждения крупички чего-то вечного, они тотчас уколут сердце: да не в том ли корень особенной остроты твоих сегодняшних ощущений, что...

Но дома ужас сбрасывал слишком стеснительные для него одеяния приличий, сдергивал маску совести и

приступал с ножом к горлу в своем истинном и не вмещающемся в спокойную речь, несравнимом и поэтому невидимом другим, непередаваемом обличье. В такие минуты все застывало в комнате и только часы с книжной полки шли в такт безумной поэмы, превращая тишину одиночества в бесконечное размеренное исполнение моей собственной отходной. Потом я забывался тонким сном, а вскоре, переворачиваясь по обыкновению с сердечного тяжкого бока на легкий правый, вновь пробуждался, услышав, как они торопятся в мое отсутствие извести поскорее отпущенное для решения время, следил за их ходом, крутился под одеялом и не мог заснуть.

Наутро я чувствовал себя покрепче и опять уверялся в том, насколько серьезно связался со своим несчастным приобретением, — так что никакие грязные средства, которыми его заполучил, совершенно любви этой не касаются, блуждая в непересекающихся с ней плоскостях. Не могу сказать ничего про то, было ли утреннее убеждение взаимным, но вы сами, наверное, замечали, как играют при изменяющемся — дневном и ночном, искусственном и живом свете черты лиц иконных святых, как в глазах их от блеска единственной свечи загорается какая-то горькая, но победительная надежда.

Следя по постепенно проявлявшемуся на живописной плоскости рисунку за восходом невидимого солнца, я подолгу лежал молча, часы размеренно стучали из-за спины, изображенная в центре образа женщина незаметно окутывалась тихим золотым сиянием — между прочим, по преданию, Тихвинский извод богородичной иконы является одним из тех трех, которые имеют портретное сходство с оригиналом, — и в объюродевшем сердце заводился, самозарождался тикающий, опрометчиво затверженный текст:

И Ты, Предстательница всем!  
И Ты, Заступница скорбящим!

К Тебе о брате, здесь лежащем,

К Тебе, святая, вопием!

Моли божественного Сына,

Его, Пречистая, моли дабы отживший на земли оставил здесь свои кручины! Все пепел, прах, и дым, и тень! О други, призраку не верьте! Когда дохнет в нежданный день дыханье тлительное смерти, мы все поляжем, как хлеба, серпом подрезанные в нивах, — прими усопшего раба, Господь, в селениях счастливых...

Однажды я зашел в нашу коломенскую церковь и, дождавшись, покуда освободится после службы священник — это искусство было мною уже довольно-таки хорошо освоено, — подскочил к нему с разговором. Сказать сразу же о своей болезни казалось трудно, и я издалека повел такую вроде бы отвлеченную и ученую, а на самом деле любительскую, вполне прозрачную при их-то профессии ловцов душ беседу. Скажите, батюшка, спросил я сначала, вот ежели действительно каждому воздается по вере его, то нужно ли думать, что неверующие в загробное существование в соответствии со своими собственными желаниями на самом деле уничтожаются после смерти; а верующие в бессмертие преображаются и идут уже в жизнь иную, вечную?.. — Ну-ка, а вы как на это смотрите предложение — разве так не было бы справедливей всего, полностью в духе уважения к человеческой свободе и без унижительного над нею насилия?

Вам более интересно, что он ответил? — Поглядев мне в лицо, он быстро отвернулся в сторону и, как будто внимательно следя за перемещениями дьячка, который палочкой с пучком перьев на конце тушил на расстоянии, не касаясь до пламени, развешанные вдоль по стенам лампы, стал вслух рассуждать, что-де не все вопросы на сем свете к сожалению — но и слава Богу, что — принципиально решимы, и ни за одно дело нельзя нам ближнего смело осудить. По-моему, сказал он,

тяжко грешный человек сам со временем превращает себя в воплощенный недостаток, вместилище нераскаянности и суеты, то есть сосуд с пустотой, и после смерти в нем уже просто нечему воскресать.

Мне тогда сделалось совестно тянуть дальше свои околичности, горше было молчать, нежели чем наконец поделиться хоть с кем-то, я не смог больше носить это в себе и сбивчиво, переломив гордость, выложил ему в дюжине слов всю случившуюся историю.

— Украл, — говорю, — икону; теперь с ней расстаться не могу и мучаюсь. Что делать?..

Он почему-то почти не удивился, как я того ожидал, и вроде как о чем-то обыкновенном спросил: буду ли еще когда-нибудь в том городе. — Нет, — сознался я честно и внутренне застыл, боясь, что сейчас ответит: ну так езжай туда и верни. Но священник, вперившись теперь еще дальше мимо меня, куда-то сквозь кованую решетку окна в осколки заката за рекой, коснулся вдруг мягкой рукою моего плеча и сказал: тогда ступай и делай, как знаешь. Считаю, что я, недостойный иерей, тебе это *разрешаю*.

Ушел я от него в расстройстве; потом на улице, правда, значительно поуспокоился, но так до конца и не понял, чего он имел в виду, и даже — осудил все-таки или простил. А вам вот понятно?..

Но тут есть и еще более темная сторона, в некотором смысле окончательное завершение темы заднего, ночного ума. Я читал где-то у одного безответственного автора вроде Ницше, что, по его мнению, святость в качестве обязательного условия существования требует яркого контраста, в отсутствие которого быстро делается обыкновенной, заурядной, — знаете пословицу «не согрешишь — не покаешься»? Ну и легко отсюда сделать вывод — какого же рода этот контраст. Вот здесь и заключен нисколько не книжный, а полностью настоящий, мясистый соблазн: ведь такое хитрое переверачивание местами причины и следствия оправ-



дывает все то, что противоречит, подталкивает нас под локоть, подменяет направление начальных движений души; оно обосновывает необходимость «вторых» мыслей, незаметно делая их — первыми...

Я стал замечать у себя отвратительное извратительное помышление, неизменно сопровождавшее подголоском каждое чистое соображение — представление о последней гадости, каким, наверное, мучился всю жизнь Достоевский. Навязчивее, чем когда-либо прежде — по-видимому, оттого, что скovyрнувшийся со стержня разум служит для них притягательнейшей наживкой, — меня принялись осаждать образы того будущего, где я как будто бы сумел избавиться от всех принесенных иконой неприятностей и даже от нее самой; позже они оформились в повторяющийся сон — видение про то, что я ее продал. Это была уже высокая степень бреда, настолько доказательная в своей истовой истинности, что я и сейчас не смогу уверенно отделить в ней явь от морока.

В отличие от пустячных поверхностных наваждений, предпочитающих бесплотность, кошмар имел отдельную личность, он олицетворялся в мысленном голосе, звучащем откуда-то из затылочной части черепа; при этом в глазах никогда не появлялось ничего определенного, только клубки непрозрачного и крайне омерзительного тумана. Как это говорится в старых славянских книгах, кто-то чужой, словно исткавшись из воздуха, нудил меня сбыть быстрее с рук, от греха подальше, несправедливо приобретенную святость — и сбыть, кроме всего прочего, с явной выгодой для тела и для души. Тут начинали одна за другой сыпаться причины, доводы и основания: на полученные деньги можно купить, и вполне законно, целых две новых иконы, быть может, много интереснее прежней; а нет, так набрать на выручку, как-никак в несколько сот рублей, лучших книг — или уехать на целый год путешествовать. Если же образ сей и на самом деле служит благословением

каких-то высших сил, то продажа станет для него удобнейшим случаем доказать и одновременно прославить свою сверхъестественность: он запросто делается неразменным и, унесенный вон очередным покупателем, тотчас же необыкновенным манером будет прилетать обратно, да еще, как и был получен, даром... Это последнее было уже совершенно гоголевское превращение, из «Портрета», только — приглядитесь — опять же поставленное с ног на голову.

Я сопротивлялся из всех сил, и тогда голос поменял тон, принялся издеваться, доказывая, будто кража иконы была из числа тех жалких обогащений, какие случаются лишь во сне и сразу же при пробуждении рассеиваются без следа, — но ведь это и была греза, хмельная греза, усугубленная слабостью от качки и мнительностью одиночества. В том городке, где все это якобы «произошло», говорил он с обидной достоверностью, и еще на триста верст кругом него давным-давно не осталось ни одной действующей церкви! — Признаться, я до сих пор боюсь проверить этот его аргумент, да и как это сделать, не возвращаясь на место своего преступления...

Несколько раз мне уже окончательно мерещилось, что икона взаправду продана, после чего охватывало состояние какого-то радостного отчаяния или тяжелой воли, свободы без катарсиса — не знаю, как правильнее. Сперва оно врывалось режуще-остро и вскоре же проходило; но в последнее свое посещение, сравнительно недавно, втиснулось в голову словно некое тонкое облако и потихоньку там растворилось. Не я сам, так отец мой или дед с прадедом продали — такое это было чувство; я его с тех пор, видно, долго еще буду носить под сердцем и не совсем уверен, избавлюсь ли когда-нибудь вообще.

Забыл сказать, что когда уходил из церкви после того разговора, то напоследок посмотрел на иконостас вблизи и вдруг узрел прямо напротив себя — там есть

такой отдельный апостольский ряд — святого с именем, от которого я очень хотел бы откреститься: Иуда. Вздвогнув, я тогда зачурался и решил, что это опять очередное смещение в реальности, обман глаз; но позже растолковали, что их и на самом деле существует два апостола-тезки, наглядно представляющих направление двух возможных путей — один Иуда предатель, другой верный. Задача же человека состоит в умении различать, то есть — выбрать.

Все выше названное и описанное можно бы попробовать объяснить — как и вполне, на первый взгляд, невероятное помещение Иуды в число тех, кому молятся, — чисто естественными, психологическими причинами: совокупность всего, чем раньше жил, прежнее тело мое, стоящее на страже собственного покоя, издавна уже почуяло угрозу стеснения, отказа от привычек и склонностей, постепенно составивших внешний вид личности, — и, защищаясь насмерть, вонзилось щупальцами своих ощущений в душу, стало кромсать ее боязнями, понуждая избавиться от нагрянувшей беды, извергнуть ее вовне и вернуться на старое.

Правда, при такого рода научном подходе нанизывающийся стихопад совпадений течения моей судьбы с дамаскиновым плачем будет назван всего лишь простою игрой воображения, обостренной его предрасположенностью искать рифму там, где ее изначально и не было; но одновременно именно возможность правдоподобного разоблачения тайны кажется мне самым верным признаком ее подлинной чудесности. Я даже рискну предложить это в качестве одного из двух главных выводов, которые сделал из всего со мной приключившегося. Сами подумайте, в чем же состояла бы наша заслуга, коли необыкновенное — никогда, кстати, не нацеленное абстрактно в пространство, а метящее в определенное человеческое восприятие, — появилось бы во всеоружии сокрушительной, беспрекословной убедительности? Имея же свободу толковать — и действительно

толкую его как прорыв реальности или, наоборот, не выясненную до поры аномалию природного автомата, вы совершаете акт самоопределения в мире — вот и всё.

Здесь после первого заключения следует далее тупик или, лучше, перекрестие; у него можно остановиться, пока есть еще время, — оглянуться назад, перевернуть в памяти пройденное. Хочется потоптаться тут подольше, хотя ноги будто сами ведут вперед, томясь от нетерпения сделать следующий шаг. Примерно таким перепутьем мне и представляется сегодняшний день, и обстоятельства нашей с вами встречи постепенно утрачивают оттенок бессмысленной нечаянности.

Но, признаться, когда я около полудня оказался на абсолютно безлюдной Пушкинской, а потом, шагая по ней вниз, за поворотом наткнулся взглядом на валившую с другого конца плотную толпу, то еще ни о чем не догадывался — мне только сделалось немного не по себе. Мы сближались все больше и больше, и это стало наконец почти невыносимо: один малюсенький прохожий, направляющийся по своим ничтожным делам в центр, против молчаливо прущего ему навстречу неслетного скопища. Перед самым уже неминуемым столкновением нервы не выдержали и я нырнул вбок, в ту пивную «Ладыя», где мы сейчас допиваем свою золотую -надцатую кружку. Теперь, конечно, вы вправе постараться спокойно и рассудительно доказать мне, что случившееся тогда противостоит есть попросту преувеличенный художественностью восприятия жизненный анекдот; на самом же деле, скажем, группа людей в организованном порядке возвращалась с демонстрации, а я ошибкою просочился сквозь кордон, перекрывавший все подступы к улице для их беспрепятственного прохождения.

Да, но опять же так ли все это непогрешительно точно, неужели нельзя подозревать тут еще и иного, сокровенного, спрятанного от поверхностного наблю-

дателя смысла — как, между прочим, и в снижении вечного образа корабля в названии данного кабака? Пусть я не смогу тотчас уверенно определить источник помянутых неслучайных случайностей, пусть даже мне так и не сделалось до сих пор понятно, что наконец нужно делать со всеми своими иконными недоразумениями, да и вообще неясно сегодня, кто из нас с ней двоих над кем усерднее трудится, — не в том соль. Среди неразберихи и внутреннего шума, в смешении стихов и страхов я чувствую высказанную на некоем высоком, символическом языке теплую надежду — нет, не на воскресение покуда, но на выздоровление...

И поэтому не поленюсь еще раз поблагодарить за повесть о тех замечательных находках, которые вы делаете у себя среди сдаваемой на приемный пункт макулатуры и вместе за спасительное в моих нынешних стесненных кондициях предложение пойти к вам работать на сортировку бумаги и книг, а в ответ, завершая рассказ, могу только отдарить своим вторым и последним из него общим выводом или, если угодно, моралью.

Вот нам с вами в свое время приходилось как-то сталкиваться с изучением философии — нет нужды уточнять здесь, в общем ли то, обязательном, частном или житейском порядке; и не так уж много воды утекло, чтобы успело забыться хотя бы то, что считается ее главным, исходным и одновременно конечным вопросом: первичность материи или идеи. И да останется он навеки таким для всякого отвлеченного, безличного, нечеловеческого любомудрия, а я на своей душе понял, каков истинный основной вопрос философии: это страх смерти. Он настолько уже основателен, что не требует и вопросительного знака на конце, для него вполне достаточно точки, той точки, до которой я дошел в настоящий момент. Точка-стена она, точка-погибель, точка-затычка и точка-дверь, дверь, превращающаяся на глазах в окно, проходя сквозь которое очертя голову иду в неизвестный я путь иду меж страха и надежды мой

взор угас остыла грудь не внемлет слух сомкнуты вежды  
лежу безгласен недвижим не слышу братского рыдания  
и от кадила синий дым не мне струит благоуханье но веч-  
ным сном пока я сплю моя любовь не умирает и ею  
братья вас молю да каждый к Господу взывает Господь!  
в тот день когда труба вострубит мира преставленье  
прими усопшего раба в Твои блаженные селенья.

1981

## **ИНТЕРНАЦИОНАЛУ СОПРОТИВЛЕНИЯ**

**Международному Трибуналу; ООН; Интернационалу  
Сопrotивления; Международной Амнистии; Канцлеру  
ФРГ; Главам государств Свободного Мира; Международ-  
ному обществу защиты прав человека (ФРГ).**

До тех пор, пока в СССР нет свободы информации и людей бросают в лагеря за убеждения, Веру, — неизбежны там все новые Катастрофы чернобыльского типа. Мирный путь спасения жизни — эмиграция из СССР, соцлагеря. Необходимо добиться, чтобы власти СССР выпускали всех желающих, освобождая от гражданства, не требуя израильской визы. КГБ уже 20 лет использует форму «воссоединения» в Израиле, чтобы раздувать антисемитизм, пресекать эмиграцию христиан, русских, украинцев, прибалтов... А Израиль, заключив тайные сговоры, также не освобождает от своего гражданства. Многие факты изложены Г. Свирским в книге «Прорыв». Международный Трибунал и ООН должны запретить властям СССР и Израиля насильно удерживать людей в своем гражданстве, — 20-й век упразднил рабовладение. Государства Свободного Мира обязаны серьезно отнестись к трагедии беженцев от тоталитаризма, иначе повторится 1939-й год: уступки Антихристу не проходят безнаказанно.

*Д-р Эдгар Трэппер-Бройде*  
ФРГ. 7 июля 1986 г.

# Россия и действительность

---

Димитрий П а н и н

## ПРАВОТА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Чувство правоты – живое чувство, тесно связанное с выполнением обязанностей. Когда человек достойно выполняет обязанности, он опирается на свою правоту, в силу чего доволен собой и смело смотрит в глаза людям; при невыполнении обязательств чувство правоты у него отсутствует. Истинная правота есть сознание человека-созидателя (1), и достигнуть его возможно при большой строгости и требовательности к самому себе. Человек, ощущающий правоту, ее же мерилom оценивает окружающих. Так создаются неписанные правила, своеобразные законы, близкие к заповедям христианской морали.

На Руси состояние правоты сформировалось в ходе непрерывной обороны, при ее освобождении от татарского ига и становлении государства Российского. Под давлением грозной действительности человек быстро исправлял свои ошибки.

Природа прав человека иная, чем у правоты. Права человека устанавливаются законами, разрешающими ему осуществлять свои требования к государству. При этом любой человек, независимо от своих качеств и деятельности, располагает теми же правами. В античном мире (Афины, Спарта, Рим) подобие прав человека существовало лишь для свободных граждан, но не для рабов. Христианство возвеличило человека, охраняя его достоинство. Внутренне достоинство покоится на чувстве правоты, внешне оно опирается на права, провозглашенные в законах. Но право на что бы то ни было христиан измеряет своим долгом и обязанностями, т. е. тем же чувством правоты. Таков должен быть принцип поведения человека.

При резком отклонении от правоты поведения населения всей страны душе народа (2) наносится глубокая рана, которая долго не заживает и тем ослабляет народ, испытавший на себе ее последствия. Когда слои народа направлялись, в основном,

сознанием правоты, их единство было крепким. Единство треснуло, когда дворяне стали жить по ими же навязанным в 1762 г. законам, идущим вразрез с чувством правоты. Тем самым, обида и несправедливость омрачили сознание правоты крестьян, мещан, рабочего люда. Возникновение с 1860 г. паразитической группы интеллигенции, действующей против глубинных традиций народа и опирающейся на извращенное чувство правоты, губительное для страны, полностью нарушило прежнее единство. Создавшемуся положению способствовала непростительная задержка с освобождением крестьян, основанном к тому же на несправедливых требованиях. В целом, образование правого сознания непомерно отстало у русского народа, и кровавая вакханалия большевиков в 1917 г. стала возможной.

Больше тысячи лет Византия, а позднее и Русь были щитом для Западной Европы и отражали с Востока набеги кочевников и нашествие арабов. Благодаря этому в Европе создались благоприятные условия для ее культурного и экономического развития. От древнего Рима Европа унаследовала дух законности. Оба эти фактора разрешили Европе уже в XI веке понять, что закон должен охранять права человека. Первой ласточкой была Хартия вольностей Иоанна Безземельного. Более мягкая жизнь не требовала от населения постоянного проявления правоты, и пренебрежение ею позволяло домогаться прав любой ценой. Эта порча нравов коснулась и правителей, которые стремились чужими руками жар загребать. И не раной ли в душе западных народов объясняется непомерное число разрушителей в области идей, усилия которых были направлены на сокрушение христианской цивилизации?

Главные события на Руси и их вершители (государи, князья, бояре, полководцы) были верно описаны в летописях и дают возможность оценить в целом поведение русских людей. Письменные свидетельства о поведении одиночек дошли до нас, за некоторым исключением, лишь со Смутного времени. Поэтому для анализа поведения рядовых людей следует применить другие приемы.

В квантовой механике по скупому показанию прибора удастся сделать строгие выводы о природе и свойствах элементарной частицы. Например, если в камере Вильсона след летящей частицы в магнитном поле предстает в виде плоской кри-



вой, то по положению центра кривизны сразу же можно установить знак заряда этой частицы, т. е. ее принадлежность к частицам или античастицам. По напряжению магнитного поля и величине радиуса кривизны определяют величину заряда частицы, по другим показателям – ее массу и спин. Для физиков такой ход мышления общепризнан и не вызывает сомнений. Мне представляется вполне уместным и закономерным применить идентичный ход мышления к некоторым узловым точкам истории России для выяснения поведения, а следовательно, и качеств рядовых созидателей в стародавние времена:

– С 800 по 1237 г. военные нападения на Русь происходили каждые четыре года. Положение для рядовых русичей заметным образом не изменилось после приглашения в Киевскую Русь князей-варягов. Дружина охраняла князя и его город, выступала в походы. Свои поселения русичи защищали сами. Разрушители (по своей натуре) находились в одинаковых условиях с созидателями, ибо им также приходилось отстаивать свою жизнь. Они не имели возможности хитрить, прятаться за спину других, использовать их доверчивость. Рожденное в этой обстановке чувство правоты было единым, и нарушить его было опасно: за предательство и малодушие чинили самосуд.

– С 1240 по 1462 г., во время татарского ига, на Русь было двести вражеских нашествий. При явном перевесе на стороне татар иногда удавалось заманить их в лесную чащу; впрочем, обычно вооруженный отпор при защите своего селения кончался его пожаром, разграблением, угоном жителей в полон, хотя наносился и ощутимый урон нападающим. При огромных пространствах Руси и редком населении приходилось полагаться на свои силы, на боевые качества рядовых людей.

– Разделение и распри удельных князей, приведшие к поражениям в битвах при Калке (1223) и при Сити (1240), происходили от бурления молодецких сил. Влияние на них разрушителей сказывалось в предательствах и изменах.

– В сражениях с Батыем (1237 – 1240) погиб цвет русского воинства. Шведы и Тевтонский орден немедленно этим воспользовались. Однако Александр Невский нанес сокрушительный удар шведам (1240) и наголову разбил на льду Чудского озера войско Тевтонских рыцарей (1242) усилиями ратников, вчерашних землепашцев, преобладавших в его войсках после разгрома Батыем русского воинства. Народ окрестил

эту битву «Ледовым побоищем» недаром: лучшего доказательства его отваги, сметливости, силы, умения сражаться не требуется. Наши лапотники разбили закованных в сталь всадников целого рыцарского ордена. Такова историческая правда. У моих современников несомненно были среди ратников родичи. Поэтому становится понятным, что двигало Суворовым, когда он воскликнул: «Мы русские, какой восторг!»

– В течение 300 лет Псков успешно отражал постоянные нападения ливонских рыцарей, так и не сумевших овладеть городом.

– В ходе Куликовской битвы (1380) князь Димитрий Донской одержал великую победу над огромным войском татарского хана Мамаю, выступившего в союзе с литовским князем Ягайлом. Положение Руси даже 140 лет тому назад, во время нашествия Батыя, было менее опасным: его орда шла с Востока, но одновременно не было вторжений с Запада. Здесь же с Востока наступали войска Мамаю, с Запада – Ягайла. Если бы русские не нанесли сокрушительного удара Мамаю, их атаковали бы с фронта и с тыла. Место битвы было выбрано так, что русские были прижаты к реке. Гений Димитрия Донского не позволил соединиться войскам Мамаю и Ягайла. Увы, в войсках Мамаю была рать Олега Рязанского, изменника русскому воинству, а рати Твери и Новгорода отказались выйти на подмогу войскам Димитрия Донского. Каждый участник этой великой битвы в наше время заслужил бы наивысшую награду, но наши предки стремились лишь победить неверных и отвоевать независимость Руси, перестать платить дань, пресечь набеги и угон в полон русских людей. Огромные потери в войсках Димитрия Донского через пару лет сделали возможным неожиданное вероломное нападение хана Тохтамыша на Москву, во время которого она подверглась разграблению. Однако, в целом, в последующие годы татарское иго держалось лишь формально и окончательно рухнуло в 1480 г.

Не требуется лучших доказательств, что Русь оборонялась и строилась дружными усилиями созидателей из всех слоев населения. Но за 200 лет, когда Русь на пространствах почти всей теперешней Европейской России освободилась от татарского ига, католический мир не сумел защитить маленькое Иерусалимское королевство крестоносцев и отдал его арабам. Историкам этой эпохи надлежит углубить и расширить приведенные примеры и вытекающие из них выводы. Я же

попытался проникнуть в стародавние времена и иным путем, ставя себя и знакомых бывалых людей, испытавших больше меня и познавших к тому же войну, в воображаемые, но вполне достоверные положения, в которых стрельцы, мои родичи по отцу, вынуждены были действовать. И тогда я многое понял.

Пятьдесят пять лет жизни в СССР были для меня тяжелой проверкой сил. Всё, что пережили люди моего поколения под пыткой и на следствии в сталинских тюрьмах, а затем в лагерях и на пешеходных этапах, в шкуре заключенного, подсоветского солдата или власовца, дает богатый материал для сопоставления их поведения с поведением наших предков в вышеупомянутые далекие, но сходные по невзгодам и бесчеловечности времена. Двадцатый век, к его стыду, допустимо сравнить с веком Батые! Неверно искать объяснения верности, стойкости, смелости, мужества, терпения рядовых людей в боязни кары. На просторах Руси проживало тогда всего несколько миллионов человек, и не существовал в те времена вездесущий КГБ, а потому и не протянул к ним свои щупальцы. Истинно благородного поведения и самопожертвования требовала от тогдашних людей суровая действительность. Оборона трещала бы, и победа стала бы невозможной, если бы товарища бросили в беде, раненого оставили бы, а не тащили бы на себе, если бы не полагались на свои силы, смекалку, опыт. Исследование забытого поведения людей того времени помогает понять величие рядовых созидателей, которые отражали под началом своих воевод, а иногда и сами по себе, набеги, расширяли пределы страны, строили церкви, монастыри, посады, платили подати, исполняли повинности. Какая же сила помогала тогда человеку переносить и преодолевать все тяготы суровой жизни? Несомненно то была крепкая вера в Бога, порождавшая смиренное желание быть стойким работником на ниве Божьей, т. е. защищать веру христианскую, Церкви, рубежи, жизнь близких. Иными словами, выполнять свои обязанности с охотой и хорошо, отчего возникала уверенность в своей правоте или, когда что-то было сделано не так, как следовало, беспокойство или недовольство собой. Без чувства правоты как следствия хорошо выполненных обязательств, своего долга, не объяснить, почему Русь на огромной территории смогла одна, без всякой помощи и всего за 200 лет освободиться от татарского ига, тогда как Европа отвоевывала у ара-

бов юг Испании в течение восьми веков. И вдобавок к тому, так как считалось, что на территории Испании ведутся крестовые походы, ей помогали многие крестоносцы и рыцари из других стран. Так не было ли у рядового русского ратника столько же воинской доблести и душевного благородства, проявленного в самых суровых условиях, как и у рядового рыцаря? И неизвестно еще, как проявил бы себя рыцарь, действуя не за крепостными стенами замка, а на наших просторах, доведись ему нести дозорную службу на деревянной сторожевой вышке в мороз, вьюгу, непогоду. Перенес бы он длительные пешие переходы, да в качестве гонца совершаемые в одиночку, на громадные расстояния, и постоянные схватки, стычки, сражения с дикими неверными кровожадными врагами?

В вышедших недавно в русской эмиграции чудесных книгах Волкова-Муромцева, С. Мамонтова, Ларионова, Баева с подкупающей простотой и правдивостью описывается военная страда героев Белого движения. Книги эти особенно ценны, так как написаны низшими чинами Белой армии, юнкерами или кадетами, т. е. теми, кто вывез сражения на своих плечах, часто на свой страх и риск, проявив сметливость, львиную отвагу и присутствие духа. И сквозь их шеренги я увидел воочию своих предков. От юнкеров бежали красные части Сорокина, Сиверса, Жлобы; от ратников Руси – орды кочевников и татар. Юнкера и кадеты окончили военные училища, воевали в регулярной армии под началом офицеров, подчинялись строгой дисциплине. Наши родичи не знали преимуществ военной жизни и передавали опыт вооруженной борьбы от отца к сыну, от старшего брата к младшему. Они овладевали копьем, бердышом, стрельбой из лука в ходе мелких столкновений; у них не было ни пушек, ни зарядных ящиков, ни походных кухонь; они воевали с пятнадцати лет до смерти или полного увечья. И руководствовались при этом стародавние рядовые создатели чувством правоты.

Трудиться стародавним создателям приходилось не за страх, а за совесть. Железная необходимость требовала осуществления этой старинной поговорки. В той обстановке отход от преодоления в данный момент главного сопротивления оборачивался изменой и предательством. Прямой честный путь преодоления сопротивления был единственным, и создатели, от великого князя Московского до хлебопашца и ратника, в поте лица и с оружием в руках, строили, обороняли, кор-

мили государство Российское. И все они действовали, не щадя живота своего, в боярской думе ли, в приказах ли. Боярские дети и отличившиеся на войне назначались военачальниками. Разрушителей в любом облиции ожидала крутая расправа, потачек им не давали. Библия, жития святых, творения Иоанна Златоуста охраняли души созидателей. Догматически строгая и неизменная Церковь не соблазняла прихожан новостями, способствующими возникновению сект. Уродливые наросты (хлысты, скопцы, жидовствующие, стригольники) – дань разрушительному началу в толще народной – появились много позднее. Были, естественно, в те времена срывы, измены, беды, порождаемые гордыней и беснованием духа, но не в современных масштабах.

Великое почтение вызывают стародавние монахи. На Руси были и молитвенники, и святые, и созерцатели, и затворники в скитах, но подавляющее большинство монахов работало, осваивало незаселенные земли, просвещало, обучало, создавало летописи. Жизнь способствовала рождению сознания своего права у созидателей по натуре, добросовестно исполняющих свои обязанности, – личного, семейного, имущественного. Ратник (вчерашний землепашец) был в своем праве, когда отнимал оружие у поверженного им врага. Боярин или стрелец под великим князем не смел заявить, что его дом – крепость, как говорят англичане, но на деле его дом был его домом и защищал он его как свою крепость. В борьбе с кочевниками и татарами наши родичи действовали на свой страх и риск: горстки вольных людей отражали дикие набеги на селения. Рабы никогда не смогли бы удержать огромные российские земли (3). И не было в то время палочной дисциплины «немецких пудренных дружин» Фридриха Великого, ходивших в конце XVIII века строем в атаку и боявшихся своего капрала пуше врага. При сохранении единства народа из подобных ростков могло бы вырасти правовое сознание.

Благородство духа есть крайнее проявление правоты в виде отваги, подвига, принесения в жертву своей жизни, защиты правого дела и ближнего в беде. В юности для меня мерилom благородства были идеальные рыцари. Но позже я увидел благородное начало, хоть и скрытое от глаз, у наших родичей, рядовых созидателей и оборонителей государства Российского. Своеобразное развитие России представляет собой изумительную лабораторию: в исключительно суровых

условиях формировалось общество, движущей силой которого были созидатели, беспощадно подавлявшие разрушителей – смутьянов, трусов, предателей. Наша действительность не допускала картинного проявления благородства западных идеальных рыцарей. В свое время это было для меня причиной невеселых раздумий. Однако пелена спала, когда я понял, что русская рать состояла не из князей и их холопов, Ивашек и Ермошек, а из вольных людей – ратников и военачальников.

Девиз западных рыцарей (Душа – Богу, жизнь – королю, сердце – даме, честь – мне самому) лишь частично был в ходу в России. До двух последних строк ее население не доросло, хотя понятие чести заменялось в те времена сознанием правоты. Суровая действительность требовала, чтобы за победы расплачивались стеснением личности, но при сознании правоты своего поведения. Привилегированное положение Западной Европы способствовало стремлению к личной свободе, увы, далеко не в чисто христианском смысле («истина сделает нас свободными»). Когда стремление к личной свободе воспринимается как персональная честь, легко поскользнуться. В погоне за такой свободой легко угодить в пасть гордыни – матери смертных грехов. Со свободой шутки плохи – всё, что ей мешает, следует устранять. И поскольку главным препятствием на ее пути были заветы Христа и учение Церкви, западные разрушители начали борьбу за сокращение и умаление Ее влияния, а затем добрались и до Спасителя. Конечно, было множество благородных людей, гармонично сочетавших личное благородство с выполнением христианского вероучения Церкви. Но речь идет об общей тенденции на Западе, о лазейке, которой немедленно воспользовались разрушители.

Русский же человек считал волю Бога (Церковь) и государя обязательной, и смиренно относился к своим заслугам. В исполнении череды своих обязанностей рядовой созидатель обретал правоту своего поведения и образа жизни, которые благоприятно оценивались его окружением и теми, кому он обязан был подчиняться. Это состояние заменяло русскому человеку стремление западных людей к расширению узаконенных личных прав. В условиях почти непрерывных войн его поведение было наилучшей из предоставленных ему возможностей. Да и вся его жизнь вписывалась в исполнение благодатной полусвободы, направленной на обретение высшей сво-

боды как жертвование своей жизнью «за други своя». Если бы не раскололось единство народа, быть бы России могучей, процветающей и счастливой.

Удобное географическое положение и относительно благоприятная история Западной Европы, ограждавшей как щит восточные границы в течение доброго тысячелетия, разрешили европейцам заниматься завоеванием персональных вольностей и свобод. От властей требовали уступок (или их вымогали) в виде прав человека независимо от вклада человека в общую жизнь народа. Благодаря этому каины-разрушители успешно предавались своей разрушительной деятельности уже в средние века, а с эпохи Возрождения они представляли собой уже внушительную силу, захватывая одну идейную позицию за другой. Таким образом, разрушители в Западной Европе были давно в благоприятном положении и распространяли заразу, подбираясь к власти. К тому же «щит» на востоке вызвал порчу нравов правителей Запада, у которых вошло в привычку вести себя вероломно.

По данным историка С. Соловьева, с 1368 по 1893 г. Россия 329 лет из 525 вела войны. Продолжив этот расчет до 1918 года, включив в него годы Японской и Германской войн, заключим, что 60% от 550 лет Россия воевала и оборонялась. Созидатели земли русской собрали для нас, своих ничтожных потомков, великую империю и завещали нам дружбу сословий. Но все их походы, победы, завоевания, бедствия и страдания были уничтожены жадностью одних и безумием других ведущих созидателей, охвативших их в начале двадцатого века, и дьявольской работой бесов и каинов, для которых с 1860 года создались благоприятные условия.

Западный мир разрушители отравляли в течение ряда веков. Ущерб был нанесен огромный, но одновременно прививка бациллы лжеучений сделала их менее опасными, чем тех, кто жил без прививки. Таким непривитым организмом оказался наш доверчивый и большей частью неграмотный народ, несущий на себе к тому же груз прошлых и настоящих обид. На непривитых людей с 1917 г. магически действовали слова «свобода», «буржуй», «кадет», превращая их в разрушителей всего, что вчера еще ими почиталось. А после 1917 г. крестьяне и многие горожане стали на путь разрушения права, законности, порядка. Чувство правоты исчезло, в стране царил хаос. Последствия нам, россиянам, известны.

Доблестное поведение афганского народа с его партизанами служит нам укором. В обстановке оккупации, чудовищного террора, непрерывного военного нападения и расправы с местным населением, при отсутствии своего национального правительства, каждый боец за освобождение Афганистана от советского ига руководствуется чувством правоты. Поступки, преисполненные правоты, оцениваются окружающими как достоинство и личная честь рядовых созидателей, охранителей своего отечества, которые воссияют в скрижалях истории. Наглядный пример афганцев поясняет мужественное поведение, основанное на правоте, наших отдаленных родичей при освобождении от татарского ига и становлении государства Российского.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Правота – «правильный образ мыслей и действий» (Толковый словарь русского языка, под ред. Ушакова). Развитие Вселенной представляет собой взаимодействие и борьбу двух потоков: творческого, созидательного, и энтропийного, разрушительного. Соответственно, на протяжении истории человечества люди были созидателями или разрушителями, стремящимися поработить созидателей и жить за их счет. Давно пора созидателям осознать свое место в жизни и нависшую над ними опасность и действовать согласно этическим законам (Д. Панин. Созидатели и разрушители. Париж, 1983). Данная статья представляет собой главу из подготовляемой к печати книги «Держава созидателей», в которой читатель найдет ряд предложений по устройству жизни созидателей и обезвреживанию разрушителей.

2. Душа народа: силовой остов из трансфизических частиц в трансфизическом поле, образованный при взаимодействии душ людей общих устремлений (Д. Панин. Теория густот. Париж, 1982, с. 102).

3. Крепостное право ввели лишь при Борисе Годунове в конце XVI века. В наиболее безобразной форме крепостничество выступило при Екатерине II в конце XVIII века.

ПАНИН Дмитрий Михайлович – родился в Москве в 1911 г. в семье адвоката. По образованию инженер (окончил МИХМ и аспирантуру). В 1940 г. был арестован за разговоры против режима и осужден на 5 лет, а затем Особым совещанием вторично по ст. 58-10 на 10 лет, после чего был отправлен в пожизненную ссылку. В 1956 г. был частично реабилитирован и возвратился в Москву, где до своего отъезда на Запад в 1972 г. работал главным конструктором. На Западе



опубликованы мемуары, философско-социальные работы («Мир-маятник», «Вселенная глазами современного человека», «Теория густот», «Созидатели и разрушители»), научные работы в области квантовой механики и теории относительности и статьи в газетах и журналах (в частности, в журнале «Выбор»).

В связи с 80-летием писателя *МИХАИЛА ШУЛЬМАНА* и выходом в свет его новой книги «ОДЕССА, МОСКВА, ПАРИЖ, КОЛЫМА, ВОРКУТА, ТЕЛЬ-АВИВ», – на 440 страницах которой опубликованы 6 повестей, 32 новеллы и множество иллюстраций, фотографий и документов, по инициативе почитателей его творчества создана **ЮБИЛЕЙНАЯ КОМИССИЯ**, которая начала подписку на эту книгу и наметила ряд мероприятий, связанных с юбилеем писателя.

В период издания его основной книги в трех томах «**БУТЫРСКИЙ ДЕКАМЕРОН**», которая была переиздана три раза, Михаил Шульман получил от подписчиков и читателей со всего мира около трех тысяч писем и в прессе было опубликовано более 20 рецензий, отмечающих его незаурядный талант и большое общественное значение выпущенных им книг.

Юбилейная Комиссия призывает всех читателей и подписчиков подписаться на книгу **ЗАБЛАГОВРЕМЕННО**, так как автору необходимо сразу же оплатить стоимость бумаги, набора, а также других производственных расходов.

Цена книги 20 шекелей, которые можно уплатить двумя чеками по 10 шекелей не позднее сентября 1986 года. Цена за рубежом – 18 долларов.

Просьба направлять чеки по адресу: Михаилу Шульману, п/я 27039 Яффо «Д», Тель-Авив. **Тираж книги будет равен числу подписчиков и книга в магазинах продаваться не будет!**

**Последний день подписки – 30 сентября 1986 г.**

Справки по телефону 03-879963.

**ЮБИЛЕЙНАЯ КОМИССИЯ**

# РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

## «КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг  
Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.  
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries  
should be addressed to



**A. Neimanis • Buchvertrieb**

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

# Восточноевропейский диалог

Адам М и х н и к

## МЫ ВСЕ – НАСЛЕДНИКИ МИЦКЕВИЧА (Поляки по отношению к России)

Мицкевич хорошо знал этот особого рода тюремный слух и описал его в «Дзядях». Слух узника остро замечает все отзвуки. Доносящиеся с коридора и доносящиеся со всего мира. Бряцанье ключей и шелест слов, особенно слов, проникающих сквозь пограничные кордоны и тюремные стены, проскальзывающих в щели. Эти слова-птицы, свободные, не подлежащие таможенному и полицейскому контролю, слова-знаки дружественности и братства – словно лоскутки свободы, даримой друзьями. Таковы для меня слова русских друзей – Наташи Горбаневской и Володи Буковского, Виктора Некрасова и Льва Копелева.

Как ответить на эти слова? Я не раз провозглашал свое восхищение русскими друзьями свободы – нет смысла повторяться. Я хотел бы обогатить эти декларации, идущие из глубины души и столь важные для меня, русско-польским диалогом. Но возможен ли такой диалог – свободных со свободными, равных с равными? Помехи очевидны. Люди, отравленные Историей, глядят друг на друга неприязненно, чужими глазами, и не склонны прислушиваться к критическим замечаниям. Все мы щепетильны и обидчивы – как всякий, замечающий за собой слабость. А сколь обидчивы, должно быть, все эмигранты!

Их высказывания о Польше проникнуты заинтересованностью и сердечностью – это обязывает проявить добрую волю. Полны они и непритворно дружескими чувствами – это обязывает к искренности.

---

Статья написана в тюрьме с мыслью о публикации в «Континенте» и передана нам друзьями автора. Подзаголовки статьи даны нами. Подзаголовки в тексте – авторские. – Р е д.

Так скажем же искренне: даже поверхностное чтение польской подпольной прессы показывает, что чувства русских друзей иногда остаются безответными, а точки зрения поляков характеризуются существенными различиями. В этом отношении показательны выступления Куроня в защиту Сахарова или письмо Буяка Буковскому<sup>1\*</sup>, но показательны и молчание Леха Валэнсы; показательны, наконец, подпольные публикации с шовинистической, откровенно антирусской направленностью<sup>2</sup>.

Разнообразны польские ответы на нынешнее положение. И каждый из них корнями уходит в польские традиции.

Я думаю о Станиславе Бжозовском – одной из легендарных фигур польской литературы. Автор книг и памфлетов, будораживших общественное мнение, герой, вероятно, самого громкого скандала в истории польской интеллигенции<sup>3</sup>, Бжозовский был в то же время проницательным исследователем русской литературы. Некоторые из его противников – а их было немало – отыскивали общий знаменатель между приписанным ему сотрудничеством с охранкой и его увлеченностью русской проблематикой. Это демонстрирует степень ничтожества обвинителей, но в то же время показывает, насколько особым человеком был Бжозовский.

Дело в том, что Бжозовский понимал: отношение к России – это центральная проблема польской политики и польской культуры и, не разгадав российскую загадку, нельзя выработать сколько-нибудь разумную польскую национальную стратегию. Думаю, что его диагноз был верен. Русская тема красной нитью проходит через последние двести лет польской истории, и ничто не предвещает скорой перемены такого положения дел.

Бжозовский – в отличие, например, от Людвика Варынского<sup>4</sup> – не был революционером-интернационалистом, не проповедовал постепенного исчезновения национальных государств и замену их наднациональными сообществами. Когда он издевательски нападал на состояние духа польской интеллигенции, он исходил из собственного представления о ее задачах в формировании польской истории. Одним из его требований был разрыв с пассивным и консервативным стилем жизни «милых деточек» (это обидное прозвище и сегодня не вышло

---

\* Примечания переводчика см. в конце текста.

из употребления), которым заменяют работу мысли «церковные колокола, просвирка и пасхальное яичко». Им-то в лицо он и швырял – как вызов – картину героизма русских террористов-народовольцев. Об этом говорится в романе «Пламя», посвященному кругу Перовской и Желябова. Одни увидели в этом романе акт духовной русификации и национального отступничества, другие – проницательный, хотя и не свободный от чрезмерной увлеченности, анализ состояния духа русского революционного интеллигента.

Увлеченность Россией не оставила писателя до самой смерти. В последние недели жизни он отмечал в дневнике вечное свое восхищение Тургеневым и Достоевским, Успенским и Чеховым. Но в то же самое время (1909 год) он написал очерк о кризисе в русской литературе, к которому ниже мы обратимся подробнее. Этот очерк, на наш взгляд, прекрасно помогает понять один из видов польского образа мыслей о России и русских. В нем пересматривались ранее закрепившиеся штампы, символически описывался кризис польских левых и предлагались пути для их самокритики. Он был поворотным пунктом в мышлении Бжозовского о России.

Разделы Польши и восстания, репрессии и заговоры – вот истоки польского мышления о России. Общество, лишенное своего государства и гражданских свобод, нация, унижаемая и русифицируемая, поляки защищали свою самобытность, строя культурные барьеры и создавая гражданский катехизис, что должно было свести на нет российские усилия преобразования Польши в «Привислянский край». Гражданский катехизис должен был также решить основную дилемму: какой характер носит конфликт поляков с Россией? Является ли он конфликтом двух наций, из которых одна – бастион западной цивилизации, а другая – воплощение азиатского варварства, или же это участок универсальной борьбы за свободу против деспотизма? Если это «спор цивилизаций», то противник поляков – весь русский народ, ибо любой русский, независимо от личного выбора, волей-неволей участвует в византийско-степной цивилизации и в варварском деле завоевания. Если же это конфликт духа свободы с духом деспотизма, то в польской войне с царизмом естественным союзником становилось российское демократическое движение.

Адам Мицкевич – а мы все его наследники – давал на этот вопрос обоюдоострый ответ. Может быть, точнее, два ответа.

С одной стороны – послание «К русским друзьям»<sup>5</sup>, с другой – картина российского государства на страницах «Дзядов». Выглядит так, словно на страницах его произведений Рылеев сражается с Новосильцевым, а Пушкин – с самим собой. Рылеев победил Новосильцев, а Пушкина, друга декабристов, – Пушкин, автор «Клеветникам России». И Мицкевича, друга русских, в массовом сознании поляков победил Мицкевич – безжалостный разоблачитель российского деспотизма и российского повинования самодержавию. Поляки – вслед за Мицкевичем – после поражения декабристов не верили в российскую демократию. Они основывались на убеждении, что Россия, в силу своих традиций, можно сказать, осуждена на вековое рабство; так рассуждали Словацкий и Красинский, Монацкий и Клячко<sup>6</sup>. Разумеется, были отдельные личности, для которых делалось исключение: с уважением относились к декабристам и Лермонтову, Герцену и Грановскому. Тем не менее, их воспринимали, как «голоса в ночи», цветы на скалистом грунте, благородные цветы в ночном мраке российского самодержавия. Эти формулировки вырождались в мстительность и закомплексованность – неотделимые черты общества, потерпевшего поражение и сопротивляющегося политике отчуждения национального духа. Натиск николаевских чиновников порождал интегральное сопротивление: национальный катехизис диктовал новым и новым поколениям поляков безжалостную борьбу с российской стихией. В том числе и в области культуры.

И всё-таки второй вариант дававшегося Мицкевичем ответа никогда не был перечеркнут до конца. В эпоху восстания 1830 – 1831 гг. траурной церемонией отмечали память казненных декабристов; накануне восстания 1863 года через Герцена искали союзников среди русских офицеров. А во время патриотических богослужений пели: «Пестелей, Герценов дай нам, Господи, побольше!»

Но после 1863 года этого уже не пели. Когда власть над умами, власть над русским общественным мнением от Герцена перешла к Каткову, польские надежды на русских друзей рухнули. Они возродились только у польских социалистов, но социалисты не ходили в костел петь патриотические песнопения. За отказ от хождения в костел и за союз с русскими революционерами польские социалисты платили дорогой ценой: для общественного мнения они были людьми обещанными.

Они-то! – единственные, кто вступил в схватку с царизмом. Связанное с этим чувство горечи продиктовало Бжозовскому особенно ядовитые страницы «Пламени».

К тому же, первые годы нашего столетия, казалось, подтверждали разумность русофильской ориентации польских левых. Лагерь российской демократии рос и крепнул. 1905 год, казалось, венчал дело. Русские друзья отвоевали конституцию и парламент. Однако тут наступила столыпинская реакция.

### *Поворот Бжозовского*

«Кризис в русской литературе» – очерк, где атакованы две иллюзии польской интеллигенции по поводу России. Иллюзия «идущих в ногу со временем» – назовем так тех, кто сохранял веру в идеалы международной солидарности, – была раньше иллюзией самого Бжозовского. Суть ее сводится к тому, что надежды на будущее составляют часть проекта сообщества народов, построенного на наднациональных гуманистических ценностях, сообщества, которое будет созидаться в союзе с русской демократической интеллигенцией – наследниками Белинского и Герцена, Добролюбова и Чернышевского. Иными были иллюзии «традиционалистов»: они черпали соки из убеждения в том, что Россия – «государственность, основанная на образцах азиатского варварства», – быстро движется к распаду.

Подробное изложение очерка Бжозовского не представляется необходимым. Там много злободневной полемики, много замечаний, ныне явно устарелых. И язык его рассуждений может привести к ложным выводам (напр., замечания о польском «расизме», что никак не предвещает гитлеровских идей). Зато следует отметить ведущую мысль очерка: Бжозовский формулирует тезис о рождении нового облика России. Бжозовский утверждал, что вот сейчас кончается традиционный конфликт между государством, организованным как диктатура царской бюрократии и оснащенным православно-самодержавной идеологией, и русской интеллигенцией, бунтующей против деспотизма во имя социальных реформ и свободлюбивых идей. В этой констатации нет ничего от польского презрения к «москальской душе» – есть задумчивость и восхищение.

Существом истории России, утверждал Бжозовский, было созидание мощи государства, *противостоящей* свободолюбивым идеям. В этом процессе следует искать истоки трагических судеб русской интеллигенции. Избрав своей моделью идеалы свободолюбия, лишенная гражданских прав и возможности воплотить свои устремления, она была осуждена на бесплодие вечного поражения либо на безжалостную борьбу с безжалостно деспотическим государством. Так рождался своеобразный безгосударственный дух русского интеллигента и его бегство от действительности в мир абстрактных рассуждений и идеальных ценностей. Внешним проявлением такой раздвоенности было то парадоксальное положение дел, при котором праздничную, духовную действительность русской элиты умов мог формировать Герцен, а повседневную, материальную – Катков.

И вот абстрактный универсализм бунтующей русской души дошел до предела. На рубеже этого пути возникла убежденность в том, что действительность современного мира требует участия в судьбе нации, а не принадлежности к международному революционному сообществу или к республике гуманистов. Декадентство русской литературы начала XX века, полагал Бжозовский, является отнюдь не предвестием и прообразом упадка российского государства, но свидетельством преобразования русского культурного сознания. Отходит в прошлое – почти неосознанно – традиция бунта русского интеллигента против своего деспотического государства. Кого интересует этот процесс, пусть заглянет в книги Достоевского. Бжозовский воспринимал творчество автора «Бесов» под своеобразным – политическим и польским – углом зрения. Он подчеркивал в нем великорусский национализм и идеологизацию религии, подчинял Достоевского – исследователя патологии души – Достоевскому-публицисту. Он сознательно и последовательно преувеличивал этот аспект, считая, что только так ему удастся довести до польских умов тезис о качественно новой форме русского сознания.

Он повторял: бунтующий, одинокий русский интеллигент ушел в прошлое. Радикальность русского бунта перерождается в радикальное приятие, безоглядный протест приобретает форму русского мессианства. Происходит отождествление бунтовщика с исторической действительностью его народа, которую он прежде отвергал. Бунтовщик начинает пони-



мать: царизм как система правления и православие, поставленное на службу деспотизму, – не случайная игра судьбы, но результат исторической действительности. И этого не отвергнуть, ибо отвергнуть это сплетение идей и институтов означало бы то же самое, что отвергнуть российскую действительность, поставить себя вне народа, оказаться в вакууме.

Так, по мнению Бжозовского, выглядел образ мыслей русского интеллигента в столыпинскую эпоху. Его следствием явилась новая Россия, «конструктивная», соединяющая реформы традиционных институтов с современным национальным сознанием. Если символом интеллигенции в первой половине XIX века, писал Бжозовский, был Печорин, то благодаря Достоевскому им стал старец Зосима: религиозный идеал одержал победу над «лишним человеком». Поэтому анализ религиозной мысли имеет ключевое значение, и она определяет масштабы перелома в российской умственной жизни. Религия – точка отсчета и тогда, когда ее отвергают: радикализм Горького и революционной социал-демократии скрытой нитью тесно связан с религиозными поисками Бердяева и Булгакова. Посреди этого культурного преобразования догорает прежний бунт индивидуалиста, разжигавшийся во имя абстрактной этики. Следующей стадией будет приятие национального государства – так достигнет созревания сделанная Петром Великим прививка цивилизации. Поэтому подлинный наследник прошлого века, отмеченного не только именами Леонтьева и Каткова, но и Кавелина и даже Чернышевского, – Столыпин.

Не следует, предупреждал Бжозовский, поддаваться тому, что утверждает Мережковский в книге «Грядущий хам», как и все те, кто считает предтечей надвигающихся времен Смердякова. Грядущий Царь-Дух России – это не хам, не Смердяков, но «идейный русский офицер, идейный следователь, идейный чиновник», одним словом, российское государство как идея, принятая русской интеллигенцией.

Рассуждения Бжозовского, столь упрощенно здесь пересказанные, делают «Кризис в русской литературе» неумышленным эпилогом к «Пламени». Он словно говорит: «Жгу всё, чему поклонялся»... Однако здесь нету: «... поклонился всему, что сжигал». Присутствующая в «Пламени» критика «традиционных» в очерке не объявлена недействительной, но лишь

обогащена памфлетом на прогрессивную интеллигенцию, на «современных».

Кстати, Бжозовский отмечал, что два полюса польского культурного сознания: международный скептик-декадент и национальный романтик – соседствуют в одних и тех же головах. Тем не менее, он считал важной самоё эту классификацию, позволявшую точно назвать два типа ловушек, сопутствующих польской мысли о России, или, более обидно, два вида польской умственной лени.

Психология международного скептика-декадента напоминает мир кабаре и оперетты. Такова же и его вера в современность. Он понимает современность как способ освободиться от проблематики своего народа и погрузиться в реку времени, в автоматически вершащийся прогресс, где развитие науки и экономическая эволюция решают всё. Так происходит самоослепление поклонников «международного прогресса» по отношению к «российской угрозе».

Другое дело – «традиционный» интеллигент, поклонник патриотизма «изгнанников и повстанцев». Его отваге и готовности жертвовать собой сопутствует вера, до того сильная, что мышление перестает быть обязанностью. Вера во что? В то, что Россия гибнет, что она отступает чуть ли не ко временам кочевничества. Такой стиль мышления, новый вариант «милых деточек» прошлого века, когда конформизм был в моде, – не что иное, как продукт всеобщего «долга национального невежества». Ибо Россия – так звучит вывод Бжозовского – это не «злой дух, призрак, ниспосланный нам во испытание», и не марионетка или маска в «воспитывающем нации театре Провидения». Россия – это угроза. Эта угроза усиливается, а не уменьшается. Только поняв ее существо, поляки смогут ей противостоять.

Таковы размышления Бжозовского. Можно спорить о политических выводах из таких рассуждений, но нельзя не видеть, что естественным умозаключением становилось призвать поляков к интеллектуальной и материальной антирусской мобилизации. Таков, парадоксальным образом, был результат полемики Бжозовского с «глупостью, которую умышленно питают легкой эксплуатацией антирусских стадных чувств».

Нетрудно было бы сопоставить пророчества Бжозовского с событиями, происходившими после. Мировая война и две русские революции полностью перечеркнули подход польского критика. Потому-то в течение многих лет очерк о кризисе в русской литературе интересовал только историков и любителей рыться в старине.

Тем не менее, в этом забвении была своего рода умственная поверхностность, ибо куда плодотворнее было бы проверить на историческом материале большевистской России тезисы Бжозовского о скрытой связи русского бунта с российским самодержавием. Пророком этой догадки был в польской словесности Зыгмунт Красинский. Эту мысль – после Бжозовского – развивал Ян Кухажевский в своем монументальном труде «От белого царизма к красному». Для Бжозовского исходной точкой были левые взгляды, Красинский и Кухажевский смотрели на царское государство глазами консерваторов. Красинский рисовал апокалипсическую картину союза царского самодержавия с якобинским нигилизмом. Его последователи преодолевали схемы своего времени: Бжозовский – интернационализм левых, Кухажевский – лоялизм консерваторов.

Картина Кухажевского, хоть она и полна оригинальных и впервые высказанных мыслей, укоренена в польских традициях. У него легко найти мысли Мохнацкого и Красинского, Клячко и Калинки<sup>7</sup>. Подход Бжозовского – более неожиданный, хотя и у него есть прецеденты. Своим антирусским поворотом он повторял одну из классических фигур истории польской мысли. Вспомним: когда после восстания 1863 года власть над умами в России перешла от Герцена к Каткову, в польской публицистике появились рассуждения, исходившие из аналогичных посылок. В те времена символом таинственной связи российского радикализма с духом самодержавия были начинания Милютин и Черкасского в усмиренном Царстве Польском<sup>8</sup>. Антидворянское острие милютинской реформы, отменявшей крепостное право, заставляло спрашивать: что важнее – ликвидация несправедливых аграрных отношений или защита дворянских убежищ национального духа? Польские эмигранты должны были, таким образом, определить свое положение как проблему выбора между сообществом освобо-

дительного движения (в состав которого входили и русские) и сообществом нации, разрушаемой революционными – сверху – «указами» русских чиновников. Когда альтернатива строилась таким образом, эмигранты выбирали нацию. Следствием этого выбора было – как и позднее в очерке Бжозовского – определение национальной задачи поляков через конфликт с Россией: с российским государством, с русским обществом, с русской культурой. Такова была формула. Она рождала навыки и стереотипы, освобождала от необходимости производить постоянную переоценку, способствовала тому, что польская мысль, почти доктринально мотивированная, замыкалась в антирусской схеме. Эта культурная модель была всемогущей – она питалась повседневной практикой русификации, так ярко описанной в «Сизифовых трудах» Жеромского. Poleмика с антирусской глупостью поляков была нелегкой и неизменно наталкивалась на двусмысленные истолкования – и всё-таки кто-то вновь и вновь предпринимал такую полемику, всё-таки антирусская модель находила своих критиков.

Выбор антирусских позиций подвергался критике во имя «реальной политики» (Велепольский), во имя геополитики (Дмовский), во имя гуманистических ценностей и здравого разума (Спасович, Ледницкий)<sup>9</sup>, во имя приоритета социальных ценностей перед национальными (Варынский, Люксембург). И хотя критическое течение, как правило, проигрывало, его постоянное присутствие формировало иную фигуру мышления о польской политике, столь же классическую, как антирусский выбор. И столь же устойчивую.

Эпоха Второй Речи Посполитой привела к полному изменению польского мышления о России. На традиционный стереотип российского государства наложился стереотип большевизма. Отныне Россия уже не считалась азиатским и варварским жандармом Европы, опорой Священного Соглашения европейской реакции, палачом «весен народов». Теперь, опять-таки варварская и азиатская, большевистская Россия предстала в образе поджигателя всего мира. А Польша снова стала «бастионом» христианства и западной культуры – такой смысл придавали поляки войне 1920 года, когда польская армия остановила над Вислой большевистское наступление, защитив таким образом не только возрожденное польское государство, но и весь европейский континент.

Тем не менее, польско-русские отношения рассматривались теперь как понятие из области межгосударственных отношений, а не, как раньше, в категориях тревоги за национальную самобытность и независимость. Новая ситуация ставила нового типа вопросы; задачей государственной мысли было сохранить, а не завоевать независимость. Поэтому решительной идеологической враждебности сопутствовали реалистические идеи. Именно они продиктовали Пилсудскому политику компромисса, нормализации и договора о ненападении, заключенного с Советской Россией. После прихода Гитлера к власти наступила политика «равной отдаленности» от двух тоталитарных соседей, политика двустороннего уклонения от конфликтов и мирного сосуществования. Пилсудский сознавал шаткость посылок, из которых исходила эта политика, но не видел для нее никакой разумной альтернативы.

Для Польши, зажатой между двумя тоталитаризмами, не было в то время хорошей политики – могла быть только менее плохая. Можно было избежать компрометирующих профашистских выступлений на форуме Лиги Наций (особенно после нападения итальянских фашистов на Абиссинию) или неприятной и недостойной акции в Заользье<sup>10</sup>, но Польша не могла предупредить договор Риббентропа с Молотовым и сентябрьское поражение. Поэтому теория «равной отдаленности» от двух соседей после 17 сентября неизбежно превратилась в теорию «двух врагов».

Ее называли антирусской идеей-фикс санации. Это верно: антирусские чувства вождей польского государства влияли на то, как они строили польско-советские отношения. Эти чувства легко обнаружить в словах польского министра иностранных дел Юзефа Бека: «С немцами мы рискуем потерей нашей свободы, с русскими – нашей души». Однако не эти настроения были решающими для направленности польской политики – решающим был тоталитарный и экспансионистский характер политики Сталина.

Что было потом? После сентябрьского поражения и до нападения Гитлера на Советский Союз польская государственная мысль возлагала свои надежды на принадлежность к демократической коалиции, результатом чего должно было стать участие в построении послевоенного порядка на основе принципов антитоталитарной Атлантической Хартии. Но эта ясная картина будущего подверглась радикальной перемене.

22 июня 1941 года Советский Союз, еще вчера союзник Гитлера, стал союзником антигитлеровской коалиции. Стало ясно, что Сталин будет одним из зодчих послевоенного порядка, а западные союзники не станут ломать копыта за очертания польско-советской границы. Это поставило перед польской политикой новые вопросы и новые задачи, и главным было: как из вчерашнего агрессора и врага сделать союзника? Проблема, воистину достойная сравнения с квадратурой круга.

### *Поворот Прушинского*

Таков был исторический контекст знаменитой статьи Ксаверия Прушинского «По отношению к России» («Вядомосьци польске», Лондон, 1942). Автор был близок к генералу Сикорскому, премьер-министру и главнокомандующему. Он одобрял политику Сикорского, символизировавшуюся договором Сикорского – Майского, и стремился убедить в ее разумности польское общественное мнение за границей. Польско-советский договор, заключенный летом 1941 года, вызвал многочисленные протесты ввиду того, что в нем был оставлен открытым вопрос о восточных границах Польши. Критики Сикорского знали об этом отказе от территориальной целостности Польши в пользу Сталина.

Прушинский защищал эту политику. Более того, он пытался извлечь все выводы из перемены соотношения сил внутри антигитлеровской коалиции. Его статья была открытой атакой не только на критиков Сикорского, но и на стереотипы и послышки польской картины России. Какова была эта картина?

Александр Ват, автор одной из самых умных и самых волнующих книг о советском коммунизме («Мой век»), рассказывает в ней о польских разговорах в советской тюрьме во Львове в 1940 году. Несчастные заключенные призывали образ Польши – бастиона европейской цивилизации от нашествия большевистской России, этой варварской орды, этих воняющих дегтем и махоркой наследников монгольского деспота Чингис-хана. Русский народ, повторяли польские заключенные друг другу, – это нация людей, скатившихся на дно, людей, которые позволили спихнуть их на дно. Этот радикализм оценки, которого позднее Ват устыдился, был эмоцио-

нальной реакцией на поражения и унижения. Да, реакцией абсурдной и лишенной благородства. Но в то же время настолько стихийной и общераспространенной, что польская политическая мысль любого оттенка вынуждена была с этим считаться. В рамках такого мышления каждый польский коммунист, который отождествлял польский интерес с советским, автоматически становился виновен в национальном отступничестве. Каждый поляк, который допускал обсуждение очертаний восточной границы, установленной Рижским мирным договором (1921), оказывался обвиненным в измене польским национальным интересам.

Именно это и сделал Ксаверий Прушинский. Кем был этот смельчак? Обладая отличным пером, большим мужеством и репутацией выдающегося публициста, приобретенной довоенными публикациями, Прушинский был *enfant terrible* консервативного лагеря, чем-то вроде бунтующего консерватора. Это особое место на карте польской интеллектуальной жизни позволяло ему преодолевать классические преграды между лагерями, понимать традиционно конфликтные точки зрения; освобождало от зависимостей и навыков коллективных акций; позволяло менять политический выбор без потери идейного лица. К примеру, этот консерватор был способен написать исключительно объективный репортаж о красной Испании, мог соединять восхищение социалистом Стругом и идеологом правых националистов Дмовским, культ Пилсудского и критику правительственного лагеря пилсудчиков, а связь с консервативной мыслью не мешала ему питать симпатии к крестьянскому движению. Все эти черты Прушинского проявились в очерке «По отношению к России», где он сформулировал выводы, к которым пришел в результате года работы в польском посольстве в СССР. Исходной точкой его рассуждений были две посылки. Во-первых, утверждал он, польские представления о России, полностью подчиненные тюремному опыту, весьма неполны. Тюрьма никогда не бывает достаточным источником знания о действительности. Наоборот, это источник травм и эмоций, которые мешают верному анализу происходящего. Поляк, оценивающий английскую действительность времен войны под углом зрения двух лет, проведенных в тюрьмах Соединенного Королевства, тоже будет вынужден сформулировать суждение, основанное на специфически отобранных фактах. Во-вторых, Советская

Россия – отнюдь не колосс на глиняных ногах. Все прогнозы, предсказывающие распад Советского Союза или настолько существенное его ослабление, что его можно будет исключить из процесса созидания послевоенного порядка, ложны. Основывать на этом политические программы означает принимать желаемое за действительное. Наоборот, говорил Прушинский, Советская Россия доказала стабильность своих структур и силу своего военного аппарата.

Прушинский был зорким наблюдателем, свободным от ослепленности, свойственной исповедникам доктрины коммунизма, которые видели в Советской России попросту то, что хотели увидеть. Его написанная в тот же период статья об Эрлихе и Альтере, вождях еврейской социалистической партии «Бунд», жертвах сталинского террора времен войны (оба были расстреляны по обвинению в шпионаже в пользу Гитлера), доказывает, что он умел трезво смотреть на страну победоносного коммунизма. Поэтому он не рассказывал сказок о «новом народе ста народов»<sup>11</sup>, но холодно предостерегал: это сила, с которой поляки должны договориться, ибо победить ее они не смогут; это сила, которая будет выносить решение о польских судьбах.

Наблюдая тенденции внутри советской верхушки, Прушинский различал два стиля мышления, две традиции, формирующие облик власти. Одну из них для него воплощала старая большевичка, дочь Феликса Кона, Елена Усиевич – это были традиции старых революционных кадров. Воплощение другой он видел в генерале Игнатъеве, последнем паже царицы, вполне смирившимся с новыми обитателями Кремля, – это были традиции великорусской государственной мощи. Реформы в советской армии, возрожденный культ Суворова и Кутузова – всё это, казалось, предвещало победу великорусского стиля над революционным. Он описывал это, не скрывая, что ему ближе идеализм старых большевиков.

Однако он предостерегал от обобщений. Советская Россия, повторял он, будет преобразовываться: она живой и развивающийся организм. Эволюция будет делом рук тех, кого война поставила выше всех, – советского офицерского корпуса. Советского офицера характеризуют отвага, ум, энергия, современное образование и социальное чутье. Он-то и будет править послевоенной Россией – никого другого нет. На этот человеческий тип, убеждал Прушинский, будет опираться



любое будущее правительство, в том числе и антибольшевистское, как Франция Бурбонов эпохи Реставрации не могла отказаться от чиновников и военных, воспитанных в эпоху якобинской диктатуры и бонапартизма. Прушинский любил такие аналогии...

Особой чертой его статьи был язык: сдержанный и осторожный. Язык редкой в польской публицистике обдуманности, ибо он был выбран как инструмент убеждения для двух типов читателей: польского (с антисоветской фобией) и советского (с антипольской фобией). Это была статья-предложение с двойным адресом. Полякам Прушинский предлагал: перемените язык, которым вы говорите с Советской Россией, поглядите на эту страну взглядом союзника и партнера, а не взглядом заключенного и врага. Советскому читателю он подавал сигнал: поглядите, этот текст – признак эволюции польской политической мысли по отношению к России, это голос поляка, который ищет соглашения с вами.

Но условием каких бы то ни было разговоров о соглашении – и Прушинский после года, проведенного в России, не мог питать никаких иллюзий – было согласие поляков на новые территориальные очертания их государства. Вместо восточных земель, предлагали им русские через Ванду Василевскую, вы получите решительный прирост территории на Западе, за Вильно и Львов – Щецин, Вроцлав и границу на Одере. Прушинский привел в статье слова Василевской и прибавил от себя: был в Польше политический лагерь, который понял бы исторический смысл этого предложения. Этот лагерь – национал-демократия с ее антигерманской философией, направленной на союз с Россией. Поэтому, делал вывод Прушинский, Роман Дмовский был бы в 1942 году лучшим польским послом в России. Обосновывал он это так: русские умонастроения подчинены в неслыханных доселе масштабах антинемецкому мстительному чувству, вполне разделяемому поляками. Поляки и русские – впервые за много веков – вместе сражаются с общим врагом. Антинемецкая направленность России обладает всеми шансами оказаться устойчивой – в этом заключена возможная надежда для польской политики. Это должна быть политика поисков точек совпадения, а не узлов конфликта, политика смягчения, а не усиления травм и напряженности. Такая политика, чтобы иметь будущее, должна обрести свои корни в польских традициях, корни, настолько национальные и

достойные уважения, чтобы не могло возникнуть подозрений в агентурности. Если сторонники антироссийской линии охотно и не без оснований наделяли коммунистов кличкой «тарговичане»<sup>12</sup>, то Прушинский, чтобы отвергнуть эту параллель и защитить пророссийскую направленность, отыскивал в истории Сташицев и Любецких, Чарторыских и Велепольских, Поплавских и Дмовских<sup>13</sup>, всех, кто искал соглашения с Россией и в то же время не подлежал обвинению в национальной измене. Только они могли стать моральным оправданием политики компромисса с Россией в глазах польского читателя.

Советский же читатель должен был из этих исторических параллелей вычитать такой урок: ищите союзников среди представителей подлинных политических лагерей; не ограничивайтесь ставкой на коммунистов; ищите партнеров, обладающих кредитом доверия у польского общественного мнения, – это тоже одно из условий польско-русского соглашения.

А еще Прушинский прибавлял: путь, который я предлагаю, труден, он требует мужества и воображения; он требует также глубокой переориентации в духовной сфере. Трудность выбора просоветской политики повышена тем, что поляки принадлежат к иному кругу цивилизации, к миру культуры, опирающейся на европейское понятие свободы. Тем не менее, это единственный путь для поляков. Питать память пережитыми обидами – это не способ политического мышления, а расчеты на соглашение с какой-то другой, не большевистской Россией относятся к области чистой фантазии.

На Прушинского посыпались громы и молнии. Сомнению подвергали чистоту его намерений, обвиняли его в презрении к фундаментальным принципам польской политики. Нападкам в печати сопутствовали вызовы на дуэль. Это был один из величайших скандалов в печати того времени. Разъяренный Прушинский обвинял своих критиков в том, что они продолжают традиции нетерпимости времен Саксонской династии<sup>14</sup>, традиции безмозглого бешенства толпы, натравливаемой на инакомыслящих, традиции замены аргументов воплями и обвинениями в национальной измене.

Ради Польши, записал он у себя в дневнике, хорошо страдать и хорошо умирать. Но нет ничего хорошего в том, чтобы в Польше и ради Польши – мыслить.

Характерно, что Бжозовский и Прушинский, авторы двух фундаментальных текстов на тему России, стали также героями двух крупных культурно-политических скандалов. Их легко обнаруживаемым подтекстом был спор о формировании позиций поляков по отношению к России. Под этим углом зрения второстепенным кажется то, что Бжозовский в «Кризисе» предлагал последовательно антирусские позиции, а Прушинский призывал к переориентации и союзу с Россией. Суть аналогии, на мой взгляд, следует искать в сопутствующих этим предложениям политических атаках на образ мыслей польской интеллигенции, на дух польского ирредентизма, который обоим писателям являлся как дух польской глупости. Оба предлагали почти полное преобразование, что оба раза воспринималось как нападение на польскую самобытность. Бжозовский формулировал проект политической стратегии в терминах интерпретации знаков культуры; Прушинский призывал в переориентации цивилизации («перечеркните пятьсот лет истории») в терминах спора о политической программе, — но оба раза это был призыв к отказу от неотторжимых национальных ценностей.

О каких неотторжимых ценностях идет речь? Назовем их — мицкевичевскими. Примем, что автор «Дзядов» полнее всего сформулировал и выразил польский стиль мышления о России, польское видение этой страны — белой, пустой и открытой, словно чистая страница. В это видение входила враждебность к царизму — системе кнутов и указов, входило презрение к царскому чиновнику-подхалиму, который «платным языком триумф его славит», входило и искреннее сострадание к народу, который знает «только один героизм — рабства».

Но сюда же входил и жест братства по отношению к «русским друзьям», и оплакивание «благородной шеи Рылеева», и сознание, что дружеская рука Бестужева «копает ныне в шахтах, скованная с польской ладонью».

Иначе говоря: у Мицкевича гнев и любовь сплетались в постоянном взаимном напряжении. И у Словацкого агрессивным антирусским строфам «Бенёвского» сопутствовало восхищение Лермонтовым, жертвой царизма. Этот романтический этос, порожденный отчаянием и бунтом против российской неволи, не имел ничего общего с доктриной национализма XX

века. В глазах Мицкевича и Словацкого конфликт с Россией имел аксиологическое измерение: он был борьбой духа свободы с духом порабощения, и ставкой в этой борьбе была свобода не только поляков, но и русских. Для новейших националистов, как польских, так и русских, это был конфликт двух народов за господство одного над другим.

Назвать Станислава Бжозовского националистом было бы наверняка грехом по отношению к его памяти и недопустимым упрощением его мысли. Не забудем, что мало кто из писателей клеймил польский национализм с такой страстью и зоркостью, как Бжозовский. И все-таки трудно отрицать, что в образе мыслей этого писателя в определенный момент появилась линия националистического понимания народа и свойственное доктрине национализма специфическое изображение действительности. Быть может, это стало бы всего лишь эпизодом, элементом постоянного духовного развития, фрагментом очередного преодоления собственных свершений – увы, творческий процесс прервала смерть (1911). Таким образом, мы встречаемся с записью незаконченной мысли...

Повторим: Бжозовский возмутил общественное мнение, заставив Михала Каневского, героя «Пламени», презирать польско-шляхетский патриотизм и искать союзников среди русских народовольцев-бомбометателей. Возмутил и очерком о кризисе русской литературы. Каждый раз он соединял выдвигающиеся идеи с вызывающим перечеркиванием системы ценностей польской интеллигенции. Как же еще истолковать злые замечания о «счастливчиках», не скрывающих радости, что «полякам не приходится пачкать руки в таких отвратительных вещах, как государство, армия и даже собственное национальное воспитание». Или его замечания об интеллигенции – «коллективном князе Пепи»<sup>15</sup>, которая «хорошо поживает и немало способствует превращению психологии культурного поляка в какую-то улыбчивую шутовскую аномалию, а труд собственного народа и всей культурной Европы тратит на неоригинальный маскарад перед самой собою».

Речь идет – отметим – о том поколении, которое завоевало независимость. Тот же перечеркивающий жест, размашистый и бескомпромиссный, мы обнаруживаем в военной публицистике Прушинского. Этот жест – тоже устойчивая польская черта; он является одним из аргументов в пользу силы и глубины нашей национальной культуры. Но в это пере-

черкивание вписана и человеческая трагедия, ибо ни одна культура не может оставить без бурной реакции такие принципиальные нападки. Культура, которая позволяет безнаказанно нападать на свои «табу» – а культур, свободных от «табу», не бывает, – это мертвая культура.

Бжозовский и Прушинский наверняка были правы в своих нападках на польскую интеллигенцию. Такие нападки чаще всего не лишены справедливости. Отщепенцы всегда обладают тем особенным, тем острым и пронизательным зрением, которого нет у обычного наблюдателя. Только так могли возникнуть незабываемые изображения Польши, впавшей в детство, и наследников эпохи Саксонской династии. Тем не менее, следует помнить, что это не портреты, а карикатуры.

Бжозовский иногда начинает говорить языком инвектив Дмовского. Прушинский – презрительным тоном маркграфа из Хробно<sup>16</sup>. В их словах невероятно много презрения к польской общественности, которая не хочет быть в достаточной степени ни про-, ни антирусской...

Тем временем голос польской общественности, общественное мнение, формирующееся в общих разговорах за столиками столько раз заклеянных кафе и в стенах столько раз высмеянных церковных притворов, в театральном антракте и на конспиративной сходке, в обеденном перерыве и на пресловутых дядюшкиных именинах; этот голос, то приглушенный, то болтливый, – обладает мудростью, которой не следует пренебрегать, наделяя ее кличкой «стадного инстинкта». Этот голос, разумеется, не может заменить интеллигенту веления ума и совести, но его следует постоянно принимать во внимание как партнера. Его присутствие тем более обязательно, чем более он представляет униженных и угнетенных, тем более, чем более желает этот интеллигент представить своим соотечественникам что-то новое, нарушающее их навыки и привычки. Конечно, эти привычки бывают нерациональными и рабскими. Поэтому следует внимательно отделять самопорабощение от самозащиты. Здесь не всегда легко провести демаркационную линию, ибо речь идет об обществе, которое не само себя закабалило, но было поработщено насильем чужого государства. Бжозовский и Прушинский – каждый по-своему – ударяли в то сплетение эмоций, которое было, пусть даже извращенной, системой духовной самозащиты. Так сложилось, что обычно это была самозащита перед Россией.

Прямую актуальность рассуждений Бжозовского перечеркнул выстрел в Сараеве и большевистская революция; предложения Прушинского были погребены в раскопанных гитлеровцами катынских рвах. С этого момента трудно было говорить о соглашении: польское правительство направило жалобу в Международный Красный Крест, в ответ на что Сталин обвинил поляков в сотрудничестве с Гитлером и разорвал дипломатические отношения. Питать иллюзии не приходилось: Сталин не хотел никакого компромисса с поляками. Вопрос о восточной границе был лишь одним из инструментов его антипольской политики и неуклонного стремления превратить Польшу в участок своей тоталитарной империи.

Было ли это ясно для Прушинского? Трудно ответить однозначно. Поразительный рассказ «Тень Грузии», похоже, свидетельствует, что Прушинский это сознавал. В судьбе парижских грузин-эмигрантов, предающихся склокам и глубокому отчаянию, оставленных западными союзниками и забытых миром, он увидел один из вариантов польского будущего. Вряд ли можно полагать, что Прушинский верил в счастье грузинского народа, силой включенного в советское государство...

Тем не менее, он был последователен: он порвал с эмиграцией, вернулся в Польшу, связал свою судьбу с коммунистическими властью имущими, принял дипломатический пост. Он оправдывал свое решение, нападал на эмиграцию за ее бесплодность, резко клеймил мысль о новой войне как методе преобразования послевоенного соотношения сил. Описывая послевоенную действительность – это самые слабые из его текстов, – он пытался доказать, что «не так страшен чёрт».

Критикуя эмигрантских реакционеров, он бывал пронизителен, хотя подозрительно односторонен; в изысканных похвалах действительности на родине легко видны швы неправды. Вера, говорит Артур Кестлер, творит чудеса и позволяет уверовать в то, что селедка – беговая лошадь. Это и произошло с Прушинским.

Он был последователен. Трагически последователен. Когда он счел, что путь эмиграции – это дорога никуда, а страна, управляемая коммунистами, есть единственная реальность, он принял навязанные коммунистами правила игры.

Был ли у него другой выход? Трагизм положения состоял в том, что поскольку эмиграция потерпела поражение, постольку избранный ею путь также означал поражение. Желая остаться писателем и политиком, функционирующим публично, Прушинский был вынужден лгать и притворяться – притворяться, что он ничего не знает о тайных расстрелах и сфабрикованных процессах, что он верит результатам фальсифицированных выборов и приговорам лжесвидетельских судов. Он делал это не без таланта – его спасал язык, прекрасный, яркий и богатый язык его статей. До 1949 года еще разрешалось писать таким языком. Позднее, когда был провозглашен соцреализм, такие языковые принципы были объявлены оружием врага в обостряющейся классовой борьбе...

До этого Ксаверий Прушинский уже не дожил – он погиб в 1949 году в автомобильной катастрофе.

Примерно в ноябре 1946 года, вскоре после возвращения в Польшу, явно преодолевая сомнения и ища ответа на чужие аргументы, Прушинский сформулировал свое кредо политического публициста.

Начинал он с обвинений. Блуждая по неразминированному Гданьску, он обвинял довоенных гданьских публицистов, интеллигенцию и ученых. Он обвинял их в том, что они не противостояли стремлению Германии, охваченной самоубийственным массовым психозом, к войне, «подгоняли либретто рациональной аргументации к музыке чувств», обогащали эмоциональное безумие толпы близорукой аргументацией о том, что-де война будет краткой, безболезненной и победоносной. Эти люди, утверждал Прушинский, изменили своему призванию. Поскольку тогда они сложили с себя ответственность за провозглашение правды – сейчас они ответственны за руины гданьских улиц.

«Публицист, – писал Прушинский, – должен всегда испытывать чувство ответственности. Он должен считаться с тем, какие последствия принесет то, что он пишет: толкнет ли оно к пренебрежению сложившейся угрозой или, наоборот, подчеркнет (...) всю ее весомость. Наконец, публицист должен помнить, что его роль состоит не в шутовском подкалывании, в анекдотах и каламбурах, а уж тем менее – в постоянной погоне за популярностью. Хороший актер – тот, которого ни разу не освистали; но публицист, которого никогда не освистывают, который никогда не восстанавливал против себя

общественное мнение, не становился у него костью в горле, – это плохой публицист». Но разве в данном случае протест представителей интеллигенции мог бы что-то изменить? Разве он обладал бы если уж не надеждой на успех, то хоть каким-то смыслом? Прушинский отвечал:

«Нам следует всегда делать то, что должно, – вне зависимости от того, принесут ли наши действия твердые результаты или только результаты по возможности, и даже тогда, когда существуют серьезные сомнения в каких бы то ни было результатах, и, более того, даже если кто-то поручится, что уверен в их отсутствии. Задача публициста – не только не подстраиваться под изменчивые настроения публики. Его задача – провозглашать то, к чему он пришел работой мысли; задача публициста – независимо от того, по вкусу или не по вкусу его доводы власти, Церкви, массе, обществу, нации, общественному мнению, стоять на своем, если он убежден, что его советы и предостережения верны, хоть кому-то и неприятны. Задача публициста – гласить это до конца. Несмотря на других и наперекор другим. Как говорят ангlosаксы, *again and again and again*. Эгейн энд эгейн энд эгейн. В бункере своей лишь совести публициста писатель должен держать оборону против упреков в том, что он не нравится, что он разрушает иллюзии, или еще худших: что он сходит на нет, превращается в ничтожество. Он должен относиться ко всему этому с горадиевским равнодушием. Он должен сказать то, что обязан, должен повторять это до конца, как бы ни сгушлась вокруг него атмосфера, особенно когда она сгушается, когда его перестают слушать, особенно когда его не хотят слушать. Он должен обладать прекрасным упрямством князя Гинтовта из «Пепла»<sup>17</sup>, стоящего на обороне Сандомежа».

Сильные слова. Ясные и выразительные. Остался ли Прушинский до конца публицистом по меркам своих деклараций?

Я ставлю этот вопрос, отнюдь не намереваясь выставлять кому-то отметки по «гражданскому воспитанию». Тем более – Ксаверию Прушинскому. Это один из моих любимых писателей, человек, предлагающий наиболее благородный, лучшей пробы стиль национального духа; это один из самых выдающихся поляков своего поколения. Но именно восхищение человеком и писателем и велит мне – сорок лет спустя – сформулировать такой вопрос. И велит ответить: нет, Прушинский не оказался до конца публицистом по меркам своих деклара-



ций. Если задача публициста – бескомпромиссное провозглашение истины, то истина Прушинского должна звучать следующим образом.

Польша оказалась в положении почти безнадежном. Эмиграция и подполье по разным причинам (которые Прушинский описывал воистину детально) проиграли. Расчеты на новую мировую войну – это расчеты на превращение всей Польши в руины. На такой ход событий рассчитывать нельзя. Но реалии жизни в стране следует видеть без иллюзий и не преуменьшать ужас положения. Коммунисты управляют и будут управлять, ибо таковы последствия политического плана Сталина. Власть коммунистов будет означать порабощение народа террором и фальсификацией выборов, разрыв социальных связей, удушение всех областей жизни тоталитарным корсетом, оподление языка и вездесущность лжи, организованную деморализацию и премирование доносчиков, привилегии верхушки власти и нужду трудящихся, наконец – полное подчинение Польши советским распоряжениям и советизацию страны. Вот что случится: возвращающиеся с Запада солдаты будут брошены в тюрьмы и подвергнуты пыткам; та же судьба ждет выходящих из подполья солдат Армии Крайовой<sup>18</sup>. Крестьянам предстоит насильственная коллективизация. Суды будут полностью подчинены госбезопасности. Церковь будет последовательно уничтожаться, епископов осудят на сфабрикованных процессах, Примаesa Польши посадят. Участие во всём этом станет обязанностью, даже если оно никому не обеспечит личной безопасности – среди заключенных окажутся и министр национальной обороны, и генеральный секретарь коммунистической партии, как только они утратят доверие Сталина.

Основной ход предстоящих событий должен был в 1946 году быть столь же очевидным для польского публициста, как последствия войны для публициста из Гданьска летом 1939 года. Однако мало нашлось выдающихся представителей интеллигенции, которым хватало храбрости называть вещи своими именами, – и этому трудно удивляться. Пророчества безнадежности внутренне обладают чем-то вроде самоисполняющегося предсказания – в минуты отчаяния люди предпочитают верить в то, во что хотят верить. Поэтому такие истины было почти невозможно сформулировать на языке политической публицистики. Повторим: *почти*. Такая попытка всё же

была предпринята Стефаном Киселевским на страницах «Ты-годника повсехного», притом успешно.

Киселевский соглашался с Прушинским во многих существенных вопросах – их разделяло отношение к коммунистическим властью имущим. Прушинский решился войти в их ряды – Киселевский искал, какими способами от них защититься. В этом смысле Киселевский был последовательнее: обращаясь к примерам Велепольского или Дмовского, он искал моделей самостоятельной польской политики, в то время как Прушинский объяснял, что политика коммунистов и является этой моделью.

Характерно, что Прушинского и Киселевского объединяла полная чуждость по отношению к России. У этих сторонников пророссийской политики не заметишь и следа интереса к русской культуре: словно не было ни Пушкина, ни Герцена, ни Гоголя, ни Чехова, ни Толстого, ни Достоевского. Концепции политического компромисса – точно так же, как у Велепольского или Дмовского, – сопутствует ощущению чуждости или прямо враждебности цивилизаций. Вот парадокс! Бжозовский и Кухажевский, теоретики антирусской политической философии, были полны подлинного восторга перед русской культурой...

### *Вызовы и признания*

Отложим до другого раза размышления о польско-русских отношениях после 1945 года и рассказ о советском господстве в сталинскую эпоху. Переломным пунктом для польской культурной элиты стало возникновение в Советском Союзе демократического движения и независимой русской культуры. Это явление «иной России» было встречено с огромной симпатией: читали книги замечательных писателей, восхищались мужеством русских правозащитников.

Помню, что я сам ощущал, прочтя первые книги Солженицына или выступления Сахарова. Помню споры о книге Амальрика или о воспоминаниях Надежды Мандельштам. Мы восхищались русскими оппозиционерами, завидовали их отваге, решимости и успеху. Однако со временем некритическое восхищение начало уступать место критической рефлексии. И можно было наблюдать, как чуть ли не механически воспроиз-

водились позиции, хорошо известные нам из истории, позиции, сформулированные Бжозовским и Прушинским.

Помню отклики на тезисы Солженицына, наиболее четко высказанные в знаменитом письме советским вождям. Тогда-то началось возрождение «позиций Бжозовского», тогда я по-новому перечитал книгу Кухажевского, отличную книгу Валицкого о русских консерваторах, очерки Войцеха Карпинского о Красинском и Кухажевском. Многие из нас – хотя не все – усмотрели в письме Солженицына тенденцию к возвращению русской общественной мысли в националистическую колею. Из нас никто не обвинял Солженицына в великодержавных склонностях, но – так считали – следствием солженицынского образа мыслей может стать возвращение к идее Третьего Рима и к мистике великодержавного мессианизма единой и неделимой России.

Полемический ответ Сахарова, как я помню, был принят с полным одобрением, но позиция Солженицына, по-видимому, находила значительно более широкий отклик, и русское демократическое движение, где влияние этой позиции преобладало, становилось довольно амбивалентным союзником польского дела. Более того, казалось, что оно несет в себе весь груз того течения русских традиций, которое после 1863 года превращало союзников Герцена в сторонников Каткова. Восхищение сохранилось, но, словно по рецепту Бжозовского, появился и страх перед «иной Россией».

«Позиция Прушинского» – выбор компромисса – появилась, в свою очередь, как реакция на поражение демократического движения в России. Те же самые люди, которые с энтузиазмом читали бунтующих русских писателей, были вынуждены признать в эпоху «Солидарности», что русские «инакомыслящие», дающие столь поразительное нравственное свидетельство, оказались вне сферы политического расчета. Для политиков из «Солидарности» политическим фактом должны были стать люди, правящие Россией. Соглашение с ними было необходимым условием политического успеха Гданьского соглашения. Валэнса неизбежно воспроизводил логику Прушинского. Он был вынужден принимать во внимание в своих политических расчетах реальную Россию, управляемую Брежневым и Андроповым, Черненко и Горбачевым, а не Россию, о которой мечтали, Россию Сахарова и Буковского, Солженицына и Горбаневской, Некрасова и Копелева.

Я совершенно сознательно упрощаю проблему и заостряю контуры: я хочу выявить внутреннюю напряженность, неизбежную ныне в польской политической мысли. Если для польских эмигрантов, например, из кругов парижской «Культуры», первых проводников знания о независимой России, единственная ставка – фундаментальные перемены в самой России, то для Валэнсы компромисс по образцу августовских соглашений 1980 года не может быть убран с горизонта политической надежды. В этих категориях следует понимать его молчание на тему Сахарова. Ни один ответственный политик не должен делать из этого укоризну вождю «Солидарности».

Но, к счастью, не все мы – политики. Среди нас еще попадают и просто интеллигенты. А среди интеллигентов – люди, сознающие долг солидарности с правдой и долг свидетельствовать. Немалое число как русских, так и поляков именно так понимает принадлежность к сословию интеллигенции. В таком случае можно утверждать, что обязанности интеллигентов иные, нежели у политиков, иного ожидает от них и общественность.

Иначе говоря: если молчание Валэнсы понятно – мое молчание перед лицом преследования Сахарова было бы изменой тому, что я считаю смыслом своей жизни. В этот смысл входит безоговорочное приятие мицкевичевской традиции, которая велит соединять жажду национальной свободы с братским жестом, обращенным к русским друзьям; велит хранить верность русским друзьям свободы не столько тогда, когда их осеняет ореол победы – что за добродетель быть с победителями! – сколько и особенно тогда, когда их преследуют и сажают, изгоняют из их отечества и загоняют в небытие с помощью реалий большой политики, которая «права человека», нашу гражданскую святыню, сводит к «гуманитарным проблемам». Хранить верность вопреки истории и социологии – когда Катков побеждает Герцена, когда пытаются прививать черносотенные идеи полякам и русским, когда ничто не предвещает смены конъюнктуры, когда о Герцене и Запад позабыл, ибо не стоит тратить времени на проигравшего эмигранта. Верны ли мы этому завету? Пусть на этот вопрос ответят русские авторы книг и статей, публикуемых польским подпольем.

Успех политика и интеллигента меряется разными критериями. Политик должен реализовать конкретные цели в конкретной действительности; интеллигент – защищать попи-

раемые ценности ради них самих. Он должен знать, что время победы этих ценностей еще не наступило и, главное, что ни одна победа не будет окончательной. В этом смысле он должен оставаться вечным Дон-Кихотом, рыцарем безнадежного, но стоящего защиты дела. Это вполне возможно: идея польско-русского братания, свободных со свободными, равных с равными, – одна из грез польского наивного идеализма. И грезу эту интеллигент обязан защищать – в том числе и наперекор действительности, и ценой одиночества и потери популярности. И ценой переживаемых преследований. Но не ценой отказа от правды.

Интеллигент должен понимать действительность. Должен распознавать узлы ее напряженности. Не забывать, что скрытые ценности могут иметь конфликтный характер: защищая одни, мы отбрасываем другие. Поэтому долг интеллигента – это не повторять проповеди о братании, но глубоко изучать действительность и обнаруживать ее ловушки. Следовательно, он должен отвергнуть истолкование польско-русских отношений в категориях «славянского спора» и «христианского бастиона». Он должен разрушать мистификации и упорно возвращаться к трудным темам, предлагать язык, свободный от лжи, и размышление, свободное от фобий, разговор же – свободный от дипломатии и стереотипных банальностей. Служит ли такому разговору напоминание об этих двух польских голосах – пусть судит читатель.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

<sup>1</sup> Оба эти текста см. «Континент» № 42 (спецприложение). Отметим также, что первым в Польше, еще находясь в тюрьме, выступил в защиту А. Д. Сахарова сам Адам Михник (см. «Несломленная Польша на страницах „Русской мысли“», вып. 2, Париж, 1986, стр. 352 – 353).

<sup>2</sup> Об этом см. вып. 2 «Несломленной Польши», стр. 358 – 362.

<sup>3</sup> На основе показаний сотрудника охраны Бакая, явившегося к Бурцеву с рядом разоблачений, Бжозовский был обвинен в том, что являлся платным агентом охраны. Роль Бакая так никогда и не была до конца выяснена (был ли он попросту провокатором или, порвав с охранкой и желая заслужить доверие Бурцева, умножил запас реально доступных ему сведений за счет вымыслов), но имя Бжозовского – к сожалению, уже после его смерти – было полностью очищено от обвинений.

<sup>4</sup> Людвик Варынский – создатель I Пролетариата, первой польской социалистической партии (1882); в 1885 году приговорен к 16 годам каторги на процессе 29 лидеров I Пролетариата, в 1889-м умер в Шлиссельбургской крепости.

<sup>5</sup> Говоря о русских друзьях, Адам Михник частично (чего мы не отразили в переводе) употребляет мицкевичевское выражение «друзья-москали». Традиционно (и верно по смыслу) заглавие стихотворения Мицкевича переводится «К русским друзьям» – см., напр., перевод Анатолия Якобсона, посмертно опубликованный в «Континенте» № 41.

<sup>6</sup> Юлиуш Словацкий и Зыгмунт (Сигизмунд) Красинский – два крупнейших, наряду с Мицкевичем, поэта первой половины XIX века. Польская традиция объединяет всех троих названием, дословно значащим «волхвы, пророки», а по существу определяющим их как трех величайших польских поэтов всех времен. Только в нашем столетии к ним, и то не всеобщим мнением, был добавлен их младший современник Норвид. Мауриций Мохнацкий – один из лидеров, идеологов и затем историков восстания 1830 – 1831 гг. Юлиан Клячко – литератор и публицист второй половины XIX века.

<sup>7</sup> Валериан Калинка – католический священник, один из создателей краковской исторической школы во второй половине XIX века.

<sup>8</sup> Н. А. Милютин в 1863 – 1864 гг. был статс-секретарем по делам Царства Польского; вместе с Черкасским проводил на территории Царства Польского Великую Реформу, одновременно уничтожая существовавшие там автономные институты и ведя политику русификации.

<sup>9</sup> Граф Александр Велепольский (точнее – Велёпольский) – консервативный политик, сторонник компромисса с правительством Российской Империи, противник повстанческой идеологии; вел политику восстановления польского языка в образовании и просвещении; в июне 1862 назначен главой правительства Царства Польского, в 1863, с началом восстания, вышел в отставку. Ведущим деятелем лагеря компромисса после восстания был его сын Зыгмунт. Роман Дмовский – один из основателей и вождь национал-демократии, политического лагеря, созданного в конце XIX века; сторонник компромисса с правительством Российской Империи, депутат II и III Государственной Думы. М. А. Спасович – виднейший петербургский адвокат второй половины XIX века. Александр Ледницкий – адвокат и политик, член партии конституционных демократов, депутат I Государственной Думы; в независимой Польше – либеральный политик и противник национал-демократов.

<sup>10</sup> Заользье – спорная территория, населенная чехами и поляками. По решению Парижской мирной конференции (1919) вошла в состав Чехословакии. В 1938 году, в момент захвата Германией Судетской области, польские войска оккупировали Заользье (именно этот

исторический факт имеет в виду автор статьи). После Второй мировой войны вновь вошло в состав Чехословакии.

<sup>11</sup> Выражение польского поэта-коммуниста Люциана Шенвальда. Ср. у Милоша в «Поэтическом трактате»: «Не нацию хотел, а сто народов Затронуть Шенвальд. (...) Вот Шенвальд – лейтенант-красноармеец. Когда по лагерям полярным стыли И стеклятели трупы ста народов, Прекраснейшими польскими стихами Писал он оду Матушке-Сибири».

<sup>12</sup> Тарговицкая конфедерация (1792) – заговор магнатов, инспирированный Екатериной II, против Конституции 3 мая. Тарговичане призвали «братскую помощь», результатом которой стал второй раздел Польши. Слова «Тарговица», «тарговичане» – символ национального предательства.

<sup>13</sup> Станислав Сташиц – католический священник, философ и просветитель, конца XVIII – начала XIX века; после разделов Польши занимался организацией науки, просвещения и экономики. Сведений о Любском в доступных нам источниках найти не удалось. Князь Адам Ежи Чарторыский (в русской традиции прошлого века – Чарторыжский) – в молодости друг Александра I, в 1804 – 1806 гг. министр иностранных дел Российской Империи; во время восстания 1830 – 1831 гг. возглавил Национальное правительство; после восстания ведущий деятель в эмиграции. Людвик Поплавский – публицист и идеолог раннего периода национал-демократии.

<sup>14</sup> Времена правления Августа II и Августа III, выборных королей из династии Веттинов, в Польше получившей название Саксонской (1709 – 1763), были эпохой анархии и упадка и в немалой степени ослабили Польшу, что облегчило ее первый, а затем и последующие разделы.

<sup>15</sup> «Князь Пепи» – кн. Юзеф Понятовский, племянник последнего польского короля Станислава Августа, генерал наполеоновской армии, верховный вождь Княжества Варшавского; прикрывал отступление наполеоновских войск из России и утонул при переправе. Его изображение как национального героя часто носило лубочный характер.

<sup>16</sup> Вероятно, гр. Велепольский, имевший также титул маркграфа.

<sup>17</sup> «Пепел» – роман Стефана Жеромского об эпохе после третьего раздела Польши.

<sup>18</sup> Армия Крайова – основная сила антигитлеровского сопротивления, подчинявшаяся законному польскому правительству в изгнании (в коммунистической терминологии – «лондонскому»). При «освобождении» Польши советские войска и части НКВД взяли за разоружение и массовые аресты частей АК – прежде всего тех, которые совместно с ними участвовали в боях против немцев (например, в освобождении Вильнюса и Ровно). Значительное число бойцов АК (аковцев) остались в подполье: одни – продолжая борьбу против нового оккупан-

та, другие – просто опасаясь преследований. В 1947 году правительство ПНР объявило амнистию для аковцев – большинство тех, кто воспользовался амнистией, были вскоре арестованы.

## **«СТРЕЛЕЦ» – 1987**

Журнал «Стрелец», ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли, вступает в четвертый год своего существования и объявляет подписку на 1987 год.

В портфеле редакции новые прозаические произведения Георгия Владимова, Юрия Гальперина, Владимира Максимова, Юрия Мамлеева, Сергея Юрьенена, стихи Дмитрия Бобышева, Василия Бетаки, Натальи Горбаневской, Бахыта Кенжеева, Юрия Кублановского, неофициальных поэтов Москвы и Ленинграда. В первых номерах журнала мы предложим вам интервью с Юрием Любимовым, воспоминания художника Гавриила Гликмана, забытые и вовсе неопубликованные рассказы писателей двадцатых-тридцатых годов, публицистику Доры Штурман, Иосифа Косинского, Сергея Юрьенена.

В 1987 г. в журнале появится новый раздел «Писатели о писателях», в котором Владимир Максимов и Михаил Геллер будут обсуждать творчество современных русских прозаиков.

Главный редактор – Александр Глезер.

Стоимость годовой подписки – 36 ам. долл., 336 фр. фр., 89 нем. марок.

Для подписавшихся до 15 декабря установлена льготная подписка – 30 ам. долл., 280 фр. фр., 60 нем. марок.

Заказы и чеки направлять по адресу:

в Европе – Alexandre Gleser, Chateau du Moulin de Senlis,  
91230 Montgeron, France  
в США – Alexander Gleser, 286 Barrow str., Jersey City, N. J. 07302,  
USA



# Запад – Восток

Осмо Ю с с и л а

## ПРАВИТЕЛЬСТВО В ТЕРИОКАХ

1939 — 1940

Главы из книги

*Перевод с финского под ред. Ю. Г. Фельштинского*

### ФИННЫ РАСХОХОТАЛИСЬ

#### *Прием в Финляндии*

Формирование правительства Куусинена для финнов было большой неожиданностью. Список министров был полон незнакомых даже коммунистам имен. По словам Арно Туоминена<sup>27</sup>, «список министров показался насмешкой». В СССР находились сотни известных финских коммунистов, но никого из них, кроме Куусинена, в правительстве не оказалось. «Правительство было расценено, как издевательство, — продолжает Туоминен. — Финский народ сначала ничего не мог понять, затем расхохотался, а в конце концов — разозлился».

Похоже, что в Финляндии никто не слышал объявления Московского радио об образовании Народного правительства. Первые сведения о нем были получены через иностранные информационные агентства и из разбросанных советских листовок. Миру, в том числе и Финляндии, о Териокском правительстве стало известно по дипломатическим каналам, главным образом, через Лигу Наций. И когда посол Швеции в Москве предложил 4 декабря посредничество Швеции в решении спорных вопросов, Молотов отклонил предложение, заявив, что советское правительство не заинтересовано в посредничестве, так как не признает никакого другого правительства Финляндии, кроме «Народного»<sup>28</sup>.

---

Окончание. Начало см. в № 48.

За день до этого, 3 декабря, Холсти<sup>29</sup> обратился за помощью к генеральному секретарю Лиги Наций, который, в свою очередь, потребовал от СССР объяснений в связи с заявлением Финляндии об агрессии со стороны Советского Союза<sup>30</sup>. 4 декабря Молотов ответил, что «Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией... Советский Союз находится в мирных отношениях с Демократической Финляндской Республикой, с правительством которой 2 декабря с. г. им заключен договор о взаимопомощи и дружбе. Этим договором урегулированы все вопросы, по которым безуспешно велись переговоры с делегатами прежнего правительства Финляндии, ныне сложившего свои полномочия. Правительство Демократической Финляндской Республики в своей декларации от 1 декабря с. г. обратилось к правительству СССР с предложением оказывать Финляндской Демократической Республике содействие своими военными силами для того, чтобы совместными усилиями, возможно скорее, ликвидировать опаснейший очаг войны, созданный в Финляндии ее прежними правителями»<sup>31</sup>.

Ответ Молотова был чрезвычайно искусно сформулирован. Неосведомленным лицам могло показаться, что прежнее правительство Финляндии было каким-то мятежным правительством, угрожавшим безопасности СССР, но свергнутым в настоящий момент совместными усилиями финнов и Советского Союза.

В финские газеты первые сообщения о правительстве Куусинена попали 4 декабря через министерство иностранных дел. В День Независимости стал известен ответ СССР Лиге Наций. Газета «Финский социал-демократ» («Suomen Sosialidemokraatti») вышла с заголовками: «СССР цинично ответил на призыв Лиги Наций: Россия не воюет с Финляндией! — Страну якобы представляет не наше, опирающееся на парламент, правительство, а клуб Куусинена. Ложь и фальсификация продолжают быть орудием Советского Союза». Затем газета процитировала основные моменты ответа Молотова.

Самым авторитетным откликом на события стало выступление по радио тремя днями позже премьер-министра Рюти, которое газета «Новая Финляндия» («Uusi Suomi») опубликовала под заголовком: «Расчеты Москвы основаны на неправильной информации». В своей речи Рюти, в частности, сказал:

«Похоже, что Советы приступили к насильственным действиям на основании неверных предположений и ошибочных сведений. Именно поэтому они основали в Териоках новое, якобы демократическое, правительство под руководством Куусинена в надежде, что с помощью этого марионеточного правительства они смогут переманить на свою сторону определенную часть финского народа. Они будут разочарованы в своих намерениях... Власть господина Куусинена никогда не продвинется на один дюйм дальше защищающих его штыков солдат Красной армии, а продержится лишь до тех пор, пока его будут окружать эти штыки. Его воззвания (...) не вызывают в финском народе ничего, кроме омерзения. Его речи о демократии народ Финляндии расценивает, как грубое издевательство. (...) Господа Сталин и Молотов будут глубоко разочарованы, если понадеются добиться чего-либо в финской политике с помощью этого подручного „правительства“, его „демократии“ и подстрекательства. Интеллектуальный уровень в Финляндии слишком высок, чтобы относиться к таким заявлениям с чувством, отличным от отвращения».

Газета «Финский социал-демократ» опубликовала комментарии к речи Рюти под заголовком «СССР забыл ленинские принципы самоопределения народов». А К. А. Фагерхольм<sup>32</sup> напечатал в датской газете «Социал-демократ» статью о том, что финский пролетариат смеется над правительством Куусинена и его программой с обещаниями 8-часового рабочего дня и двухнедельного летнего отпуска.

Если Рюти считал, что Сталин просчитался, когда понадеялся на поддержку финнами Териокского правительства, корреспондент Ласси Хиеккала, писавший под псевдонимом «Ээро» в газете «Хельсингин саномат», смотрел на все несколько иначе. Для него правительство Куусинена было ширмой, которой Сталин отгородился от общественного мнения мира<sup>33</sup>. По мнению «Ээро», Сталин и Молотов «решили, что придумали в лице так называемого правительства Куусинена довольно-таки хороший фиговый листок для прикрытия срама бандитского нападения». Но «мир сразу же раскусил этот неуместный трюк и рассмеялся в лицо фальсификаторам». Правительство Куусинена оказалось фарсом. Даже Лига Наций осудила этот обман<sup>34</sup>.

И таким образом, в финской прессе было представлено, по крайней мере, два объяснения причин формирования прави-

тельства Куусинена. Согласно первому, СССР, основываясь на неправильной информации, пытался разобщить народ Финляндии; согласно второму, Москва прикрылась от мировой общественности ширмой, прикрывая правительством Куусинена свою агрессию.

Лавина декабрьских военных операций на советско-финском фронте правительство в Териоках окончательно похоронила. И больше о нем почти не писалось<sup>35</sup>. Когда в феврале 1940 г. Красная армия начала новое наступление, в авангарде шли не части Народной армии, а отборные советские сибирские батальоны.

Вопреки представлениям «Ээро», обман не везде был разоблачен немедленно. В Англии, например, распространились сведения о бегстве правительства Рюти. Сообщения о формировании правительства в Териоках и об отставке правительства Каяндера<sup>36</sup> были получены почти одновременно и объединены. 1 декабря во всех лондонских газетах, за исключением «Таймс», было сообщено о капитуляции финского правительства перед Народной армией и Куусиненом.

Правда, вскоре прибывшие в Финляндию иностранные корреспонденты сообщили в свои газеты правильную информацию. Уже 4 декабря в Данию поступили сведения о том, что правительство Куусинена никого не представляет. Одновременно были опубликованы коммюнике САК (Центральной организации профсоюзов Финляндии) и социал-демократической партии в поддержку национального финского правительства. В результате, в иностранных газетах распространилось мнение, будто Сталин получил неверную информацию о ситуации в Финляндии и был уверен, что правительство в Териоках получит поддержку финнов.

Впрочем, Коминтерн все-таки организовал митинги в поддержку правительства Куусинена и кампанию в коммунистической прессе Западной Европы и Америки. Выдержки из этих статей в большом количестве цитировались в советской прессе. Так, газета Коминтерна «Коммунистический Интернационал» в последнем номере 1939 года опубликовала целый обзор западной печати такого рода.

Английская «Дейли уоркер» была одним из самых ревностных защитников Териокского правительства<sup>37</sup>. Она писала, в частности, о «всенародном ликовании» на освобожденных Красной армией территориях. В кампанию были вовле-

чены такие именитые «красные паломники», как Бернард Шоу<sup>38</sup>; американцы Майкл Голд (настоящее имя: Ирвин Граниш), редактор газеты «Нью масс», и Джон Стейнбек; влиятельный политик лейбористской партии Стаффорд Криппс<sup>39</sup>; редактор «Дейли уоркер», коминтерновец Палм Датт. Ввязался и Джавахарлал Неру<sup>40</sup>. Много внимания (и столь же много места) в печати было уделено датскому писателю-коммунисту Мартину Андерсену Нексе, который с пером в руках мужественно сражался за Финскую народную республику<sup>41</sup>. Его призвали к стойкости в борьбе «за правое дело» известные советские писатели, в их числе Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Константин Федин, Александр Фадеев, Валентин Катаев, Леонид Леонов, Михаил Зощенко. В кампании участвовали различные организации и группы: норвежские моряки, студенты из Колорадо, рабочие табачных фабрик Тампа, музыканты Голливуда, норвежские женщины и Федерация тенниса США<sup>42</sup>. Коммунисты соседней Швеции в ней тоже приняли участие. А рабочие Гетеборга послали приветствие «сражающемуся народу Финляндии и подлинно народному правительству, правительству Куусинена».

## ИЗЪЯН ВО ИМЯ МИРА

### *Последующая оценка правительства коммунистами*

В написанной во время Второй мировой войны, в 1943 г., книге «Финляндия без маски» бывший глава Териокского правительства О. В. Куусинен назвал правительство в Териоках антивоенным правительством, правительством мира. Это мнение позднее было повторено бывшими министрами его кабинета. Как пишет Куусинен, период, предшествующий 1943 году, окончательно убедил его в том, «каких огромных бедствий избежал бы финский народ, если бы тогда поддержал программу нашего Народного правительства». Этим Куусинен открыто признает, что в 1939 г. Народное правительство поддержки не нашло. Впрочем, Куусинен дает этому объяснение: «Властители Финляндии совместно с социал-демократическими наемниками при помощи бешеного террора и режущих уши националистических воплей задушили ростки народ-

ного антивоенного движения в стране и изолировали его сторонников».

Министр сельского хозяйства правительства Куусинена Армас Эйкия признал в начале 1960-х годов в беседе с Матти Курьенсаари<sup>43</sup>, что «правительство в Териоках было историческим промахом». Но, сказал Эйкия, промах заключался лишь в том, что коммунисты считали возможным способствовать путем формирования Народного правительства и демократизации общественной жизни Финляндии скорейшему окончанию войны. Тем не менее, по мнению Эйкия, КПФ могла выразить протест против войны и в другой форме. Эйкия, таким образом, оправдывается точно так же, как и Куусинен: правительство было сформировано с целью скорейшего окончания войны.

«Официальная точка зрения» КПФ в послевоенные годы состояла в том, что Териокское правительство было попыткой партии спасти народ Финляндии от губительных последствий политики буржуазного правительства, т. е., по сути своей, соответствовала объяснению Куусинена. Это несколько не удивляет, если учесть, что «объяснение» Куусинена было сформулировано министром внутренних дел Териокского правительства Тууре Лехеном в 1958 году<sup>44</sup>.

Объясняя причины, приведшие к Зимней войне, Лехен пространно цитировал первое воззвание ЦК КПФ, не упоминая, однако, что оно было написано там же, где и все остальные воззвания правительства Куусинена, и что генеральный секретарь КПФ Арво Туоминен никакого отношения к этим воззваниям не имел. Если верить воззваниям, главной задачей, стоящей перед компартией Финляндии, были «окончание войны и заключение мира, введение в стране народовластия и обеспечение независимости Финляндии через улучшение отношений с СССР». Между строк Лехен дает понять, что правительство в Териоках стремилось именно к тому, что было достигнуто в 1948 году. «Одобряя формирование так называемого Народного правительства, — писал Лехен, — Центральный комитет исходил из искреннего стремления к созданию базы для основанных на доверии добрососедских и дружеских отношений с Советским Союзом». Следовательно, Лехен считает формирование правительства совершенно правильным мероприятием, а задачи правительства — достигнутыми после окончания Второй мировой войны.

Вынужденный, однако, объясняться по этому вопросу через десять лет в интервью по радио, Лехен уже с меньшей уверенностью говорил о правильности действий финских коммунистов. На вопрос корреспондента о том, была ли коммунистами неправильно оценена ситуация в Финляндии, Лехен уклончиво ответил, что Териокское правительство не было лучшим способом организации дел и что формирование правительства было «изъяном».

Долгосрочный, послесталинского периода, председатель КПФ Аарне Сааринен<sup>45</sup> еще в конце 1970-х годов говорил о правительстве Куусинена практически то же, что и Лехен. В данном им интервью он рассказал, что сразу же после получения известий о формировании Народного правительства он отнесся к нему крайне положительно. Он надеялся, что новое «демократическое правительство» сможет добиться изменений во внешней и внутренней политике Финляндии и считал, что недавно образованный кабинет во главе с Ристо Рюти не является выходом из положения; а вот «с помощью правительства О. В. Куусинена можно сохранить независимость Финляндии».

По иному оценивал ситуацию Эркки Саломаа в написанной им краткой биографии Куусинена (1968). Саломаа подчеркивает, что правительство не было сформировано коммунистами после внимательного изучения ситуации в Финляндии и что сам Куусинен не хотел участвовать в формируемом правительстве. Это мнение автора опирается на бумаги Куусинена и на беседу с ним.

В СССР о правительстве Куусинена после его самороспуска не вспоминают. В шеститомной «Истории Великой Отечественной Войны» времен Хрущева о Териокском правительстве не упоминается вообще<sup>46</sup>, как не упоминается о нем в статьях и книгах о советско-финских отношениях<sup>47</sup>. Задуманная советским правительством операция не удалась, была явным поражением, а история Советского Союза не знает поражений. И поскольку правительства Куусинена в истории «не было», советские историки дают крайне самобытное и удивляющее финнов объяснение событий начала войны: так как операции Красной армии нельзя считать ответом на просьбы Народного правительства о помощи, как это делала советская пропаганда времен Зимней войны, возможным объяснением остается только то, что Финляндия была либо агрес-

сором, либо стороной, спровоцировавшей войну. Именно поэтому в воспоминаниях командующего частями Красной армии на финской границе маршала Мерецкова указано, что Красная армия приступила «к контрудару»<sup>48</sup>, а в предисловии к сборнику документов о пограничных войсках редакторы сборника пишут, что «к середине ноября 1939 г. финские войска полностью сосредоточились у советской границы и развернулись для боевых действий», а «финские пограничные части перешли к систематическим провокациям на границе»<sup>49</sup>. Можно с уверенностью сказать, что, если бы правительство Куусинена добралось до Хельсинки и удержалось там, эта операция в современной советской истории была бы представлена как оказание помощи Народному правительству Финляндии.

Не обошлось, однако и без исключений. В 1979 г. историк Владимир Петров написал в выходящей в Петрозаводске газете «Красное знамя» статью в двух частях под названием «Годы войны и мира». Уже этот заголовок указывал на то, что статья явилась своеобразным ответом на финский телевизионный многосерийный фильм «Люди войны и мира», собравший многочисленных зрителей не только в Финляндии, но и на другом берегу Финского залива, в Таллине. Еще одной причиной для написания статьи было 40-летие начала Зимней войны, причем на следующий год Петров продолжил свою полемику с финским фильмом на страницах журнала «Мир и мы», выходящего на финском языке.

Петров говорит о правительстве Куусинена примерно то же самое, что и компартия Финляндии и даже сам Куусинен: формирование правительства «следует считать прежде всего попыткой всех прогрессивных сил Финляндии помочь разрешению политического кризиса, явившегося следствием реакционной политики кругов, находившихся у власти в Финляндии». Вслед за этим, однако, совершенно неожиданно Петров проводит параллель между правительством Куусинена и сегодняшним днем, и не между строк, как Лехен, а совершенно открыто. Вот что он пишет:

«Народное правительство заявило, что видит своей задачей заключение мира, демократизацию страны и обеспечение безопасности и независимости Финляндии заключением Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с СССР. Эти основные положения правительства и были приняты за основу



официальной политики Финляндии после Второй мировой войны».

Разве Петров не прав? Мир заключен, страна «демократизирована», и безопасность и независимость Финляндии гарантированы Договором от 1948 года. То, чего СССР не достиг с помощью Зимней войны, было достигнуто в продолжении войны Мировой. Небольшая, но вполне понятная неточность Петрова заключается в том, что название Договора 1939 г. было несколько короче Договора 1948-го: «Договор о взаимопомощи и дружбе». «Сотрудничество» попало в договор только в 1948 г. Впрочем, одновременно с этим Петров повторяет слова Сталина и Молотова о «самороспуске» Териокского правительства и о том, что это послужило делу мира и делу «скорейшего окончания войны».

## КРАСНЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОСКВЫ ПЫТАЮТСЯ ВЗЯТЬ РЕВАНШ

### *Оценка правительства Куусинена финнами*

Уже первые газетные статьи, опубликованные в Финляндии в связи с формированием правительства Куусинена, выявили две тенденции, устоявшиеся позднее и продолжающие существовать даже сегодня. Первую можно назвать «эмигрантской теорией». Вторую — «теорией ширмы». Согласно «эмигрантской теории», идея создания правительства принадлежала коммунистам-эмигрантам во главе с Куусиненом, которые считали, что Финляндия будет готова к новой революции — к реваншу за 1918 год, — как только Красная армия пересечет границу. В этом эмигранты убедили и Сталина.

По «теории ширмы», правительство было лишь прикрытием, маскировавшим агрессию, прежде всего перед Лигой Наций и мировой общественностью. На это указывает, в частности, многотомная финская «История нации», которая опубликовала в главе о правительстве в Териоках карикатуры «Ээро» из газеты «Хельсингин Саномат» и отрывки из его фельетонов, где впервые события трактовались с точки зрения «теории ширмы». К этой же теории может относиться и не произнесенное вслух предположение о том, что Сталин не надеялся на получение Териокским правительством народной

поддержки. Но такой аргумент обычно не выдвигался самостоятельно, а соединялся с эмигрантской теорией, в те дни преобладавшей.

В Финляндии факт формирования правительства Куусинена считался окончательным доказательством того, что целью Сталина в длившихся с начала осени советско-финских переговорах был захват всей страны. В этом вопросе Й. К. Паасикиви, ведший переговоры с финской стороны, придерживается другой точки зрения, хотя в основном его комментарии к вопросу о правительстве Куусинена исходят из «эмигрантской теории». В мемуарах, написанных в 1942 г., Паасикиви вспоминает, как на переговорах был уверен в том, что «захват Финляндии не входил в тогдашние планы Сталина». Но уже после начала войны Паасикиви воспринял правительство Куусинена и подписанный этим правительством с СССР договор не как просто «доказательство политической тактики и запугивание финнов». «В действительности, это означало уничтожение независимости Финляндии», — писал Паасикиви. Он считал роль Куусинена как организатора правительства ведущей и предполагал, что Куусинен и Кремль поверили в возможность получения Народным правительством значительной поддержки в Финляндии. «Вообще эмигранты хуже всех понимают свою бывшую родину», — подкреплял «эмигрантскую теорию» Паасикиви.

В некотором смысле, однако, этому противоречат записи, сделанные Паасикиви в своем дневнике и цитируемые им в воспоминаниях: формирование правительства Куусинена было обманом, который является для сверхдержавы лишь «технической процедурой».

Другой известный современник и участник событий — Вяйне Таннер<sup>50</sup> — вспоминал это время, сидя в тюрьме в качестве военного преступника. Он считал правительство Куусинена первым в мире «марионеточным» правительством. Таннер цитировал воззвания социал-демократической партии и САК, а также опубликованную в «Арбетарбладет» статью Фагерхольма, в которой Фагерхольм писал: «Правительство О. В. Куусинена является полным крахом, его пропагандистское значение сводится к нулю». Хотя Таннер и сомневался в том, получил ли Сталин неправильные сведения или считал возможной поддержку Куусинена финским народом, сам факт использования термина «марионеточное правительство» ука-

зывает на то, что Таннер предполагал наличие у советского руководства правильной информации о Финляндии.

Первый кандидат на должность премьер-министра Териокского правительства, Арво Туоминен, в вышедших впоследствии мемуарах (1970) доказывал, что КПФ не имела ничего общего с формированием правительства и что на «тяжкую долю» Куусинена выпало согласиться под принуждением стать премьер-министром. По мнению Туоминена, Куусинен отказался бы от этой роли, если бы находился где-нибудь в Стокгольме. «Руководство КПФ находилось тогда в руках реально мыслящих людей, — пишет Туоминен, — поэтому ни один из нас даже не помышлял о возможности революции или переворота. Сведений такого рода не давалось ни Коминтерну, ни советскому правительству. Если где и неправильно оценили ситуацию, то, во всяком случае, не в Финляндии и не в КПФ. Ошибку, вероятно, допустили Сталин и Жданов. Их направляли факторы мировой политики и возможности, открывшиеся с пактом Молотова — Риббентропа. В ходе проводимой операции понадобилось „правительство Народной республики Финляндии“». Оценка долгосрочного генерального секретаря КПФ в целом оказалась правильной.

### *Московский Джекиль и ленинградский Хайд*<sup>51</sup>

Первым серьезным исследованием внешней политики времен Зимней войны была изданная в 1955 г. книга Макса Якобсона «Зимняя война дипломатов». В ней отражены обе части объяснений современников: «реванш» и «ширма», но в значительно более усовершенствованном виде. Якобсон указывает, в частности, на то, что уже в 1920 г. Красная армия оказала помощь «Польскому революционному комитету» в борьбе против «реакционных сил». Подтверждение теории реванша Якобсон находит в сравнительном анализе текстов Договора между Териокским и советским правительствами, с одной стороны, и соглашения, заключенного в 1918 г. между советским правительством и Народной делегацией Финляндии<sup>52</sup>, с другой. Поскольку более объемистый договор 1939 г. был так быстро подготовлен, Якобсон считает, что в основе его лежал договор 1918 г., причем дополнительные пункты договора 1939 г. были составлены 21 год назад и просто пролежали все это время в ящике письменного стола Молотова.

И все-таки при сравнении этих договоров приходишь к выводу, что они слишком различаются, а прототип договора 1939 г. может быть найден и в более близкое, чем 1918 год, время. А вот замечание Якобсона о том, что договор 1939 г. был полностью осуществлен десять лет спустя, действительно очень точно. И в предисловии к новому изданию своей книги (1979) Якобсон указывает на неразрывность линии 1939-48 годов.

Якобсон, как и ряд других современников событий тех лет, считает, что коммунисты-эмигранты, включая Куусинена, дали Сталину неверные сведения, на основании которых Сталин посчитал возможным получение Куусиненом поддержки в стране. Но одновременно он делает и оговорку: «Излишне предполагать, что приказ наступать был отдан из-за финских эмигрантов; но, когда этот приказ уже был отдан, эмигранты подсели в обоз». Их задачей была расчистка дороги Красной армии. Таким образом, пишет Якобсон, «правительство Куусинена было сформировано не только для маскировки нападения. Оно должно было играть роль политического клина, открывающего Красной армии путь для парадного марша на Хельсинки».

В последней главе своей книги, однако, Якобсон соглашается со взглядом Паасикиви в том смысле, что считает правительство Куусинена исключительным явлением советской внешней политики. Якобсон пишет, что политика России и СССР всегда была непостоянна. «За либерализмом Александра I последовал Бобриков<sup>53</sup>, мирному сосуществованию предшествовал Куусинен». Кроме изменений во времени, есть изменения и в расстановке сил. В СССР есть доктор Джекиль, защитник государственных интересов России, и мистер Хайд, распространяющий мировую революцию. В ноябре 1939 года Джекиль уступил место Хайду, и политикой в отношении Финляндии стали заниматься люди с крайними взглядами.

В новое издание книги Якобсон включил предисловие, в котором заглянул за завесу объяснений, данных Паасикиви, но все-таки Якобсон продолжает придерживаться формулы Джекиль — Хайд. Отречение от Куусинена было «поворотным пунктом не только в Зимней войне, но и в отношениях между СССР и Финляндией в целом».

Впрочем, еще до выхода этого нового издания сомнения автора в отношении дачи Куусиненом и другими эмигрантами

неверных сведений о Финляндии только укрепились: в это время были получены заверения одного высокопоставленного советского дипломата в том, что, по крайней мере, советское посольство в Хельсинки Москву в заблуждение не вводило.

В статье<sup>54</sup>, написанной в связи с выходом в свет воспоминаний Паасикиви и нового издания книги Якобсона, Юкка Таркка<sup>55</sup> усадил якобсоновского Джекиля, в лице Сталина, в Москву, а Хайда, в лице Жданова, в Ленинград. Таркка предположил, что правительство Куусинена было проектом ленинградского партийного руководства, не нашедшего поддержки Москвы. «Ленинградское руководство с развернутыми знаменами отправилось в идеологический крестовый поход», но Москва занималась государственной политикой безопасности. Так руки московского Джекиля, которыми затем была создана «линия Паасикиви», остались незапятнанными, и ведро с помоями было вылито в Ленинграде, на голову Жданова. Но попытка доказать возможность проведения Ленинградом и Ждановым независимой от Москвы внешней политики выглядит достаточно жалко. Все переговоры велись в Москве, договоры подписывались там же, причем Сталин руководил единолично. Жданов присутствовал редко. Роль Ленинграда ограничивалась тем, что солдаты подразделений его военного округа получили честь направиться на «освобождение» финнов.

Это предположение Таркки было подтверждено и некоторыми дипломатами того времени. Правда, генерал Лайдонер, посетивший Сталина, придерживается прямо противоположного мнения.

После Якобсона исследователи не продвинулись вперед — скорее, сделали шаг назад, к схемам времен Зимней войны. В более поздних исследованиях как само собой разумеющееся, как нечто доказанное, приводится теория о том, что эмигранты ввели Сталина в заблуждение и Сталин действительно верил в возможность возникновения в Финляндии революционной ситуации. Так думали некоторые бывшие в то время в Москве дипломаты, рассказывавшие затем о событиях тех дней.

Англичанин Энтони Эптон в книге «Коммунизм в Финляндии» (1970) как раз и приводит версию времен Зимней войны: Сталин верил в подъем трудящихся против буржуазного правительства и в радостную встречу финнами Красной армии-

освободительницы. Он предполагает, что Сталина в этом убедила «определенная группа, руководимая Ждановым и ленинградским партийным руководством и поддерживаемая армейским командованием». Таким образом, по Эптону, Хайд обманул Джекиля. Автор, однако, не подкрепляет своих предположений никакими источниками.

Кейо Корхонен<sup>56</sup> в книге «Когда безопасность подвела» (1971) считает факт публикации советскими газетами сведений о подъеме «народа против фашистов» доказательством того, что такое представление действительно господствовало в Москве и служило основой для вынесения решений. В Финляндии, по мнению Сталина, следовало использовать освободительную борьбу пролетариата. «Вряд ли можно было, — продолжает Корхонен, — более неправильно оценить внутриполитическую ситуацию в Финляндии. Фантазии эмигрантов и теоретизация классовых противоречий, непременно господствующих в буржуазном обществе, ввели (советское правительство) в заблуждение как раз в тот момент, когда оно принимало решение».

Мартти Юлкинен в диссертации «Картина Зимней войны» (1975) оценивает положение более осторожно, основываясь на высказываниях Якобсона и Корхонена: «Несомненно в СССР были возложены большие надежды на правительство, основанное от имени коммунистической партии Финляндии». 1918 год еще стоял перед глазами руководителей СССР, а советская разведслужба вместе с финскими коммунистами укрепляла надежды на раскол в Финляндии.

Вышеуказанные исследователи ограничились узконаправленным рассмотрением событий по оси Москва — Ленинград — Хельсинки, не сравнивая их с действиями Сталина и СССР в других районах. Исключением является ссылка Якобсона на Польшу в 1920 году. С другой стороны, отредактированная и частично написанная Томасом Т. Хаммондом книга «The Anatomy of Communist Takeovers» (1975)<sup>57</sup> дает широкие сравнения агрессий этого типа. Она сравнивает Териокское правительство и попытку захвата Финляндии с захватом Монголии в 1921 году. При захвате Монголии было сначала сформировано «Народное правительство Монголии», которое было посажено в первом захваченном городе, где было опубликовано революционное воззвание с просьбой о помощи

Красной армии. Кроме Монголии, Хаммонд сравнивает финскую кампанию 1939 года с польскими событиями 1943-44 гг., когда сначала был образован «Союз польских патриотов», а затем и Люблинский комитет (Временный комитет национального освобождения), в декабре 1944 года провозгласивший себя Временным правительством Польши.

В этом направлении, по-моему, и следует искать ответ на вопросы, касающиеся правительства Куусинена, причем искать их следует не только в Монголии и Польше, но и в анализе операций советского правительства по включению в СССР первых народных республик в 1919-22 гг.

Следует все же заметить, что в книге под редакцией Хаммонда Кевин Девлин в статье о Финляндии в 1948 году повторяет традиционную точку зрения: эмигрантское руководство КПФ дало Сталину неправильную информацию о настроениях финского рабочего класса.

## СВОИХ ЛЮДЕЙ В ХЕЛЬСИНКИ — НА МЕСТО ЧУЖИХ

### *Цель формирования правительства Куусинена*

Хотя зачитанное по радио 30 ноября воззвание было сделано от имени Центрального Комитета КПФ, правда, без подписей, ЦК партии ни фактически, ни формально не решал вопроса об этом документе. Один из крупнейших сотрудников партии, генеральный секретарь Арво Туоминен был в это время в Стокгольме и отказался от предложения поехать в Москву, чтобы занять пост премьер-министра Народного правительства Финляндии. В воззвании было сказано, что Народное правительство образовали группа левых партий и восставшие солдаты. Эти «левые партии» остались темным пятном для финского слушателя: к ним невозможно было отнести даже КПФ, которая вообще не упоминалась. Возможно, что в памяти составителей воззвания были живы воспоминания о распущенных ССТП (Финской социалистической рабочей партии) и СТП (Финской рабочей партии)<sup>58</sup>, которые теперь как бы воспряли из небытия. Не исключено, однако, что формула «группа левых партий» была камуфляжем правительства, претендовавшего на авторитет «Народного фронта», в

который, на самом деле, никто и не собирался включать никакие из существующих политических партий. Не требуется все же особенных доказательств тому, что представителей ССТП и СТП, тем более таких, которые согласились бы войти в революционное правительство, не было ни в восточной, ни, тем более, в западной Финляндии.

Члены Народного правительства были финскими эмигрантами, но, за исключением Куусинена, довольно неизвестными в Финляндии. Пожалуй, финны немного знали только бывшего депутата парламента Маури Рузенберга. В чистке финских коммунистов, попавших в СССР, ГПУ было настолько высокоэффективно, что при составлении Народного правительства Сталину пришлось поскрести по сусекам в поисках последних крох. В живых не было уже ни Гюллинга, ни Маннера, ни Ровио, ни Летонмяки, ни Лаукка, ни Мальма.

Хотя правительство Куусинена представило себя в воззвании продолжателем дела революции 1918 г., было ясно, что оно не имеет отношения к тем событиям. Из членов правительства один только Куусинен мог претендовать на такую преемственность, но, по всей вероятности, и он в этом предприятии принимал участие не совсем добровольно. О поддержке правительства в Териоках трудовым народом Финляндии не было и речи.

### *Когда созрело решение?*

Многие факты говорят за то, что идея создания правительства Куусинена появилась внезапно и поздно, перед самым началом Зимней войны. Момент зарождения этой идеи можно установить относительно точно по ряду деталей. Все они указывают на то, что правительство родилось в момент, когда Сталин понял бесперспективность продолжения переговоров с финнами. Внезапное решение о формировании Народного правительства свидетельствует также о том, что Сталин всерьез надеялся на достижение результатов путем переговоров, как это произошло в случае прибалтийских государств.

Переговоры с Паасикиви были прерваны 13 ноября, и уже в тот же день Туоминену направили первое письмо с приказом вернуться в Москву. Следовательно, решение о формировании правительства было принято уже 13 ноября. Остается,



однако, неясным, было ли оно вынесено в тот день или раньше, и если раньше, то когда именно. Наконец, непонятно, был ли план создания правительства на всякий случай разработан заранее.

Возможным днем вынесения решения является 3 ноября. Еще 31 октября, когда Молотов обнародовал в Верховном Совете требования СССР, он ясно дал понять, что советское руководство верит в возможность решения вопроса путем переговоров. Но уже через несколько дней, на переговорах 3 ноября, Молотов высказал угрозу: «Сейчас гражданские власти вопрос рассмотрели, и поскольку решение не достигнуто, дело следует передать военным». Советник посольства Германии фон Типпельскирх в тот же день сказал послу Швеции в Москве, что, если договоренности достигнуто не будет, СССР начнет агрессию против Финляндии. Следовательно, возможность решения вопроса силами армии стала представлять собой серьезную альтернативу в начале ноября, возможно, именно 3-го числа. Таким образом, решение о создании правительства Куусинена относится к периоду с 3 по 13 ноября 1939 г. Опубликованный дневник батальонного комиссара Гаглоева показывает, что подготовка к операции на уровне батальонов была начата только 20 ноября, то есть за 10 дней до нападения, что опять же указывает на быстрое и запоздалое решение.

Арво Туоминен, основываясь на предположении Г. Солсбери, писал, что решение о Зимней войне было принято уже в конце июля 1939 года во время совместной поездки адмирала Н. Г. Кузнецова и Жданова по финскому заливу и что идея марионеточного правительства уже тогда пришла Жданову в голову. Правда, ни один из известных фактов не подтверждает этого раннего срока и речь может идти только о догадке Солсбери, с одной стороны, и Туоминена, с другой.

Совершенно верно, что военные приготовления и улучшение боевой готовности войск на финском направлении шли в течение всего 1939 года, особенно летом. Но это не то же самое, что вынесение решения об операции в начале декабря 1939 года. Как рассказывает в воспоминаниях командующий финским фронтом Красной армии маршал Мерецков, действительной причиной проведения в июне-июле переговоров между Сталиным и Куусиненом были военные переговоры с западными государствами, которые не приводили к желаемым

результатам. В то время еще не предполагалось назначать Куусинена премьер-министром или президентом какого бы то ни было будущего правительства Финляндии. Консультации с ним были, по всей вероятности, вызваны тем, что военное руководство СССР, по словам Мерецкова, было недовольно полученными разведкой сведениями о Финляндии. И если военные операции против Финляндии планировались, они ни в коем случае не могли быть назначены ни на позднюю осень, ни на зиму. Сам Жданов вместе с Мерецковым посетил предыдущей зимой Карелию для того, чтобы получить представление о трудностях ведения боевых действий в этом районе в зимних условиях. Гитлер в письме к Муссолини, написанном в конце Зимней войны, также высказал уверенность в том, что Сталин не планировал развязывать войну, «так как в этом случае было бы выбрано другое время года».

Почему же все-таки война была начата в предверии зимы? Потому, что война не была начата. Никто в СССР не верил, что придется вести сложные и затяжные боевые действия. По некоторым данным, головные подразделения двинулись в наступление с оркестрами и развернутыми лозунгами с надписями: «Привет финским товарищам» и «Жмем руку свободной Финляндии». По общему мнению, операция должна была пройти так же, как парадный марш в Восточной Польше, где «освобожденное» население выстроило триумфальные арки, подносило цветы и хлеб-соль. Финны же стали стрелять, и даже не солью, а свинцом в никелевой оболочке.

И в Прибалтике всё прошло для СССР очень удачно. Потребовалось только разъяснить прибалтам, что за «дружбой» Советского Союза с Германией стоит раздел сфер влияния, намекнуть прибалтийским республикам на возможность оккупации — и Прибалтика сдалась. Командующий армией Эстонии генерал Лайдонер после посещения Москвы в декабре 1939 г. и неоднократных бесед со Сталиным рассказывал, что цель Сталина заключалась не в присоединении Финляндии к СССР, а в подписании соглашения, аналогично договорам, заключенным с прибалтийскими государствами.

Похоже, что среди направлявшихся в Финляндию красных бойцов и их комиссаров бытовало мнение, что предстояла только «военная демонстрация» или определенного рода полицейская операция. Военный корреспондент М. Соловьев считал, что на такое отношение повлияла «самоуверенность».

переданная нам отцами. Нам казалось, что Финляндия не может выдержать и одного дня войны с нами. Однако проходил день за днем, а сопротивление маленькой страны не только не прекращалось, но требовало с нашей стороны все больше войск»<sup>59</sup>. Генерал Н. Н. Воронцов, позднее других подключенный к планированию операции, как-то сказал, что был бы рад, если бы кампания закончилась за 2-3 месяца. Присутствовавшие, услышав это, расхохотались, и генерал получил строгий приказ рассчитывать на операцию длительностью в 12 дней. А в отданном 139-й дивизии приказе на марш намечалось пройти за день ни больше ни меньше как 40 километров.

### *Кто это выдумал?*

«Если бы Куусинена не существовало, Советы должны были бы его выдумать», — писал Якобсон. Но кто же его выдумал? Чьей идеей было создание правительства? Многие, в частности, Арво Туоминен, Энтони Эптон, Джон Худгсон и Юкка Таркка, опираясь на высказывания друг друга, считают, что мысль о создании правительства принадлежала Жданову. Туоминен, кстати, писал, что в этом был уверен министр Юрье Лейно<sup>60</sup>. По Эптону, руководимая ленинградской партийной организацией и поддерживаемая армией группировка Жданова убедила Сталина в возможности организации гражданской войны в Финляндии. Худгсон, в поисках доказательств, опирается на свидетельства Туоминена, а исследователю Зимней войны Таркка приписывание идеи о формировании Народного правительства Жданову и Ленинграду понадобилось для выгораживания стратегии Москвы. Туоминен, однако, ничем не подкрепляет свидетельство Лейно, а Эптон все-таки строит свои предположения исключительно на старом наследии.

Инициатива Жданова не исключена и очень даже возможна. Ведь был же Жданов руководителем Ленинграда, Ленинградской области и членом Военного Совета Ленинградского военного округа. Финляндия граничит именно с его «губернией». Вместе с Мерецковым он укреплял оборону на границе с Финляндией и затем весной 1940 года был ведущим архитектором строительства Карело-Финской советской республики. Но если Жданов мог прийти к этой идее первым, Сталин, вероятнее всего, дошел до нее и сам. Во всяком случае, опыт Ста-

лина в реализации подобного рода предприятий был куда больше опыта Жданова.

Идея может принадлежать нескольким лицам. Применение Сталиным механики насаждения марионеточных правительств было следствием заключения советско-германского договора и ситуации, сложившейся на переговорах с Финляндией. Технические средства для этого были созданы и держались наготове с первых дней установления советской власти в России, а программа Териокского правительства — давно уже была подшита в папки Коминтерна. Карикатурист газеты «Хельсингин саномат» Оки Ряйсянен, сам того не зная, в карикатуре, опубликованной 16 декабря 1939 г., коснулся самой сути дела: на рисунке Молотов представляет Сталину членов правительства Куусинена, одетых в костюмы времен Карла XII (откуда-то распространились слухи, что форма армии Куусинена сшита по модели тех времен)<sup>61</sup>, и говорит: «Вот, товарищ Сталин, с этими людьми наверняка можно договориться!» И они действительно договорились не только «наверняка», но и в рекордно короткий срок.

Поскольку с правительством Каяндера — Эркко договоренности на условиях, выдвинутых Сталиным, достигнуто не было, в Хельсинки следовало поставить такое правительство, с которым можно было бы стовориться, т. е. продиктовать свои условия. Идея довольно простая. Во фразе Молотова на карикатуре Ряйсянена и была сконцентрирована основная мысль, стоящая за решением СССР сформировать правительство Куусинена. Соответственно, правительство не было самоцелью Сталина и не представляло для него никакой ценности, а являлось в его руках инструментом для решения более важной задачи: приобретения военного контроля над Финским заливом. И если одновременно появилась возможность взять под свой контроль всю Финляндию — тем лучше. У генерала Лайдонера после вышеупомянутого визита к Сталину в декабре 1939 г. создалось впечатление, что правительство Куусинена — только манекен, а не действительный фактор власти. В Хельсинки требовалось поставить правительство, с которым можно было бы заключить договор. А будет ли это правительство Куусинена или какое-нибудь другое — не имело значения. 25 января 1940 г. Молотов сказал германскому послу в Москве, что о договоре с Рюти не может быть и речи, а правительство Куусинена можно будет, вероятно, расширить для

образования в Финляндии дружественного Советскому Союзу правительства, т. е. правительства, которое согласится на все.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если бы правительство Каяндера — Эркко удовлетворило требования Сталина, в особенности касавшиеся военной базы, оно временно, до лета 1940 г., осталось бы у власти, точно так же, как и правительства стран Прибалтики. Своим отказом удовлетворить советские требования правительство Финляндии оставило Сталину только одну возможность: взять под контроль всю Финляндию и сменить все правительство. Это и толкнуло Сталина на рискованный шаг, к которому он был явно не готов и на который, возможно, идти не хотел.

Что произошло бы с Финляндией в тот период, когда прибалтийские республики «присоединялись» к СССР? Осталась бы Финляндия независимым государством или бы тоже «присоединилась»? Ответ на этот вопрос стоит за пределами исторического исследования, но к нему мы неизбежно должны будем вернуться.

Если подробнее ознакомиться с Договором о дружбе и взаимопомощи Куусинена — Сталина, можно заметить, что по этому договору Сталин действительно получил все то, чего безуспешно добивался от правительства Каяндера — Эркко. По договору СССР обещал предоставить Финляндии военную помощь в случае попытки третьего государства напасть на СССР через Финляндию. Граница в Карелии переносилась таким образом, что СССР получал 3.970 кв. км территории (у Каяндера советское правительство требовало только 2.761 кв. км). Советский Союз получил также военную базу в Ханко, острова Суурсаари, Сейскари, Лавансаари, Тютерсаари и Большой и Малый Койвисто, а также части Каластаясааренто и Кескисааренто в Ледовитом океане. Даже список островов был идентичен, причем дан в той же очередности. Похоже, что этот пункт договора был просто скопирован из меморандума, врученного Паасикиви в самом начале переговоров.

После формирования правительства Куусинена финнам стало ясно, что предстоит битва не за Хесто-Бюзе<sup>62</sup>, а за находящиеся под угрозой свободу и независимость Финляндии. Иными словами, не желая отдать Хесто-Бюзе, народ Финляндии вынужден был сражаться за независимость всего государства. Если же мы посмотрим на этот вопрос с несколько другой точки зрения, то увидим, что для получения Хесто-Бюзе

Сталину нужны были теперь не только дивизии, но и Куусинен.

### *Финляндия глазами Москвы*

Начиная с Якобсона, большая часть людей, писавших о правительстве Куусинена, следовали представлениям того времени, во многом подтверждавшимся рапортами дипломатов, и считали, что Сталин рассчитывал хоть на какую-нибудь возможность поддержки Куусинена в Финляндии. Говорили также о неправильной информации, полученной Сталиным от финских эмигрантов. Позднее, уже после войны, один из чиновников советского посольства в Хельсинки заверял Якобсона, что, во всяком случае, посольство давало в своих рапортах правильное представление о ситуации в Финляндии. В этом же уверял полковника Паасонена<sup>63</sup> и посол Деревянский, хотя Паасонен тогда ему не поверил.

Причиной распространения такого мнения может быть сам Куусинен, проповедовавший мысль о продолжении традиций революции 1918 года. Ведь в воззвании от имени ЦК КПФ было, в частности, написано, что «рабочий класс начинает открытую борьбу против гнета плутократии. Первый опыт борьбы рабочих и торпарей в 1918 году окончился победой капиталистов и помещиков. На этот раз — очередь за трудовым народом, теперь должен победить трудовой народ!»<sup>64</sup> Хотя, как уже указывалось выше, правительство Куусинена не продолжало традиций Народного Собрания 1918 года.

Появление «Народного» правительства Финляндии в Териоках было настолько странным для финнов событием, что объяснить этого иначе, как «неправильной информацией» или «ошибкой Сталина», никто не мог. Такого рода ошибки для Финляндии не были новы. Февральский манифест Николая II<sup>65</sup> вначале тоже считали ошибкой, основанной на неверных данных. В 1939 г., правда, делегации с правильной информацией в Москву направлено не было.

В спешке, с которой пришлось осуществлять финскую кампанию, вряд ли было время думать о возможности поддержки марионеточного правительства финским народом. Москва решила любыми способами добиться выполнения своих требований, и когда переговоры не привели к результа-

там — настала очередь военных. Но прямое нападение было невозможно. Его следовало замаскировать как помощь революционному правительству. При этом не имело значения, пользуется правительство поддержкой или нет. В любом случае, ведущая роль была отведена Красной армии. Хорошо, если поддержка будет — она облегчит продвижение войск. А нет, так и не надо.

Теория о том, что эмигранты дали ошибочные сведения, конечно же, привлекательна. Но для нее нет серьезных оснований, во всяком случае, если иметь в виду Куусинена. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть литературное наследство будущего главы Териокского правительства — статьи в газете Коминтерна, от президентских выборов в Финляндии в 1937 г. и парламентских летом 1939 г. до дня формирования правительства в Териоках. Не нужно читать далее первых абзацев, чтобы убедиться в том, что под обязательными идеологическими штампами скрываются правильные и точные сведения о ситуации в стране.

Так, по мнению Куусинена, на президентских выборах 1937 г. фашизм в стране потерпел поражение (о чем говорит и название статьи), но фашистская угроза устранена не была. Фашизм по-прежнему «занимал угрожающе прочные позиции». Анализируя положение, сложившееся во время парламентских выборов 1939 г., Куусинен выделяет в Финляндии три лагеря: «фашистский реакционный, правительственный блок и антифашистский». Фашистский лагерь потерпел поражение уже на парламентских выборах 1936 года, так же, как и на президентских выборах через год, а затем ослаб, при одновременном укреплении демократических сил. Но даже ослабший фашистский лагерь оказывал давление на правительство, которое под этим давлением уступало. Поэтому коммунистов, которые «защищали независимость страны и демократию от фашизма», преследовали и арестовывали. Антифашистскому лагерю еще не удалось сплотить ряды и укрепить позиции. Он был слишком нерешителен и слишком поддерживал правительство. Но направление все же было правильным.

Таким образом, в статьях Куусинена ситуация в Финляндии не выглядит революционной: слабый антифашистский лагерь обороняется от слабеющего фашистского лагеря. Результаты выборов, во время которых продолжалось ослабление фашистского лагеря (количество мест ИКЛ<sup>66</sup> уменьши-

лось с 14 до 8), наверняка дошли до сведения Куусинена. И программа-минимум, предлагаемая Куусиненом антифашистскому лагерю на ближайший период, революционной тоже не выглядит: роспуск ИКЛ, чистка армии, шюцкора и государственного аппарата от фашистов, обеспечение демократических свобод рабочим и антифашистскому движению и улучшение экономического положения рабочих. В качестве примера антифашистскому движению для подражания Куусинен приводит не Тойво Антикайнена<sup>67</sup>, а профессора Вяйне Лассила<sup>68</sup>.

Другой факт, говорящий в пользу теории о правильности имевшейся у советского правительства информации, относится к более позднему периоду, к Зимней войне. Это статья полкового комиссара А. Галина «Международный характер финляндских событий» в «Комсомольской правде». (Статья была опубликована и в других газетах и распространялась среди политруков в виде отдельного издания.) Галин сравнил ситуацию в Финляндии с Испанией времен гражданской войны. И в Испании было два правительства, «двоевластие», но в несколько ином порядке: сначала у власти находилось народное правительство. Народное правительство Финляндии сравнимо с правительством Народного Фронта Испании. Галин не заблуждается в отношении количества коммунистов в Финляндии и не стремится к его преувеличению. Он приводит близкие к действительности данные о том, что до 1939 года число членов КПФ составляло приблизительно 1000 человек, но поясняет привыкшему к партиям с многомиллионным количеством членов читателю, что решающим являются не абсолютные показатели, а относительные. До февральской революции в партии большевиков состояло только около 10.000 членов, то есть один на 15.000 жителей, в то время, как теперь в Финляндии один коммунист на 3.800 жителей. Вывод Галина состоял в следующем: «Это означает, что коммунистическая партия все-таки имеет глубокие корни в стране».

---

Исследуя программу правительства Куусинена и военнополитическую ситуацию, приведшую к Зимней войне, можно, таким образом, прийти к следующим выводам:



— СССР не был готов к войне с Финляндией, в особенности к зимней кампании,

— СССР ожидал достижения своих целей путем переговоров и нажима,

— когда это не удалось и осталась лишь возможность разрешения вопроса путем военного вмешательства, агрессии необходимо было срочно замаскировать под революцию, которой Красная армия пришла на помощь,

— широкой поддержки народом Финляндии нового революционного правительства не ждали; таковой даже не требовалось.

Уже в ходе войны и после нее в Финляндии неоднократно задавали вопрос о том, зачем это правительство вообще понадобилось. Если в Москве надеялись на его поддержку финнами, то тогда Сталин и Молотов выглядят полными дураками. Если же они не верили в поддержку правительства народом, то для чего понадобился весь этот фарс? Финляндия прореагировала на это правительство однозначно: «Правительство казалось всем издевкой», — писал Арво Туоминен.

Были ли Сталин и Молотов доверчивыми дураками или просто дурачились? Я попытаюсь на основании имеющихся данных о политике Сталина, Молотова и СССР в целом в аналогичных ситуациях показать, что они во всяком случае не дурачились, а если уж считать их дураками, то одновременно следует считать длинной цепью дурачеств весь цикл событий, приведших к образованию СССР.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>27</sup> Арво Туоминен (1894 — 1981), псевдоним «Шойка», коммунистический журналист и политик. В 1919 г. участвовал в проводимом под руководством О. В. Куусинена расколе рабочего движения, в частности, в создании Финляндской социалистической рабочей партии, и в захвате коммунистами в 1920 г. руководства профсоюзами Финляндии. Пребывал в заключении в Финляндии в 1922-26 гг. и 1928-33 гг., после чего переехал в Москву, где в 1935-40 гг. был генеральным секретарем руководимой из Москвы компартии Финляндии. Одновременно был кандидатом в Президиум Коминтерна. В 1938 году направлен на партийную работу в Швецию. 13 ноября 1939 г. получил приказ из Москвы вернуться в СССР и занять пост премьер-министра Народного правительства (отданный затем Куусинену). Вернулся в Финляндию в 1955 г. и опубликовал многотомные воспоминания, важнейшая

часть которых переведена на английский язык (The Bells of the Kremlin. An Experience in Communism. Univ. Press of New England, Hanover and London, 1983). (Прим. авт.)

<sup>28</sup> См. «Правду», 5 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

<sup>29</sup> Рудольф Холсти (1881 — 1945) — представитель Финляндии в Лиге Наций с 1927 по 1940 гг., представитель партии Прогресса, министр иностранных дел в 1919-22 и 1936-38 гг. (Прим. авт.)

<sup>30</sup> См. телеграмму Генерального секретаря Лиги Наций Аvenoля, опублик. в «Правде», 5 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

<sup>31</sup> Цит. по «Правде», 5 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

<sup>32</sup> К. А. Фагерхольм (род. в 1901 г.), журналист и социал-демократический политик (шведскоязычная секция). Депутат парламента с 1930 г., министр социального обеспечения в 1937-43 и 1944 гг. Начиная с 1945 г. в течение многих лет — председатель парламента. (Прим. авт.)

<sup>33</sup> См. фельетон «Правительство Куусинена не признано» в газ. Heisingin Sanomien, 16 декабря 1939 г. (Прим. авт.)

<sup>34</sup> 11 декабря 1939 г., через восемь дней после обращения Финляндии в Лигу Наций с просьбой о помощи в деле борьбы с советской агрессией, Лига Наций рассмотрела заявление финской делегации о советской агрессии и создала комитет по финляндскому вопросу из тринадцати членов. 13 декабря представитель Аргентины Фрейер, выступив с речью, предложил исключить СССР из Лиги Наций как агрессора. На следующий день СССР был исключен из Лиги Наций. Советская пресса подвергла это решение Лиги резкой критике, но заявила, что «в конечном счете СССР может здесь остаться и в выигрыше» («Правда», передовая от 16 декабря 1939 г.), так как у него ничем теперь не связаны руки. (Прим. ред.)

<sup>35</sup> Если поздравительная телеграмма Куусинена Сталину шла третьей, после телеграмм Гитлера и Риббентропа, то в числе лиц, поздравивших с 50-летием Молотова, никого из представителей финского «Народного правительства» уже не было (см. «Правду», 10 марта 1940 г.). «Народное правительство» навсегда сошло со сцены. (Прим. ред.)

<sup>36</sup> Правительство Каяндера — правительство Финляндии, сформированное в 1937 году и названное по имени премьер-министра Аймо Каяндера, профессора и политика партии Прогресса. Кроме центральной (крестьянской) партии, в правительстве участвовали и социал-демократы, вследствие чего правительство получило название «красноземное». Поскольку считали, что правительство запустило вопросы обороны страны, в период Зимней войны военной формой «модели Каяндера» называлась обычная гражданская одежда с полочной от государства кокардой. (Прим. авт.)

<sup>37</sup> Сообщения этой коммунистической газеты аккуратно перепечатывались «Правдой». См., в частности, номера от 2, 4, 5, 13 и 17 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

<sup>38</sup> Б. Шоу, в частности, заявил: «Финляндию ввело в заблуждение ее глупое правительство... Речь идет вовсе не о том, что великая держава — Россия — пытается подчинить себе маленькое государство — Финляндию. Речь идет о стремлении России обеспечить свою безопасность...» («Правда», 4 декабря 1939 г.). (Прим. ред.)

<sup>39</sup> Криппс, вскоре после этого назначенный послом Англии в СССР (1940-42 гг.), 3 декабря выступил на страницах журнала «Трибюн» со следующим заявлением: «Поведение России совершенно логично и понятно. Главным в ее политике всегда была абсолютная необходимость сохранить целостность Советского Союза, единственной страны, где на деле осуществлена власть рабочего класса... Я убедился, что для рабочих всего мира, в конце концов, существование могучей России имеет самое главное значение. Я не вижу причин осуждать Россию за меры, принимаемые ею для ее усиления, — к этому ее вынуждают капиталистические правительства всего мира» (цит. по «Правде», 4 декабря, 1939 г.). (Прим. ред.)

<sup>40</sup> Неру, в частности, заявил: «Нет сомнения в том, что СССР стоял перед опасностью интервенции, подготавливаемой через Финляндию» («Правда», 29 декабря 1939 г.). Имелись в виду, безусловно, Англия и Франция, а не Германия, с которой у Советского Союза был пакт о ненападении. (Прим. ред.)

<sup>41</sup> См. статьи в «Правде» от 29 ноября 1939 г. и 20 января 1940 г. (Прим. ред.)

<sup>42</sup> Можно упомянуть еще английского генетика, профессора Лондонского университета Холдейна, который заявил 1 декабря, что СССР имеет право на самозащиту. «Я рад, что СССР воспользовался этим правом. Советский Союз не требовал ничего, что могло бы ущемить независимости Финляндии...» («Правда», 4 декабря 1939 г.). В унисон Холдейну подпевал «прогрессивный политический деятель» Николая: «Рабочие и бедные крестьяне Финляндии... радуются, видя, что сейчас рушится финская крепость международного империализма... Финский народ не хочет быть больше орудием в руках капиталистов Лондона и Нью-Йорка» (там же, 13 декабря). Примерно о том же писал и турецкий журналист Джахит Ялчин, не взглянувший, вероятно, ни разу в своей жизни на карту: «Маленькая Финляндия хотела захватить Ленинград и задумала создать большую империю на северо-востоке Европы. Подстрекаемая империалистическими государствами, Финляндия пожелала уничтожить внутренний режим своего великого соседа. Для осуществления этих завоевательных планов она в один прекрасный день проявила безумие, начав стрелять из пушек по Красной армии. ... Это привело, наконец, к войне». (Там же, 5 декабря). (Прим. ред.)

<sup>43</sup> Матти Куръенсаари (род. в 1907 г.), до 1939 г. писал под именем «Салонен». Писатель и журналист. Проинтервьюировал большое

число политиков того времени и собрал книгу из их выступлений. (Прим. авт.)

<sup>44</sup> См. историю финской компартии *Kirinästä tuli syttyi* («Из искры возгорится пламя»). (Прим. авт.)

<sup>45</sup> Аарне Сааринен — каменщик, председатель компартии Финляндии с 1966 по 1982 гг., член ЦК с 1955 г. Вместе с Эрkki Саломая представлял в партии так называемую профсоюзную линию. (Прим. авт.)

<sup>46</sup> См. «История Великой отечественной войны Советского Союза, 1941 — 1945», в 6 томах, т. 1, Москва, 1961. (Прим. ред.)

<sup>47</sup> Только в вышедшую в 1946 г. книгу «Внешняя политика СССР. Сборник документов. IV» случайно попали четыре документа, касающиеся правительства Куусинена: об установлении дипломатических отношений между советским и финским правительствами, Договор о дружбе и взаимопомощи и посещение Молотова американским послом Штейнгардом и шведским послом Винтером. (Прим. авт.) В «Правде» эти документы были опубликованы соответственно 2, 3, 4 и 5 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

<sup>48</sup> К. А. Мерецков. На службе народу. Изд. 3-е. Москва, 1983, стр. 169. (Прим. ред.)

<sup>49</sup> Пограничные войска СССР. 1939 — июнь 1941. Сборник документов и материалов. Москва, 1970, стр. 10. (Прим. ред.)

<sup>50</sup> Вяйне Таннер (1881 — 1966) — адвокат, социал-демократ. В период с 1907 по 1962 гг. неоднократно избирался депутатом парламента, был премьер-министром (1926-27 гг.), министром финансов (1937-39 гг.), министром иностранных дел во время Зимней войны (1939-40 гг.), занимал различные министерские посты во время Второй мировой войны (1941-44 гг.). В коммунистическом мятеже 1918 г. не участвовал, а после его подавления стал беспорочным руководителем социал-демократической партии и одним из ведущих политиков Финляндии в период «первой республики» (1917-41 гг.), которую даже стали называть «республикой Таннера». В Тарту в 1920 г. заключил первый мирный договор с советской Россией. До начала Зимней войны вместе с Паасикиви вел безуспешные переговоры с советским правительством. После окончания Второй мировой войны, по требованию СССР, осужден как так называемый военный преступник на пять с половиной лет тюремного заключения. Освобожден в 1948 г. (Прим. авт.)

<sup>51</sup> Доктор Джекиль и мистер Хайд — герои вышедшей в 1886 году книги Р. Л. Стивенсона «The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde». Распутник мистер Хайд был двойником почтенного доктора Джекиля. Книга вышла на финском языке в 1945 году и стала очень популярной в Финляндии. Макс Якобсон применил сравнение Хайд — Джекиль в книге «Зимняя война дипломатов» для описания двух политических линий СССР. (Прим. авт.)

<sup>52</sup> Договор между делегацией и советским правительством был подписан в феврале-марте 1918 года. Его официальное название — «Договор между Российской и Финляндской Социалистическими Республиками». Это был первый договор Советской России с другой социалистической республикой, и поэтому он представляет интерес. Некоторые статьи этого договора, в особенности касающиеся гражданских прав, использовались позднее как модель для других договоров. Договор 1918 года потерял значение после разгрома красных в гражданской войне и бегства их руководителей в Россию без формирования там эмигрантского правительства. (Прим. авт.)

<sup>53</sup> Бобриков Николай Иванович — генерал-губернатор Финляндии (1898 — 1904 гг.). Известен как начинатель и активный исполнитель «политики угнетения и русификации». На второй год его губернаторства был опубликован так называемый Февральский манифест (см. примечание 65), в 1900 году — постановление о введении русского языка в высшем правлении Финляндии. В 1903 году Бобриков получил специальные полномочия для прекращения сопротивления, так называемые права диктатора. Финн Эуген Шоман застрелил Бобрикова на лестнице сената в июне 1904 года. В советской истории период Бобрикова зовется «бобриковщиной». (Прим. авт.)

<sup>54</sup> Опубликована в «Хельсингин саномат» в 1979 г. (Прим. авт.)

<sup>55</sup> Юкка Таркка, род. в 1942 г. Финский историк и издатель. В 1977 г. защитил диссертацию «Статья 13-я», о подготовке и проведении судебных процессов над «военными преступниками» в Финляндии в 1944-46 гг., что было предусмотрено 13-й статьей советско-финского договора о перемирии. (Прим. авт.)

<sup>56</sup> Кейо Корхонен — с 1982 года представитель Финляндии в ООН, до этого — начальник отдела министерства иностранных дел (1967-74 гг.) и профессор политической истории в Хельсинкском университете (1974-77 гг.). Опубликовал в 1966-70 гг. двухтомник об отношениях между Финляндией и СССР в период 1920-39 гг. под названием «Финляндия в советской дипломатии от Тарту до Зимней войны». (Прим. авт.)

<sup>57</sup> «Анатомия коммунистических захватов». (Прим. ред.)

<sup>58</sup> ССТП и СТП — сокращения от названий партий «Suomen sosialistinen työväenpuolue» («Социалистическая рабочая партия Финляндии») и «Suomen työväenpuolue» («Рабочая партия Финляндии»). ССТП была основана в 1920 году и распущена уже в 1923 году. Перед самым роспуском, пытаясь спасти ССТП, руководство партийей сменило название на СТП, что, впрочем, не помогло. Через ССТП действующее из Москвы руководство компартии пыталось под прикрытием официально признанной партии легализовать работу финских коммунистов. Одновременно ССТП надеялось переманить в коммунистический лагерь левое крыло социал-демократии. (Прим. авт.)

<sup>59</sup> М. Соловьев. Записки советского военного корреспондента. Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1954, стр. 178. (Прим. ред.)

<sup>60</sup> Юрье Лейно (1897 — 1961), коммунистический политический деятель, по образованию сельскохозяйственный техник. После войны был министром социального обеспечения (1944-45 г.), затем министром внутренних дел (1945-48 гг.). В 1945-50 гг. был женат на дочери Куусинена Хертте. Роль министра внутренних дел была отведена ему по настоянию советского правительства точно так же, как это было сделано в Венгрии и Чехословакии, для преобразования внутреннего государственного аппарата с целью создания условий для захвата власти коммунистами. Но в Финляндии Лейно не оправдал ожиданий советского руководства. (Прим. авт.)

<sup>61</sup> Вероятнее всего, такое представление сложилось под влиянием неточности перевода русского описания формы народной армии (возможно, именно из статей Николая Вирта в «Правде» от 5 декабря «В Териоках» и от 10 декабря «У бойцов народной армии Финляндии». Там головной убор описывался словами «шапка-треух», что было спутано с названием «треуголка». Это наблюдение было сделано Тимо Вихавайненем. Понятно, что в печати Народного правительства это сравнение вызвало негодование. Получалось, что солдаты Народной армии были одеты в мундир искомого противника великого русского полководца императора Петра — Карла XII. (Прим. авт.)

<sup>62</sup> Небольшой остров около полуострова Ханко (Гангута), включенный вместе с другими близлежащими островами в вариант договора, обсуждаемого на переговорах между советским и финским правительствами осенью 1939 г. После того, как финны отказались сдать Ханко в аренду под советскую военную базу, советская сторона предложила сдать ей в аренду близлежащие острова Хермансе, Кое и Хесто-Бюзе и предоставить для якорной стоянки советских кораблей гавань Лаппохъя. Но и этот вариант финнами был отклонен. (Прим. авт.)

<sup>63</sup> Военный эксперт финской стороны на осенних переговорах в Москве. Работал военным атташе в Москве (1931-33 гг.) и Берлине (1933 г.). (Прим. авт.)

<sup>64</sup> Цит. по «Правде», 30 ноября 1939 г. (Прим. ред.)

<sup>65</sup> Февральский манифест Николая II был опубликован в 1899 г. Манифест определял новый порядок введения в Финляндии российского общегосударственного законодательства. Согласно манифесту, парламент Финляндии мог только высказать мнение, но не препятствовать закону правом вето. Считается, что манифест начал период русского засилья в Финляндии. В стране он вызвал сильное сопротивление. Была составлена петиция к царю более чем за полумиллионом подписей, которую отвезла в Петербург делегация представителей коммун. Делегация не была принята царем. В тот период в Финляндии существовало поверие, что царь получил неправильную информацию и по получении правильных сведений аннулирует манифест. (Прим. авт.)

<sup>66</sup> ИКЛ — Isänmaallinen Kansanliike (Националистическое народное движение) — крайне правая партия, основанная для продолжения дела лапуанского движения. Партия работала в период с 1932 по 1944 гг. Получила на первых же парламентских выборах в 1933 году, где выступала в блоке с Коалиционной партией, 14 депутатских мест. Число мест на выборах 1933 года снизилось до 8. Важнейшими задачами ИКЛ были борьба против коммунизма, а также укрепление государственной власти и обороноспособности страны. (Прим. авт.)

<sup>67</sup> Тойво Антикайнен (1898 — 1941) — финский коммунист. Участвовал в мятеже 1918 года и после разгрома его бежал в Советскую Россию. Там участвовал в основании компартии Финляндии и в гражданской войне на стороне большевиков, в частности, в подавлении Кронштадского восстания в 1921 году. В 1930-х годах был направлен по подпольную работу в Финляндию, где в 1934 году был арестован и осужден на получившем большую известность судебном процессе (его сравнивали, в частности, с процессом Димитрова в Берлине). В 1940 г. по требованию СССР освобожден и отправлен в СССР, где на следующий год погиб в авиакатастрофе. (Прим. авт.)

<sup>68</sup> Вяйне Лассила — профессор анатомии Хельсинкского университета (1930-39). Один из основателей «Союза прав человека» (1935), основной задачей которого была борьба за отмену смертной казни. Одним из толчков к созданию такого союза послужил процесс Тойво Антикайнена, которому грозила смертная казнь, так как, кроме государственной измены, он судился за убийство военнопленного. В связи с этой деятельностью Лассила был в 1936 году приглашен в СССР, где встретился, в частности, с О. В. Куусиненом и Арво Туоминеном. С ними он вел беседы о путях усиления влияния КПФ в университетах и Союзе прав человека. Лассила стал центральной фигурой в рядах беспартийных сторонников КПФ в Финляндии. (Прим. авт.)

# **Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»**

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb  
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),  
594 Chestnut Ridge Road  
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство  
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB  
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**



# ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

---

МАН

## ОНИ САМИ ЭТО СДЕЛАЛИ

Описанные события касаются двух человек, двух связанных между собой, хотя и разных по масштабу, трагедий: «самоубийства» — на самом деле, убийства руками «неизвестных преступников» — учителя из школы под Краковом и «самоувечья», случившегося с пытавшимся выяснить загадку его смерти священником.

О. Тадеуш Залеский окончил духовную семинарию в Кракове в июне 1983 года. В годы ученья он стал известен как исключительно горячий сторонник «Солидарности» и проповедник ее идеалов. После того как власти трижды отказались выдать ему заграничный паспорт для поездки в Рим, где о. Тадеуш хотел продолжать образование, церковные власти назначили его викарием в Забеву-Бохенский близ Неполомице под Краковом.

В сентябре 1983 года при таинственных обстоятельствах был убит учитель из Забевува, местный активист «Солидарности» Тадеуш Фронсь. Милиция с самого начала не только не вела расследования, но прямо заметала следы преступления. Наконец, 22 мая 1984 года, зам. районного прокурора района Краков-Подгуже Збигнев Сераковский прекратил дело, придя к заключению, что Т. Фронсь покончил жизнь самоубийством. Мать убитого, Анна Фронсь, тщетно добивалась от властей разъяснения обстоятельств гибели сына. В ответ на спокойное и сдержанное письмо, направленное министру внутренних дел генералу Кищаку, она получила ответ, подписанный начальником отдела МВД полковником Францишеком Арматысом, в котором, в частности, говорится: «...анализ материалов по данному делу не дал оснований для пересмотра заключения воеводского УВД в Кракове. (...) В отношении

---

Из польского подпольного журнала «Правожондонсь» («Правозаконность»), 1985, № 8-9.

сотрудника, виновного в установленных упущениях, сделаны надлежащие служебные выводы». Однако полковник Арматыс не объясняет, о каких «упущениях» идет речь и какие сделаны «выводы» — награжден этот сотрудник или наказан? Зато он заканчивает свой ответ прямой угрозой: «Одновременно напоминаю, что за ложные обвинения по адресу сотрудника милиции Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности».

Во время описываемых событий викарием в забежувском приходе был о. Тадеуш Залеский. Он занялся делом о гибели Т. Фронся, стал собирать документы, расспрашивать окружающих, искать свидетелей. Результаты своего расследования он изложил в письме, направленном в краковский комитет «Гражданская инициатива в защиту прав человека — против произвола и насилия». Вот текст этого письма:

«Я, нижеподписавшийся, являюсь викарием прихода Опеки Богородицы в Забежуве-Бохенском близ Неполомице. Действуя в согласии со своей совестью, которая не позволяет мне равнодушно проходить мимо зла, я обращаюсь в комитет по делу убитого „неизвестными преступниками“ Тадеуша Фронся, верующего из моего прихода. К своему письму я прилагаю жалобу матери убитого, Анны Фронсь, направленную министру внутренних дел генералу Чеславу Кищаку. Ниже изложены все данные по этому делу, которые мне удалось собрать с помощью многих жителей Забежува-Бохенского.

Тадеуш Фронсь родился 21 июля 1949 года. Окончив Горно-металлургическую академию и получив диплом инженера, он работал учителем в местной неполной средней школе. Как педагог он пользовался высоким авторитетом у учеников и у других учителей. Он был горячо верующим католиком и вел безупречный образ жизни.

После августа 1980 года, верный своим патриотическим убеждениям, Т. Фронсь включился в независимое профсоюзное движение, основав кружок „Солидарности“ в своей школе. До наступления военного положения он исполнял обязанности председателя этого кружка. Во время правления „вороны“<sup>1</sup> Тадеуш Фронсь продолжал — после его смерти это можно сказать открыто — независимую профсоюзную деятельность. В середине 1983 года он сказал одному из своих дру-

---

\*Примечания переводчика — в конце публикации. — Р е д.

зей, что „милиция ходит за ним неотступно“. За две недели до убийства он убрал из дома всю подпольную печать.

В последние дни своей жизни Тадеуш Фронсь выглядел крайне нервничающим. Хотя он не хотел сказать, что тому было причиной, его близкие подозревали, что у него какие-то неприятности с властями. 7 сентября 1983 года он поехал в Краков, где была назначена встреча с его научным руководителем. Он взял с собой черновик своей диссертации. Последний раз его видели в этот день около 10 часов утра возле кафе на Пиярской улице. Несмотря на предварительную договоренность, он не явился ни к своему научному руководителю, ни к другу, с которым также условился о встрече заранее. Его тело было найдено в тот же день брошенным во дворе дома 13 по Ружаной улице в районе Кракова Дембники. Скорая помощь, прибывшая в 10 часов вечера, установила смерть в результате многочисленных наружных и внутренних травм. При покойном были найдены его документы, но милиция уведомила семью о его смерти только через три дня, и это сразу вызвало подозрения, потому что милиция никак не объяснила, чем вызвана такая задержка.

Первая версия, данная сотрудниками милиции, состояла в том, что Тадеуш Фронсь совершил самоубийство, выбросившись после пьянки из окна притона, находящегося на третьем этаже. Подтверждением этой версии служили показания трех обитателей притона и официантки из расположенного неподалеку бара, которая якобы видела Тадеуша Фронся около восьми часов вечера. Однако во время дознания обнаружились большие противоречия в показаниях троих обитателей притона. Не было обнаружено также ни одного убедительного доказательства того, что покойный вообще находился в этом притоне. Показания малолетней дочери одного из троих притонодержателей, которая якобы видела сам момент самоубийства, оказались — по заключению экспертизы психолога — заученной на память формулировкой, которую ребенок повторял в результате запугивания. Показания официантки также оказались ложными: человека, который находился в тот вечер в баре вместе с притонодержателями, звали Анджей. Официантка не опознала погибшего на фотографии — заявила же, что это он, только потому, что он „был элегантно одет“. Более того, осмотр окна, проведенный двумя милиционерами: А. Сикорой и В. Льяным, — показал, что была открыта

только одна створка, а по всей ширине окна на высоте в полметра была протянута непорванная веревка, которую, выпрыгивая из окна, было невозможно не порвать.

Осмотр места убийства, проведенный при участии семьи погибшего, обнаружил еще более сомнительные факты. Оказалось, что протокол об обнаружении тела, составленный поручиком милиции Хенриком Буцким из РОВД района Краков-Подгуже, содержит ряд ложных данных. Прежде всего, место нахождения и положение тела описаны в нем иначе, чем показывали свидетели\*. Кроме того, в протоколе покрытие двора охарактеризовано как булыжная брусчатка, в то время как на самом деле двор залит бетоном. Все это указывало на то, что Тадеуш Фронсь, по всей вероятности, не выбросился и не был выброшен из окна дома 13 по Ружаной улице, но что его тело было подброшено во двор этого дома. Стук падающего предмета, который запомнился жителям выходящих во двор квартир, был, вероятнее всего, вызван падением большого цветочного горшка, который кто-то умышленно столкнул с окна. Также и обувь без шнурков и застежек, в просторечии называемая шлепанцами, оставшаяся на ногах покойного, свидетельствует, что тело не могло упасть с большой высоты, потому что шлепанцы свалились бы с ног.

Несмотря на столь очевидные доказательства и на упомянутые ложные данные в протоколе поручика Буцкого, сотрудники милиции по-прежнему поддерживали версию о самоубийственном прыжке, которая для семьи была откровенно абсурдной. Тем более, что не было никаких причин, по которым бы Тадеуш Фронсь покончил с собой, притом именно в тот день, когда собирался сдать свою диссертацию, над которой так долго работал. Огромное удивление вызвал тот факт, что сотрудники воеводского управления милиции заявили, что хотя вскрытие тела было произведено немедленно, но описание вскрытия „потерялось“! Это новое доказательство того, что милиция любой ценой хотела „свернуть шею“ начатому

---

\* Милиция не сохранила никаких вещественных доказательств, обнаруженных на месте «несчастливого случая». Не были произведены даже самые элементарные следственные действия (не сфотографировано положение тела, не зарисована схема места происшествия), которые в установленном порядке производятся на месте любого ограбления со взломом ларька или же дорожного происшествия. – МАН.

делу. Протокол вскрытия так и „не находился“, а дело уже было направлено в прокуратуру с целью прекращения „за отсутствием доказательств“.

Усиленные настояния семьи привели к тому, что под конец ноября, т. е. почти через два месяца, „нашлась“ копия протокола. Судебно-медицинские эксперты констатировали наличие ряда таких травм, которые свидетельствовали о том, что покойного не просто избили, но прямо пытали. На голове были следы от удара тупым предметом — например, ломом или рукояткой пистолета. На подбородке была рана от душения проволокой или острой леской, которая никак не могла возникнуть при падении из окна. Были сломаны ребра, притом с обеих сторон; остались также следы пинков на бедрах и грудной клетке. Губы были сжаты в характерной судороге, которую вызывает непереносимая боль. Содержимое желудка еще раз показало, что покойный не мог быть тем „Анджеем“, которого видела в баре официантка. Была установлена высокая концентрация алкоголя в крови и моче, но такого результата можно достичь инъекцией соответствующей дозы в вену, как это было в случае убитого „неизвестными преступниками“ Станислава Пыяса<sup>2</sup> в 1977 году.

Семья убитого учителя сделала всё, чтобы обстоятельства дела были раскрыты. Увы, милиция и прокуратура дважды прекратили дело. Огромное число жалоб и ходатайств осталось без ответа. Органы, созданные с целью помочь гражданам в осуществлении их прав, продемонстрировали абсолютное пренебрежение.

Омерзительность этого преступления двойная: мало того, что только без всяких угрызений совести замучили до смерти ни в чем не повинного человека, — еще же после смерти отняли у него его доброе имя и, фальсифицируя доказательства, превратили его в отчаявшегося пьяницу.

Вместе с жителями Забежува-Бохенского я рассчитываю на помощь комитета в том, чтобы заставить власти выяснить истину.

С чувством уважения и солидарности

*священник Тадеуш Залеский*

17. XI. 84».

Это письмо было положено в основу коммюнике № 4 комитета «Гражданская инициатива против произвола и насилия» от 13 декабря 1984 года. В тексте коммюнике содержа-

лась ссылка на письмо священника, указывалось, что именно он обратил внимание «Инициативы» на дело Тадеуша Фроня. Коммюнике было перепечатано во многих независимых изданиях, и дело приобрело широкую известность.

В октябре 1984 года о. Тадеуш Залеский вел машину и потерял сознание. Это не привело к крушению, но ксендз прошел медицинское обследование, в результате которого было установлено, что он страдает самопроизвольной эпилепсией. Церковная иерархия дала ему отпуск на лечение до июня 1985 года. Во время отпуска он жил у матери и сестры в Кракове, в доме 5 по ул. Битвы под Ленино. Он часто ездил в Новую Гуту, в костел района Мистшеёвице. Там о. Тадеуш Залеский вместе с о. Янцажем участвовал в деятельности Рабочего пастырства и Христианского рабочего университета, сослужил во время молебнов за отчизну<sup>3</sup>. С группами новогутских рабочих он ездил в Варшаву и во Влоцзову. Перед Пасхой о. Тадеуш принимал участие в реколлекциях<sup>4</sup> в Мистшеёвице.

По крайней мере, в течение всего месяца перед Пасхой за ним шла постоянная слежка. Этот факт подтверждают многочисленные свидетели.

6 апреля, в Великую Субботу, о. Тадеуш наводил порядок в подвале, отыскивая запчасти к инвалидным коляскам. Около пяти часов вечера он поехал на литургию в Мистшеёвице. В подвале он оставил мусорное ведро, которое хотел забрать на обратном пути. В 22.15 ксендз вернулся домой и зашел прямо в подвал. Свет в коридоре был выключен. Он зажег свечу, которую принес с литургии. На дверях его подвала не было висячего замка, на который он закрыл дверь уходя. Замок и позднее не нашелся. О. Тадеуш оставил в коридоре чемоданчик, где была, в частности, его сутана, вошел в подвал и начал доставать запчасти. Он занимался этим минут пятнадцать, как вдруг услышал в коридоре тихие шаги. Тревожась за оставленный чемоданчик, он подошел к двери и, переложив свечу в левую руку (иначе нельзя было открыть дверь), открыл. На пороге стоял мужчина в фуражке, с замаскированной верхней частью лица. Обеими руками он держал предмет в форме трубы длиной 25-30 см. Ксендз услышал звук выходящего под сильным давлением газа и потерял сознание. Один раз он очнулся, ощущая резкую боль в правой щеке и сильный, направленный прямо в глаза свет, потом снова потерял сознание. Когда он окончательно пришел в себя, он лежал навзничь

на груди угля. Его мучила острая боль, но какое-то время он не мог даже шевельнуться. В конце концов он приподнялся на локте, погасил огонь (горел правый рукав его куртки) и по лестнице вполз на пятый этаж домой. В подвале что-то еще продолжало гореть. Мать, уложив его в постель, немедленно позвонила в скорую помощь и в милицию. В этот момент отключили телефон. Она спустилась к соседям, этажом ниже, вызвала пожарных и сообщила о происшедшем в приход и знакомым. Милиция приняла телефонное сообщение матери священника в 22.50, из чего следует, что он оставался без сознания в подвале около двадцати минут. Дома оказалось, что у него разорвана рубашка, а также вытянута из брюк, но ничем не выпачкана майка. На лице у него было 6-7 небольших закопченных пятен – их расположение напоминало букву V<sup>5</sup>, несколько ожогов на шее, четыре – на левой руке, 15 небольших ожогов на животе – в целом 28 следов. В диаметре ожоги были 1-3 см. Карманы священника (за исключением задних карманов брюк) были опустошены, и всё, что в них находилось, лежало разбросанным в подвале. Так же было разбросано по коридору и содержимое чемоданчика.

Первыми по вызову прибыли пожарные, потом два сержанта милиции, сделавшие запись для себя. Разговор с ними происходил при более чем десяти свидетелях, поэтому нетрудно констатировать, что слова представителя воеводского УВД о том, что ксендз сначала якобы говорил о нескольких напавших на него, являются откровенной ложью. Подвал милиция не опечатала – только после их отъезда сосед закрыл подвал своим замком. В светлое Воскресенье приехали четыре следователя, заявили, что не могут производить допрос на дому, и вызвали о. Тадеуша к трем часам в управление милиции. Он поехал. Четырехчасовой допрос вели инспектор Лешек Сова и капитан Заморский. В протоколе допроса они записали: «Свидетель оклеен пластырем». После того как кардинал Махарский<sup>6</sup> потребовал произвести судебно-медицинскую экспертизу, священнику позвонил полковник Бурек, представившийся начальником отдела угрозыска, и попросил в понедельник приехать в Институт судебной медицины при Медицинской академии. Потерпевшего обследовал д-р Колодзей, который обмерил и сфотографировал раны. Зато не был сделан анализ крови, который мог бы показать следы газа. После нового вмешательства Церкви о. Тадеуш Залеский был

принят судебно-медицинским экспертом проф. Мареком\*. Проф. Марек пытался доказать, что газа, вызывающего последствия, описанные священником, не существует. Никакого дополнительного обследования он не произвел, зато госбезопасность забрала из больницы, где лечился о. Тадеуш, полную историю болезни. Некоторые из допрошенных свидетелей записали в протокол показания о том, что за о. Тадеушем в последнее время велась постоянная слежка.

Несмотря на то, что факты – такие, как вещи, выброшенные из карманов ксендза и оставленного в коридоре чемоданчика, пропавший замок, ожоги высоко на груди под чистой майкой и т. д., – не поддаются двусмысленному истолкованию, прокуратура 17 апреля 1985 года приняла постановление о прекращении дела, придя к выводу, что на священника никто не нападал<sup>8</sup>. Следствие прекратилось.

Итак, Тадеуш Фронсь совершил самоубийство, а пытавшийся распутать загадку его смерти священник – самоувечье.

Несмотря на серьезность темы, не могу удержаться, чтобы не вспомнить ходивший некогда среди жителей соседней державы анекдот, родом из длинной серии вопросов и ответов армянского радио:

– Как умер Маяковский и каковы были его последние слова?

– Как всем известно, Маяковский покончил жизнь самоубийством, а последние слова его были: «Товарищи, не стреляйте!»

---

\* Проф. Марек в 70-е годы прослыл своим послушанием по отношению к требованиям милиции, он фабриковал для нее различные экспертизы (в частности, по делу о гибели Станислава Пыяса). Приятной неожиданностью было то, что его институт дал, по-видимому, объективное заключение о причинах смерти Гжегожа Пшемька<sup>7</sup>. – МАН.



## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Вороной» поляки называли ВРОН, Военный совет национального спасения, орган власти после введения военного положения.

<sup>2</sup> Станислав Пыяс – студент Ягеллонского университета, сотрудничавший с Комитетом защиты рабочих (КОР). В апреле 1977 года его друзьям разослали анонимные письма, где Пыяс обвинялся в сотрудничестве с госбезопасностью, – адресаты заявили протест против этой несомненной акции самой же госбезопасности. В начале мая 1977 года Станислав Пыяс был найден убитым в подворотне одного из краковских домов. Следствие по его делу «не обнаружило» преступников, а один из свидетелей по его делу погиб через несколько месяцев – также «при невыясненных обстоятельствах».

<sup>3</sup> Молебны за отчизну первым в Польше начал служить в первые месяцы военного положения о. Ежи Попелушко – павший жертвой, в порядке исключения, «известных преступников». «Поездки в Варшаву» из следующего предложения – это, скорее всего, паломничества на могилу о. Ежи Попелушко. Влоцова – местность, где в 1984 году развернулась «битва за распятия»: учащиеся сельскохозяйственного училища бастовали в знак протеста против снятия распятий в классах и других помещениях училища. Позднее к условным срокам за «организацию забастовки» были приговорены два священника, теперь – всё по тому же делу – подвергнутые новым преследованиям: с них потребовали по миллиону злотых в «возмещение ущерба», нанесенного забастовкой.

<sup>4</sup> Реколлеции – в Католической Церкви: великопостные беседы пастырей с прихожанами.

<sup>5</sup> V – знак победы, широко используемый сторонниками «Солидарности».

<sup>6</sup> Кардинал Францишек Махарский, архиепископ Краковский.

<sup>7</sup> Гжегож Пшемьк – 19-летний варшавский школьник, в мае 1983 года зверски избитый в милицейском участке и затем отправленный в больницу как находящийся в приступе «психической болезни». Неизвестно, остался ли бы он жив, если бы получил медицинскую помощь вовремя: у него были отбиты все внутренности. По делу об убийстве Гжегожа Пшемька оправдали двух милиционеров и осудили на короткие сроки (накануне амнистии) двух санитаров скорой помощи. Вместе со своей матерью, поэтессой Барбарой Садовской, Гжегож Пшемьк принимал участие в Комитете помощи политзаключенным при Примасе Польши.

<sup>8</sup> Пресса и пропаганда широко распространили версию, согласно которой о. Тадеуш Залеский сам себе нанес ожоги в состоянии эпилептического припадка. В декабре 1985 года на о. Тадеуша было совершено новое зверское нападение.

## «НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

Сорок четвертый год издания

Под редакцией Романа ГУЛЯ (гл. редактор),  
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

**Книга 162-я. СОДЕРЖАНИЕ:** *Р. Гуль.* «Новому Журналу» 45 лет; *А. Штейнберг.* Вторая дорога; *Е. Гаммер.* Нам песня строить и жить помогает; *Л. Алексеева.* Стихи; *А. Фролов.* «Посторонним не входить»; *Е. Таубер.* Стихи; *Б. Филиппов.* Роман Гуль – прозаик; *О. Ильинский.* В Париже; *Ю. Иваск.* Похвала Российской поэзии; *Д. Бобышев.* Катящиеся камни Европы; *С. Гозиас.* Несколько слов о Глебе Горбовском.

### ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

*Б. Прянишников.* А. Н. Толстой в Барвихе; *А. И. Гучков.* Из воспоминаний; *Ю. Фельштинский.* Из истории Брестского мира.

### ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

*А. Федосеев.* Человеческий фактор.

### ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

*В. Блинов, В. Рудич.* Лидия Иванова.

### СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

*А. Натов.* Неизвестный Пушкин; *Дм. Шляпентох.* Вести из России; *Др. Э. Бройде-Трэппер (Д. Антонов).* Западным университетам, славистам; *Игумен Геннадий Эйкалович.* Приписки к «Лосевiane».

### БИБЛИОГРАФИЯ:

*Ю. Иваск.* R. Hagglund. A vision of unity. Adamovich in exile; *В. Гребенщиков.* А. Опульский. Вокруг имени Льва Толстого; *Е. Климов.* Н. А. Дмитриева. Михаил Врубель; *Е. Климов.* Странный альбом.

## ТОБОЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР

Политизоляторы, т. е. тюрьмы для политзаключенных, в Советском Союзе существовали с начала 20-х и до конца 30-х годов. Они находились в непосредственном ведении Чрезвычайной Комиссии (ЧК) при Совнаркоме СССР. В этих тюрьмах содержались политзаключенные по постановлению Особого Совещания при ЧК.

Созданы они были вначале для политзаключенных, вывезенных из большого концентрационного лагеря на Соловецких островах, а потом пополнялись продолжавшимися арестами. Таких политизоляторов было четыре: в Суздале, в Ярославле (в последнем содержались женщины и семейные пары), в Верхне-Уральске и в Тобольске.

Самым отдаленным от центра страны и, к тому же, труднодоступным в течение 9-ти месяцев в году был Тобольский политизолятор, в котором содержались, по решению Особого Совещания, главным образом, «активисты» существовавших тогда подпольных организаций меньшевиков, эсеров, левых эсеров и др.

Добраться в те годы до Тобольска можно было только на небольшом ветхом пароходике от Тюмени, по небольшим рекам Туре и Тоболу, лишь в короткий навигационный период, когда реки вскроются поздно весной ото льда и пока рано осенью не замерзнут. По существу, Тобольск был отрезан от «Большой Земли» почти круглый год.

Климатические условия Тобольска, на крайнем северо-западе Сибири, отличаются продолжительной зимой с морозами 40-50 градусов. Из-за этого, часто бывало, заключенные по многу дней не выходили на прогулки, предпочитая оставаться в камерах.

Короткие пасмурные дни и длинные зимние вечера и ночи, чуть не круглые сутки в камерах «светит» только 25-ваттная лампочка у потолка, а тут еще по ночам треск оконных

рам от сильного мороза сильно влиял на психику заключенных. Но особенно давило на сознание не столько то, что ты находишься сейчас в таком положении и оторван от всех своих близких, но что у тебя нет и никаких надежд на будущее. Мы знали, что после отбытия срока заключения в Тобольском политизоляторе нас ожидает фактически бессрочная ссылка в какую-нибудь сибирскую глушь, в Обдорск, Березово, Туруханск и т. п.

Этим и отличался Тобольский политизолятор от всех остальных политизоляторов Советского Союза.

\* \* \*

Географическое расположение Тобольского политизолятора вынуждало ОГПУ торопиться своевременно вывезти этапников из внутренней тюрьмы на Лубянке в Тюмень: был уже август 1925 года, и навигация по рекам Западной Сибири могла скоро закрыться. И тогда уже было бы невозможно доставить этап в Тобольск.

Поэтому наш этап из Москвы гнали «экспрессом». Четыре «столыпинских» вагона прицепили к пассажирскому поезду Москва-Новосибирск, и в середине августа мы были уже в Тюмени, миновав все промежуточные пересыльные тюрьмы.

В Тюмени все же пришлось задержать этап почти на неделю, так как между Тюменью и севером Тобольского округа курсировал лишь один маломощный пароходик времен Александра III, а он за день до прибытия нашего этапа в Тюмень отплыл на Север.

Но вот со стороны реки на пересылке послышались гудки парохода. Этапников спешно собрали и погнали под большим конвоем с собаками на пристань. Подавляющее большинство «пассажиров» на пароходе были этапники. Местных жителей, едущих в Тобольск, было считанное число. Большинство этапников – ссылаемые на север Тобольского округа всякого рода «бытовики», а также большое количество православных священников, монахов и монахинь. Среди ссылаемых было много сектантов, которые, кстати говоря, группировались отдельно от остальных.

И только нас четверо: я (меньшевик), двое эсеров и один анархист – этапировались в Тобольский политизолятор. Начальник конвоя, видимо, знал об этом и как-то больше «крутился» вблизи нас.

Но вот отдали концы, пароходик дал прощальный гудок и зашлепал вниз по течению Туры. На берегу и первые часы, пока пароход не отдалился от Тюмени, мы были еще на положении арестантов. Конвоиры довольно зорко следили за нами. Но, как только пароход вышел на середину реки и Тюмень и ближайшие деревушки скрылись из глаз, конвоиры предоставили нам возможность беседовать с капитаном парохода, матросами и пассажирами-тобольчанами, от которых мы узнали кое-что о Тобольском политизоляторе.

Почти на всем пути от Тюмени до Тобольска по обоим берегам реки высились мощные леса, лишь изредка среди них покажется деревня и поля со скошенными уже хлебами. Или вдруг завидится на берегу человек, машущий рукой в сторону пароходика, – видимо, крестьянин из невидной за лесом деревни. Капитан направляет пароходик прямоком на него, и пароходик утыкается носом в глиняный мыс. Матросы сбрасывают примитивный мостик на берег, по которому двое-трое, а то и кто-нибудь один, взбираются на палубу. Капитан дает традиционный прощальный гудок, и «поехали» дальше. Так продолжалось почти до самого Тобольска.

Только один-единственный раз на всем этом пути встретилось действительно большое село – Покровское, родина Григория Распутина. На фоне того безлюдия, которое нас сопровождало до этого, здесь мы увидели действительно большое русское село, в котором выделялась огромная усадьба Распутина. Только в этом селе была настоящая пристань, к которой пришвартовался наш, такой маленький по сравнению с пристанью пароходик.

А дальше опять почти полное безлюдие. По мере приближения к Тобольску подумалось: выбрала же, чёрт побери, ЧК местечко для политизолятора, откуда, даже если ты и вырвешься, далеко не убежишь.

Вскоре показался Тобольск – сначала купола церквей и крыши, а затем и стены нескольких двухэтажных зданий красно-кирпичного цвета, характерного в прошлом для полицейских участков и тюрем.

Пароходик подошел к небольшой тобольской пристани. С него сошло с десятков «вольных» пассажиров и мы, четверо арестантов и четверо наших конвоиров, которые тут же приняли свой «нормальный» чекистский облик. На берегу, оказывается, нас уже ожидали. Стоял большой фаэтон с офицером и двумя красноармейцами. После краткой процедуры передачи нас и наших «досье» тобольскому конвою мы покатали по ухабистой дороге к нашей будущей «обители».

Это было одно из тех, увиденных еще с парохода двухэтажных красно-кирпичных зданий царских времен, обнесенных такого же цвета пятиметровой кирпичной стеной, с массивными железными воротами. И здесь нас уже ждали: тут же, как подкатил фаэтон, заскрипели петли ворот, и мы въехали во двор.

В штабе нас принял сам начальник политизолятора. Он прежде всего прочел наши «досье». Затем дал знать надзирателю, чтобы он нас обыскал. Тот весьма поверхностно ощупал мои карманы и осмотрел вещевой мешок.

После этой процедуры начальник политизолятора обращается ко мне: «Вас, разумеется, поместить в меньшевистскую камеру». «Разумеется», — было моим согласием. Дело в том, что мы на «воле» уже знали, что в политизоляторах заключенные сидят по фракционному признаку, и поэтому заявление начальника не было для меня неожиданностью.

\*            \*  
\*

В камере меня мгновенно окружили товарищи, засыпали вопросами: откуда, по какому делу и пр. и пр. После всего этого староста барака показал мое постоянное место. Это была обыкновенная солдатская кровать с матрацем, большая тумбочка для книг и работы. «В общем, располагайтесь, товарищ, как дома, — сказал староста. — А пока пойдемте закусим с дороги». Оказывается, за общим обеденным столом дежурный по камере уже приготовил легкую закуску: сливочное масло, копченая колбаса, сахар, пшеничный «настоящий» хлеб. После внутренней тюрьмы на Лубянке все это выглядело, конечно, «не по-тюремному».

Да и сама-то большая общая камера представляла собой какое-то студенческое общежитие – на тумбочках около кроватей лежали книги, тетради, бумага. И «меблировка» камеры была какой-то не тюремной: обычные домашние стулья, около некоторых кроватей – плетеные кресла дачного образца. Оказывается, все это в Тобольский изолятор привезли заключенные с Соловков. Как сидели там политзаключенные, так их и этапировали в Тобольск со всей «мебелью», всем их «скарбом», книгами, рукописями, продуктами и пр.

В 1925 году в Тобольском политизоляторе сидело около 500 заключенных. Это были, во-первых, бывшие солдовчане, а кроме них – политзаключенные, привезенные сюда вследствие арестов, продолжавшихся по всему Советскому Союзу.

Так, предыдущим рейсом в Тобольск была привезена большая группа грузинских меньшевиков, участников антибольшевистского восстания в Грузии в начале 1918 года. Среди них были политические руководители восстания, командующий повстанческой армией, начальник генерального штаба и другие командиры. Но так как они сидели в других камерах, фамилий их я не запомнил. В нашей же камере сидел лишь Андроникашвили (Андроников) – главный руководитель этого восстания.

Последними двумя рейсами из Тюмени в Тобольск привезли из различных тюрем активистов подпольных организаций меньшевиков, эсеров, левых эсеров.

А в самом начале навигации 1926 года прибыл и совершенно необычный этап политзаключенных. Это было шесть или семь курсантов Ульяновской партшколы, участников антипартийного кружка в школе. Староста политизолятора начал консультации со старостами камер, как отнестись к этой группе заключенных. Было даже мнение заявить протест начальнику политизолятора против помещения большевиков в Тобольский политизолятор. Но большинство старост камер выступило против такого предложения, тем более, что все доставленные из Ульяновска этапники заявили начальнику политизолятора, что они решили примкнуть к фракции левых эсеров, а руководство этой фракции согласилось принять их в свой состав.



В политизоляторах Советского Союза существовал «институт» старостата: был старостат общеизоляторский и были камерные старосты. Поэтому и в Тобольском политизоляторе начальник все переговоры вел только со старостами – общими и камерными. Такого правила неукоснительно придерживались и сами заключенные. Конкретно это выражалось в том, что всякие индивидуальные конфликты заключенных с офицерами и рядовыми надзирателями улаживались через старост. Такой «порядок» предотвращал излишнюю нервотрепку заключенных и давал возможность каждому заниматься своими делами.

Все старосты избирались заключенными в соответствии с рекомендациями своих партийных фракций, которые существовали в политизоляторе тоже официально.

Практическое осуществление контактов между общим старостатом и старостами камер в условиях, когда камеры закрывались на замки, возможно было или во время совместных прогулок, обычно двух-трех камер вместе, или по внутреннему «почтовому конвейеру» через просверленные в углах всех камер отверстия, в которые закладывались записки, иногда достаточно объемистые, и следовали по написанному на них адресу. Правда, это был «черепашня почта». Но она действовала безотказно. В каждой камере были выделены «почтальоны», которые и занимались всем этим делом. Политизоляторская администрация, конечно, все это видела и знала, но не препятствовала контактам. А продырявить ветхие стены камер можно было и перочинным ножиком.

Таким образом, внутри политизолятора изоляция между камерами была фактически символическая.



К особенностям режима в политизоляторах относилось и то, что заключенные носили собственную одежду: какие угодно костюмы, пальто и тужурки, гражданские головные уборы и т. д. На этапах «политиков» враз можно было отли-



чить от всех остальных этапников. И это была не «мелочь» – как в психологическом, так и в практическом отношении: конвой при этапировании и администрация пересыльных тюрем несколько иначе относились к политическим, чем к другим категориям этапников.

И уж, конечно, в политизоляторах не было никаких штрафных камер, карцеров и тому подобного. И не было никаких индивидуальных или коллективных наказаний.

Но единственно, чем отличались политизоляторы от обычных тюрем, – это исключительной строгостью цензуры при проверке личных писем заключенных. Как отправляемые письма заключенных, так и получаемые ими письма просматривались цензорами-офицерами через лупу и даже подвергались какой-то химической обработке, следы которой мы часто обнаруживали на письмах.

И еще одна деталь. В политизоляторах было категорически запрещено использовать заключенных на каких-либо работах.

Например, в течение долгих зимних месяцев в Тобольске выпадает большое количество снега. Бывало, за ночь в прогулочный двор политизолятора нагоняло ветром такие огромные сугробы, что выводить заключенных на прогулки было невозможно. Так вот, для очистки двора от снега пригоняли по ночам заключенных из соседнего уголовного лагеря. И когда нас выводили на утреннюю прогулку, двор был чист, ни единого бугорка.

А между тем, у нас «руки чесались», чтобы получить лопаты и самим очищать «наш» прогулочный двор от снега. Мы попросили общий старостат, чтобы он добился у начальника политизолятора «с десяточек лопат», на что последовал категорический отказ: «Дай вам лопаты, – заявил начальник, – а потом Социалистический интернационал разнесет по всему миру, что в Советском Союзе используют политических заключенных на принудительных работах». Да, были такие времена!

\*            \*  
\*

Большинство заключенных в Тобольском политизоляторе состояло из членов различных, еще существовавших тогда в подполье социалистических партий – среди них было

много студенческой молодежи, для которой политизолятор явился «вторым университетом». Среди заключенных Тобольского политизолятора были и крупные партийные деятели, которые вели различные занятия с этой молодежью.

Старостой нашего барака и членом общеизоляторского старостата был С. С. Студенецкий. Он был старым членом партии эсеров, многие годы (при царизме) провел в тюрьмах и ссылке, где и приобрел хорошие знания в области общественных наук.

После Февральской революции Студенецкий был избран заместителем председателя Московской городской думы. Тут же после захвата большевиками власти был арестован, после двух лет сидки во внутренней тюрьме московской ЧК отправлен на Соловки, а после расформирования там концлагеря для политических – вывезен в Тобольский политизолятор. Семья его всё время жила в Москве и, судя по получаемым им письмам, сохраняла хорошие отношения с некоторыми старыми большевиками, особенно с М. И. Калининым.

Из видных меньшевиков в нашей камере сидел упоминавшийся уже мною Андроникашвили (Андроников). Он пользовался большим авторитетом как среди грузинских, так и среди российских социал-демократов. Его лекции по истории социалистических движений были, можно сказать, «актуальными» на фоне его анализа истории большевизма со дня его зарождения и до наших дней – их слушали с большим интересом как молодые, так и ветераны меньшевиков и эсеров нашей камеры.

Другим известным деятелем меньшевистской партии был Бабин. Он тоже был очень интересным лектором, особенно по истории экономических учений и «Капиталу» Маркса. Бабин был известен в социал-демократических кругах как лидер созданной им внутрипартийной фракции «Заря» и одноименной газеты, которая, вопреки официальной платформе партии, призывала к вооруженной борьбе с большевиками, за что Бабин был исключен из партии. Несмотря на это, в Тобольском политизоляторе он входил в меньшевистскую фракцию.

Каждое воскресенье в нашей камере кто-либо из товарищей делал доклады на различные социально-экономические темы. Поэтому я не случайно написал, что для нас, молодежи, Тобольский политизолятор явился «вторым университетом».

В нашей камере сидело более двадцати заключенных, лишь трое из них – левые эсеры, в том числе лидер партии левых эсеров Борис Камков. На нем хотелось бы несколько остановиться, так как в некотором смысле это была «историческая» личность.

В начале Февральской революции Камков был одним из лидеров единой партии социалистов-революционеров (эсеров). Но уже летом 1917 года он перешел на сторону большевиков. Создал партию левых эсеров, которая, особенно активно действуя среди солдатских и крестьянских масс в тылу и на фронте, сыграла важную роль в разложении армии, в свержении Временного правительства и вообще в укреплении большевистской власти в России.

Но после того, как «мавр сделал своё дело», да еще левые эсеры подняли в 1918 году мятеж против своего «сюзерена», большевики с легкостью подавили этот мятеж, а партию левых эсеров объявили вне закона. Всех ее лидеров, и в первую очередь Камкова, арестовали. И вот с тех пор Камков сидит в «братских» советских тюрьмах, а теперь оказался моим сокамерником в Тобольском политизоляторе.

Поведение Камкова в камере было очень странным. Например, он категорически отказывался говорить на политические темы, когда мы, молодежь, донимали его различными вопросами о периоде между февралем и октябрём 1917 года. Камков совершенно не участвовал в еженедельных лекциях, докладах и дискуссиях в камере. Его однопартийцы Ерухимович и Степанов сравнительно активно участвовали в дискуссиях. А сам Камков, бывало, лежит на своей койке, углубится в чтение какой-нибудь книги или газеты, и всё происходящее в камере его как бы не интересует.

Такое психологическое состояние Камкова было непонятно для его сокамерников, тем более, что никто ни разу не «сыпал соль на его раны».

Кроме названных лидеров политических партий, сидевших в нашей камере, остановлюсь на двух «боевиках» партии эсеров в царское время – руководителях антибольшевистских восстаний в Советской России в 1918 – 1921 годах.

Один из них был И. Филипповский – типичный интеллигент-народник как по своему внешнему облику, так и по мировоззрению. Он являлся членом Боевой организации партии эсеров, руководимой Борисом Савинковым. За участие в

какой-то террористической акции Филипповский был приговорен к шести годам каторжных работ, после отбытия этого срока сослан на «вечное поселение» в Иркутскую губернию. Здесь он и отпраздновал с сотнями других таких же политических ссыльных победу Февральской революции.

После возвращения в Москву из ссылки Филипповский сходу включился в активную работу эсеровской организации. Но недолго ему, бывшему «боевику», пришлось подвизаться на агитационной, пропагандистской и прочей «мирной» работе.

В октябре 1917 года большевики захватили власть. Филипповский уезжает из Москвы в свои родные края, на Северный Кавказ, включается в работу керченской эсеровской организации и разрабатывает план крестьянского восстания в Приазовье, которое он и возглавил летом 1918 года.

В 1919 году это восстание было подавлено большевиками. Однако Филипповскому удалось не попасть в руки ЧК. Он бежит на Урал к своим сибирским друзьям и переходит на нелегальное положение в Перми. И только в 1921 году ЧК напала на его след. Он был арестован и доставлен спецконвоем в Москву, на Лубянку. Несколько месяцев Филипповский сидел во внутренней тюрьме, подвергался допросам. Особое Совещание приговорило его к 5-ти годам заключения, и он был отправлен на Соловки. Как сам Филипповский предполагал, он избег расстрела благодаря кому-то из большевиков, работавших в то время в ЧК, с которыми он был на каторге или в ссылке в Сибири.

Для характеристики Филипповского интересен такой факт. Когда в Тобольском политизоляторе получено было сообщение о самоубийстве Сергея Есенина, которого эсеры считали «своим», а не большевистским поэтом, Филипповский посвятил этому печальному для всех народников событию стихотворение, озаглавленное «На смерть поэта», перекликаясь с Лермонтовым. Это стихотворение Филипповского декламировалось во всех камерах на специальных собраниях, посвященных смерти Есенина. Оно хранилось у меня «до лучших времен», вплоть до 1948 года, когда было изъято у меня при обыске и аресте. А следователь «с удовольствием» читал его мне на допросе в саратовском КГБ.

Почти такая же судьба была и у другого сокамерника, руководителя крестьянского восстания в Советской России

18 – 20 годов В. Гончарова. Но это был человек другой «формации». В отличие от Филипповского, Гончаров, как он себя сам величал, был «потомственным хлеборобом». Он был тоже старым членом партии эсеров и членом ее Боевой организации. Непосредственное участие в террористических актах, как он сам рассказывал, и было главным стимулом его вхождения в группу эсеровских «боевиков».

В конце концов он был арестован «охранкой», судим Петербургской судебной палатой, приговорен к 12-ти годам каторжных работ и отбывал этот срок в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Здесь его однокамерником оказался большевик Самсонов, осужденный по какому-то делу об экспроприации.

За пять лет сидки вдвоем Гончаров и Самсонов естественно стали «братьями». В первые дни Февральской революции они в один и тот же час были освобождены из Шлиссельбургской тюрьмы кронштадтскими моряками.

Но после освобождения из тюрьмы пути-дороги Гончарова и Самсонова разошлись, хотя оба они и остались в Петрограде. Гончаров включился в активную работу петроградской организации партии эсеров, Самсонов – в такую же работу большевистской организации. Таким образом, они уже с первых дней революции оказались по разные стороны баррикад, как в переносном, так и в прямом смысле этого слова.

Особенно, конечно, это относится к октябрю 1917 года, когда большевики захватили власть в стране и начались аресты эсеров, меньшевиков и вообще всех противников большевиков. Сам Гончаров избежал ареста, так как сумел скрыться и уехать из Петрограда в Воронеж, который в Центрально-Черноземной области был одной из «цитаделей» эсеров. Гончаров развил здесь энергичную деятельность в уже подпольных организациях эсеров по подготовке и осуществлению плана крестьянского восстания.

А Самсонов в тот же период становится одним из организаторов Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией (ЧК), а вскоре – членом коллегии и начальником ее секретного отдела. Так что уж по своей «должности» Самсонов знал, где находится и что делает его «брат» Гончаров.

Крестьянское восстание, руководителем которого был Гончаров, продолжавшееся с 1918 до 1920 года, в конце концов было подавлено большевиками. Гончаров был арестован в

Тамбове. После ареста его привезли в Москву в ОГПУ. Вся эта «операция» с арестом Гончарова и привозом его в Москву, конечно, была известна Самсонову, но во время сидки Гончарова в одиночке внутренней тюрьмы Самсонов с ним не встретался, и, тем более, они не встречались во время следствия.

Однако, по мнению Гончарова, влияние Самсонова сказалось в том, что вместо расстрела Особое Совещание при ОГПУ приговорило его «только» к десяти годам заключения. Сначала Гончаров сидел на Соловках, а теперь досиживал свой срок в Тобольском политизоляторе. Кстати, он был единственным в политизоляторе заключенным с таким большим сроком.

Но и в это время Самсонов не выпускал из своего поля зрения Гончарова. Об этом можно судить по тому, что в течение двух лет (в 1925 и 1926 годах) Гончарова спецконвоем возили в Москву и возвращали таким же порядком обратно в политизолятор. В камере он рассказывал, что оба раза с ним беседовал Самсонов, вспоминал о «шлиссельбургских годах», уговаривал Гончарова сделать только одно – отказаться от каких-либо связей с эсерами, и тогда он будет немедленно освобожден из заключения. Гончаров оба раза отверг эту сделку и продолжал досиживать свой срок до «последнего звонка».

Потом были сведения, что Гончаров был освобожден из заключения по амнистии в 1927 году в связи с десятилетием советской власти.

\*            \*  
                  \*

В политизоляторах имелись три «источника» питания заключенных: «казенный», домашний и через Политический Красный Крест.

В Тобольском политизоляторе утром на завтрак каждому заключенному выдавалось: по 20 грамм сливочного масла (надо иметь в виду, что речь идет о Западной Сибири), 20 гр. сахара, иногда копченая рыба из местного рыбоколхоза. Ржаного хлеба было вполне достаточно, а большим, по списку тюремного врача, выдавался пшеничный хлеб.

В обед были мясные или рыбные щи или суп. При этом каждому заключенному в отдельности на тонкой деревянной

палочке давалось 100 гр. вареного мяса. На второе были: каша (пшеничная, перловая, гречневая) на подсолнечном масле или картофельное пюре. К ужину – почти то же самое.

Всё это тюремное питание всегда дополнялось продуктами из нашей собственной продуктовой «коммуны».

Такие «коммуны» существовали во всех камерах Тобольского политизолятора. Этим путем осуществлялось уравнительное распределение продуктов, получаемых заключенными в посылках, и устранялось различие между товарищами, получавшими посылки из дома, и теми, которые посылок не получали. А таковых, например, в нашей камере было не менее 25 процентов. Это были те, кто многие годы в царское время провели в тюрьмах, на каторге, в ссылках. Освободившись после Февральской революции, опять окунулись в водоворот революционных событий, на этот раз в борьбе против большевиков, и теперь сидят в Тобольском политизоляторе. Многие из них даже не успели обзавестись семьями и оказались на положении каких-то «безродных» и «бездомных». Продуктовые «коммуны» в политизоляторах и имели своей целью оказать всем этим товарищам не столько продовольственную, сколько моральную поддержку.

Практически, продуктовые «коммуны» функционировали следующим образом: каждый товарищ, получив посылку, оставлял лично для себя только одежду, белье, книги и иную литературу, канцелярские принадлежности и всё «несъедобное», а продукты сдавал в «коммуну». Таков был неписанный закон в политизоляторе.

Для хранения продуктов в камере было отведено специальное место и выделен один из товарищей, который вел учет поступающих в «коммуну» посылок с продуктами и следил за их состоянием. Когда у него скапливалось какое-то определенное количество продуктов, он сообщал об этом старосте камеры, и они решали, как с ними поступить. Большая часть их шла в добавление к ежедневному тюремному питанию, а часть – в «резерв», на случай какого-либо «торжества» в камере. Это были «деликатесы»: колбасы, окорока, американская «тушёнка», конфеты и особенно всякого рода булочно-кондитерские изделия домашнего изготовления, по которым заключенные узнавали «руки» своих жен.

В связи с установленной в политизоляторе процедурой выдачи заключенным пришедших на их имя посылок остановлюсь на одном эпизоде.

Выдача посылок заключенным производилась всегда вечером дежурным офицером по политизолятору. По случаю очередной посылки от жены из Челябинска вызывает меня из камеры офицер. Идем мы с ним по коридору в каптерку. И вдруг он ни с того, ни с сего говорит: «Вот сейчас я вас веду, а придет время, вы меня будете водить». Я как-то растерялся, не сообразив, как реагировать на его слова. И, только войдя в каптерку, ответил: «Нет, мы вас не будем так водить, как вы нас водите». На это он злобно ответил: «Нет, будете!» – «Нет, не будем, так как в демократической России не будет политических заключенных, не будет и политизоляторов», – ответил я ему резко. В ответ он меня просто ошарашил: «А вы думаете, что здесь, в политизоляторе, только вы заключенные. Здесь и я, и почти все офицеры, охраняющие вас, тоже заключенные». Из дальнейших его «стенаний» выяснилось, что в такой далекий от Москвы политизолятор отправлялись офицеры ОГПУ взамен каких-либо дисциплинарных взысканий. «А семьи наши, по разным причинам, – добавил он, – остаются в Москве и в других городах Союза. Так в чем же тогда разница между вами и нами?»

Выдав мне посылку, почти не проверив содержимое в ней, офицер обратился ко мне: «Прошу вас, чтобы весь этот разговор остался между нами. Вы, конечно, понимаете, почему». Придя в камеру, я сдал все содержимое в ней из продуктов в «коммуну» и выполнил его просьбу, хотя этот диалог между мной и офицером представлял бы большой интерес для сокамерников.

\*            \*  
\*

Одним из источников питания заключенных во всех политизоляторах Советского Союза был Политический Красный Крест, которым руководила жена М. Горького Е. П. Пешкова.

Не менее двух раз в год от нее поступал запрос в старостат политизолятора: в чем ощущается нужда заключенных. Речь



шла не только о продуктах, но и о белье, и верхней одежде. Последнее было очень важно для сидевших в Тобольском политизоляторе, особенно для тех, кто не получал посылок из дома.

Е. П. Пешкова, получив требуемые ею данные из всех политизоляторов, направляла их в Амстердам, где находилось Бюро Социалистического Интернационала. И уже от его имени продукты и одежда прибывала в Москву на адрес Политического Красного Креста, который распределял все полученное по политизоляторам.

В Тобольский политизолятор присылались, кроме продуктов, дубленые полушубки, валяная обувь, шерстяные чулки и варежки, т. е. все то, что абсолютно необходимо иметь на Крайнем Севере. По этикеткам на них мы узнавали, что это все дар финских, шведских, норвежских и канадских товарищей.

Все присылаемое Красным Крестом продовольствие шло в «коммуну», а среди него были, если иметь в виду тогдашнее продовольственное положение в стране, можно сказать, настоящие деликатесы: различные сорта немецких колбас, американские мясные консервы и свиное сало, голландский сыр и даже швейцарский шоколад. Мы, конечно, понимали, кто все это посылал нам. Из этих продуктов большая часть шла к ежедневному тюремному пайку, а наиболее «деликатесная» придерживалась для каких-нибудь юбилейных дней или вечеров после общих собраний и т. п.

А присланное белье, одежда, обувь тут же распределялись между нуждающимися.

\* \* \*

Помощь Политического Красного Креста состояла также, что особенно важно было для заключенных в Тобольском политизоляторе, в содействии в получении разрешений от ОГПУ в Москве на свидания с родственниками.

Ведь тем-то и отличался Тобольский политизолятор от остальных политизоляторов Советского Союза, что получить разрешение на свидание в нем представляло большие трудности. Во-первых, ОГПУ под разными предлогами вообще отка-

зывало в выдаче таковых. Во-вторых, получив такое разрешение, трудно было добраться в такую далекую глушь, какой был тогда Тобольск. В-третьих-то, само свидание разрешалось на какие-то считанные часы.

Вот что надо было преодолеть моей жене, чтобы получить разрешение на свидание.

Зная, что получить такое в ОГПУ было очень трудно, а после отказа не будет никаких перспектив на получение свидания до конца моей сидки в политизоляторе, она решила написать письмо Е. П. Пешковой, прося ее, чтобы она помогла ей. Жене известно было, что в Политическом Красном Кресте имелась картотека на всех заключенных в политизоляторах.

Ранней весной 1926 года жена написала письмо из Челябинска Пешковой. В начале июня от Пешковой пришло заказное письмо, в котором было вложено просимое разрешение и краткое напутствие: «Счастливого пути». Свидание было разрешено только на два дня, по два часа на каждое и под каким-то литером. Несмотря на такие условия свидания, жена двинулась в далекий трудный путь.

От Челябинска до Тюмени по железной дороге доехать было очень просто. А вот уже от Тюмени до Тобольска пришлось ехать на пароходике-развалюхе двое суток. На пароходике была невероятная грязь. Ночью лежать или сидеть в душном трюме не было никакой возможности, а вылезти на палубу тоже было невозможно: дул холодный пронизывающий ветер.

В Челябинске жена получила от одного знакомого рекомендательное письмо к его другу в Тобольске, чтобы он приютил ее на пару дней. К счастью, это оказалась еврейская семья из бывших политических ссыльных, по каким-то причинам осевшая в Тобольске. Поэтому, познакомившись с женой и узнав о цели ее приезда в Тобольск, ее приняли охотно и радушно. Здесь она получила и первую информацию о Тобольском политизоляторе.

На следующее утро жена явилась к начальнику политизолятора и вручила ему разрешение ОГПУ на свидание со мной. Начальник с какой-то «кислой миной» прочел это разрешение. Но что ему можно было делать? Он вызвал одного из политизоляторских офицеров, дал ему прочесть это разрешение, и тот, конечно, понял, по имевшемуся в нем литеру, каковы будут его обязанности при свидании.

Для свидания была отведена маленькая комнатка в помещении штаба политизолятора. В комнатке стоял только старый письменный стол, по одну сторону которого он показал сесть мне, по другую – жене. Посредине стола, у письменного ящика, сел сам. Свидание началось с предупреждения, чтобы о «посторонних делах», кроме личных, беседа не велась.

Под такой строгой «опекой» прошли два часа первого дня свидания. От такого свидания, конечно, ничего, кроме душевной травмы, не осталось. И вот тебе сюрприз! В комнату входит начальник политизолятора и сообщает, что из Москвы есть телеграмма, разрешающая нам свидание еще на два дня. Ну, что ж, и это слава Богу. Не произнося ни слова, мы с женой догадались, что это могла сделать только Екатерина Павловна.

Но все четыре дня свидания проходили все в том же духе, под оком и настороженным ухом все того же офицера. Но вот, когда время свидания истекло и надо было расставаться, чекистский офицер, то ли по своей инициативе, то ли по указанию начальника политизолятора, не воспрепятствовал нам подойти друг к другу и расцеловаться на прощанье.

Все же от этого свидания получили моральное удовлетворение и я, и вся наша камера. Каждый день, когда жена приходила на свидание, ее сопровождали до ворот политизолятора хозяин и хозяйка квартиры, где остановилась жена, или кто-либо из их соседей, и они вносили во двор политизолятора всё, что принесли с собой. А уж от ворот надзиратели несли в камеру разные продукты, вкус которых давно уже был забыт нами. Это была копченая тобольская стерлядь, два сибирских окорока, русские пироги с капустой, мясом или рыбой, а самое, пожалуй, важное для нас – большие букеты цветов. Мы в камере недоумевали, почему начальник политизолятора все это разрешал. Во время свидания жена, конечно, не могла сказать мне, от кого все это было. Мы лишь догадывались, что все эти подарки были от потомков политических ссыльных царских времен.

\* \* \*

На фоне такой строгой изоляции заключенных от внешнего мира странной может показаться вся обстановка внутри

политизолятора. Здесь в камерах шли дискуссии на любые темы, читались лекции и доклады, можно было заниматься научной работой, была возможность, особенно для молодежи, пополнять свои знания путем самообразования, изучать иностранные языки и пр.

Всему этому способствовал и твердый распорядок дня, установленный в камере. Утром до завтрака были «вольные» часы, но после завтрака, вплоть до обеда или прогулки, в камере должна была соблюдаться полная тишина. В час дня был обед, во время которого были, естественно, тоже «вольные» часы. Если прогулка была до обеда, то после обеда опять наступала тишина в камере, продолжавшаяся до ужина, после которого все были свободны от всяких обязательств: начинались шахматные баталии с сопутствующими им «анализами», различные беседы, брэнчание на гитаре и т. д.

Так продолжалось, пока улегшиеся спать товарищи не попросят «успокоиться». И это был закон, в камере наступала тишина до утра. Но это не значит, что все в камере спали. Наоборот, это было самое «продуктивное» время для тех, кто желал заниматься: человек шел к общему столу, стоявшему под тусклой лампочкой посередине камеры, обкладывался литературой, конспектами и пр. и мог сидеть, никем не тревожимый, хоть до утра. Этим ночным временем пользовались и те, кто писал свои научные работы. Интересно было тогда обзрывать нашу камеру. Ничего в ней не напоминало тюрьму, если бы в коридоре не слышались шаги дежурного надзирателя, а с наружных вышек не доносилась перекличка часовых.

В политизоляторах Советского Союза можно было даже писать научные работы. Во время прогулок всегда можно было слышать разговоры на эти темы. В нашей камере мой сосед по койке, меньшевик с 1912 года Н. В. Витке, писал работу на тему «Психология толпы». Кстати говоря, он имел в виду при этом большевистский переворот в России. Свою рукопись Витке посылал из политизолятора частями жившему тогда в Москве А. А. Богданову. Напомню, что в прошлом тот был видным лидером большевиков. Но за свой «ревизионизм в философии», на который Ленин обрушился книгой «Материализм и эмпириокритицизм» (1909), Богданов был исключен из партии. Известно было, что, несмотря на это, Богданов пользуется большим авторитетом среди старых большевиков.

Витке не только посылал Богданову свои рукописи, но и получал от него рецензии на них, которыми пользовался, продолжая писать свою работу.

Можно напомнить и другой пример такого же рода. Сидевший в Суздальском политизоляторе меньшевик И. Рубин писал свою известную работу по политической экономии – «Прибавочная стоимость Маркса» – и вел по ее содержанию переписку с Д. В. Рязановым – основателем и директором Института К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве.

Конечно, вся подобного рода переписка проходила через руки цензоров в политизоляторах, а следовательно, шла с полного ведома и разрешения ОГПУ.

В Тобольском политизоляторе были благоприятные условия как для самообразования, так и для научных работ в области общественных наук. Во всех камерах было достаточно такой литературы, привезенной заключенными с Соловков. В общем старостате находился каталог на всю эту литературу, которым имели возможность пользоваться все заключенные. Нужно было только узнать по нашему «почтовому конвейеру», у кого и в какой камере находится та или иная книжка, и через некоторое время дежурный надзиратель тебе ее приносил, или ты ее получал во время прогулки.

Но, самое главное, Тобольский политизолятор в качестве коллективного абонента был прикреплен к Тобольской городской библиотеке и библиотеке Тобольского общества краеведения, которые обладали богатыми книжными и журнальными фондами, образовавшимися в течение многих десятилетий, еще с царских времен, за счет тысяч политических ссыльных, которые, по установившейся тогда традиции, по окончании срока ссылки оставляли имевшуюся у них литературу существовавшим уже тогда этим двум тобольским библиотекам.

Для связи заключенных с этими библиотеками в политизоляторе имелся офицер-библиотекарь. У него в отдельной комнатке в первом этаже политизолятора находились дубликаты каталогов обеих тобольских городских библиотек, которыми, кстати говоря, всегда руководили бывшие политические ссыльные. Этим и объясняется, почему тобольские библиотекари предоставили дубликаты своих каталогов политизолятору. Каждый понедельник офицер-библиотекарь на телеге или санях увозил из политизолятора в городские биб-

лиотеки использованную заключенными литературу, собирал новые заявки и привозил заказанную литературу.

Что касается вновь выходящей в Советском Союзе литературы, о которой мы узнавали из публикаций в газетах и журналах, получаемых многими заключенными в политизоляторе, то всё просимое присылали наши родственники посылками или заказными бандеролями. Вся эта личная литература тоже вносилась в особый каталог, и ею могли пользоваться все заключенные по согласованию с владельцем.

\*            \*  
\*            \*

Как я выше уже упомянул, в камерах политизолятора систематически имели место всевозможные дискуссии, лекции и доклады на различные темы. Конечно, всё это «терпелось» начальником политизолятора по указанию ОГПУ. Но мы знали и о том, что начальник политизолятора обязан был информировать Москву, каковы эти темы, фамилии участников, их партийная принадлежность и т. п.

Особенно эта слежка за камерами усилилась в конце 20-х, когда внутри большевистской партии началась фракционная борьба. Это в не меньшей мере интересовало и сидящих в политизоляторах заключенных. Мы внимательно следили за событиями по центральным газетам и журналам. Дискуссии по поводу всего происходившего на большевистской арене между членами различных партийных фракций, существовавших в политизоляторе, носили острый характер.

Начальство политизолятора знало, конечно, об этом. Оно точно знало и когда начнутся эти дискуссии в камерах. Это было обычно вечерами того дня, когда надзиратели разнесут прибывшие в политизолятор свежие центральные газеты — «Правду» и «Известия».

В эти вечера, должно быть, был «мобилизован» весь офицерский состав политизолятора. В частности, в коридоре у двери нашей камеры слышно было присутствие «кого-то». Мы знали, что это был приставленный к ней офицер, фиксирующий всё происходящее в камере и фамилии выступавших. Но нам, как говорится, терять было нечего.

В Тобольском политизоляторе было принято торжественно отмечать различные революционные праздники, такие, как День Февральской революции, Первое мая, годовщину Великой Французской революции и др. Начинались они посвященными им докладами, которые сопровождались обсуждениями в аспекте современной большевистской действительности. Но особенно актуальны были доклады и прения по ним в День Февральской революции. Ведь во всём этом участвовали свидетели этих событий и последовавших за ними восьми месяцев до большевистской контрреволюции. Во время этих прений приводились конкретные факты, конкретные имена тогдашних и нынешних руководителей большевиков (Ленина, Троцкого, Зиновьева и др.), говорилось об их двурушнической тактике в советах рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которую, к сожалению, ни эсеры, ни меньшевики не смогли тогда правильно оценить. В этом аспекте и велись обсуждения докладов о Февральской революции, во время которых клеймились и левые эсеры, ныне сидевшие вместе с нами в политизоляторе.

Все такие собрания, посвященные революционным праздникам, завершались действительно товарищеским торжественным обедом. К нему наш староста С. С. Студенецкий совместно с заведующим «коммуной» готовились задолго, попридерживая различные «деликатесы» из наших посылок и посылок от Красного Креста. Завершались такие обеды демонстративным пением старых каторжанских песен, вроде «Славное море, священный Байкал», и старых революционных песен, на которые наложено было «вето» большевиками: «Вставай, поднимайся, рабочий народ», «Варшавянка», «Взвейтесь, соколы, орлами» и т. п. Однако начальство политизолятора, местное ОГПУ и городской комитет партии не предпринимали никаких мер, чтобы пресечь эту «крамолу».

\* \* \*

Но вот кто-то в Москве, на основании, конечно же, донесений из Тобольска, решил «подвинтить гайки» в Тобольском политизоляторе. В начале июля 1926 года начальник политизолятора вызвал к себе в штаб весь состав общего старостата,

что уже само по себе было совершенно необычным, и объявил, что он получил указание заместителя председателя ОГПУ «товарища Ягоды» изменить общий режим в Тобольском политизоляторе: сократить продолжительность прогулок заключенных вдвое, закрепить постоянный состав камер для прогулок, ввести новый порядок, чтобы тут же после отбоя заключенные ложились спать. Далее следовали еще какие-то нововведения. Закончил он все эти перечисления приказным, категорическим тоном, что эти новые режимные правила вступают в силу с 1 августа.

В тот же час приведен был в действие наш «почтовый конвейер». Общий старостат передал по всем камерам указанный выше приказ начальника политизолятора и оповестил, что как старостат, так и руководство партийных фракций решили оказать решительное сопротивление намечаемому изменению режима в политизоляторе, вплоть до объявления заключенными общей «сухой» голодовки.

Общий старостат дал указание старостам камер провести собрания для выяснения мнения заключенных о решении старостата и руководителей фракций. Заключенные оставили все свои занятия, и в тот же день во всех камерах прошли собрания: все единодушно решились на такую крайнюю форму борьбы, как «сухая» голодовка.

Когда все данные о собраниях, проведенных в камерах, поступили в общий старостат, старосты камер получили практические указания, что предпринять дальше: прежде всего, отделить тех товарищей, которые по состоянию своего здоровья освобождаются от участия в голодовке и должны будут при начале голодовки быть удалены из камер (об этом позаботится общий старостат). Всех остальных заключенных подвергнуть медицинскому осмотру, чтобы установить каждому из них «критический» день, когда он имеет моральное право прекратить голодовку.

Таким «критическим» днем «сухой» голодовки являлся, по указанию общего старостата, девятнадцатый день: дальнейшее продолжение голодовки грозило смертью.

Получив указание общего старостата, старосты камер решили проблему медицинского осмотра заключенных следующим образом: в тех камерах, в которых есть свои врачи, они это и сделают, а в камерах, где их нет, решено было использовать межкамерные прогулки, во время которых можно будет



воспользоваться услугами врачей, фельдшеров и даже студентов-медиков, сидевших в разных камерах. В общем, эта, по существу формальная, проблема была разрешена.

Нашей камеры она не касалась, так как у нас имелся свой врач, меньшевик И. Попов. Он осмотрел всех нас и разбил по «категориям», как этого требовал общий старостат, установив для каждого «критический» день голодовки. Почти все мы, молодые, были отнесены к девятнадцатидневной категории, т. е. имели право кончить голодовку через 19 дней, после которых, шутливо пояснил доктор, «можно Богу душу отдать».

Когда во всех камерах подготовились к голодовке, общий старостат через дежурного офицера послал начальнику политизолятора заявление о начале с 1 августа «сухой» голодовки протеста против введения новых режимных правил в Тобольском политизоляторе.

Через два дня, 31 июля вечером, по «почтовому конвейеру» было передано указание общего старостата о начале голодовки с утра следующего дня. Тут же после получения этого указания заключенные из всех камер начали выставлять в коридор все имеющиеся продукты, баки и чайники с водой. Наш староста С. С. Студенецкий лично проверял все тумбочки, чтобы убедиться, не осталось ли в них чего-либо из съестного. Извиняясь за «бестактность», он объяснил, что сделал это во избежание провокации со стороны начальника политизолятора, если он вздумает произвести обыски в камерах, обнаружить спрятанные продукты и тем самым дискредитировать политических заключенных. Итак, с утра 1 августа голодовка в Тобольском политизоляторе началась.

Но и начальство политизолятора к ней подготовилось. Если раньше в коридорах дежурило по одному надзирателю на каждом этаже, то теперь, кроме надзирателей, здесь появились и дежурные офицеры. На наружных вышках, как нам видно было, были выставлены пулеметы. Ночью территорию политизолятора осветили прожектором. Коридорные надзиратели предупредили все камеры, что заключенным запрещено подходить к окнам, чего раньше не было. Словом, само начальство политизолятора почему-то нагнетало нервозность и напряженность.

А между тем, внутри политизолятора наступила какая-то необычная тишина. Только наш «почтовый конвейер» интен-

сивно работал. К нам в камеру и через нашу камеру в другие — шли записки от общего старостата.

Через день после начала голодовки, по указанию общего старостата, должна была начаться демонстрация заключенных, чтобы оповестить жителей Тобольска о том, что в политизоляторе «что-то происходит». Было решено ровно в 12 часов дня распахнуть во всех камерах окна и начать хором пение старых революционных песен. С высоты холма, на котором был расположен политизолятор, над маленьким городком, каким был тогда Тобольск, разнеслось четырехсотголосое пение революционных песен, певшихся когда-то политическими заключенными в царских тюрьмах. А уж кому, как не тобольчанам, знать, к чему призывали эти песни в царские времена. А это было в теплый выходной день, когда на улицах всегда много народа.

Это, видимо, всполошило не только начальника политизолятора, но и местное ГПУ и всё городское партийное руководство. Но все они были бессильны пресечь «беспорядки» в политизоляторе. Начальник вызвал в штаб председателя общего старостата и требовал, чтобы прекратилось «это пение», так как ни он, ни кто-либо иной в Тобольске не может отменить распоряжение ОГПУ. Но он, со своей стороны, уведомил Москву о голодовке в политизоляторе и теперь ждет дальнейших указаний ОГПУ. Об этой встрече по «конвейеру» было доведено до сведения старост камер.

Голодовка продолжалась. Два дня она переносилась еще более или менее легко — надо иметь в виду, что это была «сухая» голодовка, когда во рту не было ни капли воды. На третий и особенно на четвертый день началось резкое ослабление всего организма. Несмотря на то, что мы все уже с первого дня голодовки по указанию нашего врача крепко затянули свои животы полотенцами и ремнями и почти круглые сутки лежали на кроватях, ослабление организма продолжалось, началось какое-то «помутнение» сознания, и я только подсчитывал, сколько дней прошло с начала голодовки, скоро ли наступит мой «критический» день. А до него было еще ох как далеко.

Но такие «критические» дни ни у кого из голодающих не наступили. На седьмой день голодовки в коридоре послышался звон ключей: открываются и закрываются одна камера за другой... Открывается дверь и нашей камеры. Входит на-

чальник политизолятора и без всяких предисловий зачитывает телеграмму, подписанную тем же Ягодой, что распоряжение об изменении режима в Тобольском политизоляторе отменяется. Так закончилась наша голодовка в августе 1926 года.

В общий старостат поступило распоряжение политизоляторского врача об установлении трех переходных дней от голодовки к нормальному питанию заключенных. В течение этих трех дней «казенное» питание было следующим: на завтрак только сладкий чай с молоком и белыми сухарями и манная каша, в обед и ужин – куриный суп с такими же сухарями и кашей. Из общей «коммуны» абсолютно ничего. И только на четвертый день после голодовки камеры были переведены на прежнее питание. А староста камеры разрешил в дополнение к нему использование продуктов из «коммуны».

Жизнь в камере, как и во всём политизоляторе, вошла в прежнее русло.

\*            \*  
\*

На этом и можно было бы закончить рассказ о Тобольском политизоляторе, так как через восемь месяцев после голодовки, в начале июня 1927 года, меня этапом отправили в Москву, в ОГПУ. Но во время этапа имело место необычное событие, на котором я не могу не остановиться.

Из Тобольского политизолятора нас этапировали троих: меня, еще одного эсдека и одного еще такого же молодого эсера. До Тюмени мы ехали, как обычно, очень медленно, поэтому опоздали к почтовому поезду, в составе которого всегда были арестантские вагоны. В ожидании следующего проходящего поезда на Москву конвоиры поместили нас в комнату в железнодорожной милиции.

Но вот пришел почтовый поезд Иркутск – Москва, в составе которого было два арестантских вагона. Тобольский конвой передал нас начальнику конвоя этих вагонов, который нас, троих политических, поместил в отдельную камеру-«клетку». Не успели мы еще расположиться в этой двухъярусной камере, как к нам входит начальник конвоя и обращается с совершенно необычной «просьбой»: он хотел бы поместить к нам «двух интеллигентных барышень», которых он везет из

Иркутска и не может больше видеть, как над ними в женской камере издеваются уголовницы и проститутки. Их всё время заставляют выносить из камеры параша, мыть полы в камере, стирать им белье и т. п. Он знает, что хотя его намерение поместить в нашу камеру этих двух девушек является грубейшим нарушением устава конвойной службы, но он исходит из того, что «имеет дело с политическими ребятами». Стоит и ждет нашего ответа. Мы, конечно, дали согласие.

Через несколько минут к нашей камере красноармеец и начальник конвоя подносят несколько небольших свертков и два чемоданчика, а с ними подходят и две «барышни». Конвоиры впустили их в камеру, поставили их вещички и, не произнеся ни слова, удалились.

Мы тут же подхватили вещички девушек, поставили их на нары и подошли знакомиться с нашими неожиданными попутчицами. Оказывается, начальник конвоя, выведя их из женской камеры, сообщил им, куда он их переводит, и по их общему состоянию видно было, что они довольны своим «переселением». На нас же они произвели очень хорошее впечатление. Несмотря на то, что они столько времени маются на этапе с уголовницами, а мы-то знаем, что это за «чудовища в юбках», наши спутницы не потеряли даже своего внешнего облика: они были аккуратно одеты, хорошо причесаны. Словом, во всём их внешнем облике видна была какая-то интеллигентность. Но пока было не до разговоров. Мы показали им их места на нижних нарах, а сами, со всеми своими монатками, полезли на верхние нары.

Но вот прошло какое-то время, наши спутницы «зашевелились», и мы сочли возможным спуститься вниз и здесь с ними познакомились. Одну из них звали Ксения, другую – София. Обеим им было лет по двадцать пять. В ходе беседы они рассказали, что были дочерьми чиновников бывшего Управления Иркутского губернатора. В начале Февральской революции обе были воспитанницами Института благородных девиц. Во время гражданской войны в Восточной Сибири вышли замуж за молодых офицеров армии генерала Семенова, которые с отступающей семеновской армией ушли в Маньчжурию. А их молодые жены, по стечению обстоятельств, застряли в Советской России. И вот теперь, почти через семь лет, ГПУ вспомнило их родословную, и их теперь в этапе с проститутками вывозят на Соловки из Иркутска, где они тогда уже работали

машинистками в коммунальном отделе города. ЗА ЧТО?!... Человеческому разуму и морали – это непостижимо!

Всю дорогу ст Тюмени до Москвы мы вместе питались, точнее мы их «подкармливали» теми продуктами, которыми нас в достатке снабдили в политизоляторе, провозая в этап. А у нас было чем «попотчевать» наших спутниц – ведь у них-то ничего, кроме селедки и черного хлеба, выдаваемых этапникам, не было. В общем, настроение было такое, что нас везут не в арестантском вагоне.

Но вот – Москва. Казанский вокзал. Здесь нам предстояла неизбежная разлука и, конечно, навсегда. Видим, наши спутницы загрустили, вытирают слезы на щеках. И нам, глядя на них, стало как-то «не по себе»...

Арестантские вагоны паровоз отвел на дальние запасные пути вокзала. Здесь началась «выгрузка» этапников. Началась она с многочисленной партии уголовников и бытовиков и отдельной большой группы проституток. А нас пятерых два конвоира отвели под навес какого-то сарая, где мы еще довольно долго могли поболтать в ожидании «черных воронов». Здесь к нам подошел начальник конвоя и сказал, что нас троих отвезут на Лубянку, а девушек – на Таганскую пересылку. Сказал и тут же ушел. Нас это сообщение обрадовало: значит, Ксению и Софию везут не на Соловки, так как Таганка имела других «адресатов». Мы это нашим спутницам разъяснили, и они даже закричали от радости: «Слава Богу!! Куда угодно, лишь бы не на Соловки!»

Подкатил «черный ворон». Наши спутницы, не обращая внимания на присутствие конвоя, заплакали, подошли к нам,жимают на прощание руки. «Прощайте. После стольких мытарств мы впервые встретили людей. Мы будем помнить всех вас всю нашу жизнь». Но окрик начальника конвоя из кабины машины: «Скорей, садитесь!» – прервал наше прощание. Мы наскоро в последний раз пожали нашим спутницам руки. Вскочили с конвоирами в машину. «Черный ворон» рванул с места. А в мозгу сверлила мысль: «Каковы будут их дальнейшие судьбы в Советской России?..» Эта неотвязная мысль терзала меня вплоть до Лубянки.

Когда нас троих привезли на Лубянку, то, конечно, тщательно обыскали и, как это водится во внутренней тюрьме, рассадили по разным камерам. Более недели я сидел в общей камере с однородной «публикой», состоящей, в большинстве своем, из проворовавшейся «номенклатуры». Особенно приятным такое соседство не назовешь, слушать их скулеж и взаимные уверения, что все они арестованы по «недоразумению»...

Но вот меня вызывает на допрос мой прежний следователь майор Ковалев. Когда молодой лейтенант вывел меня из камеры на лифтовую площадку, мне бросилась в глаза сплошная металлическая сетка, ограждающая пролет лифта, которой в прошлые разы я на Лубянке не видел. Я спрашиваю лейтенанта: «Что это у вас за изменения, по сравнению с прошлыми годами?» – и показываю на сетку. «Правильно, – отвечает лейтенант, – раньше этого не было. Это было сделано после самоубийства Савинкова, которого повели из внутренней тюрьмы на допрос, и он бросился в межэтажный пролет».

Этот разговор с лейтенантом, конечно, не имеет прямого отношения к теме моей статьи. Я привел его лишь в связи с различными версиями о самоубийстве Бориса Савинкова во Внутренней тюрьме ЧК на Лубянке.

## *Иерусалим*

ГОЛЬЦ Илья Соломонович – родился в 1896 году в Саратове. Был одним из последних участников социал-демократического подполья в Петрограде. Трижды сидел, последний раз – с 1948 по 1956 год. С 1973 года живет в Иерусалиме.

## СВОБОДА ДУХА И ДЕЙСТВИЯ

В издании CATO Institute, в переводе с английского под редакцией А. Бабича, вышла в 1985 году на русском языке небольшая книга «Фридман и Хайек о свободе». Книга представляет собой ряд глав из основополагающих сочинений обоих широчайше известных на Западе авторов – Нобелевских лауреатов по экономике. Читателям, которые заинтересуются проблемами, занимающими М. Фридмана и Ф. А. Хайека на протяжении всей их научной жизни, издатели рекомендуют их основные сочинения и обширный список дополнительной литературы, в том числе – и в переводах на русский язык. В книге (отметим отличный дизайн Анджея Краузе) поставлен и сообразно воззрениям авторов разрешен вопрос, ответ на который к середине 80-х гг. XX века был многократно дан и теоретически, и практически. Тем не менее, для миллионов умов он продолжает оставаться вопросом неразрешенным, а множеством лиц и народов решается угрожающе ошибочно. Мы не говорим о пассивных миллионах, если не миллиардах людей, которые этим вопросом вообще не задаются. Вопрос этот, многоаспектный и многоликий, сводится к выбору того, *каким способом* должна быть организована экономическая деятельность общества.

М. Фридман пишет:

«В принципе, существует лишь два способа координации экономической деятельности миллионов. Первый – это централизованное руководство, сопряженное с принуждением; таковы методы армии и современного тоталитарного государства. Второй – это добровольное сотрудничество индивидов; таков метод, которым пользуется рынок».

Это определение лишь констатирует наличие в мире двух основных форм экономической организации\*. Но оно не

---

\* При многих комбинациях той и другой формы, чего М. Фридман не отмечает.

содержит в себе оценки обеих форм. Напротив, из него неотвратно вытекают весьма непростые вопросы: обязательно ли, всегда ли, везде ли, сегодня и в будущем централизованное руководство сопряжено и будет сопряжено с принуждением? И если да, то почему это так?

Посмотрим, как решают эти вопросы М. Фридман, Ф. А. Хайек и некоторые их советские коллеги.

\*            \*  
\*

Фридман и Хайек – либералы по убеждению и мироощущению. Они либералы в классическом смысле слова, не объединяющем, как это сегодня делается, либерализм с политическим радикализмом, со склонностью к социализму и с левоориентированностью во всех социальных проблемах. Предпочтение экономической и политической свободы и демократического права любым формам принуждения (кроме таких его форм, которые в правовом порядке нейтрализуют преступную агрессивную, опасную для лиц и общества волю) – вот основа либерализма обоих авторов.

Естественно, что при таком миропонимании для них «свобода экономических отношений сама по себе есть составная часть свободы в широком смысле, поэтому экономическая свобода есть самоцель». М. Фридман, как и Ф. А. Хайек, решительно против ограничений этой свободы даже с благими намерениями и целями, ибо им обоим присуща очень острая потребность в свободе, чувство *самоценности свободы*, не каждому человеку доступное. Для них угроза индивидуализму страшна сама по себе, и свобода ставится ими выше благосостояния. Мы уже сделали оговорку, что речь идет о свободе в рамках демократического права. Но для миллионов людей концепция самоценности свободы не бесспорна. Для этих людей очень важно доказательство того, что экономическая свобода несет обществу более высокий уровень благосостояния, чем экономическая централизация. Обнаружение и объяснение этого факта возникает у обоих авторов как попутный и второстепенный довод в пользу свободы. Но в идущей в мире борьбе между централизацией и конкурентно-рыночной демократией он первостепенно важен.



Не меньшее значение имеет и утверждение М. Фридмана, что «экономическая свобода – это тоже необходимое средство к достижению свободы политической». В этом состоит и основная идея книги Ф. А. Хайека «Дорога к рабству». При этом оба автора утверждают, что свобода экономическая может и не сочетаться со свободой политической, а всего-навсего ограничивать произвол, но последняя, говорят они, невозможна без первой. Таким образом, наличие независимой частной собственности и конкурентного рынка есть, по их мнению, необходимое, но недостаточное условие существования политической демократии. Обязательно еще и легальное торжество демократических идеалов и принципов в бытии общества.

М. Фридман солидаризуется с Ф. А. Хайеком и его единомышленниками, называя централизованное планирование «коллективистским». Терминологическая или концептуальная это путаница? Оговорка или ошибка? Термин «коллективизм» и все его производные чрезвычайно притягательны для многих сердец и умов: что может быть лучше и справедливее, чем решение всех социально значимых вопросов «сообща», «коллективно», «всем обществом»? Между тем, планирование, централизованное в масштабах «большой системы» (начиная с крупного предприятия или комплекса таковых, не говоря уже о государственной экономике в целом), не бывает «коллективистским»: оно в лучшем случае олигархическое. Непосредственно «коллективистское» (с прямым участием всех членов работающего коллектива) планирование возможно в достаточно узких и примитивных масштабах – семья, малая группа участников дела, артель, кибуц (и тот с оговорками). При увеличении масштабов и усложнении разноаспектных задач объединения становится необходимой профессиональная планирующая инстанция. Она всегда оказывается стоящей над коллективом, над его деятельностью, обозревающей все процессы, которыми он занят, и уполномоченной управлять последними, не сверяясь (это практически невозможно) в каждом своем решении с мнением всех или большинства участников общего дела.

Чрезвычайно важен этико-философский аспект проблемы свободы в толковании классического традиционного либерализма. М. Фридман пишет:

«В применении к обществу принцип свободы ничего не говорит о том, как именно индивид должен пользоваться предоставленной ему свободой: это не всеобъемлющая этика. Более того, одна из главных целей либерала состоит в том, чтобы оставить этическую проблему индивиду: пусть он сам поломаёт над нею голову. «По-настоящему» важные этические проблемы – это те, что стоят перед индивидом в свободном обществе: что делать ему со своей свободой? Таким образом, либерал подчеркивает два круга ценностей: ценности, касающиеся отношений между людьми, и в этом контексте он выдвигает на первое место свободу; и ценности, которыми руководствуется индивид при пользовании своей свободой, что представляет собой область индивидуальной этики и философии».

Выше было сказано, что экономическая свобода есть *необходимое, но недостаточное* условие свободы политической. Не менее необходимо еще и наличие определенного политического строя – конкурентно-плюралистической демократии. Здесь же утверждается, что и наличие обеих свобод, экономической и политической, еще не гарантирует достойного существования человека и общества. Эта мысль вызывает почему-то яростную критику, когда звучит в устах Солженицына, хотя он вполне солидарен в ней с последовательными западными либералами классического типа. *На свободе* (по достижении экономической и политической демократии) проблема достойных человеческих и общественных отношений упирается прежде всего в качество индивидуальных, личных (нравственных, этических, экологических, прагматических) критериев. После достижения *свободы выбора* все зависит от *качества* этого выбора. Выбор же, в свою очередь, вытекает из нравственного, этического потенциала свободных людей, из их экологической прозорливости, из их потребительского заказа всем рынкам конкурентной демократии (вещественно-товарному, политическому, информационному), из их активности в отстаивании плодотворных критериев, из лично и общественно выгодного понимания ими своих обя-

занностей, из их способности к самозащите и защите свободы от внешних и внутренних посягательств. Свобода парадоксальным образом позволяет своим обладателям выбрать даже рабство (вспомним хотя бы историю национал-социализма, утвердившегося в Германии демократическим путем). В № 79 журнала «Время и мы» был помещен превосходный рассказ В. Матлина «Время Нормана Грина», показывающий, как левые квазилибералы (на деле – радикалы) США свободно выбирают сотрудничество с крайне левыми экстремистами и тем самым предопределяют свою погибель. М. Фридман, по его словам, оставляет вопрос о том, «что делать ему со своей свободой», на усмотрение и на совести каждого «индивида в свободном обществе». На самом деле он занимается своей неустанной научной, лекционной и литературной работой для того, чтобы влиять на миропонимание своих слушателей и читателей в желательном для него направлении. Благо это влияние в свободных условиях возможно, хотя восприимчивость человека к не выстраданным им собственнлично идеям невелика. Здесь, однако, нельзя пренебречь и малым.

Сегодня все большее число авторов полагает, что наиболее продуктивную, с точки зрения личности и общества, этику и линию поведения предопределяет истинная религиозность. Однако и в этом феномене не существует спасительного автоматизма. Вспомним об инквизиции, о крестовых походах, о религиозных войнах и конфронтациях прошлого. А в наше время? Исламский экстремизм создал чудовищные режимы и зачастую диктует своим адептам чудовищное поведение. В Ирландии ополчаются друг на друга две ветви христианства. В Ливане сплелись в самоубийственный кровавый ком все вероисповедания этого региона земного шара. В Израиле крайние религиозные ортодоксы нередко посягают на свободу своих сограждан и прибегают с этой целью к насилию. В поведении религиозного человека, когда он свободен иметь веру, играет решающую роль его личная модель Бога и Божественных предначертаний, *то есть опять-таки выбор*. М. Фридман и Ф. А. Хайек видят и констатируют трудоемкость свободы, ответственность, сопряженную с ней, не для всех посильную, судьбоносность социального, этического, экологического выбора, который делают свободные люди.

Рассматривая как взаимные альтернативы рыночную и централизованную экономики, М. Фридман отмечает негатив-

ную социальную роль современных западных монополий, «которые ущемляют реальную свободу, закрывая для индивида альтернативы какому-то реальному акту обмена». Он пишет:

«Пока сохраняется реальная свобода взаимобмена, главная особенность рыночной организации экономической деятельности состоит в том, что в большинстве случаев она не позволяет одному лицу вмешиваться в деятельность другого. Потребителя ограждает от принуждения со стороны продавца наличие других продавцов, с которыми он может вступить в сделку. Продавца ограждает от принуждения со стороны потребителя наличие других потребителей, которым он может продать свой товар. Работающий по найму огражден от принуждения со стороны работодателя наличием других работодателей, к которым он может наняться, и так далее. И рынок делает все это беспристрастно и безо всякой центральной власти.

Если уж на то пошло, одним из главных возражений против свободной экономики выдвигают именно тот факт, что она так хорошо выполняет эту задачу. Она дает людям то, чего они хотят, а не то, чего они должны хотеть по разумению какой-то группы. За большинством доводов против свободного рынка лежит неверие в саму свободу.

Существование свободного рынка не снимает, разумеется, необходимости правительства. Напротив, правительство необходимо и как форум для определения „правил игры“, и как арбитр, толкующий установленные правила и обеспечивающий их соблюдение».

Следует заметить, что в условиях демократии «работающий по найму огражден от принуждения со стороны работодателя» не только «наличием других работодателей», хотя последнее, конечно, чрезвычайно важно. В наше сознание прочно въелся стереотип XIX – начала XX веков: «работодатель угнетает и эксплуатирует наемного работника». Поэтому мы не склонны заботиться об ограждении интересов работодателей. Между тем при покупке труда наемного работника работодатель превращается в потребителя купленного им труда. И если наемные работники объединены в мощные монопольные профсоюзы, вне которых продажа труда данного рода невозможна, они выступают на рынке труда как монополисты и навязывают работодателям, а через них обществу свою волю – свою цену на труд, часто неадекватную их истинному трудовому вкладу. Поэтому демократическое государство должно ограничивать монополизм профсоюзов так же, как и монополизм работодателей и поставщиков любых

вещественных и духовных товаров, услуг, информации, программ и пр. Монополизм профсоюзов ограничен современным демократическим государством чаще всего в явно недостаточной степени.

\* \* \*

Принято думать, что плановая экономика (и чем более она централизована, тем в большей мере) требует активного вмешательства науки, разума, воли в хозяйственные процессы, тогда как в свободной рыночной экономике торжествует неупорядоченная «стихия». В действительности, и это ясно обоим авторам книги, на всех свободных рынках конкурентной демократии (экономическом, политическом, информационном, предлагающем сведения, идеи и образы) поставщики и покупатели (избиратели) планируют свою деятельность. Во взаимодействии их планов и интересов возникают тонкие обратные связи, обеспечивающие взаимную выгоду большинства сделок. Эти обратные связи искажаются, когда на рынке возникает монополист, убивающий конкуренцию. Они, эти связи, гибнут, когда поставщик и работодатель на всех рынках остается один – тоталитарное государство в любом его воплощении. От свободного демократического государства требуется в действительности очень много предусмотрительности, научного знания, разума, воли и полномочий, чтобы успешно действовать «и как форум для определения „правил игры“», оберегающих свободу граждан, и «как арбитр, толкующий установленные правила и обеспечивающий их соблюдение». М. Фридман и Ф. А. Хайек показывают, что подобные действия суть в значительной степени движение против экономической и политической стихии нашего века, тяготеющей к разноаспектному монополизму, частичному и абсолютному (тоталитарному). Оба автора показывают, как свободные общества современности колеблются, то впадая в неполные, но весьма ощутимые монополизацию и огосударствление экономики, то отказываясь на какое-то время от этих тупиковых тенденций, убедившись в их невыгодности для общества. Исход процесса для обоих ученых неясен, но все их

усилия направлены на убеждение общества в необходимости трудоемкого и целенаправленного процесса спасения конкурентной демократии\*.

\* \*  
\*

Следуя Адаму Смиту, М. Фридман констатирует взаимную выгодность большинства сделок конкурентного рынка (в широчайшем смысле обоих понятий: и «сделка», и «рынок»). Он противопоставляет эту констатацию манихейскому и невероятно популярному суждению Маркса, «что если один партнер получает от сделки какую-то выгоду, то только потому, что он тем самым лишает этой выгоды другого». Идея Адама Смита (Фридмана, Хайека и др.) предполагает законодательный и исполнительный контроль демократического государства за обоюдостью всех осуществляемых в обществе сделок (в границах дозволенного уголовным кодексом; остальные – преследуются). Идея Маркса (и, по М. Фридману, других социалистов) предполагает сначала «экспроприацию экспроприаторов» (по Ленину – «грабеж награбленного») и затем установление раз навсегда справедливого (?) порядка вещей. Здесь мы упираемся в неизбежно возникающие вопросы: *что значит «справедливого»? С чьей точки зрения – справедливого?*

М. Фридман говорит, что свободный рынок «дает людям то, чего они хотят, а не то, чего они должны хотеть по разумению какой-то группы». Мы уже упоминали о моральной избирательности великолепной машины конкурентного удовлетворения спроса и о важности по этой причине *качества спроса*, то есть прозорливости и нравственности людей. На свободном рынке «каждый может, так сказать, проголосовать за цвет своего галстука; ему нет нужды заботиться о том, какие цвета предпочитает большинство, и подчиняться, если он окажется в меньшинстве». Цвет галстука может быть заменен в данном примере любым вещественным или духовным товаром либо услугой.

---

\* Многие авторы считают, что наиболее эффективно этот процесс протекает в современной Швейцарии.

Этот простой пример требует, однако, ряда оговорок. Чтобы купить галстук непопулярного у большинства (и потому не представленного в массовой продаже) цвета, потребитель-оригинал или некое единодушное меньшинство таких должны быть способными оплатить индивидуальный заказ. Иначе сделка не будет выгодной для поставщика и он на нее не пойдет. Платежеспособности можно достичь, выполняя нужную другим работу, на которую есть соответствующий спрос. Демократия предоставляет работнику еще и легальные политические пути борьбы за повышение его платежеспособности. Положение радикально изменяется, когда поставщик «галстуков» (равно как и всего прочего) в системе остается один и никакого другого поставщика для потребителя не существует. Монопольный поставщик должен только убедить потребителя, что никакой альтернативы предложенному товару нет и что поиски этой альтернативы не только бесполезны, но и опасны. И тогда монополист сможет навязывать потребителю свой товар и по наивысшей возможной цене, не сообразуясь ни с чьими вкусами. Не вкус большинства тяготеет в таких случаях над одиночками и меньшинствами, а вкус и воля единственной в системе планирующей и поставляющей все товары инстанции, точнее – ее хозяев.

Нетрудно заметить, что мы упираемся здесь в проблему критерия блага и пользы (критерия оптимальности), определяющего деятельность экономической системы. Вопрос сводится к тому, один (верховный) или множество (личных и групповых) критериев будут *эффективно* циркулировать в этой системе, руководя ее деятельностью.

Та же проблема возникает в размышлениях М. Фридмана о «свободе, равенстве и эгалитарности». Он исповедует «идею равенства перед Богом», реализуемую в виде юридического равноправия граждан, и защищает «идею равенства возможностей» – в той части этих возможностей, которые предоставляются человеку обществом. Но тут же возникает оговорка, что на самом деле возможности не равны из-за неравенства людей друг другу, из-за их неодинаковости. Социалистические воззрения (подчеркнем мысль обоих авторов: до того момента, когда они полностью побеждают своих оппонентов и воцаряются в обществе) требуют еще и «равенства результата»: «Все должны жить на одном уровне, иметь одинаковые доходы, все должны заканчивать состязание с одинаковыми ре-

зультатами». В процессе построения социалистического общества (и по мере все более глубокого внедрения социалистических тенденций в свободное общество) «равенство результата», недостижимое и не достигнутое нигде, подменяется «справедливостью результата». Эта подмена вызывает у М. Фридмана законный вопрос:

«Если все будут получать „по справедливости“, то кто будет решать, что „справедливо“, а что – нет? У Кэролла простофиля Дронт в ответ на свое неосторожное заявление немедленно слышит хор вопрошающих голосов: „А кто будет раздавать призы?“ Строго и объективно определить понятие „справедливой доли“ можно только в одном случае – когда все доли одинаковы. Как только мы отказываемся от „уравниловки“, возникают те же проблемы, что и с пресловутыми „потребностями“ – каждый видит их по-своему: „у кого суп не густ, у кого жемчуг мелок“. Если все должны получать „справедливую долю“, то кто-то (один человек или группа лиц) должен решить, каков будет ее размер. Мало того, эти люди должны быть наделены властью, позволяющей им проводить принудительное „перераспределение благ“ – попросту говоря, отнимать „излишки“ у тех, кто имеет больше „положенного“, и отдавать их тем, кто имеет меньше. Разве те люди, которые принимают подобные решения и заставляют других им следовать, будут по-прежнему равны тем, за кого они решают? Не находимся ли мы на *Скотском хуторе* Джорджа Оруэлла, где „все животные равны, но некоторые из них более равны, чем остальные“?

Кроме того, если то, что люди будут получать, будет определяться „справедливостью“, а не тем, что они производят, то откуда же возьмутся призы? Что будет побуждать людей работать и производить продукцию? Как будет решаться вопрос, кому быть врачом или адвокатом, а кому собирать мусор и подметать улицы? Каковы гарантии, что люди согласятся с предписанными им ролями и будут выполнять работу соответственно своим способностям? Ясно, что добиться такого положения можно только силой или угрозой применения силы».

М. Фридман пишет о попытках ввести «справедливое», а не свободное конкурентное распределение благ (итогов общественного труда):

«Конечным их результатом неизменно было царство террора: очевидным и убедительным доказательством этого могут служить Россия, Китай, а в более недавнее время – Камбоджа. Но даже террор



не мог привести к столь желанному равенству результатов. В каждом случае в стране сохранялось вопиющее неравенство, какими бы мерками мы его ни измеряли: правители и подданные оказывались неравными не только в отношении власти и могущества, но и по жизненному уровню и праву пользоваться материальными благами.

Гораздо менее радикальные меры, предпринятые во имя равенства результатов на Западе, разделили ту же судьбу, правда, в меньшей степени. Они точно так же привели к ограничению свободы личности и точно так же оказались неэффективными. Жизнь показала, что невозможно дать определение понятия „справедливая доля“, которое не вызывало бы ничьих нареканий, или же добиться всеобщей удовлетворенности с помощью непрерывных заверений, что со всеми членами общества поступают „по справедливости“. Наоборот, с каждой очередной попыткой практической реализации принципа равенства результатов недовольство самых широких социальных кругов лишь возрастало».

Нас, однако, интересует вопрос о том, можно ли в *принципе* организовать продуктивную экономику, выработать надежные критерии оптимальности и создать эффективный механизм справедливого (?) распределения без помощи автоматических обратных связей конкурентного рынка, без его механизмов формирования цены, распределения прибыли и оплаты труда. Можно ли в границах полностью централизованной экономики сделать так, чтобы вышеупомянутые критерии не были кастовыми, олигархическими или единолично-диктаторскими, а принадлежали действительно *всему обществу*? При этом под *всем обществом* следует понимать не какую-то инстанцию, присвоившую себе право выступать от имени всего общества, а каждого члена общества. М. Фридман и Ф. А. Хайек отвечают на эти вопросы безоговорочно отрицательно. Но наша уверенность в их правоте или неправоте не будет полной, если мы не познакомимся с тем, как отвечают на такие вопросы советские ученые, которые, возможно, опередили на этом поприще своих западных коллег. Ведь у советских экономистов есть не только передовая теория (марксизм-ленинизм), но и многолетний социалистический опыт. Для того, чтобы оценить по достоинству выводы Фридмана и Хайека, нам необходимо сопоставить их с выводами советской науки. Мы рассмотрим некоторые работы начала 1970-х годов, проблематика которых остается для СССР по сей день

болезненно актуальной. Я имею в виду прежде всего работу тогдашнего заместителя директора ЦЭМИ Н. Я. Петракова «Кибернетические проблемы управления экономикой» (М., «Наука», 1974) с предисловием директора этого института академика Н. И. Федоренко.

Центральный экономико-математический институт АН СССР (ЦЭМИ) во второй половине 1960-х годов обещал партии и правительству в ближайшие годы создать научно обоснованную систему оптимального функционирования экономики (СОФЭ). При этом утверждалось, что (основанное на науке!) социалистическое общество такой системы в своем распоряжении не имеет и лишь подходит (с помощью, в первую очередь, коллектива ЦЭМИ) к научным методам определения ее параметров. В июне 1983 года на пленуме ЦК КПСС Андропов и Черненко свидетельствовали, что советская экономическая наука своей задачи не выполнила и научных основ функционирования социалистической экономики еще не выработала, из-за чего планирующие инстанции действуют во многом вслепую. При этом был подвергнут суровой критике ЦЭМИ, от которого «многого ожидали, но так и не дождались». Укоризны по адресу экономистов прозвучали и на XXVII съезде КПСС. В актуальности проблем, рассматриваемых Петраковым и Федоренко в упомянутой выше книге, мы убеждаемся, как только ее раскрываем. Одно из центральных мест в ней занимает задача выработки того критерия блага, пользы и справедливости – общесистемного критерия оптимальности, который должен лечь в основание государственного экономического планирования. В частнохозяйственной и неподдельно смешанной экономике таких критериев функционирует множество. Они вырабатываются всей совокупностью личностей, групп, организаций, инстанций, составляющих общество, и конкурируют друг с другом. В этом случае при выработке собственного критерия каждый имеет дело не со всей необъятной информацией о системе «общество», а лишь с нужной ему малой долей такой информации. Но и то он всегда ощущает большой или меньший дефицит информации и действует со значительной степенью риска. При социализме, как пишет в предисловии к труду Н. Я. Петракова акад. Федоренко, ни в коем случае нельзя игнорировать одного основополагающего обстоятельства – *«единственности народнохозяйственного критерия и сводимости к нему отдельных подцелей*

*системы*». И это понятно: если все элементы и подсистемы Целого связаны с одним «народнохозяйственным» (общесистемным) планом, то и критерий для постройки этого плана должен быть в системе один, хотя и многосоставной. План должен быть эффективным, но само понятие эффективности в приложении к плану весьма растяжимо, неоднозначно и зависит, по словам Н. Я. Петракова, от

«...принятых в обществе социальных установок. Эффективность экономики может измеряться темпом роста производства, способностью насытить потребности населения, способностью обеспечить быстрое выполнение оборонных или космических программ и т. д.»

Это невыразительное «и т. д.» может заключать в себе главные для планирующей инстанции цели и параметры плана: привилегии правящей номенклатуры, мировую экспансию и дезинформацию, шпионаж (в том числе научно-технический), поддержку агрессивных сил и режимов «и т. д., и т. д.».

В другой своей работе «Экономика и математика» (М., «Знание», 1967) акад. Н. П. Федоренко делает знаменательное признание:

«Централизация нашего народного хозяйства есть величайшее благо.

Однако, в связи с централизованностью, количество информации, с которым приходится иметь дело в процессе управления, бесконечно, – переработать ее всю просто невозможно. Но пустить эту переработку на самотек тоже невыносимо – вся система будет работать со скрипом, с пониженным КПД» (курсив мой. – Д. Ш.).

Как она и работает, добавим мы мимоходом. Н. Я. Петраков тоже свидетельствует, что в СССР «на стадии принятия решений постулат единственности критерия оптимальности проходит без всяких оговорок». Оба этих советских автора, как и их бесчисленные коллеги-социалисты, утверждают, что этот единственный критерий, который седьмое десятилетие «находится еще в стадии разработки», должен учитывать все «отдельные подцели системы», то есть все локальные критерии блага, пользы, выгоды и справедливости. Иначе его придется признать не общенародным, а кастовым. Однако нельзя объять необъятное. Огромный дефицит информации, количество которой признано и советскими учеными бесконечным, неизбежен по определению. Центральную планирующую

инстанцию, стоящую перед бесконечными объемами информации, не могут выручить даже электронно-вычислительные машины предвидимого будущего. Рекомендую читателю книгу Н. Я. Петракова, акад. Н. П. Федоренко пишет:

«Машина требует четкости мышления, строгости в формулировке задачи, логики в построении концепций. Скажем, моделируя на машине рост благосостояния населения, мы не можем ограничиться заявлением: „Хотим, чтобы жизнь улучшалась“. Необходимо сформулировать критерий уровня жизни, дать содержательную интерпретацию понятиям „лучше“ – „хуже“. Но вся эта информация является априорной по отношению к машине. Машина ее обрабатывает, но не вырабатывает. Формулирует же исходную концепцию, отражающую интересы общества, динамику потребностей, само общество в процессе целенаправленной, созидательной деятельности трудящихся. Именно поэтому в плановом хозяйстве невозможен машинный автоматизм принятия решений, точно так же, как и автоматизм рыночного механизма».

Здесь есть маленькая, но решающая передержка: «формирует... исходную информацию» для машины не «само общество», как это происходит в конечном счете в условиях действия «автоматизма рыночного механизма», а *центральная планирующая инстанция*, точнее – те, кто стоят над ней и за ней. И эта инстанция извлекать из системы всю информацию, необходимую для построения плана, оптимального с точки зрения хотя бы большинства членов общества, в условиях национализированной экономики *не может*. Такой информации слишком много. Поэтому, по словам акад. Федоренко, «один из центральных моментов книги Н. Я. Петракова – качественный анализ проблем управления в условиях неполноты информации об управляемом объекте». И неполноты не «относительной», как ниже говорит академик, но абсолютной – катастрофически существенной и постоянной. Гораздо большей, чем в условиях, когда в обществе легально функционирует и соревнуется множество критериев оптимальности.

Все это, несомненно, известно обоим советским ученым. Н. Я. Петраков как в тексте, так и в подтексте книги демонстрирует прекрасное знание западной литературы по управлению «большими системами». Ясно ему и то, что недостаток информированности планирующая инстанция может восполнить только одним способом – неизбежным включением в

свою деятельность элементов *произвола*. Мимоходом, цитируя работу Е. С. Вентцель «Исследование операций» (М., «Наука», 1972), Н. Я. Петраков замечает, что в условиях, когда недостаточна или недостоверна информация для выработки четкого общесистемного критерия оптимальности и построенного на нем плана, «наблюдается в разных вариантах один и тот же прием: *перенос произвола из одной инстанции в другую*». Это тоже знаменательное признание.

Поскольку дефицит информации в централизованной государственной экономической системе очень велик и непреодолим, то произвол неизбежен даже в том случае, если бы верховная планирующая инстанция хотела его избежать и действовать на основании истинных (?) потребностей (?) граждан. Она не сможет их узнать и будет вынуждена толковать их по-своему. При этом чем выше уровень планирующей инстанции, тем ощутимей дефицит информации и тем существенней элемент произвола в ее деятельности.

Яркий пример неизбежности этого произвола приведен в еще не изданной статье живущего в Зарубежье глубокого знатока советской системы А. П. Федосеева «Социальное равновесие (теория современного общества)». Он пишет:

*«Колоссальная хозяйственная сеть страны с ее миллионами производственных и учрежденческих ячеек, с миллиардами их связей между собой невообразимо сложна и превышает любую возможность понимания человеческим разумом, вооруженным любыми компьютерами в любом обозримом будущем.*

*Кроме того, нужно иметь в виду чрезвычайную неодинаковость и непредсказуемость людей, осуществляющих работу этой огромной планируемой сети.*

Группа математиков из Киева подсчитала, что составление полного плана для одной только Украины потребовало бы *работы населения всего мира в течение 10 миллионов лет*. Этот подсчет, однако, тоже не учитывает неодинаковость и непредсказуемость людей и непредсказуемость природных и погодных условий.

*Это значит, что действующие государственные планы и их цели всегда являются и не могут не являться произвольными, необоснованными, волюнтаристскими. (Помните „волюнтариста Хрущева“?)»*

По-видимому, речь здесь идет не просто о плане, но о плане наилучшем, выбранном из большого множества вариантов.

Замечу в дополнение к этому, что при попытке исключить из верховного централизованного планирования неизбежный в нем элемент произвола работа остановилась бы уже на предварительном своем этапе – на попытке выработать объективный отправной критерий для составления наилучшего (с чьей точки зрения?) плана. План все же, в конечном итоге, вырабатывается, но в нем поневоле учитываются (с большими погрешностями) лишь наиболее важные, по убеждению верховной власти, моменты.

Это ясно и советским исследователям, которые стыдливо подменяют понятие «верховная командующая инстанция» понятием «целое», как бы вбирающим в себя все общество, чего на самом деле не происходит. Н. Я. Петраков пишет:

«Соподчиненность элементов в экономической системе легко прослеживается по линии: работник – предприятие – объединение – отрасль – народное хозяйство. Каждое звено этой цепочки представляет собой систему с определенными характеристиками и взаимосвязями и в то же время подсистему по отношению к последующему (вышестоящему) звену. Образуется своеобразная «матрешка», состоящая из множества подсистем. Выбранный системный признак (в данном случае речь идет о соподчиненности в области управления и планирования хозяйственной деятельности) как бы объединяет все части экономической системы в единое целое. При этом соблюдается известное ленинское положение, что *„часть должна сообразоваться с целым, а не наоборот“*.

Такое „сообразование“ как раз и осуществляется в управляемых кибернетических системах через совокупность локальных критериев оптимальности. *Критерий функционирования подсистемы формируется на более высоком уровне, задается системой»*.

Последняя фраза приведенного отрывка лжет: в условиях полной централизации экономики то, что происходит «на более высоком уровне» (в конечном счете – на самом высоком уровне иерархии), отнюдь не «задается системой». Для того, чтобы критерии любых уровней управления в конечном счете «задавались системой», то есть «целым», иначе говоря – каждым из потребителей-работников (пропорционально их платежеспособности), необходим автоматизм свободного конкурентного рынка, избавленного от искажающего воздействия монополий. Для этого нужна экономическая и политическая демократия, защищаемая М. Фридманом и Ф. А. Хайе-

ком. Отождествление вершины государственной иерархии с обществом – главная лож советского официоза, в том числе и подвластной ему науки. И все прекрасно понимающий Петраков отдает этой лжи неизбежную для публикации книги дань. Только что заметив, что *«критерий функционирования подсистемы формируется на более высоком уровне»*, то есть задается нижележащему уровню *сверху*, он пишет:

«Проблема поиска критерия приобретает своеобразную окраску в тот момент, когда исследователь, поднимаясь „ступенька за ступенькой“, доходит, наконец, до уровня общественно-экономической формации. В условиях социалистической формации уже сам человек с его потребностями, общественным самосознанием является „конечной инстанцией“ в иерархии критериев.

„Все во имя человека, все для блага человека“ – начертано на знамени новой формации. И этот лозунг наполнен глубоким идейно-политическим и научным содержанием».

Здесь не подчеркивается тот фундаментально определяющий факт, что цели «на уровне общественно-экономической формации» формулирует *НЕ* «сам человек с его потребностями» и «общественным самосознанием», как он это сделал бы на свободном частнохозяйственном рынке, а «исследователь», то есть верховный уровень системной иерархии. Несмотря на присутствие той же лжи (отождествление общества с его верховной инстанцией), в следующем отрывке приоритет высшего уровня управления признан достаточно однозначно:

«Прежде всего следует отметить, что критерий оптимальности экономической системы может быть введен лишь на основе анализа всей совокупности общественных отношений, социально-экономической формации в целом. Иными словами, не сама экономика, а общество „формулирует“ цели экономической системы. С другой стороны, внутри экономики существует целая иерархия локальных критериев, соответствующая различным уровням управления (отрасль – объединение – предприятие). *Критерий каждой подсистемы „задается“ более высоким уровнем управления.*

В этом смысле описание кибернетической системы в категориях целенаправленного поведения есть обсуждение системы *извне*, со стороны или, вернее, *сверху*». (Курсив мой. – Д. Ш.)

Существует такое понятие, как драматизм идей, и он, этот драматизм, выразительно проявляется в приведенном выше сухом отрывке. Н. Я. Петраков несколько раз в своей книге определяет общество как систему *кибернетическую, то есть самоорганизующуюся*, и вместе с тем не раз утверждает, что система «обсуждается» (исследуется) и управляется *«извне, со стороны или, вернее, сверху»*. Но управление «извне, со стороны или сверху» означает, что органичное для системы свойство самоорганизации в ней подавлено. Н. Я. Петраков неоднократно сочувственно цитирует западного ученого Ст. Бира, а последнему принадлежит, между прочим, такое определение кибернетической системы:

«Кибернетическая система отличается тремя характерными чертами: она чрезвычайно сложна – до такой степени, что ее структура не поддается в деталях определению. Она чрезвычайно вероятностна – до такой степени, что, будучи сложной по строению, она становится неделимой, и каждая траектория движения системы равновероятна. Нереально предположить, что такого рода система может управляться посредством предписанных извне правил. Дело в том, что такая система по определению не поддается анализу, и поэтому не существует никакого теста, посредством которого соответствие этим правилам могло бы быть доказано. Третья характерная черта кибернетической системы состоит в том, что коренное свойство организации, проявляющейся в ней, возникает изнутри; система является самоорганизующейся» (Ст. Бир. На пути к кибернетическому предприятию. В сб. «Принципы самоорганизации». М., «Мир», 1966).

Итак, исследовать и описать адекватно *«извне, со стороны или, вернее, сверху»* кибернетическую систему нельзя. Анализ же «всей совокупности общественных отношений, социально-экономической формации в целом» требует своевременного извлечения, изучения и превращения в программу действий бесконечных объемов постоянно меняющейся информации. Если, по определению, такая система должна быть самоорганизующейся, то есть в применении к экономике – свободнорыночной, конкурентной, то все другие способы управления ею являются для нее противоестественными, навязанными ей произвольно, то есть принудительными. Советский ученый в своей книге постоянно говорит о тех же неопределенностях, которые констатирует Ст. Бир, и вместе с тем продолжает твердить о необходимости и возможности опреде-



лить единый системный критерий оптимальности для социалистического хозяйства. Главные и наиболее пессимистические мысли его тонут в псевдооптимистическом пустословии. Тем более потрясает мимоходом оброненная следующая констатация:

«Все сказанное выше дает основание полагать, что при определении аксиоматики оптимального планирования и управления постулат о наличии народнохозяйственного критерия оптимальности должен быть дополнен постулатом об априорной неопределимости этого критерия и объективной необходимости существования механизма формирования, уточнения и корректировки критерия в процессе функционирования системы».

Но ведь в том-то и дело, что, несмотря на его «необходимость», возникающую в условиях полной централизации экономики, такого «механизма» в этих условиях нет и не может быть! По признанию советского экономиста, априори найти надежный объективный критерий и на его основании построить оптимальный народнохозяйственный план для национализированной экономики нельзя по причине непоправимого дефицита информации об управляемой системе. Но «в процессе функционирования системы» количество циркулирующей в ней информации ведь не уменьшается, а увеличивается! Задача усложняется, а не облегчается. То, чего нельзя построить заранее, невозможно выработать и по ходу дела!...

Автоматический «механизм формирования, уточнения и корректировки в процессе функционирования системы» действует, пока не разрушен свободный рынок. Каждый его участник реализует свои критерии посредством своих «беру – не беру» («избираю – не избираю»), и при свободе конкурентного предложения его выбор весьма широк. А соревнующиеся поставщики стремятся (и это им удается всё с большей точностью) предусмотреть спрос в своих перспективных локальных планах, достаточно узких. И они же расплачиваются за свои ошибки. Рассчитать и формализовать все эти процессы как единое целое невозможно.

Н. Я. Петраков отмечает, что часть экономистов усматривает выход из положения в замене статистического подхода к планированию подходом нормативным. Предлагается строить оптимальный план не на изучении реальных потребностей каждого индивида и предприятия, а на предваритель-

ной выработке «научно обоснованных норм» личного и общественного потребления. С учетом, разумеется, всех тех «и т. д.», о которых сказано выше и которые предопределяются волей высшей инстанции в системной иерархии. Но исследователь тут же показывает, что нормативный подход требует изучения не меньших объемов информации, чем подход статистический, и уже по одной этой причине тоже включает в себя моменты неопределенности и произвола. Неудивительно поэтому, что ЦЭМИ обещанной им в конце 1960-х гг. СОФЭ (Системы Оптимального Функционирования Экономики) по сей день так и не выработал.

Противопоставить воззрениям М. Фридмана и Ф. А. Хайека нечто действительно убедительное советская экономическая наука *не может*. Их либеральная апология свободного рынка и критика экономической централизации находит в работах ведущих советских экономистов скорее подтверждение, чем опровержение. Тем не менее, некоторые западные экономисты (к примеру «неидеологический социалист» Дж. К. Гэлбрейт, на которого опирается Н. Я. Петраков) упорно вовлекают свои народы в ловушку того же огосударствления, которое держит советскую экономику в состоянии перманентного кризиса.

\*            \*  
                 \*

Еще одна частность эпохального спора между свободой и рабством.

В своих книгах М. Фридман и Ф. А. Хайек много пишут о функциях цен на товары и услуги как регуляторов экономических процессов, в том числе и на мировых рынках. Ими исследуются цены как носители экономической информации, как стимулирующий фактор, как регуляторы распределения. Ученые показывают, как эта гармония с ее продуктивным автоматизмом неизбежно разрушается, когда цены формируются монопольным поставщиком и начинают служить только ему. Эта односторонность неотвратимо усугубляется, когда единственным поставщиком в системе, единственным всевластным посредником между производителем и потребителем становится государство-монокапиталист.

В первые же месяцы существования советской власти Ленин недвусмысленно заявил и многократно потом повторял, что ценообразование есть инструмент государственной политики. Государство – монокапиталист не имеет не только никакой нужды конструировать цену соответственно стоимости своих товаров – оно не имеет и никакой возможности это сделать. В одних случаях оно устанавливает цену наугад, соответственно той урезанной и искаженной, всегда запаздывающей информации, которой располагает. В других (и таких большинство) оно декретирует ее в своих интересах, без всякой связи с общественными затратами на производство того или иного вида товара. Разрыв между себестоимостью и ценой, по опубликованным свидетельствам советских авторов, достигает часто сотен процентов.

Акад. Н. П. Федоренко в одной из своих книг о СОФЭ замечает, что «расчетным путем невозможно определить относительно каждого вида труда, в каком размере он создает стоимость».

Что же предлагает СОФЭ взамен этих несовершенных стоимостных показателей?

Определение цен на товары по полезности товаров для всего общества и для каждого потребителя в отдельности. Час от часу не легче.

Рыночная цена включает в себя в процессе своего многостороннего образования и потребительскую оценку, то есть оценку по субъективно осознаваемой полезности товара для покупателя.

Но как «сознательно», со стороны, централизованно соизмерить вещи по их полезности для тех, кто их купит?

Как объективизировать такую субъективную категорию, как полезность? Да еще полезность предметов материального и духовного потребления? *Каковы единицы измерения полезности?*

И как филантропическая ценообразующая инстанция СОФЭ будет «отражать» «полезность» в цене: заботясь о благе потребителя, продавать ему полезные товары дешевле, а вредные – дороже? Или, наоборот, стремясь к повышению прибыли, повышать цену на то, что люди считают для себя насущно необходимым? Академик предупреждает часть наших вопросов: «Наукой уже предложены некоторые подходы к соизмерению между собой потребительских благ по

их общественной полезности». «Потребительских благ по „общественной полезности“»? Почему же не по субъективно осознаваемой их личной полезности? «Может быть, наиболее последовательным путем решения этой проблемы является нормативный (!) подход, который предлагает активное общественное (!) воздействие на формирование потребностей, нахождение меры и последовательности их удовлетворения».

Это точно. Здесь и зарыта собака: все сильный и всеобъемлющий монокапиталист, определяющий цену труда, ассортимент и цену товаров, вкусы и образ мыслей своих рабов, неизбежно определяет еще и последовательность и меру удовлетворения потребностей общества, решая за каждого, что для него полезно, что вредно, и оперируя ценами по-ленински – как безотказным рычагом государственной политики.

\*            \*  
\*

М. Фридман пишет о свободе агитации за социализм в демократическом обществе\* и о несвободе агитации за капитализм в социалистическом государстве. Как уже было сказано, по причине тех же объективных информационных ограничений, которые не позволяют верховной власти даже при утопических благих намерениях построить хороший план, социалистическая экономика менее эффективна, чем свободная капиталистическая. Иногда государство-монополист, спасаясь от краха, допускает элементы последней – в сельском хозяйстве, в обслуживании населения, в мелкой промышленности. Но этот противоестественный симбиоз всегда остается напряженным. Как правило, рано или поздно возникает вопрос о предпочтении («кто кого?»), и государство разрушает или существенно ограничивает частнохозяйственный сектор.

---

\* Заметим мимоходом, что в свободных конкурентно-рыночных обстоятельствах можно создавать малые группы с эгалитарным распределением. Один из примеров – израильский кибуц. Другой вопрос – насколько эффективно в производственном плане такое распределение. В кибуцах во всяком случае дебатировалось в последние годы вопрос о распределении по труду, имеющий и противников, и сторонников. Подобная кооперативная независимость невозможна в условиях огосударствления экономики. Колхоз не кибуц, а государственная латифундия.

В интервью, данном В. Перельману и В. Козловскому, М. Фридман говорит:

«Вы употребляете слово „капитализм“. Мне кажется, что это неверный термин, лучше сказать „свободное общество“. Ведь Россия – это в каком-то смысле тоже капиталистическая страна, только там государственный капитализм. Если вы пользуетесь словом „капитализм“, то лучше говорить „капитализм, основанный на конкуренции“, или „свободно-рыночный капитализм“» («Время и мы» № 86, 1985).

В мире идет многолетний спор о том, можно ли назвать социализм какой-то из форм капитализма. Некоторые нелегальные советские исследователи, точка зрения которых совпадает со взглядами М. Фридмана и Ф. А. Хайека, независимо друг от друга предложили для экономической характеристики социализма ряд близких терминов: «МОНОКАПИТАЛИЗМ» – М. Черкасский, «ЕДИНОКАПИТАЛИЗМ» – Р. Пименов, «УНИКАПИТАЛИЗМ» – И. Веров (В. Демин) и др. Эти авторы, подобно М. Фридману и Ф. А. Хайеку, считают, что между капитализмом и социализмом существует одно основополагающее количественное различие, дающее качественный скачок. Если число собственников-распорядителей национального капитала сводится к единице (в пределе – к совокупной единице с иерархически распределенной инициативой, при неизменном подчинении нижележащего уровня управления – вышележащему и его критериям), – капитализм конкурентно-рыночный, или свободный, вырождается в социализм – систему «моно»-«едино»-«уни»-капиталистическую со всеми ее тупиковыми парадоксами.

Подчеркнем еще раз, что эти парадоксы в своих недоразвитых, но достаточно болезненных формах возникают задолго до полной социализации экономики – по мере укоренения в еще политически и отчасти – экономически свободном обществе многообразного монополизма: государственного, корпоративно-трестового, профсоюзного. М. Фридман и Ф. А. Хайек принадлежат к числу тех мыслителей, которые остро чувствуют эти сигналы неблагополучия и неустанно говорят обществу о грозящей ему опасности утраты свободы, а вместе с ней и благосостояния, уже сегодня ущемляемого монополизмом. Будем же благодарны им за это.

**ШТУРМАН Дора** – историк и публицист.

Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году, будучи студенткой университета, была осуждена в Алма-Ате на пять лет за исследование творчества Б. Пастернака, В. Маяковского и Э. Багрицкого, связанное с системным анализом советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу в сельских и городских учебных заведениях Украины. Одновременно продолжала нелегально заниматься исследованием ряда фундаментальных проблем советского строя.

В Израиле с марта 1977 года. В настоящее время работает в Иерусалимском университете.

На протяжении 1977 – 1986 гг. Д. Штурман опубликовала в журналах и газетах Израиля, Зап. Европы и США более ста статей и издала пять книг. Часть этих работ была нелегально переправлена за пределы СССР в 1975 – 1977 гг.

**Новая повесть:**

**Д. А. Антонов**

**СЕГОДНЯ**

*(22 июня 41 – Чернобыль)*

Изд-во Чеховград, 1986, 208 стр.

Цена 12 н. м., во всех книжных магазинах

**Катастрофа – как неизбежное и закономерное  
последствие тоталитарного режима, отсутствия  
информации, свободы.**

# Искусство

Азарий М а р ь я м о в

## ОРУЖИЕ ПРОПАГАНДЫ И АГРЕССИИ

*(Прошлое и настоящее советского документального кино)*

Тотальный режим ставит своей целью контролировать все стороны жизни своих подданных посредством господства над их чувствами, мыслями и мнениями.

*Джон Дьюи*

Бесспорно, Советский Союз обладает самым развитым документальным кинематографом, созданным партией для идеологического наступления на Запад, пропаганды и дезинформации. Автор этой идеи, Ленин, быть может, как никто другой, понимал, выражаясь современным языком, влияние массовых средств информации на людей.

Еще в 1904 году, пишет в своих воспоминаниях В. Бонч-Бруевич, Ленин высказал мысль, что «кино до тех пор, пока находится в руках пошлых спекулянтов, приносит больше зла, чем пользы, нередко развращая массы»\*. Как он мечтал заполнить это дешевое мобильное зрелище, проникающее в те слои населения, которым были «не по карману» другие виды развлечений. Ленин отчетливо сознавал, что кино неминуемо будет приобщать миллионы к общественно-политической жизни, обогащать их представление о мире. Он видел, как в крупных, а затем и в более мелких городах открывают «электротeatры» и «иллюзионы». Народ в них валом валит, сеансы продолжаются с полудня до глубокой ночи. И Ленина, наверное, бесило, что он не может использовать новое средство массовой информации.

---

\* Из сборника документов и материалов «Самое важное из искусств», стр. 93.

«Когда оно (кино) будет в руках настоящих деятелей социалистической культуры, то явится одним из могучих средств просвещения масс». Такую уверенность Ленин высказал в той же беседе с Бонч-Бруевичем. Конечно же, речь могла идти о просвещении в духе коммунизма, подготовки масс к большевистской революции. Заполучи он кинохронику в свои руки, он знал бы, какими словами сопроводить съемки «Юбилея королевы Виктории» или «Землетрясения в Мессине».

Пропагандистские и дезинформационные методы современного советского документального кинематографа берут начало с более раннего времени – с той поры, когда Ленин еще только сколачивал свою «партию нового типа». Это можно проследить по его отношению к печати. Он создал «Искру», газету, которая не имела ничего общего с общепринятыми принципами обычной прессы, публикующей объективную информацию и являющейся рупором общественности. «Искра» печатала материалы, статьи, заметки, информацию – которые нужны были Ленину и его приспешникам. «...Мы не намерены сделать наш орган складом разнообразных воззрений. Мы будем вести его, наоборот, в духе строго определенного направления. Это направление может быть выражено одним словом: м а р к с и з м...»\*

Эту мысль, высказанную в 1900 году, Ленин повторил применительно к документальному кино вскоре после захвата власти большевиками. Беседуя с Луначарским, он разъяснил, как должно развиваться производство фильмов: «Первая (цель) – широко осведомительная хроника, которая подбиралась бы с о о т в е т с т в у ю щ и м (разрядка моя. – А. М.) образом, т. е. была бы образной публицистикой в духе той линии, которую, скажем, ведут наши лучшие газеты»\*\*. В хронике он видел газету на экране. Может быть, тогда и возникла перефразированная поговорка «Пленка всё стерпит».

С этого времени советские документалисты и показывают жизнь со знаком плюс. Никаких минусовых штрихов, никаких фактов, могущих хоть как-то скомпрометировать советскую власть. Именно в таком духе была смонтирована хроника Октябрьских событий и в количестве десяти экземп-

---

\* Ленин, Собр. соч., изд. IV, том 4, стр. 329.

\*\* Сборник «Луначарский о кино», стр. 124.



ляров отправлена в Америку. Сделано это было по личному распоряжению Ленина. Не трудно догадаться, что захват власти кучкой авантюристов-большевиков выглядел в этой хронике как народное волеизъявление. Не типичное ли это проявление соцреализма еще до того, как этот маловразумительный, хоть и звучный термин, ставший пугалом для писателей и художников, был учрежден Горьким? Советские философы и спецы по эстетике утверждают, что так называемый соцреализм поначалу сложился в литературе, а уж потом переключался в другие искусства. Смее утверждать обратное. Именно документальный кинематограф стал родоначальником «отражения жизни в ее революционном развитии».

Сей «творческий» метод категорически требует от художника искать и находить среди социалистического моря сорняков хоть один цветок. И так воспеть его, чтобы всем стало ясно: придет час, и вместо сорняков будут одни цветы. А для этого, звали фильмы, надо перепахать жизнь. Не щадя ни себя, ни других, трудясь впроголодь, разутыми и раздетыми во имя будущей красоты на земле. Соцреализм и дезинформация – брат и сестра, одного поля ягоды. Вот и рыскали по стране операторы, выискивая одинокие «цветы будущего», выдавая их на экране за прекрасные сады, «где так вольно дышит человек». Делали сознательно, считая, что это их святой долг перед человечеством, которое рано или поздно партия обязательно приведет к коммунизму.

Внедрение социализма не шло гладко. Были художники, которым эта «идея» была чужда и непонятна. Не мог принять партийную установку один из пионеров документального кино режиссер Дзига Вертов. Отнюдь не потому, что был настроен против партии или идеалов коммунизма. Он с радостью готов был служить советской власти, но своим художественным видением. Ему претили стандарты в искусстве.

Трафаретные съемки без каких-либо операторских приемов, примитивный монтаж, зачастую длинные надписи (напоминаю – тогда еще кино было «немым») – всё это не удовлетворяло. Ветров искал новые формы, экспериментировал. Одни его работы удостоивались похвалы, другие – начисто отвергались. Хвалили за фильмы, хоть и сделанные не по привычным пропагандным стандартам, но все же близкие партийным задачам. Такие, как «Шагай, Совет!», «Шестая часть света» и особенно «Три песни о Ленине». В последней картине

Дзига Вертов достиг исключительной художественной выразительности. Синхронный рассказ бетонщицы с Днепрогэса стал классическим.

За другие ленты Вертова били. Нещадно. За «Киноглаз на разведке» (первую из задуманной им киносери «Жизнь врасплох»), за «Одиннадцатого» и за «Человека с киноаппаратом». В «Киноглаз» он включил такие эпизоды, как слон на улицах Москвы, фокусник на бульваре, танцующие бабы на окраине города... Вертова обвиняли, что он гонится за аттракционами, хочет сделать фильм более «смотрибельным».

На самом деле он искал в таких эпизодах новые возможности операторского искусства. А ему кричали: «Какое отношение к советской власти имеет слон? При чем тут фокусник? По какому поводу танцуют бабы?» Высокое киноначальство и критика усматривали в «Киноглазе» искажение партийных идей. Никто не хотел понимать, что подлинный художник не может творить, не экспериментируя.

В «Человеке с киноаппаратом» Вертов стремился показать, как увлекательна профессия кинооператора. Он повсюду бывает, снимает, видит жизнь в непривычных ракурсах. Получилась удивительно интересная лента, яркая, захватывающая. Она запечатлевала подлинные куски действительности. Смелый, невиданный до того монтаж еще усиливал эмоциональность. Картина шла без надписей. Вначале Вертов вставил их, как он рассказывал автору этих строк, но потом увидел, что они замедляют темп.

«Человек с киноаппаратом» произвел удручающее впечатление на партийных чиновников. «Почему нет надписей? Что могут подумать зрители о происходящем на экране? Какие мысли может вызвать фильм? Не крамольные ли?» Вертова стали обвинять в разных «измах». На это советские критики, как известно, большие мастаки. От него потребовали агитации в «духе лучших газет». Никто не хотел понимать, что «для разных форм искусства существуют и соответствующие им ряды поэтических мыслей», как писал Достоевский.

Дзига Вертов экспериментировал потому, что создавал язык молодого искусства. Пройдут годы, и его художественные открытия войдут в арсенал кинематографии. Но тогда его ругали беспардонно. Преследовали еще и потому, что не мог Вертов принять идею «отбора фактов». Он хотел – и, пока мог,

делал это – снимать жизнь без прикрас. Художественное кредо Вертова не могло примириться с соцреализмом, и его «ушли» в забвение. Счастье еще, что он не подвергся участи Мейерхольда, талантливейшего экспериментатора в театре.

Начиная с 1935 года Вертову не разрешают делать фильмы. Ни полнометражные, ни короткометражки. Во времена пресловутой борьбы с космополитизмом о нем вспомнят, чтобы еще раз заклеить человека, который «не с нами». В последние годы жизни Вертову, как милостыню, позволяли иногда смонтировать журнал «Новости дня».

Историки кино до сих пор не могут простить Вертову его поисков (без которых искусство мертво). Но и не могут умолчать о нем. Может быть, потому, что на Западе высоко ставят его творчество. Во Франции, в частности, по примеру Вертова возникло движение «Синема верите». Как-то неудобно ничего не говорить о нем в СССР. Авторы «Краткой истории советского кино» пишут: «Как ни сложен и не противоречив творческий путь Вертова, его заслуги перед советским кино очевидны и не могут быть переоценены»\*. Сказано с оговоркой, чуть ли не со скрежетом зубным.

Отбрасывая в сторону тех, чье творчество не вмещалось в прокрустово ложе соцреализма, советский кинематограф становился все более лживым. Ленин требовал отбирать хронику «соответствующим образом», Сталин внес свои коррективы. Он ясно дал понять, что не хочет видеть грязных улиц, облупленных домов, допотопных заводов, бедных деревень и просто... некрасивых людей. Человек страны социализма должен быть статен, красив лицом.

Вспоминается статья в журнале «Работница» об идеале советской женщины. Поначалу, конечно, говорилось, что она должна быть сознательным строителем социализма, всюду и везде проявлять себя наравне с мужчиной. После подобных рецептов давались советы, каким должен быть внешний облик советской женщины. Она должна быть стройной, красиво ходить, высоко держать голову, нести грудь с достоинством и гордостью (как знамя!). Не ручаюсь за точность, дело было давно, но смысл именно такой.

Едва завидев на улице старую согбенную женщину или молодую с кошелкой, инвалида на костылях, бедно одетого

---

\* «Краткая история советского кино», стр. 112.

мужчину, операторы тут же прекращали съемку. Не дай Бог, если на экране возникало что-нибудь подобное. Сталин становился мрачным, молча вставал и тут же покидал просмотровый зал, никому ничего не объясняя. Поведение вождя было достаточно красноречивым.

Сталин унаследовал ленинское отношение к кинематографу как к важнейшему средству пропаганды. И хотел, чтобы на экране заводские цеха блистали новыми, ультрасовременными станками, чтобы рабочие и колхозники трудились ловко и сноровисто, по полям ходили тракторы и комбайны, неизменно росло довольство. ...На экране, заменявшем ему действительность!

Кинохроникеры, «организуя» кадр, должны были украшать интерьер, менять облик героя. Заставляли работать на одном поле несколько комбайнов, чтобы получился «могучий» кадр. Наряжали в студийные комбинезоны трактористов – так они выглядят приличнее. Вынуждали заводское начальство заново побелить грязную стену у станка, где работает знаменитый «ударник». Привозили в далекий кишлак электрический утюг и настольную лампу – доказательства городской цивилизации. Получив задание снять свадьбу в рабочем поселке, старательно выбирали среди многих пар наиболее красивых, статных, лучше одетых жениха и невесту. С лучшей анкетой.

Товарищ Сталин желал, чтобы на лицах людей, красивых советских людей, цвели улыбки и глаза их сияли радостью. Чтобы всем своим существом они выражали благодарность партии за новую счастливую жизнь, славил его, мудрого отца. Документалисты начали фальсифицировать советскую действительность. Факты уже не подбирались, а с о з д а в а л с ь. Из обычного соцреализм превращался в развитой. Вот, что вы узнаете, просмотрев старые кадры хроники.

На заводах и фабриках трудятся ударники пятилеток.

Каналы прокладывает свободные люди, с энтузиазмом.

В Сибири, Заполярье, на Дальнем Востоке города воздвигают комсомольцы-добровольцы.

Повсюду – новые магазины. Продуктов и промтоваров – все больше. («Жизнь стала лучше, товарищи, жить стало веселее».)

Безмерно счастье латышей, эстонцев, литовцев – они вошли в семью советских народов и обрели рай на земле.

Советская армия – сильнейшая в мире («Ни пяди своей земли не отдадим»).

На войне советские воины, все, как один, защищают Родину отважно. В плен никто не сдается. Потери незначительные.

Советское государство настолько сильно, что не дает разбушеваться природным стихиям на своей территории. В другом месте – пожалуйста!

Посмотрите тысячи метров хроники (хроники!) – вы не увидите ни одного кадра восстаний крестьян против колхозов, голода на Украине или в Сибири, труда заключенных на «великих сталинских стройках», очередей у магазинов, окруженных гитлеровцами советских полков, дивизий и даже целых армий, землетрясения в Ашхабаде... Словно всего этого никогда и не было. Точно так же, как не было и нет в СССР коммунальных квартир, пожаров, толкучки в часы пик у автобусных остановок, пьяниц, лежащих на тротуарах... Стране социализма чужды подобные явления.

Со времени Ленина документалисты хорошо знают, о чем надо умолчать. Они – советские киножурналисты. Их хроника подобна «Правде» или «Советской культуре». Это только один из способов дезинформации. В ход пошла фальсификация, так называемое восстановление факта, или, проще говоря, инсценировка. Обычных людей, отнюдь не артистов, вынуждают играть самих себя. Чего только ни творили и не творят режиссеры и операторы под этим предлогом!

Режиссер Варламов, снимая большой фильм о Румынии, инсценировал, то бишь восстановил, встречу населением Бухареста советских войск. Подобное событие, куда меньше по масштабу, имело место во время войны, а Варламов снял сей «факт» спустя несколько лет. Конечно, не без помощи тогдашнего генсека Георгию-Дежа. Все коммунистические лидеры одним миром мазаны.

Представляете себе, как бесновались партийные функционеры столицы Румынии, выгоняя на улицы тысячи людей для участия в этом спектакле. Причем с цветами и наспех разрисованными транспарантами. Вот была потеха для советских солдат и офицеров, маршировавших среди ликующих толп. Но цель была достигнута – эпизод «Радостная встреча» символизировал в е ч н у ю дружбу народов Румынии и СССР. Не

мог предполагать старательный режиссер, что его картина отнюдь не помешает охладить любовь румын к СССР.

Другой разительный пример. Режиссер Григорьев снимал в Узбекистане полнометражную картину о строительстве газопровода. Зрительный материал, понимал он, весьма однообразен. Надо драматизировать действие. Хорошо бы какой-нибудь захватывающий эпизод. Прослышал режиссер, что в начале строительства на каком-то участке случился небольшой пожар. Идея! Только зачем же небольшой? Пусть пламя бушует всю, огонь подымается до самого неба. Начальство стройки пошло навстречу: для него документалист – это начальство. В тайге подожгли одну из дальних скважин, откуда вырвался газ. Рабочие кинулись гасить бушевавшее пламя, не дожидаясь пожарной команды. Советский человек воспитан на том, что казенное имущество, пусть даже старая бурильная установка, дороже жизни. Вскоре примчались и пожарники, не подозревая, что разыгрывается спектакль по воле режиссера. Хорошо, что обошлось без жертв. Инициатор радовался. Получился эмоциональный и поучительный эпизод. Берите, дескать, пример с героев. Вот что означает творческий термин «восстановление факта».

Сколько таких «восстановлений» было в полнометражных картинах о союзных республиках и отдельных регионах, снятых по желанию Сталина. Они заменяли ему путешествия по стране, которых он избегал. Трудно представить себе, что вождь не понимал природы этих лент, где все выглядело красиво. Не забудем, что они снимались в первые годы после войны, когда до полного восстановления разрушенных войной городов и сел было еще далеко. Резкое несоответствие между жизнью и экраном Сталина не тревожило. Ему нужны были эти цветные картины, чтобы воспеть советскую власть и партию, гениальность его самого.

В этом и только в этом была функция лент, которые отнюдь не представляли искусства. Они были схожи точно близнецы. Да и как иначе? Одно и то же содержание: промышленность, сельское хозяйство, культура. Три основных раздела, разложенные, как говорят кинематографисты, по полочкам.

По существу, это были отчеты, дутые киноотчеты. Сталин их внимательно смотрел. Нередко делал замечания, вносил поправки. Однажды удивился после просмотра одной кар-

тины. Кажется, о Казахстане – почему нет скачек, что там, лошадей не любят?! Картину не выпустили на экран, пока с помощью республиканского начальства не сняли скачек. После такого непредвиденного случая режиссеры, приступая к работе над очередным опусом, тщательно выясняли, любят ли в данной республике лошадей. Иные режиссеры просто включали скачки в свою ленту. Кашу маслом не испортишь.

После просмотра полнометражного фильма о канале Москва – Волга вождь возмутился: что ж, строили, строили канал, а им никто не пользуется? Речное начальство испугалось до смерти. Дело происходило в ноябре, и большая часть судов стояла в затонах. Откуда было взяться грузам? Но бурное движение на канале было создано. Суда шли с Волги в Москву, из Москвы на Волгу. Работали шлюзы.

Для этого спектакля пришлось вызвать немало работников из отпуска. Все расходы, естественно, взяло на себя речное начальство. Не стоит думать, что режиссер, работая над фильмом, не догадался снять суда. Их просто не было. Строительство канала только завершилось, и навигация на нем могла начаться лишь в следующем году. Не думаю, чтобы Сталин этого не знал. Но такие мелочи его не интересовали – народ должен видеть канал в действии.

Пройдет менее четверти века после смерти Сталина, и воскреснет его идея (она бессмертна) показывать на экране цветущую жизнь союзных республик. И снова – серия дутых киноотчетов. О Латвии, Казахстане, Литве, Узбекистане, России... Требование партии к этим, с позволения сказать, произведениям не изменилось. В них те же «полочки» – промышленность, сельское хозяйство, культура. В большей или меньшей степени картины разбавлены народными танцами в исполнении государственных ансамблей и красивыми видами природы (тоже одно из достижений партии).

Боясь повтора – у всех еще в памяти сталинский цикл, – авторы нынешних фильмов изощряются. Применяют разные ракурсы съемки, быстрый темп монтажа, порой короткие надписи, используют стихи, заставляют своих героев выступать перед синхронной камерой. Но это не спасает цветные фильмы от серости. То, что у Вертова шестьдесят лет назад получалось талантливо и естественно, у эпигонов – только формально. Да и зритель другой. Тогда он, подобно Вертову, верил в идеалы коммунизма, и вертовские эмоциональные

фильмы вызывали ответные эмоции в зрительном зале. А теперь, кроме скуки, а порой и омерзения, сии лакированные поделки ничего другого не могут вызвать.

Вернемся, однако, к эпохе Сталина. У него, как и у Ленина, кино всегда было в поле зрения. По его совету был снят фильм о строительстве нового высотного здания Московского университета. Может быть, потому, что он сам предложил его возвести. С ним же связана идея снять большой фильм о ГУМе – государственном универсальном магазине, что открылся в бывших торговых рядах (визави Кремля на Красной площади). При советской власти там разместились десятки учреждений. Сталин приказал выселить их и вернуть огромному зданию его прежнее назначение.

Фильмы о ГУМе и высотном здании МГУ не были прихотью диктатора. Он хотел наглядно показать советским людям заботу о них партии и лично его, великого вождя. Правда, большому универмагу особенно нечем было торговать. Теперь-то с товарами плохо, а тогда? Это не заботило отца народов – была бы видимость. И кино помогало создавать эту видимость.

А нужно ли было в трудное послевоенное время сооружать высотное здание МГУ? Разве нельзя было обождать до лучшей поры? Москвичи жили в коммунальных квартирах. Нередко две семьи в одной комнате, в деревянных домах без удобств, порой в сырых подвалах... Не лучше ли было эти деньги, рабочую силу, да, наконец, строительные материалы использовать для жилищного строительства? Об этом Сталин не думал и не хотел думать. Он опять-таки создавал видимость заботы партии о молодежи и, вместе с тем, памятник себе. Пропаганда в железобетоне и пропаганда на экране.

Легко понять, что ничего общего с творчеством картины об МГУ и ГУМе не имели. Как ни тщились режиссеры и операторы, с экрана веяло смертной тоской. В одном случае – торговля и торговля, в другом – лаборатории, аудитории и общежития. В какой-то степени об этом допустимы сюжеты в киножурнале, в крайнем случае – десятиминутные очерки. Но полнометражная картина?! Наверно, Сталин был единственным зрителем, смотревшим эти ленты с интересом. Детища его бессмертных идей.

Вождь приказал сделать полнометражные ленты об авиационных парадах, которые происходили после войны три года



подряд по его распоряжению. С первым у хроникеров случился большой казус, о котором я уже как-то писал. Операторы снимали на черно-белой пленке. Посередине парада Сталин бросил фразу: – А что они снимают на черно-белой? Хорошо бы на цветной...

Начальник сталинской охраны генерал Власик бросился к своей машине и помчался на киностудию, что находится в центре Москвы. Вбежал в студию: – Где находится цветная пленка? Что, склад закрыт, ключей нет? Взломать немедленно! – схватил дюжину коробок цветной пленки и в Тушино. На бешеной скорости. Бросил коробки операторам и крикнул: – Снимайте трибуну, а с парадом управимся потом...

«Драгоценные кадры» Сталина и его окружения были сняты на цвет. А парад? Командовавший им Василий Сталин приказал повторить его через несколько дней. Горючее? Расходы? Этого никто не собирался учитывать. Василий носил фамилию своего великого отца, и кто посмел бы его ослушаться. Два других воздушных парада, состоявшихся в последующие годы, уже снимались на цветной пленке. Сколько парашютистов погибло во время массовых десантов, которые происходили во время парадов, об этом, уже, наверное, никто не узнает.

Картины Сталину понравились. Смотрел с видимым наслаждением. Не раз показывал рукой на экран – вот молодцы летчики. Авторов кинопротоколов, иначе их не назовешь, награждал щедро. Режиссера и операторов по медали имени себя. Его абсолютно не интересовало, что картины трижды снимали те же операторы и тот же режиссер.

Не стоит думать, что авиационные парады – просто прихоть Сталина. Это был шантаж – один из любимых его приемов. Демонстрация авиационной мощи предназначалась преимущественно для Запада, прежде всего для США. Не вздумайте с нами воевать из-за какой-то там Польши или Чехословакии! Видите, как силен Советский Союз!

Сталин хорошо умел использовать для своих целей документальный кинематограф, понимал в какой-то степени его специфику. Не любил выпренный, многословный комментарий. Предпочитал не слушать, а смотреть. Знал по себе, что изображение больше воздействует на зрителей, нежели слова. Документальное кино предпочитал художественно-игровому. В последние годы жизни приказал выпускать ежегодно не

более пяти-шести игровых лент (период малокартинья) и сделать упор на документальные.

После Сталина осталась разветвленная сеть студий кинохроники. По одной в каждой союзной республике, кроме РСФСР. В Российской Федерации – десять. Главной, так сказать, правительственной стала Центральная студия документальных фильмов в Москве (ЦСДФ). Прибавьте к этому множество корреспондентских пунктов, и вы поймете, какую поистине необычайную кинопропагандную машину создала коммунистическая партия.

Придя к власти, Хрущев приказал увеличить производство художественно-игровых картин, но хронику не тронул. Тоже хорошо понимал силу и значение кинодокумента – неважно, подлинного или сфабрикованного. Ведь всё, что раньше связано было с документальным кино, происходило при его участии. Он не был склонен широко использовать кино для разоблачения Сталина. Так, немного, частично, кое-как...

Одним из фильмов, попавших в рубрику «частично», была лента «Герои не умирают», посвященная казненным военным деятелям – Тухачевскому, Якиру, Гамарнику и другим. В ленте не было сказано, почему они погибли. По существу, это были короткие биографические киносправки. Дезинформация в виде полуправды. Останавливаюсь на этой картине потому, что во время просмотра приключился любопытный казус. Мелькнул последний кадр, и директор ЦСДФ любезно обратился к сидящему рядом с ним Буденному, приглашенному на просмотр: – Ну, как ваше мнение, товарищ маршал? – Буденный исподлобья взглянул на суетливого штатского, разгладил могучие усища и громко, с кавалерийским апломбом, рывкнул: «А осудили-то их правильно!» И, недовольный, покинул опешивший зал.

Глуп был маршал, бездарен и самонадеян, но все же дошел до той мысли, что возродится имя Сталина, его великого покровителя. Не хотел порочить затеянные вождем процессы против военных деятелей. После этого эпизода у студийного начальства, помнится, вовсе пропал интерес к разоблачению Сталина.

Кинохроникеры перестроились на новый лад – они стали возвеличивать разоблачителя. Никиту Сергеевича показывали в каждом номере «Новостей дня». О нем постоянно упо-

минали в фильмах о сельском хозяйстве, а их стали делать буквально пачками. По ним можно было сделать вывод, что скоро всего будет вдоволь – хлеба, молока, масла, мяса. «Берегись, корова, из штата Айова!» – эта подпись под рисунком в «Крокодиле», показывающем, как советская буренка лихо догоняет американскую корову, стала самой популярной.

Коровы, куры, утки, свиньи и овцы заполнили киножурналы и фильмы. В далеком горном районе Средней Азии оператор нашел яков, и диктор гордо вещал с экрана, что они дают молоко, мясо, шерсть и даже кожу. Ну, прямо универсальные животные. Студийные острословы добавляли – сценарий и текст... Благодаря кинохронике, горожане стали разбираться в сельском хозяйстве не хуже агрономов. Повсюду говорили об урожаях, удоях, кормах, особенно о знаменитой кукурузе.

Настоящие знатоки, понимая, что этот бум скоро кончится, с горечью посмеивались в усы. Они-то хорошо знали, что два-три десятка удачливых колхоза и столько же хороших совхозов не в силах остановить общую деградацию сельского хозяйства. Не поможет и кукуруза, которую по приказу свыше сажали там, где природные условия вовсе не годились. Но экран изо дня в день бил по сознанию зрителей «фактами», убеждал, что завтра, в крайнем случае послезавтра, наступит изобилие.

В тон словам Хрущева, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», студии выпускали картины-сказки, картины-байки. Кинематографисты широко использовали обобщающую силу экрана, его способность усиливать масштабы любого факта, подобно увеличительному стеклу. Фильмы предвещали скорое наступление золотого века. Дикторы вещали с экрана: «Некогда Томазо Кампанелла мечтал о „Городе солнца“. Скоро весь СССР станет страной солнца».

Первое время люди верили кинобасням. Этому способствовала «оттепель», начало большого жилищного строительства, освобождение многих ложно осужденных из лагерей, посмертная реабилитация других, короткое послабление цензуры... «Новый мир» опубликовал повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», на экраны вышел документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», в котором легко узнавались «зримые черты» социализма.

«Оттепель», как известно, была недолгой. И довольно скоро у зрителей появилась саркастическая усмешка при виде полнометражных цветных фильмов о вояжах Хрущева в Англию, США, Египет. Один культ сменялся другим... Надежда на лучшее будущее сменилась разочарованием. И никакие картины уже не могли действовать на людей, как это было в первые годы власти Хрущева.

Если при Сталине советские кинематографисты, за редким исключением, ездили в только страны-сателлиты, то Хрущев санкционировал их вторжение на Запад. Именно вторжение: они ехали туда только с одной целью – опорочить всеми правдами и неправдами «мир капитализма». Больше, естественно, неправдами. Для поездок в свободный мир часто использовались концертные турне советских артистов.

Режиссер и оператор Георгий Асатиани был «приписан» к знаменитому грузинскому ансамблю танца Сухишвили и Рамишвили. С ними он совершил множество поездок; задача – показать полный ужасов и зла мир наживы. Особенно доставалось Соединенным Штатам. Асатиани снял большой фильм «Разноэтажная Америка», густо измазав дегтем страну, где грузинских танцоров принимали сердечно.

Другой специалист по инсинуациям оператор Анатолий Калошин побывал в США с другим советским художественным коллективом. Его картина называлась «За рампой – Америка». Мораль сего произведения – и врагу своему не пожелаю жить в подобной стране. Советские фильмы убеждали зрителей, что в Америке огромная безработица, нищета, инфляция. Не из чего платить за аренду квартиры, не то что купить дом. И зрители верили. Как могло быть иначе, когда правдивая информация давно уже не проникает в СССР. Да притом советским (простым!) людям легче было переносить свои невзгоды, видя, как тяжела участь трудящихся Америки. К тому же, там пожары, преступления, землетрясения, извержения вулканов... Нет уж, страна социализма куда лучше.

При Брежневе советская кинопропаганда еще более усилила наступление на Запад. Вот один из примеров тому, отнюдь не единственный. В середине семидесятых годов кинематографистам удалось договориться с одной из американских телевизионных компаний о совместном производстве сериала документальных фильмов о Второй мировой войне. На такую сделку дал санкцию сам Брежнев.

Согласно условиям соглашения, американская сторона имела право вносить изменения и дополнения в содержание каждого фильма и всего сериала в целом. Подписали представители сторон соглашение, пожали друг другу руки, осушили по бокалу и разъехались по домам. Но мысли у тех и других были отнюдь не тождественны. Диалектика. Американцы были рады поточковать телезрителей интересными и, главное, правдивыми фильмами об участии СССР в войне. Советских же обуревали другие мысли – как объегорить американцев, избежать в картинах правды. Например, умолчать о событиях, непосредственно предшествовавших вступлению СССР во Вторую мировую войну: о нападении СССР на Финляндию, дружественном пакте Сталина-Гитлера, оккупации Прибалтики, разделе Польши... В освещении войны не касаться скользкой темы сдачи в плен больших масс советских солдат и офицеров. Не упоминать о массовом уничтожении нацистами евреев. Скромнее показать роль союзников в победе. Всего этого не так уж трудно было добиться. Сценаристы – советские, режиссеры – советские, консультанты – советские офицеры. Монтируются ленты в Москве. Материал – целиком из советского архива. Лишь американский актер Берт Ланкастер в роли ведущего представляет американскую сторону, наивно полагая, что он помогает распространению правды.

– Ну, потребуют американцы поправок и дополнений, а мы – ни в какую, вежливо, но настойчиво не будем соглашаться. Уговорим: негоже, чтобы СССР, бывший военный союзник, а ныне чуть ли не ближайший друг США (детант!), выглядел плохо. Убедим! Убедил же дорогой Леонид Ильич американцев, что СССР не собирается увеличивать свой ядерный потенциал. А тут речь идет о каких-то документальных фильмах.

Не уверен, что с абсолютной точностью передаю слова советского киноначальства. Но за смысл ручаюсь. Американцам, конечно же, не хотелось ссориться со своими партнерами. Тогда это было совсем не модно. (Впрочем, для иных эта мода – еще и сейчас закон.) Да и сроки поджимали. День и час начала демонстрации сериала уже был объявлен. Съели хозяйка американской телекомпании горькую пилюлю не морщась, а, быть может, даже улыбаясь. Знали, естественно, что фильмы – полуправда, а это хуже откровенной лжи. Но им тоже хотелось внести свою лепту в «великое дело» детанта.

А может, просто придерживались подобных политических взглядов.

Одно меня успокаивает: фильмы столь однообразны, так творчески беспомощны, что вряд ли они привлекли большое число зрителей. По приезде в США, как ни искал, не мог встретить человека, который рассказал бы о впечатлениях от этой серии. Выходит, что пропагандистский заряд не сработал полностью. Но разве в этом дело? Эта история лишний раз убеждает в изощренности советской дезинформации. Что касается Советского Союза, то военный сериал демонстрировался повсеместно. По телевидению и одновременно в кинотеатрах, рабочих и сельских клубах, на кораблях, в армии... Газеты захлебывались от восторга. На мой взгляд, этому были две причины. Первая – в сериале до небес превозносились военные подвиги Брежнева. Вторая – втайне уже замышлялось вторжение в Афганистан, и победная киноэпопея должна была вновь напомнить о военном могуществе СССР. Дорого яичко ко Христову дню.

Ну, и наградил Брежнев создателей сериала. За то, что ловко обошли подводные камни, то бишь разные неприличные моменты, и надули своих американских компаньонов. Всем по Ленинской премии. Сценаристам за сценарии, подобные унылому протоколу, режиссерам за примитивное склеивание кадров, диктору за ложно-актерский пафос, звукооператору за обычное исполнение своих обязанностей, офицерам-консультантам за строгую цензуру и бдительный контроль.

Такого массового и притом настолько неоправданного награждения (даже с советской точки зрения) «старожилы кино не упомнят». Даже явные циники, привыкшие к партийным причудам, были явно шокированы. Студийные острословы тотчас же окрестили «могучую кучку» взводом лауреатов.

Удивительно только, что Брежнев не наградил себя Ленинской премией. Он ведь непосредственный участник сего многосерийного произведения, поскольку дал интервью для сериала. Веско и, главное, честно, обращаясь к американским зрителям, сказал о страстной любви СССР к миру, что социалистическое государство не строит и не будет строить новых ракет. Оно только озабочено миром. Вот шутник-то!

Так почему же за столь правдивое выступление не присвокупили маршала Брежнева к взводу? Тем более, что по

росту мог бы стать правофланговым. Вы можете возразить, что такому важному лицу больше пристало получить Ленинскую премию за литературные труды, что и было в свое время сделано. Ну, а почему не нарушить правило и не дать ему две медали с профилем великого зачинателя советской дезинформации?

При Брежневе, затем при Андропове идеологическое наступление советского документального кино не ослабело. Наоборот, оно обрело новую силу. Операторы О. Арцеулов, В. Копалин, А. Кулиджанов сняли картину, как льется в Ливане кровь, идут бесконечные сражения всех против всех. Кто виноват? Израильская военщина. Авторы угрожают: по вине Израиля на Ближнем Востоке может вспыхнуть мировой пожар. Агитка эта имеет еще и другое назначение – способствовать антисемитским настроениям в Советском Союзе.

Целую серию картин об Афганистане сделал Малик Каюмов, чей отец и дед были верными мусульманами. И ему не совестно называть афганских борцов за свободу бандитами, а советских оккупантов – освободителями. Кто же виноват в том, что афганские патриоты подняли оружие против поработителей? Вы уже догадываетесь – Соединенные Штаты.

Александр Медведкин, покинувший Мосфильм ради легкого хлеба режиссера-монтажера документальных фильмов, один за другим печет пасквилы. Метод его прост. Ему не нужны ни операторы, ни поездки за границу. Он слишком стар для вояжей – как-никак, к девяти десяткам приближается. Медведкин берет иностранную хронику (чужую, естественно) и монтирует ее по-своему. Сталкивает кадры так, что они приобретают противоположное звучание. Извращению фактов, зафиксированных западными операторами, способствует его же собственный комментарий. Зачастую он сам читает его. Примитивное подражание Михаилу Ромму, чей фильм «Обыкновенный фашизм» был благородным и отважным деянием. У всех талантливых людей обычно бывают эпигоны-приспособленцы.

Приведу пример из жульнической практики Медведкина. В кадре Садат, только что закончивший миссию мира в Тель-Авиве. Стоя у трапа самолета, он произносит на иврите: «Большое спасибо!» Режиссер-фокусник дает встык с этим кадром разрушенные школы и больницы, ямы с трупами, плачущих женщин (все это якобы дело рук Израиля)... За экра-

ном неоднократно повторяются слова: «Большое спасибо!» Такими вот махинациями режиссер пытается убедить зрителей, что, заключив мир с Израилем, Садат изменил своему народу.

Множество подобных «фокусов» вы найдете в фильмах престарелого киноактивиста. Уже одни их названия чего стоят! «Разум против безумия», «Закон подлости», «Дружба со взломом», «Склероз совести», «Тревожная хроника»... Все эти названия вполне могут охарактеризовать политику СССР.

Последняя новинка Медведкина – «Тревога» с подзаголовком «Размышления старого человека». Посвящен сей фильм президенту Рейгану, его международной политике. И, как в прошлых лентах, все обвинения, которые свободный мир предъявляет Советскому Союзу, переложено на Соединенные Штаты. Гонка вооружений, вторжение в независимые страны, нарушения прав человека, организация международного террора, неуступчивость в переговорах...

США выглядят таким страшным волком, а СССР – мирной Красной Шапочкой. Но, если потребуются, она сможет за себя постоять и сломать волчьи зубы. Таковы размышления «старого человека», продиктованные молодцами с Новой площади.

Возникает законный вопрос: способен ли СССР пробиться со своими фильмами, прославляющими социалистический образ жизни и миролюбивые устремления Советского Союза, на Запад и в страны Третьего мира? Способен! О том, как это происходит, вы узнаете из рассказа о еще одном корифее дезинформации. Речь идет о Леониде Махначе. Он моложе Медведкина, обладает завидной тягой к карьеризму и, судя по всему, связан с КГБ давними и крепкими узами. Во всяком случае, так поговаривают на ЦСДФ.

Я ничуть не удивлюсь, если станет известно, что он майор или полковник. Кому еще позволят провести в Западной Европе два с лишним года для съемок? За это время вместе со сценаристом Пумпянским он состряпал три фильма. Первый из них полнометражный, называется «Похищение Европы». Название это возникло из древнегреческого мифа, повествующего, как громовержец Зевс украл юную Европу. Кто же сейчас хочет украсть ее? Естественно, Соединенные Штаты Америки. В переносном смысле слова, конечно.



Взгляните, как прекрасна Европа! Как удивительна ее культура, восходящая к далеким временам. Сколь замечательны ее древние соборы и старинные замки. Она самобытна и своеобразна. И все это хотят подчинить себе заокеанские варвары, грубые американцы. Этими мыслями – можно ли назвать этот бред мыслями? – пронизана вся картина.

И какой только зрительный материал не используют авторы. Военные маневры НАТО и гуляющих американских военных, антиамериканские высказывания ультралевых, антивоенные демонстрации, кадры старой хроники. Показывая пребывание в Европе американских государственных деятелей, авторы вкладывают в их выступления другой смысл.

Всё во имя того, чтобы доказать, как заокеанские империалисты и поджигатели войны стремятся подчинить (образно выражаясь, украсть) Европу. **Нашу** старую добрую Европу.

В чем же состояла «сверхзадача» создателей картины? Помочь оторвать Западную Европу от Америки. Вызвать у населения резкое противодействие союзу западных стран с США. Куда уж лучше броситься в объятия миролюбивого Советского Союза. В железные объятия – добавим от себя.

Лента «Похищение Европы» вышла в преддверии решения Америки установить в Западной Европе ядерные ракеты средней дальности. Случайное совпадение? Кто этому поверит, зная осведомленность КГБ и ГРУ, методы советской пропагандной машины.

Иные читатели статьи могут подумать: ну, хорошо, СССР выпустил фильм «Похищение Европы», кто же его увидит в Европе? Тысячи и тысячи.

Есть, и немало, в европейских странах энтузиастов, готовых пропагандировать подобные агитки. Среди них, например, английская кинематографистка и «борец за мир» Стенли Формен. Она активно распространяет советские фильмы, организует их прокат в профсоюзных клубах, в учебных заведениях. Советский Союз не интересуется в этом случае доходом. Ругая на все лады прогнившую западную демократию, советские кинодокументалисты ловко пользуются ее свободами.

Советские кинооператоры снимали пресловутые «марши мира» не как объективные наблюдатели, а как люди заинтересованные. Они хотели выжать из съемки возможно больше. Подходили к участникам маршей, знакомились, снимали

крупные планы, беседовали. Говорили, что они представляют самое миролюбивое государство, оно одобряет и поддерживает движение за мир. Нет, это не была пропаганда впрямую, но все же весьма похожая на вмешательство в чужие дела. Полицейские не реагировали. Не было основания – они только охраняют демократию. Политика их не касается. Потом Советский Союз разными путями проталкивал эти и подобные им агитки на экраны Запада. Успешно проталкивал.

Советский документальный кинематограф действует, наступает. Методически, целеустремленно. Вот где пригодилась социалистическая планово-директивная система. Вряд ли уменьшит на него ассигнования Горбачев, хотя и объявил все-народный поход за режим экономии. Он уже успел оценить свойства документального кино. При Горбачеве, скорее всего по его инициативе, выпущена кинобайка о Человеке с большой буквы, гуманисте и поэте: «Ю. Андропов. Страницы жизни». Хваля своего наставника и друга, Горбачев косвенно хвалит себя. Воспевая многолетнего шефа КГБ, он благословляет старых чекистов. Фильм об одном покойнике, а решены две задачи.

Фильм «Ю. Андропов. Страницы жизни» был восторженно встречен критикой. Автора сценария и режиссера О. Уралова превозносили на все лады. Комитет государственной безопасности присудил картине первую премию за 1985 год.

Есть в Советском Союзе и такая премия! Ею награждаются лучшие – с точки зрения КГБ – произведения литературы, театральные постановки, кино- и телефильмы о чекистах. Премия эта – и большой почет, и солидные деньги.

Однако премия КГБ отнюдь не была последней наградой для великого произведения об обер-чекисте. Жюри документальных и научно-популярных фильмов XIX Всесоюзного кинофестиваля, состоявшегося весной нынешнего года в Алма-Ате, присудило ленте «Ю. Андропов. Страницы жизни» главный специальный приз.

Но и это еще не все. Однажды, придя на работу, режиссеры и операторы ЦСДФ узнали, что их младший по годам и стажу коллега О. Уралов назначен директором студии. Если раньше они посмеивались над его «творческими достижениями», то тут сразу же смолкли. Кто знает, а вдруг его высокий покровитель – сам председатель КГБ, член политбюро Чебриков? Стали вспоминать, что в работе над фильмом Уралова

консультировали гебешники, он часто бывал у них, и первую апробацию на фильм дала Лубянка. После этого мнение Госкино уже не имело значения. В КГБ лучше разбираются в киноискусстве.

Первые полтора года правления Горбачева показали, что очередная кампания за экономию средств не коснулась документального кино. Размах деятельности не уменьшается. Идут съемки в «горячих точках планеты». Задача таких фильмов одна: разоблачение американского империализма. Все подобные картины делаются в ключе антиамериканского XXVII съезда КПСС.

Продолжаются съемки в Афганистане. Тема та же – «герои-интернационалисты» и «бандиты-душманы». Энергично устраиваются инсценировки доброго отношения афганцев к воинам-освободителям. Не показывают советских раненых, тем более убитых. Это запрещено было снимать во время войны 1941-45 годов, тем более теперь.

В комментарии появились новые мотивы: мы уйдем из Афганистана, как только американские империалисты перестанут вмешиваться в дела этой страны.

Сравнительно недавно в Никарагуа вторично побывала кинорежиссер Е. Вермишева – большой мастер киноинсинуаций. Она известна своим кинопасквилем на академика Сахарова и других борцов за права человека под названием «Заговор против Страны Советов». Вермишева собирается снять продолжение этого фильма: «еще многое не рассказано о борьбе нашей страны против посягательств иностранных разведцентров».

А пока кинорежиссерша, которую за глаза называют «мадам команданте», изволила нанести визит в Никарагуа. Замах был большой – полнометражный фильм. Но получилась осечка. Удалось снять материал лишь на короткометражную ленту. И то на ограниченную тему – о женщинах. Название этой картины выпендренно – «Мадонна революции»; текст, написанный другой боевой дамой, посредственной поэтессой Г. Шерговой, еще выпендренней. В общем, обычная агитка.

Новейшее достижение советского документального кино – цветной кинопротокол XXVII съезда партии, пышно названный «Стратегия ускорения». Великую эпопею снимали два кинорежиссера и тридцать пять операторов. В итоге – восемь частей, час и двадцать минут говорильни и местами вкраплен-

ных кадров предприятий, строек, полей... Методика такого рода картин, которые снимаются разве только в СССР, отработана давно. Говорящий генсек – крупно, на среднем плане, на общем. Слушающие делегаты. Аплодирующие делегаты. Выступающие делегаты. Чтобы зрители не перепутали, кто есть кто, их снимают с разных точек, меняют ракурсы.

Такой, с позволения сказать, фильм можно смотреть только по приговору народного суда – эта острота давно бытует на ЦСДФ. Для кинопроката сие не имеет значения – тираж определен наибольший. Но это пустая формальность. Разошлют это «произведение» по республикам и областям, и будет оно пылиться на полках. Кинопрокату нужно выполнить план. Ему бы лучше что-нибудь вроде «Тутси», на которую советские зрители ходили по многу раз.

Трудно сказать, завладела ли бацилла культа душой Горбачева. Но «Стратегия ускорения», в которой он занимает львиное место, явно пахнет этим самым культом. Начало этому, как обычно, положили кинодокументалисты.

Многое и многое еще можно рассказать о советском документальном кинематографе, но думается, что факты и примеры, нашедшие место в статье, отчетливо раскрывают механику и стимулы этой колоссальной пропагандистской машины. Инсинуации и пропаганда широким потоком устремляются на экраны. Нигде в мире нет стольких киноустановок, как в СССР. Они повсюду: в кинотеатрах, во Дворцах культуры, в сельских и заводских клубах, в красных уголках предприятий, в казармах и на военных кораблях, на торговых и рыболовецких судах, в университетах и техникумах, на отгонных пастбищах, в пионерских лагерях и парках, на вокзалах... Часть телевизионного времени тоже отдана хронике. От документальных лент нигде не скроешься.

Методику эту освоили страны-сателлиты Советского Союза. «Старший брат» учит их, наставляет, контролирует. В Ростове-на-Дону, например, состоялся семинар документалистов соцстран, на котором кинопропагандисты делились опытом. Традицией стал фестиваль короткометражек в Лейпциге. Еще один повод для встреч и проверки действенности «светлых дел» документалистов коммунистического блока. В ряды кинопропагандистов уверенно вступила Никарагуа. На международном кинофестивале в Москве в 1985 году ее картине

«Отправитель Никарагуа: письмо к миру» был присужден Серебряный приз.

Афганистан в огне войны. Но близ Кабула уже строится киностудия. Если партизаны не взорвут ее, она вскоре начнет выпускать такие же лживые фильмы, как делает сейчас обстрадавшаяся стране СССР. На всей гигантской территории Советской империи по-ленински подбирают «соответствующие факты» выученики Всесоюзного государственного института кинематографии, что в Москве.

С утра до поздней ночи в поте лица работают в студиях редакторы, переводчики и режиссеры дубляжа. В дикторских кабинках звучат английский, французский, немецкий, испанский, португальский, хинди, японский, языки народов Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока... Идеологическое наступление не приостанавливается ни на один день.

Партия нового типа создала документальный кинематограф нового типа. Невиданный по масштабам, по цели, по действиям. Это мощнейшее оружие режима. Как нагайка КГБ, как ядерные ракеты, как банды террористов.

В Соболезновании, выраженном редакцией «Континента» (№ 48, стр. 362) по случаю кончины Е. Ю. Домбровской, по недосмотру корректора допущена опечатка в фамилии Н. Кузнецовой-Владимовой. Приносим глубокие извинения Н. Е. Кузнецовой-Владимовой и читателям «Континента».

## НОВОЕ О ФОНДЕ ДЛЯ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВАЛЕРИЯ ТАРСИСА

Как трудно издавать книги на русском языке и за пределами России, Валерий Тарсис знал хорошо. Поэтому он был так счастлив, когда в 1981 году ряд известных деятелей обратились к общественности с призывом пожертвовать в фонд, который должен был помочь осуществить издание его книг, в первую очередь его романа «Мои братья Карамазовы». Однако этот призыв не нашел достаточного отклика. Теперь, спустя пять лет, в кассе фонда находятся 6.375 швейцарских франков – слишком мало, чтобы издать хоть одну из 21 книг, составляющих литературное наследие умершего в 1983 году писателя.

Между тем возник другой более скромный план, как сделать произведения Валерия Тарсиса, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, доступными общественности. Предполагается перепечатать рукописи его произведений начисто, скорее всего с помощью компьютера, размножить их небольшим тиражом и организовать подписку для библиотек, имеющих русское отделение. Таким образом к произведениям Тарсиса получили бы доступ все желающие: литературоведы, писатели, студенты, издатели и др. Возможно, то или иное издательство заинтересовалось бы со временем изданием отдельных произведений.

Однако и для осуществления этого плана средства фонда недостаточны. Вдова и дочь писателя, Ханни Тарсис-Дорман и Наталья Тарсис, которые заведуют литературным наследием Валерия Тарсиса, и управляющий фондом институт ВЕРА ВО ВТОРОМ МИРЕ в Швейцарии надеются на дальнейшие пожертвования в фонд и на успех подписки, которую они рассчитывают еще в текущем году, году 80-летнего юбилея со дня рождения писателя, предложить упомянутым выше библиотекам и другим интересующимся организациям.

Пастор Е. А. Фосс, директор института ВЕРА ВО ВТОРОМ МИРЕ, Цолликон-Цюрих и подписавшие: Николай Драгош (Майнталь), Корнелия Герстенмайер (Бонн), Александр Гинзбург, Ирина Иловайская-Альберти (Париж), Анатолий Левитин-Краснов (Люцерн), Владимир Максимов (Париж), Александр Штромас (Солсбери).

Пожертвования могут быть внесены на следующий счет:

Zürcher Kantonalbank, Agentur Küssnacht, CH-8700 Küssnacht

Kto. 1145-0275.141

(Glaube in der 2. Welt, «Publikationsfonds TARSIS»)

# Литература и время

Кирилл Померанцев

## ГЕОРГИЙ ИВАНОВ И ЕГО ПОЭЗИЯ

Эта статья о поэзии Георгия Иванова, с которым мне посчастливилось сблизиться, много разговаривать, а иногда (правда, довольно редко) спорить, не должна рассматриваться как литературоведческая. Литературоведение – это, наверное, описать, к какой школе поэт принадлежит, кто его литературные предшественники, с какими поэтами-современниками он перекликается и т. д.

Ничего подобного в моей статье не будет. Будет же – каким человеком в жизни был Георгий Иванов, как он сам и как я воспринимали его поэзию, какие темы и вопросы его интересовали и как он их выражал (преображал?) в своих стихах. Если же изредка будут встречаться какие-то имена, то единственно для того, чтобы возможно более четко определить сущность его поэзии и личность самого поэта.

Вот почему с самого же начала сошлюсь на известного немецкого философа-экзистенциалиста М. Хайдеггера, считавшего, что «философия рождается из поэзии», а философии в поэзии Георгия Иванова немало, хотя я почти уверен, что он не держал в руках ни одной философской книги. И это очень важный момент (не то, конечно, что Г. И. не читал философских книг), потому что во всяком большом произведении искусства, а в литературе тем более, форма должна быть адекватна содержанию, что прежде всего касается точности формулировок.

К примеру, вот ивановское определение мира, в котором нам приходится жить:

Туманные проходят годы,  
И вперемежку дышим мы  
То *затхлым* воздухом свободы,  
То *вольным* холодом тюрьмы.

Не представляю, чтобы было возможным более точно охарактеризовать, с одной стороны, свободный мир Запада,

узаконивший гомосексуализм, в ряде стран уже не требующий законных (ни гражданских, ни церковных) браков, превративший театральное и кинематографическое искусство в припадочные корчи и истерические завывания под какофонию электрических музыкальных инструментов и отравляющий свою молодежь всё более и более изысканными и дурманящими наркотиками – да только ли это? И мир коммунистический с отсутствием элементарных прав и свобод, где вольны лишь стихии, перед которыми неволен даже КГБ!

Или:

Что связывает нас, всех нас? –  
*Взаимное непониманье.*

Здесь надо было бы просто сказать: «Комментарии излишни». Но они все же нужны и опять по той же причине, что никто так – одновременно и парадоксально, и кратко – не выразил этой, в сущности, довольно старой истины, но в своей предельной реальности, обосновавшейся только в наше время. Вот, к примеру, я читаю считающуюся самой серьезной во Франции газету «Монд», которая ежедневно, иногда по несколько страниц уделяет полемике на социальные, политические, экономические и другие темы, т. е., по существу, связи людей через непонимание.

В свое время, стараясь синтезировать позиции Фрейда и Юнга, Адлер довольно убедительно показал, что непонимание, как своего рода самозащита, укоренено в самых глубинах человеческого подсознания. Но парадоксально можно сказать, что полемика и споры являются тем, что больше всего сближает (не смешивать с «сдруживает» людей). Это уже знал Пушкин, когда писал об Онегине и Ленском: «Меж ними все рождало споры / И к размышлению влекло». В наше время, когда мир раскололся на два не только непримиримых, но и не понимающих друг друга лагеря, а также на молодое поколение, демонстративно отказывающееся понимать «стариков», и наоборот, непонимание действительно стало всеобщим и *взаимным* и ни о каком «размышлении» не может быть и речи. В этом плане показательна книга бывшего советника премьер-министра Франции М. Дебре, нашего соотечественника Константина Мельника «Третий Рим»\*: почти 500 страниц, специально написанных для западного читателя, органически

---

\* Constantin Melnik. La 3-me Rome. Grasset, Paris, 1986.



неспособного понять специфику коммунистического режима СССР. И опять же – где еще поддерживается *связь* между двумя блоками? – в неисчислимых встречах «на верхах», международных организациях, собраниях и комиссиях, в которых сталкиваются представители Запада с представителями СССР и где 90% времени, если не все 100, посвящено «взаимному непониманию», и лишь эти «разговоры глухих» еще как-то *связывают* два блока. Можно было бы сослаться на знаменитую тютчевскую строку: «Мысль изреченная есть ложь», которой французский философ Э. Мейерсон воспользовался в своем основном труде «Пути мысли» для подтверждения своей теории мышления, но здесь поэт коснулся глубочайших тайн человеческой души, и сопоставление этой строки с затронутой нами темой увело бы нас слишком далеко. Но о сущности самой мысли придется сказать несколько слов, так как в том же стихотворении Г. Иванова находим такие строки:

Так, занимаясь пустяками –  
Покупками или бритьем –  
Своими слабыми руками  
Мы чудный мир *воссоздаем*.

И поднимаясь облаками  
Ввысь – к небожителям на пир, –  
Своими слабыми руками  
Мы *разрушаем* этот мир.

Здесь, как бы невзначай, высказана одна из глубочайших основ религиозно-философской концепции феноменологии мысли, ее изначальной биполярности. О чем говорит первая строфа? О том, что, когда мысль направлена пусть даже на самую ничтожную физическую деятельность («покупки», «бритье»), но необходимую для сохранения данного нам Богом облика, мы тем самым *воссоздаем* и сотворенный для нас мир. Но наше абстрактное умствование – стремление присоединиться к «банкету», к «пиру богов» – этот мир только *разрушает*. (Вспомним о «древе познания», оказавшемся древом Смерти.) Медицина же давно установила, что наше мышление связано с отмиранием мозговых клеток (нейронов). Но мне хочется отметить другой процесс: в сущности, зародившаяся в древней Греции великая классическая философия, через средневековую схоластику, а затем Декарта, Спинозу, Локка,

Руссо, Канта («ограничившего разум, чтобы оставить место вере»), Конта, Спенсера и Гегеля (для которого Бог был «философствующим разумом») и его почитателя Маркса, «поставившего» его диалектику «с головы на ноги», чтобы философией «перестроить мир», привела к марксизму-ленинизму, который уже стоил человечеству (учитывая Китай) не менее 200 миллионов жертв. Конечно, ни один из упомянутых философов даже представить себе не мог, к чему приведет его философия, и, само собой, они презирали (если о нем слышали) библейское сказание и игнорировали глубочайшую индуистскую (в частности, буддистскую) философию, направленную на «очищение» мышления и его «трансцендирование» медитациями.

Как я уже заметил, все это ни с какой стороны не приходило в голову Георгию Иванову, но «гению поэзии» было угодно избрать его своим проводником.

И уже вполне сознательно, а поэтому и с предельной точностью и безо всякой «философии» он писал о России:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,  
На Соловках или на Колыме.

И лишь на Колыме и в Соловках,  
Россия та, что будет жить в веках.

Всё остальное – планетарный ад,  
Проклятый Кремль, злощастный Сталинград.

Первые строки очевидны: не считая так или иначе спасшихся за границей, «великий» Октябрь с корнем выкорчевал всех видных носителей выходявшей на мировую арену русской культуры. Об этом много писали, и всем это отлично известно. Остановлюсь лишь на абсолютной точности двух последних строк. Кремль – «проклятый», потому что он и символ, и материальный центр античеловеческой коммунистической власти. Сталинград – злощастный, потому что в сталинградской битве сочеталось счастье победы над гитлеровской Германией со злом спасения этой победой коммунистического режима.

Георгий Иванов был пессимистом. Не в том смысле, что считал коммунизм навсегда восторжествовавшим в России, но он был совершенно уверен, что на «его век» (даже если бы их у него было два) такового хватит. Но здесь другое его стихотворение оказалось мудрее и прозорливее его самого:

Теперь тебя не уничтожат,  
Как тот безумный вождь мечтал.  
Судьба поможет, Бог поможет,  
Но русский человек устал...  
Устал страдать, устал гордиться,  
Валя куда-то напролом.  
Пора забвеньем насладиться,  
А может быть – пора на слом...

...И ничего не возродится  
Ни под серпом, ни под орлом.

Зная Георгия Иванова, я не сомневаюсь в том, что он хотел сказать: ожидать каких-либо перемен, как говорится, в «обозримом будущем» от происходящего в СССР бесполезно, режим обосновался на десятилетия, если не на столетия. Но здесь поэзия отказалась следовать за поэтом. Заключенная в две последних строки формула внесла корректуру в его пессимизм: да, *«ни под серпом, ни под орлом»* действительно *«ничего не возродится»*. Пройдя испытания голодом, холодом, сыпняками, лагерями, застенками и другими пытками и издевательствами, стоившими ей минимально шестидесяти миллионов жертв, новая Россия будет уже совсем не той, какой она стала при коммунизме или какой она была до него. Гадать, какой – не будем. Скажу только – и надеюсь не ошибиться, – что Владимир Соловьев и задушенный Лениным «Серебряный век» могут быть предтечами, прообразами этой будущей России...

Последнее стихотворение, как и приведенные строки из других стихов, характеризуют Георгия Иванова скорее как человека рассудочного и даже холодного, но обладающего большим поэтическим матерством, позволившим ему в нескольких строках воспроизвести трагедию России. Многие так его и воспринимали, тем более, что и в общении с людьми, в разговорах с ними он нередко бывал резок и даже груб и в этом отношении был похож на Шалапина. Мне рассказывала младшая и любимая дочь Шалапина Дася Федоровна, что *«отец был человеком общительным, охотно беседовал с простыми людьми, интересовался ими, но совершенно не выносил, когда об оперном искусстве с апломбом говорят мало разбирающиеся в нем чурбаны»*. Так же бывало и с Георгием Ивановым: его выводили из себя рассуждения о поэтах и о поэзии

самоуверенных болтунов. Так случилось на одном литературном собрании, где один из присутствовавших сравнил бездарного молодого версификатора с Брюсовым. Возмущению Георгия Иванова не было предела, и какими только эпитетами ни награждал он неосторожного энтузиаста.

Но обычно Георгий Иванов был остроумным и блестящим собеседником, отлично разбирался в людях, обнаруживая глубокую человечность и даже попросту нежность своей души, что и отразилось в одном из его последних и, по-моему, одном из лучших его стихотворений:

За столько лет такого маянья  
По городам чужой земли  
Есть от чего прийти в отчаянье,  
И мы в отчаянье пришли.

– В отчаянье, в приют последний,  
Как будто мы пришли зимой  
С вечерни в церковке соседней  
*По снегу русскому домой.*

Здесь рассудочность и не ночевала. Здесь все от сердца и от души. Обратите внимание на последнюю строку: «*По снегу русскому домой*». Она, в полном смысле слова как волшебный фонарь, освещает действительно дивным волшебным светом все стихотворение, всю картину маленькой русской захолустной церковки и русского, с особым фиолетовым оттенком, освещенного лунным светом, снега. И вот здесь-то и заключена настоящая тайна настоящей поэзии. Точно так же, как мы видим Петра I в двух знаменитых строках Пушкина: «*На берегу пустынных волн / Стоял он, дум великих полн*», хотя, по всей вероятности, он там так никогда и не стоял. Но главное здесь то, что и ивановский вечер, и пушкинский Петр одинаково реальны, как подлинный «исторический» вечер в совершенно определенном захолустном русском городке, и *настоящий Петр I, стоящий* на совершенно определенном месте берега «*пустынных волн*». Здесь дело касается уже высшей духовной реальности, трансцендирующей реальность земную и материальную. И относится это решительно ко всем великим произведениям искусства: музыки, живописи, скульптуры, архитектуры и, конечно, литературы.

К ним – к приведенным строкам Георгия Иванова и Пушкина – относится и то, что отметил в каждом настоящем про-

изведения искусства румынский писатель, философ и историк религий М. Элиаде – *магия\**. Эта магия вырывает читателя или зрителя из «текущего исторического времени» и переносит его в «Великое Время», в «священное недвижимое время начал» (*in illo tempore*), и тем самым включает его в «вечность». Таким образом, мы видим пушкинского «Петра» и ивановский «русский снег» перед нами столь же реально, как мы видели бы горы в каком-нибудь альпийском городке, словно застывшие в вечности, включая и нас в Великое Время, т. е. в наше собственное бессмертие.

Сопоставляя некоторые ивановские строки с пушкинскими, я отнюдь не ставлю знака равенства между двумя поэтами. Его не может быть и никогда не будет. Пушкин – не только поэт, он *великое явление* русской литературы, начало ее державного пути. То же самое можно сказать и о Блоке: он – *явление* среди блистательной плеяды поэтов Серебряного века – Ахматовой, Анненского, Мандельштама – и в плане «чистой поэзии» никак не превосходит других, но он в своем творчестве отразил «страшные» годы России и действительно стал «трагическим тенором эпохи», чем не стали ни Мандельштам, ни Анненский, ни даже Ахматова. Приблизительно так же я «вижу» и поэзию Георгия Иванова: он очень большой, для меня даже гениальный поэт. Но он не *явление*, как не явление и другой гений – Тютчев.

Всякое большое произведение искусства – и, быть может, к поэзии это относится больше, чем к остальным, – должно быть просто. Даже любивший, мягко говоря, некоторую эквилибристику Пастернак мечтал в конце концов «*впасть, как в ересь, / В неслыханную простоту*», что все же полностью ему не удалось.

Меня же всегда восхищали строки Пушкина в уже упомянутом «Медном всаднике»: «*В то время из гостей домой / Пришел Евгений молодой. / Мы будем нашего героя / Звать этим именем. Оно / Звучит приятно. С ним давно / Мое перо уж как-то дружно...*» и т. д. Какая действительно «неслыханная» простота и какая великая поэзия! Не чувствуется никакой напряженности, никакого усилия «втиснуть» в размер и «подогнать» повествуемое к рифме. А ведь, наверное, бился над каждым словом! Подобный же пример имеется и у Георгия Иванова:

---

\* См., в частности, его «*Mythes, rêves et mystères*».

Я хотел бы улыбнуться,  
Отдохнуть, домой вернуться...  
Я хотел бы так немного,  
То, что есть почти у всех,  
Но о чем просить у Бога  
Мне бессмыслица и грех.

Но здесь не только простота. Здесь вкралось слово, придающее этому, как будто незначительному стихотворению глубокий религиозно-эзотерический смысл, некий «второй план», которым оно поддерживается и трансцендирует план первый – непосредственный. Конечно, просить Бога помочь русскому эмигранту, заядлому антикоммунисту и «врагу народа», вернуться «домой» – явная бессмыслица. Но Бог – на то Он и Бог, чтобы улаживать и бессмыслицы. Но Георгий Иванов прибавил и другое слово – «грех». Почему грех? Да потому, что если бы не было эмиграции, если бы поэту удалось остаться «дома» и если бы даже советская власть его не преследовала и он продолжал бы заниматься поэзией в Ленинграде, как он занимался ею в Петербурге и в Петрограде, он никогда не стал бы «трагическим тенором» изгнания и никогда не написал бы стихотворений, которые, прорвав «железный занавес» и прочие «социалистические реализмы», стали известными всей советской литературной элите, читаются на закрытых собраниях, выучиваются наизусть как ее наивысшие образцы. (Так, во всяком случае, мне говорили приезжавшие из СССР писатели, поэты и другие деятели искусства, с которыми я часто и подолгу встречался, как, напр., с танцовщицами и танцорами ансамбля «Березка» и Ленинградского балетного ансамбля.) Просить Бога помочь Георгию Иванову вернуться «домой» было бы грехом, нарушающим «Божий замысел» о нем, или его «карму», как сказали бы индусы.

В Москве (или в Ленинграде) Георгий Иванов превратился бы в обыкновенного талантливоего стихотворца, которых в СССР хоть пруд пруди. Что-то в этом смысле я однажды ему сказал. Точного ответа уже не помню. Он тоже «что-то» пробурчал, вроде: «И без тебя знаю: знаменитостью, может, и не стал бы, но хорошая квартира была бы». Потому что во Франции, особенно после войны, жить ему и Одоевцевой было не сладко, приходилось даже голодать – в буквальном смысле. Был ли он искренним, пробормотав то, что мне припомни-

лось? И да, и нет. В особенно тяжелые периоды, «*придя в отчаяние*», можно и не такое брякнуть... А в более или менее сносной обстановке, хоть и с ударением на «*менеe*», он все же писал:

. . . . .  
Смеются надо мной вороны,  
Царапают меня коты.  
Пускай царапают, смеются,  
Я к этому привык давно.  
Мне счастье поднеси на блюде –  
Его я выброшу в окно.

*Стихи и звезды остаются,  
А остальное – всё равно!..*

Но здесь возникает вопрос – является ли поэзия плодом «ясного сознания»? Снова вспомним Пушкина и его «*Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон...*» с – «*Но лишь божественный глагол / До слуха чуткого коснется...*» Но тут пусть уж сам читатель «*промедитирует*» (как говорят в эзотерических кружках) эти строки, ибо их «*раскрытие*» завело бы нас в такие дебри поэтической «*психеи*», которые не снились даже психоаналитикам, сводящим всё к «*сексу*» или, как Юнг, к «*власти*». Я же остановлюсь на двух строках, уже из другого стихотворения, которые мне представляются, пожалуй, самыми глубокими в поэзии Георгия Иванова:

*Я верю не в непобедимость зла,  
Но только в неизбежность поражения.*

Если в них вдуматься, проникнуться их экзистенциальным, философским и теологическим смыслом, о них можно было бы написать настоящий философско-богословский трактат, потому что они примиряют (обосновывают?), их трансцендируя, две взаимоисключающие онтологические данности нашего земного бытия: *необходимость* борьбы с одной из неистребимых основ этого бытия, *Злом*, и *уверенность* в невозможности его победить, в «*неизбежности поражения*». В свете христианской метафизики, их можно свети к словам Христа: «*В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир*» (Ио. XVI, 33) – или к некоторым аспектам апофатического богословия. Не думаю, чтобы Георгий Иванов имел в виду что-либо подобное, как и не думаю, что он часто загля-

дывал в Евангелие. Но тем изумительнее мне представляются эти строки, обосновывающие крестную жертву Христа и смысл земной жизни человека. Только потому, что марксизм обоготворил пролетариат, превратил его в Праведника, в современного Мессию, долженствующего победить зло (капитализм), – насилие, зло и смерть с еще небывалой силой воцарились в нашем несчастном мире: марксизм есть нарушение Божьего замысла о мире и о человеке.

Мне бы еще хотелось на примере стихов Георгия Иванова подчеркнуть его исключительную *человеческую* и *поэтическую* честность. Монархист до мозга костей, любивший повторять, что «правее его – только стена», он написал изумительные по форме, краткости и, я бы сказал, проникновенности, восемь строк о царской семье, где нет ни лишнего слова, ни лишней запятой:

Эмалевый крестик в петлице  
И серой тужурки сукно...  
Какие печальные лица  
И как это было давно.

Какие прекрасные лица  
И как безнадежно бледны –  
Наследник, императрица,  
Четыре великих княжны...

Они невольно воскрешают известнейшую фотографию царской семьи, запомнившуюся мне с моего самого детского детства, и это еще одно чудо, магия настоящей поэзии, оставливающая время-длительность и преосуществляющая его в добытийное Время-вечность, еще не низвергнутое с небес первородным грехом. И наряду с этими, как бы небесными, строками, возникают в памяти, словно извлеченные из ломбарда, уже совершенно другие, как будто написанные другим человеком и другим поэтом:

Овеянный тускнеющею славой,  
В кольце святош, кретинов и пройдох,  
Не изнемог в борьбе Орел Двуглавый,  
А жутко, унизительно издох.

Даже не верится. Помню бурю негодования, вызванную этим стихотворением, притом не только в монархических



кругах эмиграции. Но прочтите «Книгу воспоминаний» великого князя Александра Михайловича и то, что писал о последних военных годах правейший из правых, Пуришкевич: о том, что творилось при Дворе и как воспринимались раскаты приближавшейся Революции, – и вы убедитесь, что смягчить ивановскую формулу невозможно. Здесь, как говорил Твардовский, «ни убавить, ни прибавить: так это было на земле». И замечательно то, что оба стихотворения говорят об одной и той же **ОГРОМНОЙ ТРАГИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ**. И одному только Георгию Иванову удалось в двух маленьких, но словно из чистейшего алмаза вычеканенных стихотворениях воплотить величайшую из когда-либо пережитых **ТРАГЕДИЮ РОССИИ**.

Остается отметить еще одну черту ивановской поэзии – ее *музыкальность*, которая, кстати, не является признаком большой поэзии, но особой слуховой одаренностью поэта. Так, Ходасевич был безусловно поэтом более значительным, чем Бальмонт, но стихи второго были намного более музыкальны.

Здесь придется привести все стихотворение, потому что оно говорит и о *добытийных* истоках поэзии:

Мелодия становится цветком,  
Он распускается и осыпается,  
Он делается ветром и песком,  
Летящим на огонь весенним мотыльком,  
Ветвями ивы в воду опускается...  
Проходит тысяча мгновенных лет,  
И перевоплощается мелодия  
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,  
В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие»,  
В корнета гвардии – о, почему бы нет?..  
Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.  
– Как далеко до завтрашнего дня!..  
И Лермонтов выходит на дорогу,  
Серебряными шпорами звеня.

Я приберег это стихотворение напоследок, потому что в нем, как в волшебном кристалле, сочетались все грани поэтического ремесла Георгия Иванова в сочетании с настоящей духовной глубиной. «Мелодия становится цветком» – разве это не «В начале было Слово»? Разве не учили нас на уроках фи-

зики о формообразующем свойстве звука на примере так наз. «фигур хладни» (образующихся на посыпанной легкой пылью упругой пластинке от звуков, издаваемых хотя бы скрипкой или роялем)? И не «Звук» ли является первоосновой Бытия? И дальше – пройдя через изначальные «элементы» и «тысячу мгновенных лет», то есть без- или вневременных, Звук-Слово-Мелодия перевоплощается в Поэта, творца совершеннейшего из искусств (не требующего, как музыка, – инструмента, живопись – красок, скульптура и архитектура – камня), непосредственно создаваемого человеком – поэзию.

И опять же, обратите внимание на то, как гениально инкрустирована в стихотворение гениальная строка *«Пустыня внемлет Богу»* и как мы снова и снова видим и «дорогу», на которую, «серебряными шпорами звеня», выходит Лермонтов, и как перед ним «кремнистый путь блестит».

## **ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗАРУБЕЖЬЯ!**

В последнее время участились случаи перепечатки в русскоязычных изданиях Зарубежья материалов «Континента» без всякой ссылки на источник.

В связи с этим, редакция считает своим долгом предупредить столь бесцеремонных публикаторов, что отныне мы закрепляем за собой право пресекать подобную практику в соответствии с существующими в каждой отдельной стране законами.

Право требовать морального или судебного удовлетворения на местах предоставляется нами нашим официальным представителям, имена которых обозначены на второй странице обложки журнала.

Напоминаем также, что «Континент» разрешает всем русскоязычным изданиям Зарубежья безвозмездные перепечатки из «Континента» только с условием обязательной ссылки на источник.

**РЕДАКЦИЯ**

# Вместо колонки редактора

## О «РУКЕ КГБ» И ПРОЧЕМ

Перед самой сдачей в печать этого номера «Континента» мы получили довольно любопытное письмо от литературоведа господина А. Синявского. Оно настолько любопытно, что заслуживает того, чтобы привести его целиком:

### *В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»*

Мне стало известно, что журнал «Континент» собирается опубликовать очерк Хмельницкого «Из чрева китова». Считаю нужным сделать по этому поводу несколько замечаний.

В 1948 году меня, студента МГУ, органы Госбезопасности пытались привлечь к охоте за иностранкой, за дочь французского военно-морского атташе, Элен Пелетье (Замойской). Очевидно, она была нужна советской разведке как подход к ее отцу. Вместо того, чтобы работать на органы, я, желая спасти Элен, рассказал ей о планах и замыслах МГБ. Тем самым я совершил тогда государственное преступление (ст. 58-1, ныне 64 – «измена Родине»). Ни МГБ, ни Хмельницкий об этом, конечно, не знали. А с Элен с той поры мы стали большими друзьями и много помогали друг другу. В частности, в 52 году, в Вене, мы договорились, что с ее помощью я стану печататься на Западе. И в 1956 г. Элен Пелетье увезла из Москвы мои первые рукописи.

В том же 1948 году сначала для слежки за Элен Пелетье, а параллельно – за своими друзьями Брегелем и Кабо, – был привлечен органами С. Хмельницкий, который почему-то не предупредил намеченные МГБ жертвы, а стал стучать на них всерьез. В результате его деятельности осенью 49 года два лучших друга Хмельницкого – Брегель и Кабо – были арестованы и получили по 10 лет лагерей. О многих эпизодах этого дела мне рассказывал Юрий Брегель, с которым я познакомился уже в эмиграции.

Вот этим событиям и посвящена одна из глав моего романа «Спокойной ночи».

Предоставим слово двум главным свидетелям и участникам этого сюжета, тоже героям моего романа.

Дорогой Андрияша!

На днях у меня была в руках статья С. Хмельницкого о тебе. Печально видеть, как можно писать на таком уровне. К тому же воображение у него просто патологического характера. Так что по моему не стоит даже его принимать всерьез.

Вообще, он не заметил, что ты не писал точные воспоминания. Ты на основе собственного опыта написал именно роман, где личности и события во многом преобразованы в фантастическом духе.

Но то, что не является литературным приемом и соответствует действительности, это то, что ты не был «предателем». И это имело для меня не только личное значение.

Когда я после войны попала в Московский Университет, передо мной открылся совершенно новый и непонятный мир, полный неожиданных контрастов и противоречий – я чувствовала у своих товарищей то, что я представляла себе из русского духа, то есть непосредственность, сердечную простоту, жажду культуры и высокого идеала. Но все эти качества были как-то заглушены общей тяжелой атмосферой. Мне казалось, как будто железная занавеска глубокого недоверия стояла не только между мною и другими, но между нашими товарищами – они повторяли высокопарные фразы о счастье человечества, а я остро ощущала одиночество каждого. Кому доверять?

Еще меня поражало у них полное отсутствие этических основ. Путали они добро и зло, совсем не понимали, что это значит. Помню, что это было главной темой моих споров и рассуждений не только с тобой, но и почти со всеми товарищами.

В один прекрасный день такой вопрос не стал отвлеченным для тебя. Тебе пришлось выбрать. Несмотря на твою тогдашнюю веру в идеальный коммунизм, несмотря на опасность, ты поступил как герой из «Первого круга», решил, что нужно жить прежде всего по совести. Ты не обманул меня, не предал. Совершилось чудо доверия. Я этого никогда не забуду.

Я тогда поняла, что ты вступил в невидимый духовный союз со всеми, которые стараются защищать достоинство человека от обмана, лжи, неволи, насилия на твоей родной земле и везде в мире.

Позже, когда вместе с Ю. Даниэлем ты не признал себя виновным, это было большое событие не только в честь тебя, но в честь твоей родины

Этого не понимают те, которые остались в плену железной занавески недоверия и страха.

Духовный бой за правду, за совесть, за свободу – вечный бой. Пусть Бог поможет тебе и всем твоим духовным братьям и сестрам продолжать его.

Лена

Юрий Б р е г е л ь:

Дорогой Андрей Донатович,

Я только что прочитал Ваш роман «Спокойной ночи» и, поскольку мое имя в нем упоминается, я хотел бы добавить несколько деталей к характеристике Сергея /Григорьевича/ Хмельницкого, столь хорошо Вами изображенного в пятой главе романа. На стр. 384 – 385 Вы пишете, в частности, что Хмельницкий в разговоре с Вами помянул, что он считал себя «убийцей» Брегеля и Кабо (так как донес на моего друга и на меня). То, что он на нас донес, или, вернее, систематически доносил, – это, как говорил Остап Бендер, медицинский факт, независимо от того, что Вы это услышали от самого Хмельницкого, каковой, естественно, не может быть полноценным свидетелем в данном случае.

Роль Хмельницкого стала мне абсолютно ясна уже во время следствия (я был арестован 1 ноября 1949 г.). Кабо был арестован ровно одним месяцем раньше, и в течение месяца следом за этим Хмельницкий регулярно, один или два раза в неделю, приходил ко мне домой. Во время следствия мне предъявляли как инкриминирующие материалы (среди прочего) те разговоры, которые я вел в течение этого месяца с Хмельницким один на один; содержание этих разговоров стало известно КГБ до мельчайших деталей. КГБ стало также известно, что после ареста Кабо я уничтожил свои записные книжки – что происходило в присутствии Хмельницкого, и только его одного (причем он пытался отговорить меня от этого).

В начале 1964 года, когда С. Хмельницкий защищал кандидатскую диссертацию в Институте истории культуры, я выступил в начале заседания и сообщил, что по доносам Хмельницкого были посажены двое его друзей – Кабо и я. Хмельницкий ответил на это, что это клевета. Однако, когда после этой защиты от Хмельницкого отшатнулись все его московские друзья, он позвонил мне и попросил встретиться со мной. Я на это согласился. Он пришел в Институт востоковедения в Москве (где я тогда работал) со своей женой, я был вместе с Кабо. Разговор был короткий. Он просил нас не губить его семью, говоря, что у нас пропало пять лет жизни, а у него теперь пропадет вся жизнь. (Мы ему ответили, что у нас пропало пять лет, а

не больше – или не вся жизнь, только потому, что он не мог предвидеть, что Сталин умрет в 1953 году.) Его жена добавила, что он глубоко раскаивается и что он за это время стал другим человеком. В заключение Хмельницкий стал просить у нас совета: что ему теперь делать, на что мы ему сказали, что за советом нужно было обращаться до того, как он начал на нас доносить. На этом мы и расстались. (Все это было весной 1964 года.)

Важно одно: во время этой встречи Хмельницкий ни разу не пытался отрицать, что он нас посадил, но только просил, чтобы мы не преследовали его. Для нас его признание или отрицание не имело большого значения: мы это знали т о ч н о из нашего следственного дела.

Помимо этого, Хмельницкий изображен Вами в т о ч н о с т и таким, каким знал его также и я, и я мог бы добавить еще кое-какие штрихи для его характеристики в том же духе...

Ваш Ю. Брегель

24. 8. 85

Я хорошо понимаю, что роман «Спокойной ночи» – это произведение для Лубянки малоприятное и что КГБ постарается свести со мной счеты. И голос Хмельницкого «из чрева китова» меня не удивляет. Раскрытый в своей роли стукача в 56 году, когда вернулись Брегел и Кабо, он долгое время изворачивался, запирался и врал, выдвигая одну ложную версию за другой. Наконец, спустя 30 лет он впервые публично (да и то скороговоркой) признает, что действительно посадил (цитирую) «двух моих товарищей, ни в чем, конечно, неповинных». Притом свое «покаяние» Хмельницкий тут же старается превратить в обвинение против меня, громоздя новую ложь. За правдивость своих рассказов он может поручиться лишь «честным словом» многократно избличенного лжесвидетеля.

В 1965 г., в порядке оперативной работы, Хмельницкого подключили к подготовке следствия и судебного процесса надо мной и Даниэлем. На суде он выступал как свидетель обвинения и подыгрывал прокурору (см. «Белую книгу» А. Гинзбурга).

Теперь он вынырнул вдруг в Западном Берлине и взялся опять за работу: клевета и дезинформация. Все это закономерно. Но странно, с какой радостью некоторые эмигрантские деятели (и даже вчерашние диссиденты) в этой ситуации протянули «руку дружбы» КГБ и схватились за показания человека, по показаниям которого уже сидели люди. Откуда такой кредит доверия старому провокатору?

А. Синявский

Для полной ясности поясним: очерк С. Хмельницкого опубликован в № 48 израильского журнала «22», который редактируется и выпускается в свет личными друзьями и поклонниками того же А. Синявского. Мы лишь могли бы только ПЕРЕПЕЧАТАТЬ этот очерк, хотя и не пришли еще к окончательному решению, оставляя за собой право вернуться к данному вопросу позже. Так что автор письма должен адресовать свои гневные филиппики по поводу радости некоторых эмигрантских деятелей (правда, с каких это пор израильские граждане стали считаться эмигрантами?), протянувших «руку дружбы» КГБ, в первую очередь своим друзьям из вышеупомянутого журнала.

Кстати сказать, автором предисловия к очерку С. Хмельницкого является А. Воронель – личный друг Синявского, человек с безупречной гражданской и человеческой репутацией. Обвинять его в дружеском рукопожатии с КГБ по меньшей мере нелепо, а по большей – недобросовестно.

Поэтому нас крайне удивляет некоторая поспешность А. Синявского, направляющего свое возмущенное письмо не по прямому адресу, то есть, в редакцию «22», а в ненавистный «Континент». Может быть, ему кажется, что так будет эффективнее опорочить наш журнал, связав его «рукою дружбы» с Лубянкой? Не слишком ли легко хочет отделаться известный литературовед от выдвинутых против него обвинений? Мы тоже, в свою очередь можем спросить у него: а не протягивает ли он этим самым «руку дружбы» той же организации?

Не протягивает ли он также эту самую «руку», когда затевает вместе со своей супругой Розановой-Кругликовой-Синявской периодические кампании против А. Солженицына, В. Аксенова, В. Максимова, Н. Горбаневской, «Русской мысли», «Континента» и других лиц и организаций в нашей политической эмиграции, неугодных (судя по советской печати) тому же КГБ? А записывать на магнитофон частные разговоры и делать их достоянием печатной гласности (история с В. Аксеновым) это кому на руку? Или все, что исходит от господина Синявского, это «плюралистическая критика», а все что от его оппонентов – «рука КГБ»?

Что и говорить позиция весьма комфортная, только, как теперь на личном опыте сумел убедиться автор письма в редакцию, явно обоюдоуязвимая.

Желание автора подменить разговор по существу ссылками на аморальность оппонента и «руку дружбы» КГБ вполне понятно, но его доводы от этого не становятся убедительнее.

Вот как иногда подводит некоторых литературоведов излишняя торопливость.

Правда, порою, в определенных ситуациях, иные люди теряют голову. Сочувствуем, но ничем не можем помочь.

Увы.

---

Не успели мы заслать в набор письмо г-на Синявского, как в наш адрес поступило еще более любопытное послание:

Дорогой Владимир, в своем письме в „Континент“ Андрей Синявский послал мое письмо к нему. Я хотела прибавить некоторое уточнение и прошу Вас напечатать второй вариант и исправить ошибки в моей фамилии, которая пишется Пельтье и Замойска. Еще раз очень сожалею о том, что Вы решили печатать статью С. Хмельницкого, как я Вам написала из Бретани. Вы свободны – воля Ваша...

*Элен З.»*

К сожалению, за ограниченностью места в этом номере мы сможем опубликовать поправки нашей корреспондентки только в следующем. Теперь же нам придется ограничиться лишь двумя замечаниями к ним. Во-первых, странно, что ближайший друг Э. Замойской, профессор, писатель, эстет, за столько лет совместного с ней духовного боя «за правду, за совесть, за свободу» так и не усвоил правильного написания ее фамилии, но еще страннее, что поправки к *сугубо личному письму* она отправляет не своему адресату, а в редакцию общественно-политического и литературного журнала. Вот уж поистине лучшее свидетельство, выражаясь ее же словами, полного отсутствия у некоторых духовных братьев и сестер г-на Синявского каких-либо этических основ.



# Наша почта

## ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ: МИФЫ И ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКИХ ЭМИГРАНТОВ

«Все вы – потерянное поколение».

*Гертруда Стайн*

Недавно «Континент» опубликовал публичную жалобу д-ра Бройде-Трэппера (Антонова) на тайную и явную подлость Тель-Авива\*. Тайная – сговор с Европой и Америкой: не давать работу бывшим израильтянам. Явная – отказ лишить его, г-на Антонова, и его семью израильского гражданства, что позволило бы им получить работу в Европе или США. В результате этой подлости д-р Антонов сидит в Германии без немецкого гражданства, без работы, а стало быть, вероятно, и без денег.

На первый взгляд, тайная сделка между правительствами – аргумент неотразимый. Как доказать отсутствие чего-то тайного? (Именно эта простая мысль всегда вдохновляла инсинуации КГБ.) Но это только на первый взгляд. Отсутствие тайной сделки, в данном случае, доказывается очень просто – самым адресом письма д-ра Антонова – «Свободной прессе Европы и США». Вряд ли требует доказательства тот факт, что западная пресса поистине свободна: ради раскрытия тайн, ради сенсации она выдаст государственные и военные секреты, свалит правительство, свергнет президента, предоставит максимальное паблисити террористам и коммунистам, – короче говоря, она способна взорвать мир ради газетной «шапки». А уж в нынешней ситуации оголтелого антисемитизма, антисионизма, антиизраильской истерии в Европе (подогреваемой потоком арабских долларов) письмо господина Антонова должно было бы вызвать бурю. Уже давно были бы опрошены (с гарантией, что имена их будут сохранены в тайне) «все государственные чиновники», ссылающиеся «на какой-то „секретный“ договор, „неписанный“ закон, по которому они обя-

---

\* «Континент», № 44, стр. 317, 1985 г.

зались всеми силами препятствовать гражданам государства Израиль (по просьбе последнего) в получении работы и права жительства». Вездесущие журналисты проникли бы всюду, все тайное давно стало бы явным. А какой подарок для врагов Израиля – принудительное гражданство, имеющее место, как полагает г-н Антонов, лишь при тоталитарных режимах! Антисемиты во всем мире могли бы торжествовать, праведный гнев д-ра Антонова был бы удовлетворен. Правда, очень дорогой ценой для Израиля и евреев, но – «мы за ценой не постоим».

Однако можно быть уверенным, что этого не произойдет. Г-н Антонов усмехнется: сионизм всемогущ. Щупальцы его опутали даже европейскую и американскую прессу. Все в створе с Иерусалимом – парламенты, правительства, суд, печать – в Германии, Америке, Франции, Люксембурге, Японии и т. д. Единственно, кто свободен от цепких щупальцев, кто неустанно разблачивает гнусные происки сионистов – это советская печать и... некоторые советские эмигранты из Израиля. Поистине, советская печать – единственная свободная печать в мире. Как честно, принципиально и правдиво разоблачает она Израиль! А мы не верили!

Попробуем, однако, допустить, что западная пресса не вся продалась сионизму. Тогда придется предположить, что западные журналисты хорошо знают, что возможно, а что невозможно в международных отношениях. Конечно же, существуют тайные договоры между государствами и тайные пункты в договорах. Может, например, существовать тайное соглашение, по которому, в случае нападения Сирии на Израиль, Америка окажет ему немедленную помощь. Невозможна, однако, тайная сделка, о которой знают не два-три человека в мире, а тысячи чиновников, которой должны подчиняться государственные служащие и частные предприниматели, ректоры университетов и бизнесмены, спекулянты и лавочники. Невозможна не потому, что на Западе люди чисты и благородны, а просто потому, что такая сделка немедленно стала бы известна и привела к падению правительства, ее заключившего. Любым заинтересовавшимся этой «сделкой» журналистам немедленно стало бы известно, что, вопреки ей, десятки «советских» израильтян (назовем для примера Мойшензона, Рабинкина, Саланского, Раскина) получили работу в Америке и Канаде. Вряд ли журналисты пове-

рили бы, что израильские чиновники в индивидуальном порядке приказывают президентам, канцлерам и премьер-министрам западных государств, кого из израильтян принять на работу, а кого нет. В подобный бред способны поверить только некоторые советские эмигранты, привыкшие к тому, что если еврея не берут на работу, то это, действительно, следствие негласного указания, звонка «сверху», «тайного стовора» КГБ с начальством. Эта простейшая советская истина, как и некоторые другие\*, прочно вошла в наше сознание (а может быть, и подсознание). Возникновению «неписанного закона, на который ссылаются чиновники» на Западе, способствовал простой силлогизм: Мы, советские евреи, – безусловно, очень хорошие специалисты. Если мы не нужны в Америке, то, разумеется, не потому, что мы не удовлетворяем американским профессиональным стандартам, и не потому, что Америка – недоразвитая страна, вроде Израиля. Есть какая-то другая причина. И единственно возможная причина всех наших проблем – тайный стговор Израиля с правительствами Америки, Германии и Японии. А поскольку иной причины быть не может, потому что не может быть никогда, то простой силлогизм превращается в устойчивый миф, т. е. в интерпретацию непонятной действительности в понятных реалиях.

Западные журналисты наших мифов не знают, зато они очень хорошо знают западные реалии – и безработицу, и законы о гражданстве. Вообразим на секунду, что Израиль удовлетворил «невинную» просьбу семьи Антоновых и лишил их израильского гражданства. Тем самым государство Израиль совершило бы государственное преступление! Ибо, лишившись израильского гражданства и не имея никакого другого, господа Антоновы оказались бы в Германии в статусе нелегальных эмигрантов, искусственно и, по-видимому, сознательно «заброшенных» государством Израиль и покинутых на милость сердобольных немцев, покинутых – ибо теперь высылать их из Германии некуда! Немцам не оставалось бы ничего иного, кроме как, осудив незаконные действия Израиля, по-

---

\* Я хорошо помню, как, вскоре после моего приезда в Израиль, одаренный физик – д-р А. Р. – объяснял мне вполне серьезно, что телефоны в Израиле плохо работают, потому что израильское правительство стремится максимально ограничить контакты между своими гражданами.

жалеть обиженных евреев и предоставить им немецкое гражданство.

К сожалению, становится государством-преступником ради того, чтобы помочь господам Антоновым устроиться в Германии (а заодно избавиться от этих «израильтян по ошибке»), Израиль позволить себе не может.

К сожалению, во всех свободных странах есть свобода передвижения, свобода выбора страны проживания, выезда и въезда в страну, но нет свободы выбора гражданства.

К сожалению, гражданство нельзя менять, как нижнее белье.

К сожалению, кроме прав, которые дает гражданство, существуют еще и некоторые обязанности. Например, американец, бежавший от вьетнамской войны в Канаду, назывался дезертиром и приговаривался к тюремному заключению, а не объявлялся человеком, пожелавшим сменить гражданство.

Знакомство с западными законами, в частности, касающимися гражданства, было бы очень полезно бывшим советским гражданам. Мне представляется, что мифы, сложившиеся на основе советского опыта, более всего мешают нам вжиться в западный мир.

Ради тех, кто все еще находится в плену этих мифов, мне и хочется поподробнее разобрать письмо д-ра Антонова (не ограничиваясь злополучным израильским гражданством). Уж очень оно характерно и показательно – можно сказать, антология эмигрантской мифологии. Представляется также, что, поскольку ответа от Президента Израиля, которому также адресовано письмо, г-н Антонов, скорее всего, не дожидается, ответ рядового сиониста вполне обоснован.

Президент государства Израиль не может, не должен и не вправе отвечать на подобное письмо, Ибо, если нарушен закон, выясняет это на Западе суд, а не Президент страны. Если же закон не был нарушен, Президент демократической страны не может приказать его нарушить. Д-р Антонов обращается не по адресу, а, точнее, по незаконному адресу. Адресом должен быть суд или парламент, если д-р Антонов предлагает изменить существующий закон. Тогда это должно быть предложение, а не требование и не жалоба. К сожалению, в данном случае пришлось бы менять общепринятые *международные* законы об эмиграции и гражданстве. Кто это может сделать – для меня загадка. Ясно, однако, что к изменению

каких бы то ни было законов не имеют отношения ни заслуги г-на Антонова, ни «особые заслуги» его отца, Леопольда Трэппера, сколь велики бы они ни были, ни причины, по которым г-н Антонов отказался от имени отца. Приведение их в письме – это опять-таки советское представление о том, что просьба удовлетворяется в зависимости от чинов просителя. Письмо г-на Антонова доказывает: ментальность г-на Антонова – ментальность советская, а его обвинения в «тайном сговоре» – клевета на Израиль. Почему бы, однако, как советует «Континент», дипломатическим представительствам Израиля в Западной Европе и Америке не заявить открыто, что подобных тайных соглашений не существует? Потому что в Израиле, так же, как в других демократических странах, нет министерства пропаганды, а опровержение всевозможных клеветнических заявлений, которые в изобилии появляются в свободной прессе, не входит и не может входить в функции государственных чиновников. Клевета наказуема только в применении к человеку, и то если он не занимает официального поста. В этом залог свободы и бесстрашия печати, в этом же ее опасность и вредность. Ибо сама по себе западная демократия не хороша и не плоха. Ее основное отличие от советской системы состоит не в том, что это самое справедливое устройство, а в том, что это – структура, которая обеспечивает равенство граждан – мусорщика и Президента – перед законом; что в этой системе, если закон нарушен – можно привлечь к суду кого угодно; в том, что закон принимается согласно желанию большинства. И отменяется согласно пожеланию большинства. Охрана этого обеспечивается разделением власти между законодательным парламентом и исполнительным правительством, с Верховным судом, следящим за соблюдением законов, и прессой, которая помогает сделать явным любое тайное нарушение закона. Это отнюдь не гарантирует полную справедливость или отсутствие трагедий. Еще недавно в Швейцарии женщины не только были лишены избирательных прав, но замужняя женщина не могла открыть банковский счет и свободно им распоряжаться без согласия мужа. В Швейцарии и сейчас существует обязательная «прописка» в трехдневный срок в месте проживания. Недавно «Нью-Йорк таймс» сообщила о женщине, которая провела всю свою жизнь с двадцати до 60-ти с лишним лет в сумасшедшем доме. Туда ее засадили собственные родители. Только недавно она в конце концов

добилась освобождения из лечебницы для умственно-неполноценных и компенсации в 200 тысяч долларов. Газета отмечает, что это – не единичный случай, и обсуждает, как гарантировать неповторение таких случаев. Подобных чудовищных случаев можно привести множество, ибо идеализация Запада – это тоже советский миф. Путь Запада – это не путь абсолютной справедливости, а путь закона; на Западе существует институт суда, а не жалоб «наверх»; конфликты с женой выясняются не в парткоме.

Что же произошло в действительности с д-ром Антоновым?

### *Факты в изложении доктора Бройде-Трэппера (Антонова)*

В 1971 году кандидат физико-математических наук Антонов, почти слепой человек с больным сердцем и астмой, с женой-врачом и дочерью 8 лет, прибыл в Вену. В Вене чиновники Сохнута убедили его, что он получит постоянную работу в израильском университете, и семья Антоновых прибыла в Иерусалим. Там д-р Антонов получал небольшую стипендию, бесплатно читал курс лекций по русской литературе 19-го века и вел чеховский семинар. В 1972 году, спустя год после прибытия в Израиль, Антоновы отправились в Америку и Европу, где г-н Антонов также не нашел себе достойного применения. В 1977 году они приехали в Германию, где жена устроилась на работу врачом, а д-р Антонов по-прежнему не смог получить постоянной работы. В Германии у дочери произошло кровоизлияние в мозг, а некоторое время назад жену уволили по сокращению штатов. Основная и едва ли не единственная просьба г-на Антонова к государству Израиль состоит в том, чтобы его лишили израильского гражданства. По этому поводу он накопил чемоданы переписки с израильскими чиновниками и в качестве последнего отчаянного шага решил на открытое письмо Президенту государства Израиль, свободной прессе Европы и США. Письмо кончается пожеланиями государству Израиль счастья и процветания и подписано: «С любовью во Христе, Д-р Бройде-Трэппер (Антонов), Чеховград, 18 февраля 1985 года».

Всё, что делал д-р Антонов, он совершал не ради благополучия своего и своей семьи, а исключительно по соображениям мировой справедливости. «Я убедился, что никогда не получу здесь (в Израиле. – М. А.) постоянной работы в университете, так как не сумел скрыть, что являюсь бескомпромиссным антикоммунистом, что русская литература и культура – это смысл моей жизни, что национализм, любой, мне чужд, так как являюсь христианином. Я не скрывал, что считаю естественным уход евреев из коммунистического мира в любую страну Запада, а не только лишь в Израиль». Кроме того, здоровье г-на Антонова не позволяло жить в «африканском климате Израиля». Поэтому д-р Антонов уехал из Израиля. В Германию г-н Антонов отправился потому, что «немцы, русские, евреи должны ближе познакомиться, чтобы прошлое никогда не повторилось. Только сблизившись, народы могут преодолеть взаимную ненависть». Все несчастья г-на Антонова – следствие исключительно сверхподлости Израиля и израильтян. Израиль лишил его и его жену, как израильских граждан, возможности получить работу (тайное соглашение с Европой и США). Израиль заставляет их оставаться израильскими гражданами, Израиль преследует и их дочь. Ее кровоизлияние в мозг – следствие израильских «чиновничьих окриков».

*Мои комментарии к трагической истории  
д-ра Бройде-Трэппера (Антонова), христианина*

Прочтя историю дочери-ребенка, хочется немедленно устроить еврейский погром и стереть Израиль с лица земли. Поистине, евреи пили, пьют и будут пить кровь христианских детей. Так д-р Антонов лично способствует «близкому знакомству и взаимопониманию» немцев и евреев

Пусть погибнет Израиль, но сгинет израильское гражданство. Интересно только, как и где израильские чиновники ухитрились добраться до христианского ребенка в Германии. Неужто ребенка силой затащили в подвалы израильского КГБ? Неужели несчастная дочь не могла убежать от израильских чиновников, преследовавших ее своими криками? Неуже-

ли немецкий закон не защищает детей от израильских убийц? Где были несчастные родители в это время, почему не помогли, не спасли ребенка? Думаю – комментарии к этой истории излишни. К сожалению, государство на Западе, как рассказывалось выше, *не может* защитить себя в суде. В итоге, одним кровавым наветом в еврейской истории стало больше. Автор навета подписался полным именем – д-р Бройде-Трэппер (Антонов), христианин. Если затем Вашим именем, д-р Антонов, арабы ли, террористы или кто другой, будут действительно *убивать* еврейских детей, их кровь будет на Вас, г-н христианин Бройде. А причиной их смерти окажется всего лишь желание любыми средствами, любыми правдами и неправдами добиться постоянной работы в Германии.

Кровавый навет, направляемый Президенту государства Израиль (!), заканчивается поцелуем Иуды: «С любовью во Христе». Большого святотатства невозможно вообразить. Христианину Антонову следует подумать – не является ли болезнь дочери карой за его грех клеветы на Израиль. Я человек нерелигиозный, но я не атеист, я верю в справедливость. Ни христианский, ни еврейский Бог не прощают греха кровавого навета, и мне страшно даже подумать о будущем Антоновых после этого греха. До сих пор еще ни один из авторов кровавого навета не умер спокойной смертью.

Страшной мстью Антонову было бы перевести его письмо (написанное в лучших традициях публичного доноса в «Литературке») и разослать по университетам. Вот после этого он уже без всякого сионистского заговора нигде и никогда не нашел бы работы.

По сравнению с кровавым наветом остальные мифы д-ра Антонова выглядят почти невинными. Но разберем и их.

Я никогда до сих пор не слышал об израильских чиновниках, обещающих в Вене работу в Израиле. Мне также трудно себе представить наивного ученого, немедленно верящего им на слово.

По всей вероятности, д-р Антонов просто не сомневался заранее, что такой специалист, как он («научная степень и отличные рекомендации»), найдет работу немедленно. В основе этой уверенности еще один миф: Израиль – научная провинция, а в стране слепых и кривой – король! Между тем, израильская наука, вне всякого сомнения, находится на мировом уровне. Г-н Антонов скромно умалчивает, что его жена-



врач получила работу в Израиле, а ее зарплаты (а мы хорошо знаем, что такое зарплата врача на Западе), вместе со «скромной стипендией» г-на Антонова было более, чем достаточно на жизнь. Более, чем достаточно, потому что спустя всего лишь год они смогли всей семьей выехать в Америку, и даже жить там, по крайней мере какое-то время, без работы. Таким образом, ситуация оказывается отнюдь не столь трагической, а назвать иерусалимский климат африканским можно только при самом пылком воображении. Уж во всяком случае он менее африканский, чем в Нью-Йорке или в Нью-Джерси. (Я уж не говорю о том, что город Арад – лучший в мире курорт для лечения астмы, которой страдает д-р Антонов, – намного здоровее для него, чем «туманная Германия».)

Короче говоря, не так уж плохо было в Израиле д-ру Антонову: материальная обеспеченность, здоровый климат, удовлетворение от лекций и семинара, наличие любимой работы, правда, поначалу временной. Поначалу – ибо филологи Раскин, Сегал, Серман получили ведь постоянную работу в израильских университетах. А успешно устроившиеся в Израиле М. Агурский, Б. Орлов, В. Рубин обладали теми же кошмарными свойствами (бескомпромиссный антикоммунизм, антинационализм и пр.), которые лишили г-на Антонова надежды на работу в Израиле. (М. Агурский, кстати, получил работу в университете, будучи христианином.) К этому можно добавить, что, насколько мне известно, стипендия ученому дается только после того, как университет письменно подтверждает свое согласие рассмотреть его кандидатуру для постоянной работы. Как же за один год успел г-н Антонов утратить всякую надежду? Полгода новый эмигрант проводит в ульпане, изучая иврит.

В Америку уезжают навсегда тоже не в один день...

В Америке после горестных неудач расцвел еще один распространенный миф советских евреев: «Если бы я прямо поехал тогда в США или Европу, – пишет г-н Антонов, – то как многие мои коллеги – эмигранты из СССР и Польши – имел бы постоянную университетскую работу». (А если б остался в Израиле, добавим в скобках, то – см. выше о Раскине, Сегале и других.)

Вот в чем, оказывается, корень всех проблем д-ра Антонова. Хочется задать вопрос: а что было бы, если бы д-р Антонов так и поступил и все-таки не нашел бы работы? Да всё бы-

ло бы точно так же, только у него не было бы возможности обвинить Израиль во всех своих несчастьях. А впрочем, как знать: Израиль ведь и насчет «прямиков» может заключить «тайное соглашение» с Западом.

И вообще насчет евреев. И даже не-евреев. Израиль – он же сатана – всё может... «Если в речке нет воды – значит, выпили жида». Никто не знает этого лучше, чем советские еврей-эмигранты. Нередко в Вене и Америке слышится невинное: «Я не хочу ехать в Израиль, потому что там надо жить среди евреев».

Основная причина недовольства нового эмигранта сразу после приезда в Израиль кроется в ощущении, что здесь – и только здесь – его не оценили. Как только он отправится в Америку или Европу, его – великого специалиста – схватят с руками и ногами. И он берет ноги в руки и отправляется. При этом, если бы он не был бывшим советским евреем, он хотя бы честно сказал: я ищу лучшей работы. Именно для советского еврея это более чем оправдано. Не вина, а беда многих советских евреев, что они поистине оказались «безродными бродягами, беспаспортными космополитами», что у них полностью отсутствует чувство Родины, что Израиль для них – пустой звук. Единственно, чего они ищут – это личного благополучия. Их можно не только понять, но и пожалеть.

Мы вообще больное поколение, искалеченное жизнью в СССР. Советская власть разрушила нашу мораль. В этом она достигла цели. К искалеченным советским евреям можно было бы иметь меньше претензий, чем, скажем, к американским, если бы не одно обстоятельство – если бы не их потребность оправдывать личные выгоды негодяйством Израиля, если бы не то, что миф о невозможности найти работу в Израиле отправился гулять по Америке, полетел в письмах в Россию, лишил Израиль новых эмигрантов, обманутых, – да, обманутых! – теми, кто приехал в Израиль до них. Этот обман удесятеряется, когда сообщают в Россию, что те, кто попали в Израиль, никогда уже не найдут работу в Америке или в Европе. В итоге, потребность самооправдания несомненно явилась одной из главных причин, закрывших алию из России\*. Такая благородная потребность...

---

\* А, быть может, и эмиграцию вообще. Евреи, едущие в золотой американский рай, оказались привилегированным меньшинством.

Отсюда возникает у многих израильтян неприязнь к тем, кто поехал в Америку или Европу напрямик или через Израиль. К тем, кто всюду и везде, чтобы оправдать себя, рассказывают про израильские ужасы. Многие эмигранты из Израиля воспользовались до отъезда всеми своими льготами, купили дешевые квартиры, затем продали их коренным израильтянам (которые, в отличие от новых эмигрантов, льгот не имеют) втридорога.

А ограбленный Израиль даже не может защищать себя от подобного тихого жульничества. А советские евреи даже не виноваты. Мы ведь в России привыкли, что ограбить государство – самое благородное дело. Но хорошо бы хоть ограничиться деньгами и не помогать врагам Израиля, оставить Израиль в покое. Оставить хотя бы ради себя, потому что наветы «а ля Антонов» вызывают такой антисемитизм в Европе и Америке, который может обрушиться на собственные головы клеветников. Я встречал многих западных евреев, которые не могут спокойно говорить о советских эмигрантах. Я слышал: «Возьмем на работу кого угодно, кроме русских». И если положение граждан Израиля в Европе и Америке хуже, чем у граждан других стран, то исключительно в силу того самого антисемитизма и антисионизма, свою лепту в которые вносят новые эмигранты. Они выпускают из бутылки джина. Потом он может откусить голову им самим. Так бывало в истории уже не один раз.

Трудное положение бывших советских граждан стократно усугубляется их ментальностью. Отбор на Западе идет по иным признакам, чем в России. Д-р физико-математических наук Г. К., уехавший в Америку, не нашел себе там работу, хотя его жена, тоже израильтянка, великолепно работает и очень довольна. «Рыночная стоимость» человека в Америке отличается от той, которая была в России, и никакой Израиль здесь ни при чем. Правило состоит в том, что те, кто находят себе место в Израиле, найдут его и в Европе, и в Америке. Те, кто не могут вписаться в израильскую жизнь, редко могут вписаться в другую западную страну. Мне жаль г-на Антонова, ему трудно жить на этом свете. Помощь ему может прийти

---

Советские правители могут позволить себе почти все – но не обвинение в покровительстве жидам. Иначе их с восторгом свергнут собственные заместители.

только от него самого. Дело спасения утопающих на Западе есть дело рук самих утопающих. И пытаюсь найти виновных извне, можно лишь окончательно и безнадежно утонуть. И мы нередко тонем, пуская большие, и подчас очень некрасивые пузыри. Мы постоянно жалуемся, непрерывно поучаем, нам всюду плохо, мы рвемся разрушить то, что создал Запад, не умея созидать. Мы стремимся его поскорее исправить. Мы лихорадочно занимаемся самовосхвалением. Нигде я не видел такого количества директоров заводов, как на Брайтон-Бич в Америке. Все мы – искалеченное поколение. А расплачивается за это, как всегда, Израиль.

*Марк Азбель*

**ОТ РЕДАКЦИИ:** Публикуя в 44-м номере «Континента» письмо д-ра Бройде-Антонова, мы сделали к нему примечание, из которого достаточно ясно вытекало, что мы весьма и весьма сомневаемся в существовании «тайного соглашения», так что пафос ответного письма искренне уважаемого нами д-ра Азбеля в этой части попросту излишен. Однако нам трудно согласиться с тем, что проблемы израильских граждан в Западной Европе связаны лишь с тем, что это как раз те самые люди, которые столкнулись бы с подобными проблемами всюду. Мы знаем случаи людей, которые не ищут работу, а работают, притом далеко не первый год, но каждый год или полгода (в зависимости от порядков данной страны) должны выдерживать новую, иногда затягивающуюся на несколько месяцев бюрократическую волокиту с продлением вида на жительство и разрешения на работу. В эту волокиту втягивается и руководство их мест работы, ходатайствующее о продлении, – потому-то, предвидя такие хлопоты, израильских граждан нередко берут на работу неохотно или вовсе не берут. Мы предлагали разобраться в причинах именно этого положения и раз и навсегда объяснить, что никакого «заговора» или «сговора» в природе не существует.

Д-р Азбель воспользовался своим правом «рядового сиониста» опровергнуть существование того же самого «тайного сговора», ибо «опровержение всевозможных клеветнических заявлений, которые в изобилии появляются в свободной прессе, не входит и не может входить в функции государственных

чиновников». Несколько наивное представление о свободной печати. При всех различиях в законодательстве о печати разных демократических стран, везде предусмотрено и наказание за клевету, и «право ответа» – т. е. право публичного опровержения – затронутого лица или учреждения как в случае клеветнических утверждений, так и в случае просто ошибочных сообщений. Удивительны и методы опровержения, к которым прибегает д-р Азбель. Его аргументация сводится примерно к следующему: 1) автор злополучного письма принадлежит к людям, которым вообще «трудно жить на этом свете»; «те, кто не могут вписаться в израильскую жизнь, редко могут вписаться в другую западную страну»; 2) автор письма не только не разбирается в законах и не понимает, что Государство Израиль не может лишить его своего гражданства (кстати, именно поэтому мы в своем примечании предлагали совсем иной путь решения проблемы), но еще и совершает... «кровавый навет», разжигает антисемитизм и антисионизм. Вот уж воистину, если д-р Антонов-Бройде в отчаянии перегнул палку, поверив в «секретный договор», то д-р Азбель, «выпрямляя» положение, оставил одни исковерканные щепки. «Советская власть разрушила нашу мораль», – констатирует д-р Азбель. Но неужели она разрушила и простое умение читать – не между строк, а то, что написано и напечатано?

Уважаемый господин Максимов!

Прочитав в «Континенте» (№ 46 за 1985 г.) статью г-на Мяновича, с чувством сожаления я должен был принять к сведению его полемические высказывания относительно просветительской деятельности супругов Копелевых в Федеративной Республике Германии. Поскольку в статье было упомянуто мое имя, мне хотелось бы уточнить возникшие в связи с этим вопросы.

1. Реферат г-на Мяновича на симпозиуме в Берлине мог быть неправильно истолкован многими, поскольку, выступая перед немецкой публикой, недостаточно хорошо знакомой с польскими проблемами, докладчик не совсем точно выразил свои взгляды, когда говорил о необходимости «конспиративной работы» в Польше. Исходя из его высказываний, можно было неправильно подумать, что он, мол, выступает за применение насилия со стороны оппозиции. Так, возможно, понял референта и г-н Копелев, когда прямо спросил его, не выступает ли он (Мянович) за насильственные акции оппозиции против режима Ярузельского. По поводу этого очевидного недоразумения я попросил слова и попытался объяснить, что польское подполье не совершает никаких насильственных акций и, разумеется, выступает за соблюдение прав человека, причем ему приходится – это касается прежде всего издательской деятельности – в основном работать конспиративно с целью оградить себя от преследований органов государственной безопасности. Последующая реакция отдельных участников дискуссии показала мне, насколько необходимым явилось такое разъяснение. Высказывания г-на Копелева на этом вечере убедили меня в том, что нет никакого основания утверждать, что он, якобы, занимается анти-антикоммунистической пропагандой. Напротив, он пытался правдиво разъяснить политическую обстановку в странах восточного блока и Советском Союзе публике, не очень хорошо разбирающейся в этих проблемах, и кроме того, открыто выступил в защиту Сахаровых.

2. Как редактор польского эмигрантского журнала, я уже долгие годы наблюдаю за политической сценой в Федеративной Республике Германии и должен признать неуместными упреки в адрес г-на Копелева со стороны г-на Мяновича, а также редакции журнала «Континент». Во всех известных мне высказываниях г-н Копелев ни в коем случае не выступал в защиту коммунистических утопий и никогда не представлял

Советский Союз как человеколюбивое государство. По моему мнению, это единственный, если говорить о последнем десятилетии, эмигрант из восточного блока, которому удалось здесь, в Германии добиться всеобщего признания и стать политической инстанцией так же, например, как и немецким писателям Грассу и Бёллю. Я считаю правильным, что немецкая общественность не относит его к политэмигрантам из правых радикальных кругов (поскольку таковым он и не является). Только удовлетворение может вызвать тот факт, что благодаря своей писательской и просветительской деятельности г-н Копелев был признан представителями немецкой интеллектуальной элиты, став своего рода посланником, обращающим их внимание на реальности восточного блока, о которых до сих пор они даже не подозревали. Этот факт, а также его поддержка супругов Сахаровых являются неоспоримыми заслугами г-на Копелева в борьбе за права человека. И это просто обходится молчанием как в статье г-на Мянвича, так и в примечаниях редакции «Континента». Кроме того, мне хотелось бы подчеркнуть, что полемика, разгоревшаяся вокруг уточнения высказанных и невысказанных мнений, вызывает во мне глубокое сожаление. По моему мнению, споры эмигрантов между собой не приводят ни к чему, ведь, собственно, как русские, так и польские эмигранты имеют перед собой одинаковые цели. Неважно, кто из них более, а кто менее «правый». Обе эмиграции хотят от советской системы прежде всего освобождения от тоталитарной диктатуры. А если есть такая единая цель – и, конечно, эту цель и ничто другое преследует и г-н Копелев – нужно говорить об этом, а не пытаться клеветать друг на друга.

С дружеским приветом

*Эдвард Климчак,*  
издатель и редактор журнала «Поглѐнд»

## «НАРОД И ЗЕМЛЯ»

### ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1986 ГОД

В ближайших номерах журнала будет опубликована проза Юза Алешковского, Эли Визеля, Ромена Гари, Давида Гроссмана, Эли Люксембурга и других авторов;

стихи лауреата Нобелевской премии Нелли Закс и средневековых еврейских поэтов;

воспоминания, очерки, статьи и рецензии.

Стоимость годовой подписки (4 номера):

в Израиле – 28 новых шекелей, за границей – \$ 28 USA.

При продлении подписки соответственно 24 новых шекеля и \$ 20 USA.

Цена отдельного номера:

в Израиле – 9 новых шекелей, за границей – \$ 10 USA.

Заказы по адресу: Tarbut, P. O. B. 29, Giv'at Ze'ev 90917, Israel.

Наш представитель в Северной Америке:

Юз Алешковский, 394 High str., Middleton, Ct 06457, USA.

To: Tarbut

P. O. B. 8383, Jerusalem 91083, Israel

Прошу подписать меня на журнал «Народ и земля» на 1986 год (№№ 5 – 8). Прилагаю чек на 28 н. шек./\$ 28 USA.

Прошу продлить мою подписку на журнал «Народ и земля» на 1986 год (№№ 5 – 8). Прилагаю чек на 24 н. шек./\$ 20 USA.

Фамилия, имя .....

Адрес .....



# Критика и библиография

## *ЖЕЛЯБОВ, НЕЧАЕВ, КАРЛОС И ДРУГИЕ...*

Как мы любим припечатать противника таким эмоционально окрашенным словом!

Окунул в чернила перо, написал с нажимом, и будто проблема решена или стала хотя бы понятнее.

Копья ломаются; опустив забрала, сжав зубы – а может даже зажмурившись, – атакуем...

«Советский писатель», «советский поэт» – нравственный и реальный нонсенс. Икс никогда бы не употребил, скажем, словосочетание «самый яркий писатель фашистской литературы» – да еще с сочувственным пафосом. Но в чем же разница? Ведь «советизм» и «фашизм» взаимоотносятся как «отец» с «сыном».

Так игрек сплеча рубанул по иксу. Нонсенс... Нету «советских писателей»...

А вот я с волнением держу в руках книгу писателя, которого ну никак иначе не назвать – советского.

Не советского графомана, не советского карьериста, не «промежуточного» какого-то литератора.

Писателя.

Советский писатель ведь совсем не тот, кто воспевает советскую власть.

Клеймить кого-то: советский писатель! – значит просто выворачивать наизнанку бредовое выражение «антисоветский писатель».

Советский писатель – это нечто другое. Не про воспевание, приятие или неприятие здесь речь. Речь о том, где и когда сформировался этот человек, где он живет...

...Я держу в руках вышедший в 1985 году в Москве сборник публицистики Юрия Трифонова. Юрий Трифонов был советским писателем.

Я, пожалуй, затруднился бы привести более наглядный пример советского писателя.

---

Юрий Трифонов. «Как слово наше отзовется...». М., «Советская Россия», 1985.

Мне не довелось встречаться с Юрием Трифоновым, но однажды я попытался написать рассказ про человека, писателя, который пишет и боится быть понятым, который ненавидит всё и связан со всем этим вокруг родственными узами, презирует людей, потому что презирует себя. Проклятое ремесло, страсть, зуд требует и требует высасывать из себя – а из себя значит истинное, то, что на самом-то деле хочется скрыть, безопаснее было бы скрыть! – но одновременно он понимает, что только так он может писать, потому что только так получается.

И эта страсть, болезнь эта (он называет – «графоманская болезнь»), лишь до определенной степени притупляет страх.

Страх, пульсируя, всегда рядом, сбивает сердце с нормального ритма.

Перехваченное дыхание, удары в висках, попытки скрыться за внешней медлительной невозмутимостью, мы не врачи, повторяет он слова, сказанные Герценом, мы не врачи, мы боль.

Я пытался написать рассказ про человека, похожего на Юрия Трифонова – как я его понимаю, – но скоро осознал, что мне это не под силу: всё это написал сам Юрий Трифонов своими книгами.

Однажды он сказал:

«Я, признаться, не очень верю в полное неведение человека относительно самого себя, своих мыслей, поступков. Нравственное чувство есть у каждого, и если кто-то совершает, допустим, сомнительный в нравственном отношении поступок, то по большей части он знает или, во всяком случае, подозревает, что этот поступок сомнителен...»

Трифонов не хотел оправдываться неведением или непониманием.

«Один цвет накладывается на другой. Ничего не исчезает бесследно... Наивно полагать, что новое поколение начисто забудет всё, что было до него с его отцами и дедами, – может, ему покажется, что всё забыто, но это обман. Память трансформируется в нечто иное. Например, в привычки или нелепейшие поступки, которые будут изумлять окружающих...»

Отец и дядя Юрия Трифонова – крупные военные – погибли в лагерях. Многие годы провела в лагерях мать.

Юрию Трифонову каким-то образом удается стать редактором заводской многотиражки, а потом и поступить в Лите-

ратурный институт; дрожа, боясь быть разоблаченным и вышвырнутым, удалось закончить институт, да не просто закончить, а закончить – на ура.

«Решением Совета Министров СССР Юрию Валентиновичу Трифонову за повесть «Студенты» присуждена Сталинская премия третьей степени за 1950 год».

За институтскую дипломную работу сыну врага народа присуждена Сталинская премия! По-моему, незаурядное событие.

И повесть, общий тираж которой – только на русском языке – достиг миллиона экземпляров, не зря была так высоко оценена.

Наш простой туповатый парень, студент Вадим Белов, разоблачает своего преподавателя профессора Козельского, обвинив его в пренебрежительном отношении к советской литературе, в том, что Козельский «не считает советское литературоведение наукой», обвинив его в безидейности и, естественно, – время! – в низкопоклонстве перед Западом.

Четверть века спустя Трифонов «переписал» этот сюжет, получился «Дом на набережной».

Однако «Студенты» ведь никуда не исчезли.

Вадим Кожинов, первым, насколько мне известно, параллельно разобравший «Студентов» и «Дом на набережной», пишет: «Повесть – («Студенты». – М. Л.) – сама стала чрезвычайно весомым фактором в т о й с а м о й «литературной ситуации», которая воссоздана в «Доме на набережной», и играла роль довольно сильного оружия в руках друзей и ширейко. Доцента, о котором я рассказывал выше, изгоняли из университета уже после выхода «Студентов», и «наши» друзья и ширейко называли его «Козельским»...»

Злорадно Кожинов отмечает и почти абсолютное тождество гонимых и гонителей в «Доме на набережной». Цитируя фразу Ганчука: «А знаете, в чем ошибка? В том, что в двадцать восьмом году мы Дороднова пожалели. Надо было добить», Кожинов пишет: «Ганчук и Дороднов всего лишь пауки в банке».

«Таков результат четвертьвековой эволюции... – резюмирует Кожинов. – Это в «Студентах» он по молодой еще наивности был на чьей-то стороне... а теперь неизмеримо выше всех этих пустых страстей».

Кожинов пытается уличить Трифонова, дискредитировать его – у Вадима Кожинова и компании свои заботы, мы не будем сейчас этих дел касаться, – но наблюдения его, по-существу, верны.

Речь, правда, только не о «пустых страстях», а об остервенении, с которым рвут друг друга эти человекообразные существа – «пауки в банке», – терзают друг друга, но одновременно и втягивают с безразличной жестокостью в эту оргию людей... ..И вот руки уже в чем-то мерзком – то ли внутренности раздавленных пауков, то ли экскременты, и ты лежишь на диване лицом вниз, пытаешься убедить себя, что это был сон... «Не надо возвращаться к тому, что ушло. Это всё равно, что пытаться наяву переделать нечто, существовавшее лишь во сне...», – так Трифонов, много лет спустя, написал о «Студентах».

Хочется затаиться, сжаться, чтобы эти пауки больше не замечали тебя, чтобы опять не втянули в свои смрадные побоища. Хочется затаиться, но страсть к писанию, как соглядатай, который всегда с тобой, провоцирует, и ты безумно, безрассудно вдруг проговариваешься, и тогда ничего уже не остается, кроме как, прижимая ладонь к колотящемуся сердцу, подчинившись этой страсти, следовать в страшную неизвестность, на всеобщее обозрение.

Таким мне представляется писатель Трифонов.

Правда и ложь, умолчания и рядом опасная откровенность, любовь и жалость, и презрение – всё вместе.

Ему повезло, машина не перемолола его – он избежал детского дома, лагеря, – но видение этой машины, ощущение ее присутствия, прочно и навсегда вошло в душу, сросшись с нею.

И вынужденная ложь, и человекообразные чудовища вокруг, и страх... Мы не врачи, мы боль...

Вот он – советский писатель.

Трифонов пишет и переписывает, и снова пишет иначе. «Студенты» и «Дом на набережной» совсем не исключение.

Например, о создании «Студентов», о собственных студенческих годах Трифонов написал и в романе «Время и место», и в «Записках соседа» (своих воспоминаниях о Твардовском), и в «Воспоминаниях о муках немоты».

Удивительно, Трифонов публикует в 1979 году «Воспоминания о муках немоты» («Дружба народов», 10, 1979 г.), а через два года в том же журнале появляется роман «Время и

место». В «Воспоминаниях...» мы встречаем реальных людей, в том числе Федина, Паустовского, в романе – те же люди заслонены вымышленными именами. В «Воспоминаниях...» оценки людей, даже оттенки отношений – взвешены, аккуратны, в романе – значительно более субъективны.

Зачем, еще работая над романом, Трифонов публикует «Воспоминания...»?

Чтобы помочь будущим читателям романа лучше понять?

Или, наоборот, чтобы себя обезопасить, оградить от упреков?

Где, собственно, сам-то Трифонов?

Я убежден: Трифонов не тут или там, а именно вместе, во всей этой полувысказанной полупроглоченной речи, и невозможно с уверенностью отличить слово, произнесенное с оглядкой, от безоглядно выкрикнутого.

Вот, по-моему, что значит – советский писатель.

Здесь не проблема эзопова языка, маскировки, обхода цензуры (это всё тоже, конечно, есть, но в другой совсем плоскости), здесь иная проблема – проблема сознания.

И публицистика Трифонова, естественно, дает нам не менее рельефный портрет советского писателя.

Предисловие к книге публицистики написал Лев Аннинский, предисловие со странным названием – «Рассечение корня».

Аннинский знает, что делает. Он подступает к Трифонову с разных сторон, как бы пытаюсь немногими выверенными штрихами – хотя, на первый взгляд, их подбор выглядит парадоксально – нарисовать портрет Юрия Валентиновича Трифонова.

«Может быть, этот странный контраст вовсе не странен? И находится в связи с мучительной внутренней ситуацией, когда Трифонов вынужден был, как сам он сказал, кидаться в разные стороны и пробовать. Может быть, те противоречия, которые кричат со страниц его публицистики... никакая не непоследовательность, но коренной, «кровавопролитный» для автора способ переживать проблему, пробуя одновременно ее взаимоисключающие решения?»...

...«Внешние противоречия – индикаторы внутренней драмы»...

...«Так кто же Трифонов: реалист или романтик?»

Романтик, поглощенный реальностью...»

Всё это точно и верно, но, однако, на определенном уровне – всё это самоочевидно. Портрет Юрия Трифонова, нарисованный критиком, уж очень абстрактен.

Аннинский понимает это и сам: «Не решается, – признаёт он, – мучительная трифоновская коллизия: неизбежное и роковое столкновение высокой идеи с «природной» реальностью! Не решается – как «вопрос». Но как жизнь – решается: пережить это, перетерпеть, переболеть. Перебаливать бесконечно».

Не решается, потому что критик не произносит самых, мне кажется, главных слов.

Эта измученная душа, находящая в себе самой и трусливую ложь и сострадание к людям, эта душа, «болящая» на страницах трифоновских книг, создана временем. И не каким-то величественным Временем, а временем просто – пережитым, прожитым.

Аннинский, понятно, не может написать в прямых и простых словах о взаимоотношениях Трифонова со временем.

Но даже и отсюда, без цензуры, не просто говорить о Трифонове.

Трифонов не был певцом и пропагандистом существующего режима. Это как бы очевидно. Однако, сказать, к примеру, что Трифонов был противником режима, значит, не менее очевидно, солгать.

Он мог ненавидеть и бояться, но он чувствовал кровную связь.

Отец его, Валентин Андреевич Трифонов, был уничтожен в 1938 году. Но он же, тот же самый Валентин Андреевич Трифонов был профессиональным революционером, политикаторжанином, членом коллегии Наркомвоена, во время Гражданской войны – членом Реввоенсовета нескольких фронтов.

Отец Трифонова был одним из тех, кто за эту власть боролся, кто этот режим создавал. Вспомните: «наивно полагать, что новое поколение начисто забудет всё, что было с его отцами и дедами...»

Хороши ли, плохи ли Дмитриевы из «Обмена», Павел Летунов из «Старика» – это люди с теми же корнями, что и Трифонов, и к ним лежит его душа.

«Современный «тихий интеллигент», – замечает Аннинский, – вроде бы живущий бытом, на самом деле предстает у Трифонова как наследник и ответчик за всю русскую интеллигенцию от самых её корней».

За всю? От самых корней?

Вот что значит – рассечение корня. Аннинский – в тех пределах, какие возможны в подцензурной печати, – хочет показать, какую же часть корневой системы Трифонов полагал своей.

Аннинский говорит о двух, как бы, корневых ветвях: Желябов и Нечаев.

Желябов или Нечаев? Оба они герои и трифоновской прозы и публицистики.

Вот как Аннинский определяет позицию Трифонова:

«Слишком дорогие понятия приходится делить... И раздел нужен решительный. Надо рассечь этот узел, этот корень. И Трифонов, всеми генетическими линиями привязанный к русской революционной демократии, – рассекает «общий корень» решительным и праведным ударом... ..Есть пропасть между путем Желябова и путем Нечаева, есть пропасть между бескорыстным самопожертвованием, как бы трагично оно ни ошибалось в выборе средств, – и дракой за место под солнцем, какими бы цитатниками эта драка ни прикрывалась».

По Аннинскому – Трифонов наследник желябовского пути и отрицатель нечаевского.

Просто и понятно – наследник бескорыстного революционера В. А. Трифонова отмежевывается от кровавых убийц (в том числе, конечно, и от тех, кто убил и самого В. А. Трифонова), от «бесов», себялюбивых жуликов, шкурных шарлатанов.

Корень рассечен. Конфликт объяснен: зло, террор, кровь, подлость – всё это трагическое наслоение бесовской нечаевщины на бескорыстную борьбу желябовых.

Я не знаю, думает ли так Аннинский на самом деле. Так он написал.

Трифонов рассек корень, написал критик, – из этой части корня выросли «бесы», а вон из той бескорыстные борцы.

При всем моем пиетете ко Льву Александровичу Аннинскому, согласиться с этим невозможно.

Нечаев у Трифонова – как и в действительности – совсем не борец за шкурное. Да, он «бес», он испуганный борец – но за идею.

Как и Желябов.

Желябов, в отличие от Нечаева, не хочет смерти невинных. Это правда.

Но – невинные гибнут.

Организация, ведомая Желябовым, убивает Александра II. И – «это ничего не принесло России, кроме бедствий, – пишет Трифонов. – Принятие конституции, на что царь уже решился под напором обстоятельств, отложилось надолго».

Где же эта непроходимая граница, где эта «пропасть» между «путем Желябова и путем Нечаева» о которой говорит Аннинский?

Как легко и заманчиво было бы отделить таким образом борьбу за справедливость – пусть и неправильными иногда методами – от борьбы лишь за место под солнцем. Очень просто: начиная с Желябова и кончая В. А. Трифоновым – все были хорошие, а от Нечаева народились убийцы, «бесы»...

И ясно, кстати, кто искалечил душу автора «Студентов» и «Дома на набережной».

Ах, если бы так всё рассекалось!..

Вот, Трифонов многократно упоминает в своих интервью (и в «Отблеске костра») Абрама Сольца. Сольц был другом Валентина Трифонова.

Кто такой Абрам Сольц?

Думаю, Трифонов читал «Архипелаг», да и без «Архипелага» знал о Сольце немало. От кого идет «генетическая линия» к Сольцу, куратору Беломорканала, – от Нечаева или Желябова? А к тем, кто гноил самого Сольца в тюрьме, – от Нечаева или Желябова?

Как это разделить, как рассечь?

Еще раз подчеркиваю, я не знаю, что думает Аннинский, но вывод его выглядит одномерно и плоско.

Одномерно – значит не про Трифонова.

Да, Трифонов пытался рассечь этот корень. Пытался. Но – пытался рассечь и не смог.

«Нечаев, Верховенский и другие...», статья Трифонова, опубликованная посмертно, ставит последнюю точку.

Или, если хотите, многоточие.

«Нечаев, Верховенский и другие...» – эссе о Достоевском, о том, что сейчас, возможно, больше чем когда-либо, мы понимаем его истинное значение, пророческий смысл его творчества.



Сосредоточив внимание на «Бесах», Трифонов в своем эссе делает попытку провести осторожно границу между Желябовым и Нечаевым. Не расцечь «решительным и праведным» ударом, а лишь провести без нажима извилистую линию, границу, хотя бы в теории отделяющую один путь от другого. Пожалуй, и границу-то Трифонов пытался провести, скорее, умозрительную – просто для себя.

Но – хотя бы и в теории – не разграничивается. Не рассекается корень.

«Достоевский расщепил, исследовал и создал модель зла. Эта модель действует поныне. Все части в ней типовые. Взять, к примеру, небезызвестного Карлоса – чем он не Верховенский? Он так же абсолютно антинравствен, патологичен, властолюбив, мал ростом, обладает легендарной сексуальной мощью, внезапно появляется, бесследно исчезает, его имя окружено тайной. По своему происхождению Карлос, правда, отличается от Нечаева. Он сын миллионера. Но это дань веку. В наше время слишком много миллионеров».

Обратите внимание, в этом тексте оппонент Желябова не Нечаев, а Верховенский. Трудно представить себе, что Трифонов, превосходно знавший эпоху и, естественно, понимавший разницу между Нечаевым и Верховенским, бессознательно совершил эту подмену.

Обратите внимание и на то, что само имя Нечаева мелькает здесь лишь раз, да и то в качестве риторической оппозиции («...Карлос, правда, отличается от Нечаева...»).

Ну, хорошо. Допустим, мы чего-то не поняли.

Итак, Нечаев – роди Карлоса. Вот он, страшный облик бесовщины, гениальное предвидение Достоевского («...через столетие писатель заглянул в наши будни...»).

Карлос для Трифопова несомненный пример «беса», злодея, но кто такой Карлос?

«Его имя окружено тайной», – пишет Трифонов.

Любопытная фраза в подцензурном издании.

Имя Карлоса действительно окружено тайной – в Советском Союзе.

Имя его – Ильич. Папа-коммунист не только выбрал для своего сына имя, демонстрирующее убеждения, но и отправил Ильича учиться в Москву, родной город Трифопова.

И «бес» получил образование, прекрасно освоив всё, чему учили его советские профессионалы.

Чей он наследник, Карлос?

Нечаева?

Желябова?

Валентина Трифонова и Абрама Сольца?

Не рассекается корень! Наоборот, упомянув Карлоса, Трифонов еще теснее связывает всех вместе; судорога брезгливого отвращения, а, главное, ужаса, пробегает по этому тексту.

Это привычный нам Трифонов: его герои – не чистые и нечистые (как следует из Аннинского), а отвратительные и в то же время родные, пугающие и притягивающие, и ужасающие.

«И все же: что происходит с бесами, почему они не превращаются в свиней и не бросаются со скалы в озеро, чтобы исчезнуть, как предсказывал евангелист?»

Трифонов спрашивает риторически, он знает ответ: терроризм поддерживается общественным мнением, терроризм живет «...смешанным комплексом ненависти, восхищения, отчаяния, надежд, страха... Вечный соблазн: все проблемы решить разом – одной бомбой, одним п о с л е д н и м у б и й - ством».

Как раз ответственность и генетическую сопричастность Трифонов чувствует. И от родства совсем не отказывается – тем больше, впрочем, терроризм его ужасает.

Невозможно расщепить свою душу на элементарные составляющие, вычистить, отбросить одно, сохранить другое. Невозможно выпрямить то, что причудливо изогнулось под давлением прожитых лет, времени...

Трифонов был таким, каким создало его время, его книги, судьбы его книг – огромной важности свидетельство нашей эпохи.

Трифонов был таким, каким был, и он сам написал об этом проникновеннее и глубже, чем мог бы это сделать посторонний:

«...самое ужасное было то, что иго (он тут, в тексте, говорит о татаро-монгольском иге. – М. Л.) вышло долгое. Люди вырастали, старели, умирали, а всё длилось тамга, денга, ярлык, аркан. Конца было не видать, и люди понемногу начали дичать в лютом терпении – и привыкали жить без надежды, огрубели их сердца, остудилась кровь».

Это ведь про себя, про боязнь стать таким – с огрубевшим сердцем, остывшей кровью.

Не хладнокровно запечатлел Трифонов историю своего времени, своей души.

Трифонов имел мужество не отказаться от себя, не переступить или отчаяться, а взвалить на плечи ответственность, по слову Аннинского, «за всю историю русской интеллигенции от самых ее корней». Именно поэтому – он один из вернейших и точнейших свидетелей времени и, я уверен, его книги – уже напечатанные и те, что ожидают публикации, – еще многое расскажут нам о нас самих.

*Михаил Лемхин*

### ГАЛИНА НЕИСТОВАЯ

«Опомнитесь, безумцы. Дело поистине сатанинское, за которое подлежите вы огню геенному. Властью, данной нам от Бога, запрещаю вам приступать к тайнам Христовым, анафемствуем вас!»

*(Из цитируемого автором послания патриарха всея Руси Тихона)*

С обложки исподлобья глядит негодующая красавица – одна из многочисленных воплощенных Вишневской на сцене оперных героинь и, между прочим, довольно точный живописный и психологический портрет самой певицы. Какая судьба, такая и книжка. Порой теряется ощущение жанра – воспоминания представляются страшной сказкой о чудовищах, которые сторожат одинокого спутника за каждым поворотом дороги и, кажется, вот-вот растерзают. Но нет, какой-то незримой силой он вырван из жадных когтей, он жив-невредим и торопится дальше. По правде сказать, чудовища нашего времени ни в какое сравнение с наивными чудовищами стари-

---

Галина Вишневская. Галина. (История жизни). Париж, «La Presse Libre» и «Континент», 1986.

ны не идут, а силы добра всегда одинаковы, они свое дело знают – спасают.

О детстве и юности Вишневская рассказывает с раздражением и горечью, словно даже не веря, что такое бывает, однако присущая книге тональность прямоты и достоверности как бы прячет жуткие эпизоды под маской простой повседневности. Ее детство исковеркано не только тяжелыми скандалами родителей (они в конце концов разошлись), но их необъяснимой нелюбовью к собственному ребенку. Заниматься психоанализом – не наша задача, но признаем, что остаться сиротой при живых родителях доля несладкая: волей-неволей развивается чувство заброшенности, собственной неполноценности и горькой обиды на всю жизнь.

Не успела Галина избавиться от наваждений детства, как грянули война и блокада в Ленинграде, где они тогда жили. Голод и холод усугублялись одиночеством, ибо, эвакуируясь с новой семьей, отец дочку не взял. Так частное отдельное бездушное наложилось на тотальное общее. Однажды Галина очнулась от странного позванивания за окном: на улице стоял грузовик, в который кидали замороженные трупы, и получался звон, как от разбиваемых сосулек. Вот и еще одно новое свидетельство о блокаде, одно из бесчисленных уже имеющихся, но по-своему ценное, потому что представляет, казалось бы, завершённую картину в ином повороте и с иными неожиданными подробностями.

«И я бы вот так могла зазвенеть», – с грустным юмором замечает Вишневская. Но этого не случилось – она выжила, вырвалась, не «зазвенела». Постепенно из гадкого утенка превратилась в настоящую красавицу, у которой, к тому же, обнаружился редкостного звучания голос. Впоследствии, услышав, как поет Вишневская, Анна Ахматова скажет:

Женский голос, как ветер несется,  
Черным кажется, влажным, ночным,  
И чего на лету ни коснется –  
Все становится сразу иным.

Но это произойдет гораздо позже, а в юности, когда для начинающей певицы хорошая школа решает всё, Галина попала в руки невежды-преподавателя, который неправильными упражнениями испортил ей голос. Вот вам чудовище, хоть и мелкомасштабное, но действенное. Мечталось о за-

облачных высях, а пришлось смириться с ролями опереточных героинь в гастрольях ленинградской филармонии. Работа была тяжелой, что называется, на износ, но придет срок, и Галина поймет, что благодаря ей приобрела не только сценический опыт, но куда более ценный – жизненный.

Силы зла, впрочем, не дремали: умирает полуторамесячный сын, ее ребенок от первого брака, обрушивается скоротечная чахотка, которая по тем временам – без надлежащих лекарств и хорошего питания – прямым путем вела к могиле... Здесь на мгновенье заглянем в мир загадочного: каким-то нечаянным образом совпадает, что чудеса, спасавшие Галину от верной гибели, воплощались в добрых русских женщинах, носительницах добра, вырывающих жертву из лап чудовища. Прежде всего это была бабушка, Дарья Алексеевна Иванова, которая с шести недель приютила, вырастила, обогрела – в прямом и переносном смысле, – выхаживая жалкого заморыша в нагретой духовке. (На редкость несентиментальная, Вишневская в рассказе о бабушке теплеет и смягчается сердцем. Зато ее голос становится режущим, когда вспоминается мучительная – за какие грехи! – смерть бабушки и многих тысяч других в городе, обреченном на блокаду из-за тупости и равнодушия советских властей.) Вторыми спасительницами оказались женщины, ходившие по вымершим ленинградским квартирам в поисках, как они выражались, «живых душ». «Эй, есть тут кто-нибудь? Отзовись!» – позвали они. И Галина отозвалась... Третье чудо произошло, когда Вишневской восстановила голос замечательный педагог, бывшая певица Российских императорских театров Вера Николаевна Гарина. Встреча с ней, такая, на первый взгляд случайная, стала судьбоносной и определила весь дальнейший жизненный путь артистки. Впрочем, и об этом событии Вишневская, как всегда, пишет просто, особым восторгом не предается и лишь смиренно благодарит Бога. Ей и по сию пору не верится, что в стране, где с таким тщанием выискивали и изводили «бывших», что в этой несчастной стране где-то чуть не на чердаке, в комнате под крышей, сумела уцелеть хрупкая старушка – хранительница традиций и опыта превратившегося в легенду прошлого. С помощью Веры Николаевны и к тому же трудясь самозабвенно и страстно, Вишневская в конце концов добилась своего – спасла себя для жизни и для сцены.

«Для жизни и для сцены»... Звучит напыщенно, а по сути точно выражает сущность описываемого характера. Свидетельство тому – захватывающий эпизод в операционной, куда Галину помещают для проведения пневмоторакса – последнего для нее шанса выжить. Однако в самый последний момент, уже под простыней, видя напоследок нацеленную на нее иглу хирурга, пациентка вдруг с раздирающим криком «не-ет!» срывается со стола и бежит вон – и от спасительных докторов, и от последнего шанса выжить. В мозгу пронесется мимолетное: «С подтянутыми легкими не смогу петь, а тогда для чего жить?» Ведь еще в детстве именно искусство – Пушкин и Чайковский в десятки раз слушанных и переслушанных пластинках с записью «Евгения Онегина» – уводило из жалкой коммуналки, от «забитой ложью, пьянством и трескучими лозунгами советской действительности» в мир возвышенных чувств и божественной музыки. И всегда, на протяжении всех последующих лет, артистка будет не просто петь, а, как она пишет, «исповедаться – не публике, нет, а воображаемому Тому Великому, кто над миром и людьми, открыться, выплеснуть горе, радость и счастье, прожить жизнь и умереть».

Итак, буквально из небытия – с подмостков провинциальных клубов, из скитальческой жизни и опереточной мишуры – возникает оперная певица высшего класса, которую сочли бы за честь принять лучшие оперные театры мира. И если первую половину книги можно, фигурально выражаясь, назвать хождением по мукам, то вторую – триумфальным шествием славы. Начинается работа в Большом театре. В личной жизни – счастливый супружеский и творческий союз с выдающимся виолончелистом Ростроповичем.

Вишневская приходит в театр со своим кредо оперного искусства, из которого, по ее представлениям, нужно выбросить статичность и вычурность. Ее идеал – Шаляпин, и она «хочет быть как Шаляпин и служить своему искусству». Действительно, созданные ею образы – Татьяны, Виолетты, Аиды, Леоноры, Чио-Чио Сан... воистину живые и теплые, из плоти и крови. Однако возвести это кредо в принцип представляется невозможным. Ведь не всем исполнителям дано от природы особо счастливое сочетание вокальных и сценических данных. Ну, а ценители оперного искусства – публика в своем роде исключительная: влюбленные в своих кумиров, они давно на-

учились не видеть на сцене ни их грузно-недвижных фигур, ни громоздкой оперной бутафории.

Большой театр в описании Вишневской – это огромный колосс, монумент, театр правительственный и государственный, служивший не людям, а в первую очередь правящей партийной верхушке; в годы же правления Сталина – лично ему, обожаемому пышность и блеск оперных постановок. Вспоминаются бесконечные приемы в Кремле, куда приглашались артисты Большого – в сущности, крепостные, призванные улаживать, как выражается автор, «группу мрачных квадратных идолов с увивающимися вокруг подхалимами». Вот эти-то подхалимы и убили блестящего дирижера Мелик-Пашаева, тридцать лет отдавшего театру, когда внезапно, безо всяких объяснений лишили его поста главного дирижера. Зло в очередной раз показало в книге свою личину.

Вишневская с детства инстинктивно не приняла этого воплощенного в режиме зла. Конкретным выражением его стал для девочки отец, в семнадцать лет участник подавления Кронштадтского восстания, потомственный рабочий, стрелявший в своих же. Может, забиваемые в душе муки совести ее и обескровили? Девочке на всю жизнь запомнился плач сбившихся в кучу баб и мужиков, которых подводы увозили неведомо куда. На гибель, как ей скажут потом, потому что это было раскулачивание. И навсегда врежется в память седой старик в лохмотьях, протянувший руку для подаяния. «Владыка Кронштадтский!» – в ужасе признает в нищем бабушка.

Гастрольные поездки в юности и потом, уже в зрелые годы, заставили окунуться в гущу нищей, беспросветной жизни провинции. На гастролях в Саратове она узнала, что за молоком для детей здесь становятся в очередь с полпятого утра, а в Волгограде собеседница-девушка простодушно сказала, что, сколько себя помнит, полки в магазинах всегда были пустыми. Тут уж Вишневская, не выдержав, буквально криком кричит: «Почему люди огромной державы так впроголодь, по-скотски живут? Ведь не война же!» (В скобках отметим, что когда дело касается изображения советской действительности, то ее реалии чересчур подробно растолковываются в книге. Причина, очевидно, в том, что первые издания «Воспоминаний» предназначались для западного читателя и вышли на иностранных языках. В русском варианте книга

наверняка бы только выиграла от изъятия этих «растолковываний».)

Артисты, как правило, люди единственной страсти – собственного искусства. Вот почему в своих записках (если таковые имеются) они сферой искусства и ограничиваются. У Вишневской темперамент бойцовский, общественный, активно реагирующий не только на собственную, но и на чужую боль. Поэтому ее воспоминания можно отнести к редко встречающемуся в этом жанре типу мемуаров артистически-публицистических, порою обретающих звучание резкой обвинительной речи.

Вишневская не была бы самой собою, если бы удовлетворилась уровнем привычного описания биографии знаменитой певицы. Она перестала бы быть собой, не пригласи с мужем жить у них на даче преследуемого Солженицына; Вишневская перестала бы быть Вишневской, скажи она «нет», когда Ростропович объявил ей о своем решении опубликовать письмо в защиту Солженицына. Всем известно, чем это кончилось для семьи Ростроповичей. Вишневская подробно рассказывает о начавшейся травле.

Травля... Чудовища страны Советов всегда травили лучших людей России, ее славу и гордость. Вишневская вспоминает судьбу Пастернака, Ахматовой, Зощенко, Прокофьева. Но травля лучшего друга их семьи Шостаковича проходила у нее на глазах, вот почему повествование об этом носит такой личностно-трагический характер. Здесь и перипетии с заклеянной «Катериной Измайловой», и вой критиканов, обозленных 13-й симфонией «Бабий яр», и многое-многое другое. Она пишет, что великий композитор «почти физически ощущал несущееся на него стадо озверевших, потерявших физический облик людей».

Полемизируя с теми, кто обвиняет Шостаковича в конформизме, Вишневская утверждает, что этот конформизм – всего лишь уловка, маска, способ укрыться от властей. На деле же в самом главном – в своем творчестве – композитор остался верен себе до конца. Дмитрий Дмитриевич был покорен талантом Вишневской (с расчетом на ее исполнение им создан целый ряд произведений), что можно сказать и о Бенд-жамене Бриттене, посвятившем ей «Военный реквием». Советские власти по мере возможности поиздевались над английским композитором (жаль, что не свой – в гроб, как Мелик-



Пашаева, не вколотишь), произдевались и над самой Вишневской, запретив ей петь в давно подготовленной и ожидаемой в Лондоне премьеры исполнения «Военного реквиема».

И о выходках властей, подобных этой, и о расправе над Мелик-Пашаевым, и о многолетней травле Шостаковича, и о репрессиях, обрушившихся на собственную семью, Вишневская пишет беспощадно и гневно, с той полнотой и яркостью изображения, которые свойственны людям, наделенным цепкой памятью, острой наблюдательностью и способностью анализировать происходящее.

Когда закрываешь книгу – невольно предстает улица среди заснеженных хором и розвальни, которые под свист и улюлюканье толпы уносили в ссылку боярыню Морозову. При всей скорбной неподвижности лица Суриков сумел уловить в нем какую-то отчаянную дерзость – черту особенного типа русских людей, которые ни за какие блага в мире не откажутся от своего заветного, от своей правды и своей веры. Ну, а если уж Господь наделил такой верой, то наверняка должно хватить сил, чтобы перенести любую ссылку.

*Майя Муравник*

## ДВЕ КУЛЬТУРЫ

У этой книги как-то сразу бросаются в глаза два аспекта, две ее особенности, из которых первая делает ее необычайно привлекательной, нужной и поучительной, а вторая делает всё наоборот, т. е. старается всё затуманить, расположить, подравнять под единообразный уровень понимания и уяснения, забрать всё в одни скобки, провести подо всем одну черту и что бы еще такое сказать отрицательного.

До революции в России была архитектура как архитектура. Был стиль модерн с гениальным его адептом Федором Шехтелем, был псевдорусский стиль (Шусев, другие), неоклассицизм (Фомин), эклектика. После революции – сложилось несколько архитектурных направлений, из которых

---

Владимир Паперный. Культура «два». «Ардис», Анн Арбор, 1985.

наиболее заметным был конструктивизм, сразу прославивший революционную страну на весь свет.

Были и другие направления (остался неоклассицизм) – но все они были по преимуществу б у м а ж н ы м и, т. е. архитектурные проекты дальше чертежа редко шли, и даже мавзолей Ленина в каменном варианте смогли начать только в 1929 году, перед тем он стоял деревянный.

Потом, как известно, произошло объединение всех творческих сил в несколько творческих «союзов», и в союзах этих главное место заняли... о, нет, не бездари, а люди талантливые, даровитые, вроде Иофана; а те, кто сразу не сориентировался, тем помогли (Душкину, Рудневу) стать в строй.

Владимир Паперный прочел все до одного архитектурные журналы той эпохи, много книг, смотрел в архивах (частных и государственных) различные материалы, слушал различные устные предания, сохранившиеся в архитектурной среде, внимал советам и рассуждениям Селима Омаровича Хан-Магомедова, бесспорно, крупнейшего знатока тех эпох.

Так что первая, профессиональная, часть исследования о развитии советской архитектуры 30-50-х годов представляет захватывающее и интригующее чтение. Вторая часть, растворенная в первой, есть идеологическая добавка к первой и построена на параллелях и противопоставлениях предшествующему периоду (20-е годы), а также почему-то и на параллелях с русским XVI, XV и другими веками, включая сюда и два последних века, столь отличные от предыдущих.

Советские двадцатые годы (в которые, заметим от себя, заложились основы дальнейшего развития страны) – составляют «культуру один» (?). К ней присоединяются также советские шестидесятые годы (в которые, снова заметим, основные принципы сталинизма ничуть не были поколеблены, допущено лишь известное послабление).

Период же от 1931/32 до 1953/54 есть особый, изолированный, инородный, не имеющий аналогий, – культура 2.

Впрочем, нет. Автор проводит аналогии и находит их в русской старине. Их автор выискал множество у Ключевского, Феофана Прокоповича, в указах Елизаветы, книге маркиза де Кюстина.

«Культуре 1 свойственно то, что здесь названо горизонтальностью. Это значит, что ценности периферии становятся

выше ценностей центра. И сознание людей, и сами люди устремляются в горизонтальном направлении».

Не хотелось бы комментировать эту установку; пусть каждый ее поймет, как хочет.

*«Второе: некоторые процессы русской истории, в частности, истории русской архитектуры, носят циклический характер, и их можно описать в терминах чередования культур 1 и 2».*

Такой фельетонизм, конечно, сильно вредит изложению фактов, самих по себе интересных. А общая эта установка-концепция (да позволит мне читатель выразиться в стиле тех же 30-х годов) – *из разряда европоцентристских вывихов, не признающих и не желающих признавать факт наличия других культур, будь то культура Китая, Индии, ацтеков и пр., – культура, иноприродных обеим, выведенным В. Паперным.*

Но довольно. Если в эти параллели не вчитываться, то книга состоялась превосходной.

Автор вначале останавливается на истории трех проектов, служивших темой острых дискуссий в самом начале 30-х годов: Дворец Советов; дом, спроектированный И. Жолтовским на Моховой; гостиница «Москва». Берет он и другие примеры.

В проекте Дворца Советов должна была реализоваться вообще коммунистическая модель мира: идея иерархии, вертикали; сам Дворец представлялся как постамент стометровой статуи Ленина. Идея была превзойти даже американские небоскребы. Как сказал Александр Герасимов: «...чтобы народ, партия и товарищ Сталин сказали: всех мы превзошли».

Архитектурные принципы, сложившиеся в этой постройке, вначале многими были не поняты: «Архитекторы Советской России когда-нибудь опомнятся», – писал один немецкий деятель.

Стилистически этот монстр представлял собой гибрид модернистской лапидарности с якобы классическими членениями, восходящими будь то к собору св. Петра в Риме, будь то к готическим соборам или к Спасской башне, построенной англичанином Христофором Галовеем и русским Баженом Огурцовым.

Возведение здания Жолковского на Моховой тоже воспринималось как некая демонстрация, как символический «гвоздь в гроб конструктивизма».

Владимир Паперный пишет, что дом на Моховой имел прототипом лоджию дель Капитанио Палладио. Это не совсем точно. Во-первых, это не дом на Моховой, а его *фасад*; поскольку творение Палладио гораздо больше, имеет не один фасад и более развитую планировку. Во-вторых, это, сколько можно, просто копия с одного из фасадов Палладио, за вычетом нижних арок и др. Колонны, карниз, ордер – всё срисовано в точности. (Будучи в Виченце, я без труда опознал эту лоджию, набредя на нее на одной из площадей этого дивного городка, – узнал как раз потому, что точно таким знаю дом на Моховой.)

Автор точно замечает, что образцом для советских архитекторов этот дом все-таки никогда не стал: рабски скопированное палладианство не соотнобразовывалось с эрой электричества, устремленности вверх (у Палладио этого нет) и др. обстоятельствами.

Больше подходил как раз стиль Дворца Советов, а также гостиницы «Москва», спроектированной архитекторами Стапаном и Савельевым, а на доводку отданной Щусеву, который несколько иначе обработал основные архитектурные массы, оформив вестибюль снаружи пятиэтажными квадратными столбами-колоннами, сделав представительный фасад, ориентированный, чтобы на него смотреть от Манежа и не обязательно обходить здание.

У гостиницы «Москва» асимметричный фасад. Есть легенда (ее излагает автор), что будто бы Щусев начертил два варианта на одном листе, посередине провел линию, разделяющую оба варианта фасада, а Сталин подписал, и ничего менять после этой подписи было нельзя, и гостиница получила такой вид. Это красиво выглядит, но я вот слышал, что дело обстояло прозаичнее: правое крыло просто стало оседать, и его пришлось укрепить, сделав сплошную стену (почва была плохая), так что в этом правом крыле окна отсутствуют до третьего этажа. Я думаю, что так и было в действительности; вряд ли Щусев начертил бы столь неинтересную плоскую правую башенку, украшенную всего лишь двумя карнизами и пятью балкончиками, – она мало вязалась бы с выступающим репрезентативным портиком.

Как этот процесс воспринимался трезвомыслящими людьми, показывает отрывок из выступления архитектора М. Гинзбурга: «Говорят: нам одинаково далеки подражатели

классики, как и современные конструктивисты и формалисты. (...) но когда к этому еще добавляют, что нам также далека и эклектика, тогда начинаешь думать, что это установка против всех и вообще не за архитектуру, а за какую-то абстракцию» (1934 г.). Владимир Паперный резонно констатирует, что «формулы новой культуры, абсурдные с точки зрения старой, функционируют. Выясняется, что коммуникация происходит – по каким-то иным каналам, зашифрованная каким-то иным кодом. Сообщения новой культуры кем-то принимаются и, самое главное, понимаются».

Автор точно и скрупулезно находит разницу между 20-ми и 30-40-ми годами, находя каждому явлению сталинской эпохи какую-то противоположность в предшествующем периоде, причем не только на архитектурном материале, но и в идеологической сфере, в стиле мышления и др. Это и пересказывать нечего, пусть читатель сам прочтет – поучительного много.

Коснемся напоследок поверхностных исторических параллелей, этой вымученной обузы книги. «Постепенное изменение угла наклона сознания приводит к тому, что взгляд культуры обращается все выше и выше, пока, наконец, все поле зрения не оказывается занятым небом, но это небо уже отделено от земли бесконечностью. (...) Этого неба уже нельзя достичь – к нему можно лишь устремлять взор. (...) Голубое небо изображено (...) также в многочисленных прорывах потолка в метро с изображенным небом – фрески Лансере, мозаики Дейнеки, Корина и т. п.». Нет бы, этим и закончить. Но автор дает сноску: «Здесь будет уместно напомнить, что небо изображалось и на потолках задуманных Петром беседок Летнего сада». Таких сносок и отсылок к событиям русской (и только русской; западные детали автор исключает, объясняя, что там иначе было) истории и архитектуры – множество. Но ведь точно таким же недостижимым, даже еще недостижимее, было небо позади Оранты в мозаике Кахрие-Джами, позади Христа-Пантократора в главном куполе многих русских и византийских церквей. А уж если говорить о «реальном», голубом небе, то вот: тяжелое пространство венецианского палаццо Дожей тоже имеет прорывы в небо в картинах Веронезе (он это и ввел), немало такого и во фресках Тьеполо, и в барочной живописи XVII века в Италии, в рококо во Франции, не говоря уже о XIX веке, о вестибюлях различных музеев и галерей по всей Европе. Не думаю, чтобы

В. Паперный этого не знал и не смог бы продолжить моего перечня.

Что же из этого следует? А то только, что сталинская эпоха брала какие-то готовые формы из других эпох, выбирала «лучшее» и составляла по-своему, придавая им особый характер и составляя особым образом в некое единство, подчиненное другому – опять же единству, единству другого порядка.

О том, как это происходило, книга Владимира Паперного очень хорошо рассказывает.

*Анатолий Копейкин*

### МЕМУАРЫ ДВУХ ПОЭТОВ

Книга мемуаров поэта-переводчика Льва Гинзбурга вышла посмертно. Изданная в СССР, она рассказывает русскому читателю о Германии. О самой Германии (в основном ложь и недоговорки) и о классической немецкой поэзии (ни крохи лжи). Двойная книга, но отсеять одно от другого – немыслимо...

Книга воспоминаний поэта-эмигранта Льва Друскина, уже три года живущего в Германии, выпущена лондонским издательством «Оверсиз». Эта книга – наоборот, рассказывает об СССР. Да, хотя написана она только о малой частице СССР – о Союзе писателей, но в нем, в этом подневольном «союзе», видно все советское общество в миниатюре...

Итак – сначала о мемуарах Льва Гинзбурга.

Это – исповедь поэта, посвятившего жизнь воссозданию на русском языке немецкой классики, поэзии с XII по XX век.

Исповедь столь же горячая, столь же напряженная, как стихи, которые звучат все время, пока читаешь книгу, звучат фоном, не ясно даже, по-немецки ли, по-русски ли?

Лев Гинзбург безусловно лучший из переводчиков немецкой поэзии на русский язык. Но как только в книге идет речь

---

Лев Гинзбург. Разбилось лишь сердце мое. М., 1983.

Лев Друскин. Спасенная книга. Лондон, 1984.

не о поэзии, и не о средневековой Германии, когда вдруг попадают читателю публицистические вставки или личные впечатления Гинзбурга от его поездок, – так все пропадает. Забываешь и о переводчике Гинзбурге, и о путешественнике, влюбленном в средние века: забываешь, потому что наваливается грубо на тебя газетная, низкопробная – даже по языку нищенская – ложь автора, члена ССП, а вовсе не поэта. Сразу вспоминается нечестная, хотя и с попытками «двусмысленностей» книга «Потусторонние встречи», в которой – лет пятнадцать тому назад – не увидел Гинзбург ничего, кроме нацистов, бывших и новых.

Вот так и в мемуарах, название которых взято из стихов Генриха Гейне «Разбилось лишь сердце мое», нет-нет, а вспомнив, что надо выдерживать идеологическую струнку, Лев Гинзбург пишет, к примеру, так:

«Кто-то искусно имитировал нарастание «красной опасности». Вся страна была обклеена плакатами с изображением красных флагов, с серпом и молотом, красных звезд, стены испещрены революционными лозунгами. Полиция разыскивала террористов, которые тоже именовали себя красными».

Именовали??? Трудно поверить, что Лев Гинзбург, посещавший Германию несчетное число раз, и вовсе не как турист, что Лев Гинзбург, в этой же книге рассказывающий о своем знакомстве с Ульрикой Майнхоф, еще до возникновения террористической группы Баадер-Майнхоф, мог не знать, кто именно и через кого раздувает «красную истерику» в Германии, кто направляет и финансирует террористов всей Европы.

А Гинзбург пишет: «...группа Баадера-Майнхоф, которая именовала себя фракцией красной армии, террористы – выходцы из буржуазных (курсив мой. – В. Б.) семей, не связанные ни с одной из левых политических партий, ни с рабочим движением, убивали и грабили и похищали людей...»

На воре шапка горит: разве читатель спрашивает автора, с кем связаны немецкие и прочие террористы? Задача ясна: советским журналистам советский читатель может не поверить, если они станут утверждать, что террористы не связаны ни с компартиями Европы, ни с КГБ, а поэту Гинзбургу, у которого сохранилась репутация вольнодумца, поверит.

Как же, блестящий поэт-переводчик, да еще знавший этих самых террористов чуть не с пеленок... А насчет «имитации красной опасности»: какая же это имитация, если, по словам

самого же поэта, просоветские, прокоммунистические надписи «запестрели в один день по всем улицам»? Это уже не имитацией называется, а провокацией!

В другом месте книги, рассказывая о работе над переводом, поэт пишет: «В переводе, наверное, самый тяжкий грех – ложь. Грех перед автором и перед самим собой». Хочется спросить – а не в переводе? А в книге мемуаров?

Но как только автор отвлекается от путевых записок, так тут же все встает на место. Да, когда касается дело перевода, тут лжи нет. С нетерпеливым увлечением читается глава о работе поэта над переводом самой длинной и романтической из немецких средневековых поэм – «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха. Эта поэма, глубоко фольклорная и мистическая, философская и такая живая, что ее и верно хочется просто читать, а не «проходить» в курсе немецкой литературы. Опубликованная лет восемь тому назад по-русски в издании «Библиотеки всемирной литературы» она одна могла бы обессмертить имя переводчика, как обессмертила имя автора – Вольфрама из Эшенбаха, мастерзингера XII века. Поиски Святого Грааля пересказаны переводчиком так, что ясно: это и есть жизнь, поиски и составляют суть жизни, ибо готовой истины в конечном виде не существует, ...смысл жизни – поиски ее.

Гинзбург говорит о поэме: «Парсифаль отличается нравственным максимализмом, это главное, что интересно нашему времени».

Так как же этот поэт, который сумел перевести поэму, выразившую высшую духовность средневековья, предугадавшую беспощадную откровенность ренессанса, вдруг пасует и допускает столько грубой и корявой фальши, когда говорит о своем времени?

Кроме того, в книге все время чувствуются провалы, пустоты, словно из нее выдраны с мясом куски и швы не заделаны...

Может, это редакторы посмертно издаваемой книги поработали ножницами, а клей забыли?

Ничем не оправдан, например, переход от рассказа об Ульрике Майнхоф к русскому профессору прошлого века Никитенко, который одно время был цензором... Есть множество и других пробелов.



Есть, конечно, и такие места, где автор говорит о гитлеровской Германии, а читатель видит СССР – но это не потому, видимо, что автор «смело намекает», а просто в силу реального сходства систем-близнецов.

И вот опять встает сальериевский вопрос, только в масштабе чуть меньшем, чем несовместимость гения и злодейства: Гинзбург не оправдывает террористов, а только всю дорогу старается доказать, что ими не руководят товарищи из... (Впрочем, сегодня, может, и не так активно руководят – больше заняты тем, что управляют пацифистами, ну а то, что среди пацифистов так и мелькают лица вчерашних террористов, это ведь случайное совпадение... А может – диалектика?) Вот только досадно, что Лев Гинзбург, поэт, давший русскому читателю и немецкие народные баллады, и раннего Шиллера, и Парсифаля, и многое еще, пачкает свое перо этой самой диалектикой...

Порой, сам не замечая, он рассказывает удивительные вещи: когда в Кёльне он показал кому-то из немецких литераторов среднего поколения книгу народных баллад в своих переводах, немецкий литератор ответил: «Нас от этих стихов воротит: они напоминают нам гитлеровщину».

Страшная деталь! Представьте себе, читатель, как многовековая культура, одна из самых блестящих в мире, связывается в сознании писателя, к ней же принадлежащего, с двенадцатью – всего двенадцатью! – годами позора в истории его страны! Гинзбург замечает: «Да, их украли у народа, нежную Лилофею, хитроумного портняжку, тихое течение Рейна – украли, оприходовали по ведомству пропаганды!»

Верно сказано. Но что же говорить тогда нам, русским, которые не 12, а почти 70 лет получают своего Святогора, свою Ярославну, свою Волгу тоже подстриженными и оприходованными по ведомству пропаганды, да еще и всю классику в той же упаковке... Представьте себе картину вполне реальную: приедет в свободную Россию немецкий поэт и покажет немецкое издание «Слова о полку Игореве» в своем переводе, с гордостью покажет, а вы скажете, что это вам напоминает сталинщину??? В школе, конечно, так всё сплели, что расплести трудно, но думаю, что «у нас так не будет»... И совершенно справедливо пишет Гинзбург дальше: «Классиков можно убить чинопочитанием, парадными чествованиями, тупой школьной зубрежкой. Но бывает и так, что усталое

общество уже не в состоянии хранить классику и духовные ценности выпадают из его обессиленных рук». Так пишет Гинзбург, имея в виду немецкое общество тридцатых годов, но мне кажется, что он недоговорил: всеобщий закон всех времен в том, что выпущенное из рук обществом, все что угодно – власть, историю, культуру, – тут же подбирает и присваивает государство. И тогда – горе такому обществу.

Заканчивается эта рваная, противоречивая, но местами блестящая книга заметкой «от редакции», которая начинается так: «У этой книги нет и не может быть эпилога...» Не верится. Не верится именно потому, что нас, читателей, очень старательно уверяют, что автор больше ничего не написал, что в этой посмертной книге все сказано... Но слишком хорошо чувствуется, что не все, что немало страниц из нее вырезано. Это, конечно, юридически недоказуемо, но просто чувство композиции подсказывает, что не мог такой мастер, как Лев Гинзбург, так непрофессионально обрывать куски, главы... вот разве что саму книгу он не успел закончить...

Но, возможно, выплывут со временем хоть в самиздате вырезанные куски, если рукописи и вправду не горят...

А теперь – о воспоминаниях Льва Друскина.

«Спасенная книга» – назвал свои мемуары ленинградский поэт, живущий теперь в Германии. Он о Германии не пишет. Он – о ленинградском отделении Союза писателей. Вот потому и «Спасенная книга», что все неприятности, все обыски и прочее из-за нее и начались. Когда в правление ЛО ССП просочился слухок, что Друскин-де пишет мемуары, сразу шапки загорелись на руководителях Союза писателей, к поэту стали приходиться с обысками. Нашли и унесли множество книг, изданных на Западе, а рукопись мемуаров так и ускользнула «от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Забавнее всего, что писательская номенклатура априорно решила, что ей в этой книге не польстят...

Дом писателей назван в книге «банкой с пауками».

Друскин пишет: «...члены поэтической секции. Их невозможно отличить по стихам, а иногда и по возрасту, такие они стертые. Просто с некоторыми из них связаны житейские истории и скандалы, тем они и непохожи».

И вот перед нами галерея портретов – поэты, прозаики, критики – но об их творчестве – *ничего*. А все потому, что –

нечего! Вспоминается старый анекдот: «Дяденька, а дяденька, вы и вправду писатель, или только член ихнего союза?»

Вот потому о творчестве ничего и не написано, что писать почти не о ком. В самом факте глубокая правда: кто не серый, тот старается быть как все, притвориться серым, не выделяться, а потом эта шкура и прирастает.

Так случилось с ярким смолоду Виссарионом Саяновым. Он так долго притворялся незаметным и в жизни и в стихах, что его, которого печатали немыслимыми тиражами, никто не читал, а по смерти сразу забыли и даже в антологии перестали включать. Не было такого. Ну, словно какого-нибудь Косыгина – не было, и конец!

Краткие, меткие характеристики Друскина запоминаются, они гораздо ярче, чем личности тех, о ком он пишет. Вот, например, портрет поэта Семена Ботвинника, когда-то громко начавшегося (в 1947 году!!!), но вскоре ставшего членом правления и «подстрочникоглотателем»:

«Спина этого не старого еще человека согнулась от угодничества. Когда из подъезда выходил отдувающийся Прокофьев, он бросался вперед, спеша распахнуть перед ним дверцу машины. А ведь Ботвинник – врач, человек со специальностью, казалось бы, чего уж так выслуживаться?»

(Кстати, как правило, у поэтов этого поколения – «ровесников октября» или «фронтовиков» – ни у кого почти не только специальности, но и среднего школьного образования нет. И они сегодня властвуют во всей советской литературе!)

Как море в капле, отражается в структуре Союза писателей весь Советский Союз: Секретариат – миниатюрная копия секретариата ЦК, Правление – копия самого ЦК, или, если хотите, Верховного Совета (столь же никчемное и безвластное), Председатели секций – как министры, дрожащие, что вот-вот их уберут... Редакторы журналов, рядовые сотрудники редакций... Не дай Бог выделиться чем-нибудь из толпы... А самое непростительное – если талантом. Писательская номенклатура не прощает этого так же, как большая, настоящая номенклатура. Вот две фразы – полная характеристика члена союза, редакционного работника Анатолия Аквилева: «Сначала он служил лагерным охранником. Потом стал литсотрудником отдела поэзии журнала „Нева“. Сейчас Аквилев – заместитель председателя месткома». Вот и вся творческая биография. Был вертухаем, вертухаем и остался.

Около пятисот членов Союза писателей в Ленинграде. А поэтов, прозаиков, критиков и двух десятков не наберется. Зато иерархическая структура в полном порядке. И – как у больших – свои официальные герои, свои «великие». Одна глава в книге так и названа: «Нужен великий».

Рассказано в ней, как такого великого мастерят по указанию свыше.

Описав судьбу «не совсем бездарного А. Прокофьева», бывшего первым секретарем с первых дней ждановщины и умершего с горя через двадцать лет, когда чудом, вопреки партийным требованиям, прокатили его на выборах в правление, Друскин замечает: «Творчество Прокофьева быстро превратилось в самопародию», «Рассказывали, что за новую рифму к слову „Россия“ он пять рублей платит...» После него великим (хотя и не в секретарской должности) сделали Михаила Дудина. Кто он такой? «Крепкий профессионал, творческой индивидуальностью не обладает» – точно и кратко пишет о нем Друскин. И вспоминает, как о Дудине отзывается внутрисоюзный фольклор:

Добродушный Миша Дудин  
Сто очков любому даст,  
Миша Дудин, сын Иудин,  
Поцелует и продаст.

В общем, нормальный партийный чиновник, только по уровню грамотности уступает таковому...

Как этот миниатюрный Советский Союз колеблется вместе с линией большого Союза, особенно четко видно из тех глав, в которых автор рассказывает о национальной политике Союза писателей.

В масштабах писательского мирка она проявляется в том, что отыскивают гениев, основоположников, создателей и проч. всех мыслимых и немыслимых литератур народов СССР. Отыскивают и... «Не стой на виду, а не то переведу!»

И основоположнику приятно, а переводящему с подстрочника прозу – еще «доходней оно и прелестней». А главное – национальная политика в полном ажуре. Особенно, когда основоположники эти – еще с тридцатых годов – смекнули, что можно просто сочинять на корявом русском языке подстрочники. Вот юкагирский поэт Ганя Курилов – ни строчки на родном языке произнести не может, а говорит, что пишет на

нем... Вот созданный талантливыми, но недобросовестными переводчиками Расул Гамзатов. Друскин рассказывает о Гребневе и Козловском, которые создали этого русского Гамзатова, известного на весь мир. Потом с их переводов его на многие языки перевели, и вдруг в результате простой мелкой ссоры между переводчиками и «автором» великий поэт перестал существовать: «в других переводах он вовсе не был похож на привычного Гамзатова, зато стихотворцы, которых переводят теперь Гребнев и Козловский, вдруг стали писать лучше и все как один похожи на прежнего Гамзатова, Кайсына Кулиева, например, просто не отличить», – пишет Друскин.

Есть в книге целая глава, посвященная чукотскому писателю, автору десятка романов, Юрию Рытхеу. «Самая любопытная фигура в Союзе писателей», – замечает Друскин. «Рытхеу – секретарь ленинградского отделения, символ советской национальной политики, один из самых богатых людей в Ленинграде», и дальше: «Громада этнографии без всякого художественного отбора наваливалась на сюжет, лишая произведение динамики. Прежде всего это было неталантливо», – вот первое впечатление от какого-то из романов Рытхеу. И Друскин рассказывает биографию чукотского «классика», предприимчивого спекулянта, товар которого не литература, а происхождение. Пишущий по-русски (хотя за ним потом редакторы переписывают) Рытхеу, по его собственным словам, знает, «какой товар нужен», и когда вдруг просто рассказывает устно, за бутылкой, о жизни на Чукотке, то оказывается намного интереснее себя же пишущего. Но это – не товар. Нужно одно: быть примером того, как благодаря партии первобытные народы перемахивают через тысячелетия, бухаясь в современную культуру (в соцреализм, значит!).

Вот так и произошли три четверти членов Союза писателей. В книге проходит перед нами множество и более интересных личностей, например, ярко обрисован С. Маршак, но тут, надо сказать, что, видимо, в силу детских воспоминаний и человеческой благодарности, Друскин изображает этого крупного переводчика, но бесстыдного пионерского пустозвона слишком уж сусально. Чтобы этот лак сошел, достаточно вспомнить, как переводы песен из «Маугли» были в книжке стихов Киплинга 36-го года изданы в переводах Замойского, а через год (в 37-м!) когда Замойский исчез, они в очередном издании «Маугли» появились без изменений «в переводах под

редакцией Маршака», а еще через год – просто было написано «переводы стихов – С. Маршака». Правда, тут некоторые строчки были чуть отредактированы... Маршак, кстати, долгое время был чем-то вроде переводческого Лысенко – единственный законодатель и единственный великий... Впрочем, вопрос о том, насколько виноваты Марры, Лысенки, Покровские в своей «единственности», еще требует исследования (то же относительно Станиславского или Горького).

И вот перед нами этот писательский мирок, этот мини-СССР, в котором как в маленьком зеркальце отражаются все страшные и смешные черты самого карикатурного в истории государства... Все это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Гротеск не приходится сочинять. Он – реальность.

*Василий Бетаки*

### ПРЕДТЕЧА ПОЗДНЕГО «АВАНГАРДА»

В канадском издательстве «Мозаик Пресс» вышла двухтомная монография, посвященная Михаилу Шемякину и его предшественникам и последователям. Первый том охватывает советский период творчества художника, во втором – обстоятельно рассказывается о зарубежном Шемякине.

Как живописец и график, Михаил Шемякин необыкновенно широк и многогранен. Кажется, что перед нами целый трест художников, каждый из которых называется Михаилом Шемякиным. Поэтому прикрепить Шемякина к одному какому-либо «изму» значит неизбежно обеднить все его творчество. Но абсурдны и раздающиеся иногда по его адресу упреки в эклектизме. Внимательно вчитываясь в этот двухтомник и еще более внимательно вглядываясь в репродукции, ясно видишь, что, в каких бы направлениях Михаил Шемякин ни работал, художник неизменно остается самим собой, сохраняет творческую индивидуальность.

В орнаментальных мотивах своего творчества Михаил Шемякин необыкновенно изобретателен и многосторонен. Его орнаментализм двоякого рода: абстракционистский и «дез-

абстракционистский». Геометрические абстракции сочетаются с растительным и животным орнаментом, причем истоки этой орнаменталистики во флоре и фауне выявлены, воскрешены и преобразены Шемякиным, живописцем и графиком, довольно отчетливо и крайне своеобразно. В его геометрических абстрациях временами чувствуется ритм, чем-то напоминающий ритмику геометрических абстракций Василия Кандинского. Но мы живем в эпоху космонавтики, и Михаил Шемякин как бы освобождает геометрические абстракции от силы тяжести, они теряют весомость и свободно парят. Животная и растительная орнаменталистика Шемякина сказочна, фантастична. Иногда кажется, что художник стал аквалангистом и изображает водоросли подводного царства как живые существа. Из извивающейся ленты вдруг вспыхивает волшебная птица яркой расцветки. А то дельфин выскакивает из воды, мелькают лосиные рога, точно папоротник из кости. Весь этот «дезабстракционистский» мир, на диво многообразный, искрится и переливается яркими красками.

Говорят, что Шемякин выжимает краски для своих работ из расцветки необычайных бабочек и перьев Жар-птицы. А какое у него небо! Какие листья, какие травы, какие цветы! Точно художник поливает их водой, смешанной то с просинцем или голубенью неба, то с солнечными и звездными лучами.

Когда Михаил Шемякин начинал, модернистская живопись Запада была для него недоступна – если он и знал ее, то преимущественно по репродукциям. Но такова уж сила воображения Шемякина, что он преобразал заимствованное соцветиями собственной выделки.

Он едва ли не впервые выдвинулся как иллюстратор Гофмана («Крейслериана») и Достоевского («Преступление и наказание»). Для Шемякина характерно, что он нередко возвращается к привязанностям ранних фаз своего творчества и продолжает их. Художник познакомился со Стравинским и создал нешаблонный портрет его. Но если мы вспомним новеллу Гофмана «Советник Креспель», то увидим, что между Креспелем Гофмана и портретом Стравинского есть некое духовное, хотя и трудно уловимое сходство.

Впрочем, назвать Михаила Шемякина иллюстратором в собственном смысле слова было бы затруднительно. Шемякин всегда создает оригинальные фантазии на темы особенно

полюбившихся ему авторов. Помимо Гофмана, это прежде всего Гоголь.

Шемякин естественно и непроизвольно преобразует орнаментальное в фигуративное. Так из красочных переливов вдруг возникают фигуры казаков, как будто они сошли со страниц «Сорочинской ярмарки» и «Ночи перед Рождеством».

Свою картину «Счастливый забулдыга» Михаил Шемякин использовал как картонный футляр для пластинки, напетой известным исполнителем цыганских романсов Алешей Дмитриевичем. На первый взгляд, этот счастливый забулдыга с большой кружкой и бутылкой в руках далек от Гоголя. Но всмотримся пристальнее: да это же Ноздрев, к которому подходит босой Чичиков. Это именно фантазия на гоголевские темы, как и «Крейслериана» – фантазия на темы Гофмана.

То же можно сказать и о комических операх XVIII века. Шемякин тогда воспроизводил Петербург Державина и Шаховского, не ставя своей целью иллюстрировать Державина или создать декорации к комедиям Шаховского. Но взглянешь на его петербургские типы XVIII века и подумаешь, что никаких больше декораций не надо – они уже загодя приготовлены.

Есть у Шемякина цикл картин «Карнавалы Петербурга». Это, собственно, балы-маскарады под открытым небом. Мелькают камзолы, треугольные шляпы, фраки, цилиндры, и как диссонанс врываются в эту толпу праздничных масок буденновский шлем и шинелька красного кавалериста или бескозырка краснофлотца. В шемякинских петербургских карнавалах просвечивает влияние Иеронима Босха. Только Босх фантастичен и трагичен в своей мистериальности, Шемякин же, скорее, романтичен и, в отличие от Босха, жизнеутверждающ, стихийно патетичен.

Многое в творчестве Шемякина подсознательно пронизано музыкальным ритмом. Не в этом ли истоки декоративной фантастики художника? Заметим, что ему принадлежат остроумные проекты декораций и костюмов к ранней опере Дмитрия Шостаковича «Нос» (по Гоголю). А в двухтомнике мы находим живые, яркие фантазии Шемякина на темы таких балетов Игоря Стравинского, как «Весна священная», «Петрушка», «Жар-птица». Со Стравинским работали лучшие



сценографы мира. Казалось бы, в такой компании трудно – если вообще возможно – открыть что-то новое, не бывшее прежде. А Шемякин открыл. Недаром его так ценят Михаил Барышников, Мстислав Ростропович, Наталья Макарова, Валерий Панов и другие.

Многое в творчестве Михаила Шемякина пронизано моцартианской стихией. Лишь временами просветленный романтизм принимает напряженно драматический характер. Это сказывается и в ранних иллюстрациях Шемякина к «Преступлению и наказанию» Достоевского, и в декоративных фантазиях художника к балету на темы того же романа, задуманному, но пока не осуществленному Валерием Пановым.

Крепко сбитыми мускулистыми предтечами сценографических фантазий Шемякина стали фрагменты старого Петербурга. Тут Михаил Шемякин смело обновил искусство архитектурного пейзажа, претворяя архаическое в современное. Это и есть Петербург, воспетый классиками русской поэзии, но преображенный Шемякиным на модернистский лад.

Воображаемый музей художника, предстающий в двухтомнике, обогащен этнографическими розысками. У Шемякина есть оригинальные фантазии на темы африканских масок, масок Океании, Японии, Китая. При этом Шемякин не копирует эти маски, а видоизменяет их иногда до неузнаваемости, создавая совершенно оригинальные композиции. Когда Шемякин только начал «открывать Америку», американские зрители и критики обратили внимание на его барельефы. Это совсем не Татлин и даже далеко не Филонов цикла «Оборотни», который увлек Шемякина. Это маски, в которых то благодушно, то с негодованием отражается душевная жизнь человека. Шемякин то радуется, что человек может быть так же добродушен и отзывчив, как, скажем, лошадь или собака, то поднимает голос протеста против принудительного озверения и одичания душ человеческих.

Сходную идею развивает Шемякин-сатирик, уже не рельефами, а чаще всего графическими, реже живописными средствами. Так, ему принадлежит страшный рисунок, на котором изображены нацисты, бросающие в горящую печь еврейских детей. Тут сатира перерастает даже не в плач, а в то, что психиатры былых времен называли «смехом сатаны». Ужасы и зверства действительности как бы репетируют атмосферу

адских мук, с той только разницей, что ад на земле пытается и умерщвляет не грешников, а невинных людей.

Диапазон творческих находок художника поистине неистощим. Неожиданна и та синкретическая форма, которую художник ищет и обретает. Это прежде всего относится к необычному сочетанию рентгенологии с тем направлением в американском модернизме, которое получило название «струнных композиций». Сказанное нуждается в пояснении. Еще до революции Павел Филонов изображал анатомию человеческого тела, просвечиваемого рентгеновскими лучами. Позднее этот филоновский эксперимент развил и усовершенствовал Павел Челищев. Михаил Шемякин – художник не отвлеченного теоретизирования, а эмпирических поисков, находок, открытий. Так он путем ряда формальных экспериментов в графике и живописи скрестил светорентгенологию со струнными композициями. Тут человек и полет на самолете как бы соединяются воедино.

Монументальный двухтомник, посвященный творчеству Михаила Шемякина, а вместе с ним – и судьбам позднего русского авангарда, сконструирован изобретательно, остроумно и логически обоснованно. «Героями» двухтомника являются, прежде всего, превосходно сделанные цветные и черно-белые репродукции. В воображаемом музее Михаила Шемякина множество воображаемых залов, и при каждом существует своего рода экспериментальная синтетическая лаборатория. Это музей исканий и находок.

Михаил Шемякин – художник поисков и взлетов. Второй том монографии о творчестве Шемякина в его связи с поздним авангардом в русском изобразительном искусстве застал художника накануне нового взлета, может быть, такого, который обещает стать самым значительным во всем его творчестве. Я имею в виду новые графические композиции Шемякина, где он продолжает, развивает и совершенствует свой петербургский цикл. Американские искусствоведы, признавшие Шемякина – а за признание здесь приходится упорно и энергично бороться, – находят, что художник близится к тому, чтобы создать в графике полифонический симфонизм, когда музыка Мусоргского и Берлиоза становится графическим открытием. Тут Шемякин оригинален и дерзновенен. Он вырабатывает в изобразительном искусстве мужественную поступь и скоростной темп.

В Америке Шемякин развивает и укрепляет творческую мускулатуру. Мужество таилось в его предыдущих исканиях. Но именно сейчас сокровенное становится явным.

*Вячеслав Завалишин*

## КАЗНЬ ЛЬВА МЕХЛИСА

МЕХЛИС Лев Зах. (1889 – 1953), сов. гос. парт. деятель, ген-полк. (1944). Чл. КПСС с 1918. С 1930 в редакции «Правды». В 1937–1940 нач. Гл. политич. управления РККА. В 1940-46 нарком Госконтроля СССР. В 1941-42 одновременно зам. наркома обороны СССР. С 1942 чл. Воен. советов ряда фронтов. В 1946-50 мин. Госконтроля СССР. Чл. ЦК КПСС с 1939 (канд. с 1934). Деп. ВС СССР в 1937-50.

*Советский Энциклопедический словарь. Москва, 1985*

Не обязательно обладать пронизательностью шекспировского размаха, чтобы угледеть за скупой справкой советского словаря – злодея и подонка «выдающегося» масштаба, каким несомненно и является один из камарильи сталинских «тонкошеих вождей» – Лев Захарович Мехлис.

Но «угледеть» одно, а не побрезговать и воссоздать – другое. С задачей этой мастерски справился Юз Алешковский – в своем новом романе «Смерть в Москве», сплав политического гротеска (не утрирующего, однако, а лишь выявляющего саму суть явления), оригинальной сатиры и яростной поэтической патетики.

Кстати, Мандельштам, всегда по-акмеистски зрительно точный, в данном случае отошел от «правды». Вряд ли ублютков из сталинского ЦК в 1933 году можно было огулом окрестить «тонкошеими», ряшки и загривки их уже заплыли номенклатурным жирком. Но мы на лету схватываем образ, высвеченный великим поэтом, образ гоийевской нечисти:

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,  
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
Лишь один он бабачит и тычет.

Эти строки, если угодно, ключ к новому произведению Алешковского.

Юз Алешковский. Смерть в Москве. Chaldize Publications, 1985.

Если его прежние вещи – суть монологи-исповеди героя, то в «Смерти в Москве» повествование, наконец, ведется от а в т о р а, но – откровенно не беспристрастного по отношению к своим персонажам.

С более чем тридцатилетним запозданием вершит алчущий правосудия Алешковский к а з н ь над Львом Мехлисом, казнь, которой, увы, благополучно избежали многие коммунистические преступники. Похоже, Алешковский – твердый сторонник «противления злу силою», ибо книги его (и «Смерть в Москве» в частности) своею карающей физической энергией перехлестывают приличия чисто литературного жанра.

Таким образом, Мандельштам, зачисливший советских «вождей» в нечистую силу, оказался не одинок. И ему на следует вовсе не один Алешковский. Бесовство революционной психики прорывается в солженицынском Ленине. А Саша Соколов в «Палисандрии» вообще превращает кремлевцев в упырей, охотящихся на летучих мышей на кладбище...

Не думаю, что конкретную биографию Мехлиса Алешковский – перед тем как писать роман – изучал в объеме намного большем, чем энциклопедическая справка, как обычно расследуют авторы жизнь будущих реальных героев своих романов и монографий. В этом смысле его творческие стиль и метод пребывают, так сказать, в чистом искусстве: Алешковский художественно, а не историографически реконструирует жуткую личность Мехлиса в день его смерти (последовавшей за две с небольшим недели до сталинской) – в разгар погромной антисемитской кампании, логически развязанной той самой ненасытной идеологией, которой продал душу Мехлис еще в 1918-м... Недаром «Смерть в Москве» имеет подзаголовок «Сочинение на свободную тему»: Алешковский, в общем, импровизирует. Он – при этом – умеет заставить читателя поверить в заведомо невозможное (это происходит еще до того как повествование откровенно переходит в фантазматорию): к Мехлису, например, приходит обычный лечащий простых смертных врач... Писателю понадобилось столкнуть две стихии: «безродного космополита» – с номенклатурным и он делает это, не озаботясь правдоподобностью. И мы ему верим! Сцена прихода Рахили Израилевны Раппопорт к агонизирующему Мехлису – одна из самых впечатляющих в книге.

В этой свободе обращения с реалистической достоверностью явственная особенность дарования Алешковского.

Вчера мы хоронили двух марксистов,  
по-братски их накрыли кумачом.  
Один из них был правым уклонистом,  
другой, как оказалось, ни при чем...

– каждый из нас, вероятно, не раз бубнил-напевал про себя эти строки, нимало не смущаясь тем, что ээкам туруханского края «кумач», конечно, раздобыть было негде. Но то, что у другого выглядело б несурзацей, у Алешковского органично ложится в строку и, в общем и целом, принимается на ура. (Маловероятна и ситуация несравненного «Окурочка» – классического песенного шедевра).

Мехлис Алешковского зол и закомплексован. Свою собственную национальность, навязавшую ему «комплекс неполноценности», он ненавидит едва ли не более всего остального. Его умирание – распад, разложение. С какого-то момента становится попросту неясно: умер Мехлис или еще живет. Алешковскому удалось передать это существование в смерти, когда категории бытия и небытия становятся относительными.

Та ж и з н ь, которую лишь и считает за подлинную писатель, – давно отлетела от Льва Захаровича.

Все жизненные проявления «тонкошеих вождей» – умственные, чувственные, сексуальные – в н е одухотворенной жизни. Алешковский умеет писать об этом подходящим образом. Недаром его Буденный изнывает «от тоски в правительственной ложе Большого, во время апробаций очередных балетных новинок и томительного ожидания растреноживания и разнуздывания кобылок кордебалета в домашней конюшне». Потому и сам Мехлис (в расчете на микрофонные уши) вынужден ворчать в разгар акта: «Суки, проститутки меньшевистские... нельзя оправиться по-человечески... три дня стула не было».

Интимная жизнь партийцев наверняка особенно омерзительна – об этом зримо свидетельствует созданная ими эстетика.

Тем пронзительней и контрастней повествование Алешковского, когда он становится патетичен или лиричен:

«Многие из нас тщательно выпестовали за годы жизни представление о том, что неповторимая наша личность решительно и бесследно исчезает из вселенского оборота, равно как и полнота памяти личности о себе самой. То есть был ты и – нет тебя. И дело с концами. Память о нас потомков, современников, людей близких – не в счет (...). Момент этот очень важен еще задолго до конца – до кремации или могильного хлада – для людей, не желающих по каким-либо причинам ни малейшего сохранения полноты памяти о образе своей личности и образе своей жизни.

Возможно, так все оно и происходит. Возможно, следы интимнейшего существования любой личности неизбежно заматаются вместе с тем, что казалось заметным еще при жизни. Однако возможен также иной порядок дел и иные предубеждения.

И – хотим ли мы того, или не хотим, да к тому же и бурно противимся по многочисленным причинам, смутным порою для нас самих, – совершенная полнота памяти о любой личности, включающая самые незначительные мелочи, выветривавшиеся, казалось бы, из памяти личности о себе самой, помещается в некую всеобъемлющую копилку. Там она и сохраняется (...) до неведомого нам срока».

Сам тон этого прозаического пассажа не оставляет сомнений: Алешковский верит, что «копилка» существует, а следовательно, личностное бытие не подлежит окончательному уничтожению. Как Розанов мечтал о воскресении со своим носовым платком в кармане, а Бердяев – с любимым своим котом, так и Алешковский верит, что в новом «Эоне» личность будет явлена в своей положительной полноте, что жажда справедливости наша – будет утолена...

Верит Алешковский и в казнь словом, в силу праведного литературного гнева. Его писательскому темпераменту явно чужды сетования, что вслед за Буниным «третья смена эмиграции, в лице своих бесконечно менее талантливых представителей, больна тем же пристрастием (...), тем же недугом ненависти» (Б. Хазанов, «Грани» № 137). Хладнокровие – не в числе «добродетелей» Алешковского...

Вот почему, несмотря на полную словесную и творческую свободу, на возрожденческий и барочный преизбыток образа, словаря, и метафоры, на чрезмерное порой нагнетание ситуа-

ции – Юз Алешковский писатель, в сущности, религиозный и строгий.

Он м о р а л и с т в том смысле, в каком знает это понятие великая русская литература.

*Ю. Кублановский*

## **РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОМ НОНКОНФОРМИЗМЕ**

Александр Глезер – человек, широко известный в России и в среде русской эмиграции как коллекционер неофициального русского искусства, неутомимый организатор выставок художников-нонконформистов, создатель двух музеев, автор стихов, книг и статей, издатель ежемесячного журнала «Стрелец» и альманаха «Третья волна», книгоиздатель.

Новая книга Глезера состоит из цикла эссе, посвященных творчеству 40 художников-нонконформистов из Советского Союза, обосновавшихся на Западе. Из всех советских художников, уехавших на Запад, Глезер выбрал, в основном тех, кто в бытность свою в России принимал участие в выставках и общей деятельности нонконформистов. К этой группе он добавил еще несколько человек, которые не были открытыми нонконформистами в СССР, но на Западе заявили о своей причастности к независимой русской культуре.

Глезер условно разделил всех художников в своей книге на три группы: те, чья творческая активность сформировалась с 1957 по 1964 год; мастера, сложившиеся в середине и конце 60-х годов; и, наконец, молодое поколение, начавшее работать в 70-х годах.

Эссе Глезера – небольшие, но емкие. Он суммирует жизнь и творческий путь каждого художника, рассказывает о том, произошли ли на Западе перемены в их творчестве, об успехах и проблемах. Глезер пишет простым, точным языком и искусно описывает стиль, тематику, влияния. А поскольку

---

Александр Глезер. Русские художники на Западе. Париж – Нью-Йорк, «Третья волна», 1986.

каждой статье предпослан список выставок данного художника и она сопровождается одной (к сожалению, черно-белой) иллюстрацией, читатель, да и специалист-искусствовед, получает весьма четкое представление о феномене русского нонконформизма в целом и о всех художниках в отдельности. В нескольких случаях Глезера можно, пожалуй, упрекнуть лишь в чрезмерной мягкости и завышенности оценок. Как человек, знающий лично всех художников, о которых он пишет (и этот взгляд «изнутри» чувствуется в статьях), он, видимо, старался высветить лучшее в творчестве каждого, «никого не обидеть».

Свои эссе Глезер предваряет двумя небольшими программными статьями: «Современное мировое искусство и русская неофициальная живопись» и «Русские художники в западных коллекциях».

В первой статье Глезер описывает большой успех у западного зрителя многочисленных выставок художников-нонконформистов и пытается определить, в чем причины этого успеха. По его мнению, западного человека, уставшего от холодных «измов», привлекают духовность и искренность искусства нонконформистов, сочетающиеся с высоким профессионализмом. Глезер противопоставляет неофициальное русское искусство как искусству соцреализма, так и современному западному искусству, которое он разделяет на модернистское и коммерческое. Модернистское искусство, по его словам, холодно и бездуховно, а коммерческое – делается по заказу рынка, т. е., как и соцреализм, по социальному заказу, разнятся только заказчики. Русский нонконформизм в таком описании становится единственной свежей и здоровой струей современной живописи. В устах главного и неутомимого пропагандиста творчества русских художников-нонконформистов это утверждение звучит весьма естественно, но по существу с ним трудно согласиться.

Русский нонконформизм как социальное и художественное явление вырос и сформировался не в пустоте, не просто исходя из неприятия соцреализма, но в первую очередь благодаря освоению всего многообразия западной живописи XX века. Ни сюрреализм Зеленина и Киблицкого, ни экспрессионизм Оскара Рабина, ни кинетизм Нусберга, ни фантастический реализм Шапиро и Кропивницкой, ни концептуальные работы Герловиных и Комара и Меламида не были бы воз-



можны без знакомства этих художников с соответствующими течениями западной живописи. То же можно сказать решительно обо всех художниках-нонконформистах. И в этом нет ничего обидного. На протяжении всей истории живописи (а особенно в XX веке, благодаря развитию средств информации и широкому распространению художественных альбомов), живописцы разных стран стремились к контактам и созданное в одной стране быстро становилось международным достоянием.

Я думаю, что огромная заслуга художников-нонконформистов послевоенной России как раз и состоит в том, что они освоили и ввели в оборот современной русской живописи все основные достижения и находки искусства XX века, которое советский художественный истеблишмент пытался замолчать или объявлял реакционным. Да и стоило ли художникам-нонконформистам выезжать на Запад, если бы в здешней художественной жизни не происходило ничего интересного? Конечно, некоторые были просто «вытолкнуты» властями, но многие уехали добровольно, потому что не могли больше работать в мертвящей атмосфере Советской России. Чего стоила бы духовная свобода Запада, если бы она не породила новое, искреннее и духовное искусство, хотя бы и в небольших, по сравнению с коммерческим потоком, количествах? Разве холодно и пусто искусство Йозефа Бойса, крупного философа и духовного лидера целых поколений молодых художников Германии и всего мира? Разве не поражают сильные и виртуозные работы художников итальянского трансавангарда (Киа, Клементе, Палладино)? Разве не интересны инсталляции Альберолла, Мерца, Боровского, Бурена? Разве не искренни работы «художников граффити» (Геринг, Басквиат и др.)?

Другой вопрос, которого мне хотелось бы коснуться, – это само понятие русского нонконформизма в применении к художникам, покинувшим Россию. Я думаю, что практически все эти художники, независимо от их участия или неучастия в нонконформистских выставках, чувствовали себя несвободными в России, и уехали они не «по причинам личного семейного порядка», как пишет Глезер о бывших членах Союза художников, а, в первую очередь, во имя свободы творчества. И все они, каковы бы ни были их субъективные высказывания и пристрастия, остались российскими художниками, то есть людьми, возросшими на русской культуре и говорящими по-

русски. Просто, как и писатели, одни обрели свободу еще в России, а другие, по молодости лет или по стечению обстоятельств, обрели ее лишь на Западе. Мне, в частности, было досадно, что Глезер не написал ни об одном российском художнике, живущем в Израиле, за исключением Михаила Гробмана. А ведь там обосновалась целая плеяда талантливых живописцев (лучший из них, по-моему, Ян Райхваргер, ученик Вейсберга), которые заслуживают известности в среде русской эмиграции.

И последний вопрос, который я считаю важным затронуть. Как бы вступая в полемику с людьми типа Синявина, которые пишут письма в СССР о том, как российские художники на Западе подыхают с голоду, Глезер и во вступительной статье «Русские художники в западных коллекциях», и на протяжении всей книги старается подчеркнуть, что как в материальном, так и в моральном отношении российские нонконформисты на Западе чувствуют себя превосходно, что они окружены коллекционерами, любителями, ценителями, выставляются, живут с продажи картин, у некоторых заключены контракты с престижными галереями. Разумеется, все факты, упоминаемые Глезером, точны. Но контракт с галереей оборачивается иногда рабством, успех или неуспех – зачастую не мерило таланта, а наличие коллекционеров может не спасти от ностальгии и разочарования. Художник – по определению, фигура трагическая. А свобода в эмиграции – очень тяжелый и мужественный выбор, который, к тому же, для некоторых был вынужденным. Я часто вспоминаю прекрасного художника-москвича Ефима Ладыженского, очень далекого от стандартов соцреализма. В течение многих лет он боролся за выезд в Израиль. Когда он получил, наконец, визу, он был на ура встречен критикой и публикой. Музей Израиля в Иерусалиме, входящий в первую десятку музеев современного искусства мира, устроил ему персональную выставку-ретроспективу. И все же через несколько лет после приезда Ладыженский покончил с собой...

Мне кажется неправильным, пусть даже косвенно, создавать впечатление, что жизнь на Западе для хорошего, искреннего художника будет легка. Она может оказаться легкой, а может – очень тяжелой, как тяжела она и для многих талантливых западных живописцев. Не этим нужно руководствоваться, думая об отъезде из России.

Тем более, конечно, приятно осознать, что значительная часть русских художников-нонконформистов сумела найти свое место в западной художественной среде, не порывая связей с русской культурой. Об этом свидетельствуют не только эссе Глезера, но и собранные в особое приложение статьи западных критиков о русских художниках (в переводе на русский язык). Это приложение достойно завершает информативную, интересную и полезную книгу Александра Глезера.

*Галина Келлерман*

### **«КГБ ВО ФРАНЦИИ»**

5 апреля 1983 года уличенные в шпионской деятельности 47 советских дипломатов и журналистов были высланы из Франции. «Именно это событие послужило толчком к созданию книги „КГБ во Франции“, вызвало у меня интерес к деятельности во Франции шпионов из коммунистических стран», – пишет Тьерри Вольтон в предисловии к своему исследованию. На сбор огромного числа документов и на их обработку ушло два года. В результате на свет появилась книга, дающая на сегодняшний день наиболее полную информацию о коммунистическом шпионаже во Франции. В книге рассказывается о том, как и кого вербуют КГБ и его филиалы, как и кого засылают во Францию, о методах шпионской деятельности и о методах дезинформации, которая тоже является немаловажной частью этой деятельности. «КГБ во Франции» – не художественный роман и не теоретический труд. Это – документальное публицистическое исследование. С перечисленными аспектами деятельности КГБ читатель знакомится на конкретных фактах, а их в книге множество. При этом бросается в глаза, насколько скрупулезно Тьерри Вольтон проверил собранную им информацию. Он сделал то, что до сих пор представлялось почти невозможным: путем тщательного кропотливого анализа отобрал для своей книги только самые достоверные факты и поэтому смог назвать массу конкретных

---

Тьерри Вольтон. «КГБ во Франции». Изд. Грассе, Париж, 1986 г.

имен людей, работавших или работающих во Франции на КГБ, не опасаясь при этом юридических преследований со стороны этих людей.

Книга Тьерри Вольтона интересна еще и тем, что, в отличие, например, от книг некоторых близких к КГБ советских писателей, тоже описывающих деятельность КГБ за границей, в исследовании «КГБ во Франции» показан настоящий облик шпионов, описана их действительная работа. Эти люди далеки от романтических героев книг Юлиана Семенова. Они выполняют скучную и грязную работу и делают это не с большим увлечением, чем, скажем, милиционер, регулирующий движение на перекрестке. В книге полностью развеян миф о романтическом риске профессии шпиона.

Факты приводятся в хронологическом порядке, и благодаря этому прекрасно прослеживаются нити советского шпионажа, идущие из двадцатых в тридцатые годы, из тридцатых в пятидесятые и шестидесятые, из шестидесятых в наши восьмидесятые годы. В этом отношении особый интерес представляет история советского агента Альбера Игуэна (он же Хаим-Давид Жалер-Жалез). Родился он в Румынии 3 февраля 1915 года. Во Францию прибыл в 1933 году. В 1938 году получил французское гражданство. В том же году был призван в армию. В момент капитуляции Франции он был уже в чине сержанта. Тогда же он бесследно исчез на два года. Где, в какой стране он провел эти два года, чем там занимался, неизвестно. Снова появился так же неожиданно, как и исчез, но на этот раз в Тунисе, выдавая себя за Даниэля Жалеза, родившегося во Франции 10 февраля 1915 года. Из Туниса перебрался в Алжир, где сблизился с коммунистами, в частности, очень дружил с Фернаном Гренье, который, в свою очередь, тесно сотрудничал с советскими агентами. В 1944 году благодаря связям с компартией получил назначение в министерство ВВС, которое возглавил коммунист Шарль Тийон. По долгу службы постоянно посещал французские военно-воздушные базы. По мнению бывшего коммуниста Пьера Дэкса, личного секретаря Шарля Тийона, Игуэн-Жалер-Жалез поставлял свои сведения непосредственно советской разведке. В 1945 году он вновь поменял имя, объяснив французским властям, что Жалез – это его подпольная кличка, под которой он действовал в движении Сопротивления, а что, в действительности, он – Альбер Игуэн, родившийся в 1917 году на французском суд-

не, шедшем в Буэнос-Айрес. «Много лет спустя, – рассказывает Тьерри Вольтон, – французской полиции удалось установить, что было два Альбера Игуэна. Один скончался в возрасте трех недель, другой погиб в Испании, сражаясь в рядах Интернациональных бригад».

Потеряв после вывода коммунистов из правительства пост сотрудника министерства ВВС, Жалер-Жалез-Игуэн становится директором Европейского общества развития промышленности и торговли, которое французская контрразведка подозревает в нелегальной переправке денежных фондов в коммунистические страны. Общество принадлежит Ароновичу и Чуновскому. Чуновский одновременно занимал пост директора банка «Франко-румынский кредит». Собрав необходимые доказательства того, что и Европейское общество развития промышленности и торговли, и банк «Франко-румынский кредит» занимаются шпионажем в пользу коммунистических стран, а кроме того, поставляют этим странам валюту и оружие, контрразведка принимает решение положить конец этой деятельности. Большое число польских граждан, в том числе Аронович, было выслано из Франции. Игуэну удалось скрыться, но ненадолго. Контрразведка арестовала его в 1955 году, когда он уже был владельцем нескольких учреждений, ведущих торговлю с СССР. Было установлено, что он продолжает поставлять Советскому Союзу сведения экономического характера. Но можно ли в демократической стране запретить владельцу экспортно-импортных предприятий передачу сведений своему торговому партнеру? Оказывается, нельзя! Поэтому полиция была вынуждена освободить Игуэна. За 10 лет, прошедших после войны, Игуэн стал миллиардером, крупным банкиром, влиятельным бизнесменом.

Неизбежен вопрос о том, чем интересна сегодня старая история старого партийного кадра с более чем сомнительным прошлым, изложенная в книге Тьерри Вольтона «КГБ во Франции». Она интересна своим отголоском в сегодняшней Франции. В 1954 году банкир Игуэн спасает от банкротства молодого директора крошечной газетки «Ото-Журналь», которому отказали в кредите все банкиры, кроме Игуэна. Молодого журналиста звали Робер Эрсан. Игуэн не только спас Эрсана от банкротства, но и помог ему в 1956 году вновь получить парламентский мандат – всего через несколько недель после того, как избрание Эрсана в Национальное

Собрание было аннулировано из-за его активного коллаборационизма в годы гитлеровской оккупации. Сегодня Робер Эрсан – владелец 38 процентов общенациональной прессы Франции и 26 процентов провинциальной прессы. Ему принадлежат две из трех самых популярных газет Парижа – «Фигаро» и «Франс-суар». И не прошлой ли дружбой с Альбером Игуэном объясняется то, что сегодня правая консервативная газета «Фигаро» расхваливает, например, коммунистическую диктатуру в Польше и в Румынии с не меньшим темпераментом, чем газета «Юманите»?

В своей шпионской деятельности во Франции Альбер Игуэн широко использовал французских коммунистов. В книге Тьерри Вольтона «КГБ во Франции» приводится большое число фактов и примеров, доказывающих, что деятельность французской компартии далеко не ограничивается той легальной деятельностью, которой занимается любая партия в любой демократической стране. Компартия не ограничивается пропагандой своих идей, стремлением увеличить число своих единомышленников, критикой политических оппонентов и т. п. В отличие от других партий Франции, у компартии есть специальная подпольная структура, с помощью которой осуществляется поставка информации КГБ и ГРУ (Главному разведывательному управлению при министерстве обороны СССР). Об этом свидетельствуют, например, дело Бофиса, дело Лебедева-Степанова-Шавароша, дело Жана Греме, дело Поля Мюрая. Сотрудничество французской компартии с советской разведкой уходит своими корнями в далекое прошлое. Вот вкратце история одного шпионского дела такого рода, рассказанная в книге Тьерри Вольтона «КГБ во Франции». В 1927 году французская полиция положила конец деятельности крупной советской шпионской сети. Было арестовано около ста человек, в том числе резидент советской разведки во Франции Бернштейн-Ужданский-Елейский. Именно он вручил члену Политбюро французской компартии Жану Греме подробный список интересующих СССР вопросов о французском вооружении и обороне, дав приказ во что бы то ни стало найти ответы на все эти вопросы. Жан Греме вышел из положения следующим образом. Он тут же разослал эти вопросы коммунистам-профсоюзникам, работавшим в соответствующих областях военно-оборонной промышленности Франции. Те старательно выполняли партпоручение. Но и

среди коммунистов иногда встречаются люди, ставящие национальные интересы выше интересов СССР. В этот раз им оказался руководитель коммунистического профсоюза города Версаля. С его помощью полиция вышла на след этой крупнейшей советской шпионской организации во Франции. Бернштейн и его заместитель Городницкий были приговорены один к трем, другой – к пяти годам заключения\*.

Мысль о широком использовании рядовых французских коммунистов в шпионаже в пользу Советского Союза была возрождена в 1929 году, когда по инициативе Поля Мюроя – он занял освободившееся после ареста Бернштейна место руководителя советской шпионской организации во Франции – газета «Юманите» ввела систему рабкоров, которые по призыву компартии должны были сообщать «Юманите» о том, как идет социальная борьба на их предприятиях, а заодно и объяснять, что это за предприятие, чем оно занимается, а главное, поставлять конкретные факты, свидетельствующие о том, что «капиталисты Франции готовятся к войне против отечества социализма – Советского Союза». Естественно, что подобного рода «доказательства» подготовки войны могли давать только рабочие и служащие военных предприятий. Ну, а «Юманите» в свою очередь переправляла эти сведения советской разведке...

В книге Тьерри Вольтона «КГБ во Франции» рассказывается также о том, как компартия Франции активно занималась предательством и в годы, когда Франция участвовала в войне в Индокитае. Коммунисты поставляли северовьетнамской разведке сведения о французской армии.

Большое число шпионских дел, в которых замешаны французские коммунисты, было замято во Франции, и объясняется это, видимо, не столько государственными интересами и соображениями, сколько влиянием высокопоставленных друзей компартии.

В книге Тьерри Вольтона много эпизодов такого рода. Вот два из них. Инспектор французской контрразведки Жорж Эбон (это псевдоним) был завербован французской ком-

---

\* Члену политбюро ФКП Жану Греме удалось скрыться. Он бежал в Москву, был заочно приговорен к пяти годам заключения за шпионаж и предательство национальных интересов. Во Франции он больше не появлялся.

партией в начале пятидесятых годов. С помощью других агентов ФКП, служивших в контрразведке, он сделал блестящую карьеру и, работая на чехословацкую разведку, в общей сложности занимался шпионажем более десяти лет. Жорж Эбон служил сперва в Государственном секретариате внутренних дел, затем был ответственным сотрудником в кабинете префекта Парижа. На этом посту он и был арестован в 1971 году. Через четыре дня после ареста он был освобожден по приказу министра внутренних дел, хотя контрразведка располагала неопровержимыми доказательствами его шпионской деятельности. И был не только освобожден, но и оставлен на государственной службе. «Он и по сей день занимает руководящий административный пост», — отмечает Тьерри Вольтон. В начале восьмидесятых годов было точно так же замято другое дело, компрометирующее французскую компартию. Французская контрразведка обнаружила, что трое штатных сотрудников компартии поставляют первому секретарю советского посольства в Париже Юрию Быкову подробные биографические сведения о французах, пропавших без вести и не имеющих ни родственников, ни близких друзей. Офицер КГБ Юрий Быков переправлял эти сведения в Москву, где они использовались для засылки во Францию агентов с фальшивыми документами, сфабрикованными на имя этих без вести пропавших людей. Юрий Быков был в числе 47 советских служащих, высланных из Франции в апреле 1983 года. Три коммуниста-предателя не были подвергнуты никаким санкциям.

Круг французов, работающих на разведку коммунистических стран, конечно не ограничивается коммунистами. Тьерри Вольтон рассказывает о том, как в 1959 году агентом чехословацкой разведки стал представитель французской авиакомпании «Эр-Франс» в Праге Жан-Мари. Сотрудник разведки подружился с Жаном-Мари и помог ему организовывать оргии гомосексуалистов с участием несовершеннолетних мальчиков. Свидетельских показаний этих мальчиков и фотографий, сделанных разведкой, было более чем достаточно для того, чтобы пригрозить Жану-Мари тюремным заключением за соращение несовершеннолетних и одновременно пообещать ему свободу за сотрудничество с разведкой Чехословакии. На протяжении семи лет он работал поочередно на разведку Чехословакии, Румынии, Советского Союза. Жан-Мари



был арестован в 1966 году и приговорен к семи годам заключения, то есть получил по одному году тюрьмы за каждый год предательства своей страны.

При знакомстве с биографиями шпионов поражает только то, что ограбление банка, например, карается во Франции строже, чем многолетнее предательство жизненно важных интересов страны, но и то, с какой легкостью засланные во Францию иностранные агенты делают нужную им карьеру. Агент чехословацкой разведки Пьер Кардо (псевдоним) прибыл во Францию в 1958 году. Ему понадобилось всего четыре года для того, чтобы добиться принятия на службу во французскую контрразведку. Проработал он там, правда, недолго, всего два месяца. Его разоблачили и арестовали в 1962 году. Недолго пробыл он и в тюрьме. Сразу же после его ареста чехословацкие власти арестовали в Праге племянника одного из французских министров, обвинили его в уголовном преступлении и предложили Франции обменять его на Пьера Кардо. Обмен был осуществлен. Взятие заложников – один из излюбленных террористических методов людей «с горячим сердцем и чистыми руками»...

Грязный круг мелких и крупных агентов, работающих во Франции на разведку коммунистических стран, широк: от престарелого пенсионера, который за несколько сот франков с огромным трудом по крохам собирает для КГБ информацию, до посла Франции в Москве, на вербовку которого расходуются сотни тысяч рублей. Тут и бывшие бойцы Интернациональных бригад в Испании, и коммунистические группы французского движения Сопротивления, которые продолжали свою подпольную деятельность, превратившись после войны в советские шпионские организации, тут и герой эскадрильи «Нормандия-Неман» полковник ВВС Франции, государственные служащие, секретарши, военные атташе.

Кого же КГБ считает на Западе потенциальным кандидатом в свои агенты? Очень многих: тех, кто любит женщин, и тех, кто любит мужчин, тех, кто увлекается наркотиками, и тех, кто предпочитает водку, кто любит вкусно поесть и кто любит жить на широкую ногу, того, кто занимает низкое социально-профессиональное положение и считает, что его способности недооцениваются, и того, кто занимает высокое положение, но тоже считает, что его недооценивают. Что

касается политических взглядов людей, которые работают во Франции на коммунистическую разведку, тут тоже КГБ не гнушается ничем. Хороши для него и коммунисты, и бывшие нацисты, и левые и правые голлисты, и бывшие социалисты, и беспартийные потомки первой русской эмиграции, не понимающие разницы между Россией и Советским Союзом, и не менее беспартийные представители второй и третьей эмиграций. Ассортимент возможных агентов КГБ слишком велик, чтобы можно было с абсолютной точностью сказать: психологический профиль такого-то человека полностью соответствует профилю агента – значит, он агент. Со всей ответственностью можно дать определение только тем людям, кто НЕ становится, НЕ может стать агентом КГБ. Тьерри Вольтон рассказывает в своей книге и о них. Не становятся предателями и шпионами люди мужественные, те, у кого хватает смелости, даже попав в самую гнусную западную КГБ, рассказать об этой ловушке контрразведке своей страны, не опасаясь того, как это может отразиться на их репутации, их карьере.

Сбор военно-оборонных и промышленно-экономических сведений – не единственное занятие советских агентов на Западе. Тьерри Вольтон приводит следующие сведения: на дезинформацию, на операции, цель которых – оказать влияние на западное общественное мнение, Советский Союз расходует ежегодно 40 миллиардов франков, то есть, по советскому бюллетеню курсов иностранных валют, около четырехсот миллионов рублей. Эти средства идут и на официальную советскую пропаганду за рубежом, и на оплату услуг так называемых «агентов влияния», которые занимаются просоветской пропагандой в печати, в кругах западной интеллигенции, промышленников, в правительственных, дипломатических, политических кругах. Эти же «агенты влияния» собирают на Западе и поставляют КГБ информацию личного и даже интимного характера о людях влиятельных на Западе и о людях перспективных, то есть о тех, кто может со временем стать человеком влиятельным и, следовательно, нужным для СССР. Из этих же денег берутся средства на оплату услуг и людей, распространяющих на Западе слухи о выдуманном гебистами нацистском прошлом А. Солженицына, и на оплату услуг людей, проникающих в западные общественные организации с тем, чтобы направить их деятельность в нужное КГБ русло.

Мы начали свой рассказ о книге Тьерри Вольтона с истории Альбера Игуэна – шпиона, банкира, миллиардера. Закончим этот рассказ несколькими словами о том человеке, который занял его место в момент, когда Игуэн отошел от дел. «Это было, – пишет Тьерри Вольтон, – в конце пятидесятых годов. Альбер Игуэн передал свой „партийный факел“ Жан-Батисту Думенгу, получившему позднее прозвище „красный миллиардер“». При президенте Валери Жискар Д’Эстене, страстном стороннике расширения торгово-экономических контактов с СССР и восточноевропейскими странами, Думенг стал вхож в высшие правительственные круги Франции, стал личным другом министров и ближайших советников президента. Тьерри Вольтон пишет: «Бизнесмен международного коммунистического движения, Жан-Батист Думенг одновременно является „агентом влияния“». Свято место пусто не бывает! И можно предположить, что не пустуют сегодня и места тех сорока семи советских сотрудников, которые за шпионскую деятельность были высланы из Франции в 1983 году. Но значит ли это, что западная контрразведка беспомощна, неспособна противостоять проникновению во Францию агентов КГБ, не может помешать работе шпионов и предателей? Нет, отнюдь не значит.

В книге Тьерри Вольтона немало примеров, доказывающих, что далеко не все французы готовы продавать свою родину советским шпионам, далеко не все становятся безропотными жертвами советского шантажа и попадают в сети КГБ. Кроме того, почти каждые полгода то в одной, то в другой западной стране в полиции появляется крупный сотрудник КГБ, просит политического убежища, дает подробнейшие списки агентов КГБ, работающих в странах Запада. Самая сенсационная глава книги «КГБ во Франции» – это рассказ об офицере высшего состава КГБ, который получил во французской контрразведке подпольную кличку «Farewell», что в переводе с английского означает «Прощай». В период с весны 1981 по осень 1982 года «Farewell» из Москвы передал французской контрразведке примерно четыре тысячи исключительно секретных документов, некоторые даже с личными пометками Л. Брежнева и Ю. Андропова. Он не просил в обмен ни денег, ни славы. Он делал это, видимо, только потому, что полюбил Францию в период своей работы в советском посольстве в Париже.

Добыв информацию о Farewell'e, Тьерри Вольтон совершил блестящую журналистскую находку. Но сколько их, таких Farewell'ов в СССР, о деятельности которых ничего не известно? Сколько их, советских граждан, которые сделали такой же выбор, как и Farewell, но о существовании которых не знает никто, кроме высших чинов западных разведок? Все знают, что в советском посольстве в Париже работает много сотрудников КГБ, занимающихся шпионажем и вербовкой агентов. Но в том же посольстве есть, конечно, и люди, работающие на французскую, американскую, английскую разведки. Пожелаем же им остаться безызвестными.

*Ф. Салказанова*

## ОПЫТ СТРАДАНИЯ

Книге Феликса Светова «Опыт биографии» явно суждена долгая жизнь: встретив на книжном прилавке, я ее не узнал...

Зимой 1972 года, освободившись из тюрьмы, я жил в Тарусе в одном писательском доме. Нам с женой отвели для жизни кабинет хозяина и разрешили заглядывать в большие нижние ящики старинного секретера, доверху наполненные машинописью. После пяти тюремно-лагерных лет это были для меня «именины сердца». А одновременно – и пища для ума: хозяин строго требовал самим угадывать автора – титульных листов рукописи не имели. И где-то между шаламовским «Артистом лопаты», повестями Горенштейна и «Второй книгой» Н. Я. Мандельштам попались мне и две коричневые папки, долго еще переключивавшиеся с места на место, пока до них дошла очередь. Автора я узнал далеко не сразу, разве что к середине второй части, когда речь шла уже о «Новом мире» и оставалось лишь покопаться на книжных полках в голубеньких номерах журнала.

Таруса и эта зима были идеальным местом и временем для чтения Светова. Я даже не ощущал, что читаю не новинку, что прочесть это надо было бы годом или двумя раньше. Очень уж совпали именно в этот момент мои собственные житейские обстоятельства (после тюрьмы – зима, провинциальный горо-

---

Феликс Светов. Опыт биографии. Париж, YMCA-Press, 1985.

док, гласный надзор, тепло ближних) и душевный настрой автора, особенно во второй части. Первая называется «Замерзшие», а вторая – «Оттаявшие». И во второй – резкая перемена темпа и ритма жизни: полтора десятилетия, спрессованные в месяцы. Будь я последние пять лет на свободе, читал бы я по две-три таких «рукописи из секретера» в месяц, и не знаю, произвела ли бы на меня такое впечатление автобиография новомирского критика, даже при стольких биографических совпадениях.

Но было в ней и более важное совпадение с моим внутренним состоянием. В тюрьме мы резко ограничены во внешних впечатлениях. Четыре стены камеры или барака объединяют лишь тебе подобных и отделяют даже от родных, тем более – от живого процесса, в котором ты сам участвовал раньше и участвовал бы и сейчас, да стены проклятые мешают. И ты сам (и с друзьями) начинаешь осмысливать каждый свой предыдущий шаг, соразмерять вчерашнюю лихорадку «деяний» с масштабами жизни, судьбы, страны... Я был уверен, что это возможно только в тюрьме, где соблазнов действовать гораздо меньше. И у Светова встретил опровержение этого мнения. Его жизнь все еще шла в гуще событий, в той же, где и я старался что-то делать, а он уже осмысливал делаемое, не дожидаясь, пока посадят. Правильно или неправильно он осмысливал, это другой вопрос, ведь и наши выводы были далеко не бесспорными. Со Световым как-то легко было не соглашаться, он становился равным участником *спора* друзей, очень похожего на споры на тюремных нарах.

(Еще года два я не был знаком с ним сколько-нибудь близко, но потом он вошел в нашу жизнь, как будто существовал в ней всегда. Но я пишу не об этом. Об «Опыте биографии» мы так ни разу и не поговорили, книга как-то исчезла из моей жизни, прочно заслоненная другими «опытами».)

И вот я опять ее встречаю, уже парижское произведение эмигрантского полиграфического искусства. На обложке – натюрморт с кремлевской башней. Сзади – об авторе: «Вслед за женой... арестовывается и Феликс Григорьевич Светов (23 января 1985 года). Его „Опыт биографии“ выходит в свет, когда ни в чем не повинный ее автор сидит на Лубянке...» Сидел он, правда, на Матросской Тишине, «арестовывается» – это что-то вроде «моется» или «бреется», а уж при словах «ни в чем не повинный» сразу вспомнишь солженицынское: «Но

мы упустили сказать, что само понятие *вины* отменено пролетарской революцией, а в начале 30-х годов объявлено *правым оппортунизмом*...»

Авторское предисловие 1981 года настораживает своей ранее не встречавшейся мне у Светова горечью. «У меня есть уже опыт утрат: роман „Отверзи ми двери“ („Кровь“) – о приходе человека нашего времени к Богу, ко Христу, о трудном, а порой невысказанно тяжелом пути, на котором человеку дано перечеркнуть всю предыдущую жизнь и преодолевать неготовность к жизни новой, – был прочитан внешне, злободневная еврейская тема закрыла от читателя то, ради чего роман написан».

Боюсь, что реальная ситуация с романом даже хуже, чем представляется автору. Не «прочитан внешне», а не прочитан вообще. То, что Светову, как и многим в Москве, «представляется единственно важным у нас», еще не скоро найдет своего читателя в эмиграции, где количество пишущих явно превышает количество читающих. Умение читать на родном языке – первое, что мы теряем, перелетая снежную границу. Единственным утешением может быть то, что теперь-то мысль, доверенная бумаге, уже не будет сожжена или арестована, а будет лежать, дожидаясь тех лучших времен, когда сможет прийти до настоящего читателя.

Впрочем, «Опыт биографии» может найти своего специфического читателя и сегодня – среди ученых-славистов, добравшихся наконец до литературного процесса 50-х – 60-х годов в России. Их, конечно, интересует внутренняя жизнь. Интересы этих специалистов вовсе не совпадают со световскими, они ищут лишь свидетельств участников изучаемого процесса, но по пути с ученой педантичностью пережевывают даже солженицынского «Теленка». Исповедальная книга Светова – конечно, не образец академической мемуаристики, но несколько портретов в ней могли бы полностью закрыть все, что написано об этих людях другими. В первую очередь это рассказы о Марке Щеглове и Науме Коржавине. Роль умершего тридцатилетним Щеглова в становлении явления, именовавшегося «новомирской критикой», трудно переоценить. Коржавин же со сталинских времен и до сих пор (и даже в эмиграции) остается эталоном нравственного стояния в русской литературе. Не всегда он был пророком, да дай нам Бог всегда так чисто ошибаться.

Может быть, внимание к книге будет привлечено и ее участием в сегодняшнем споре «славян между собою», благо этот спор действительно идет в свободной русской литературе. (Конечно, более надежным было бы участие в каком-либо скандале, но на это Светов, слава Богу, не способен.) Я пытался сравнивать «Опыт» с автобиографическими романами Максимова, но вдруг натолкнулся на строчки: «...к тому времени журнал выкристаллизовался во вполне отлаженную детальку машины, в точности исполняющую любой маневр, предлагаемый в этот момент на Старой площади». Или об авторах того же журнала, «которые тоже становились запчастью той же машины, и ее легко было заменить другой». Это перекликается с совсем недавней книгой М. Геллера «Машина и винтики», одним из первых серьезных исследований для Запада механизма формирования «гомо советикус». Блестяще написанная книга Геллера безусловно верна «на все... 99%». Книга Светова – о том единственном проценте, который оставляет нам надежду на сохранение рода человеческого в нечеловеческих условиях. У Геллера, действительно, все по цитируемому им Пастернаку (из «Доктора Живаго»): «Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама себя объезжает в манеже». Светов проносит душу живую через все испытания, которые должны, «как кузнечный молот, штамповать необходимое поведение».

Доперечитав книгу Светова, я понял, что «рецензии» на нее не напишу. Во-первых, потому что она сама написана ярким литературным критиком. Во-вторых, в ней самой, в третьей части – «Эпilogue» – уже есть дружеские, но очень жесткие рецензии человека, который помог писателю стать собой сегодняшним (Светов оставил ему лишь инициалы – Е. Ш. Оставим и мы). Вот на первую часть – «Замерзшие»:

«Так вот, эта книга мне представляется также своеобразным „продуктом“, ибо вся она, на мой взгляд, есть книга о *правах*, а не книга об *обязанностях*. Отсюда острое чувство нарушения и попирания *правосознания и справедливости*, но справедливость ведь есть лишь практическое приложение цельного мирозозерцания. В этом требовании прав, политических ли, или требовании *ответной* любви на любовь героя, есть для религиозного постижения более тонкая, но все та же, к горечи, безнравственность, ибо *нравственность* сопрягается с самоограничением, требование заслуженных прав есть акт политический, акт общественного деятеля, но не акт *абсолют-*

ной нравственности. Отсюда, на мой взгляд, сильно обедняющая ценность исповеди как документа, *поверхностность* в отношении к чужому горю, низведение жутких для другого обстоятельств к простой морализирующей формуле кружкового общественно-гражданского мнения...»

Вот на вторую часть – «Оттаявшие»:

«И тебе надо осознать до конца, что детскость сердца, опыт вечного детства сердечного – истина, которую надо утверждать для других... Детскость сердца – это не инфантильность, а мудрость, ибо инфантилизм есть свойство ума, а не сердца... Книга говорит вне зависимости от тебя, что весь опыт страдания *был нужен* тебе: подумай, быть может, здесь лежат семена *эпилога*. Если бы это произошло, если бы пружинящий зов изнутри развернулся в тебе, то как было бы хорошо для многих, и для тебя!»

Но строже всех к себе в «Эпилоге» сам автор: «Была несомненная неправда во всем предшествующем повествовании, выстраивании и конструировании героя, его судьбы, эволюции и во всем прочем. При всей точности изображения. То есть именно такой была задача, но на самом деле, если говорить обо мне и пытаться понять человека, прожившего эту жизнь, то, конечно, не мои взаимоотношения с «Новым миром» и «Знаменем», не ошеломление Синявским или вышедшими на Красную площадь определили мое существование. Здесь и было выравнивание, романтизация судьбы, смещение, а в конечном счете – неправда, объяснимая собственным непониманием, жизнью внешней».

После самиздатского успеха 1971-72 годов автор выловил книгу из этого моря и на десять лет спрятал в стол. Он отдал ее читателям, увидев, что книга еще жива, а поколение, чьим голосом она стала, едва ли скажет больше. Так представлялось Феликсу Светову из Москвы в марте 1981 года.

Александр Гинзбург



# Коротко о книгах

*Димитрий ПАНИН*

## СОЗИДАТЕЛИ И РАЗРУШИТЕЛИ

На 119 страницах своей новой работы Димитрий Панин попытался не только выявить причины того, что «мир на роковом пути и катится в пропасть», но и дать рецепт кардинального лечения людей – («... и виной тому люди») и общества. Задача, как сказал бы Владимир Ильич, «архитруднейшая» и неблагодарная, над которой ломали голову десятки мыслителей всех времен и народов!

Сам автор, конечно, понимает условность деления всего человечества на «созидателей» и «разрушителей» и, по-видимому, имеет в виду конечный выход – идей, действий у конкретной личности, не обращая внимания на то, каким был и что делал человек до этого. Но как далеко такое разделение от реальности, от анализа личности, поведения первичных групп и масс в современном обществе!

В последней четверти книги, посвященной новому – идеальному «Миру-маятнику» настораживают явно любительские проекты, без отношения со сложными современными проблемами экономики, политики, Третьего мира и т. д. Еще более удивляют все эти «Гаранты, Состояние тревоги, Служба защиты, Национальный этический центр, Национальное правительство, Сектор энергии, Сектор жизни и... Сектор духа» (уж не сектор ли Отдела ЦК по религии новой Мировой партии?!), как и настойчивое повторение слов – «надо», «нужно», «необходимо», прямо или косвенно (в подтексте) присутствующих в этой части работы. Хотел автор или нет, но впечатление тоталитарности, близости по ощущению общества Великого Инквизитора (по Достоевскому), – остается! С благими желаниями не так трудно попасть в ад! Кто-кто, а Панин должен был об этом подумать, тем более, что ни у кого не может возникнуть и мысли о неискренности автора, и тому доказательство – первая, основная и наиболее интересная часть книги, посвященная истории.

Русскому католику могут прийти более точные и интересные мысли о разделении Церквей, чем его западному собрату по вере. В его критике мы можем найти некоторые объективные идеи, отсутствующие, скажем, у некоторых православных. С одной стороны ясно, что история не только России, но и Европы, всего мира

была бы иной, не будь раскола – разделения Церкви. Хочется даже думать о том, что в мире и в истории России было бы меньше жестокостей: от самого характера византийского православия до помощи России в борьбе с татарами, меньшей агрессивности соседей-католиков и т. д. – если бы Россия была под эгидой Папы. Но, пожалуй, гораздо более важным и, главное, вероятным событием для будущего России явилось бы введение греческого и латинского языков в Церкви (православной) о чем писал Г. Федотов («Россия и свобода»). С другой стороны, мы знаем, что войны, конфликты и даже преследования некоторых католических орденов и Пап происходили в самом католическом мире с той же жестокостью, что и в отношении еретиков и «отщепенцев»!

Говоря о Римской Церкви, Димитрий Панин явно облагораживает ее историю, даже не между строк, а прямо говоря о важности истребления секты катаров, преследовании протестантов, борьбы с ересями. Несмотря на действительное закабаление Церкви в России светской авторитарной властью, такого у нас почти не было!

По всей работе автора проходит линия доминирующего единства, единения вся и всех под знаменами его идей. Искренность и накал страстей автора – не вызывает сомнений. Редкая точка зрения русского католика может и должна находить место на страницах российского Зарубежья, тем более, что он взял на себя, как уже отмечено в начале, – поистине непосильную задачу.

И. Г.

## ПОГИБАЕТ ЦЕЛЫЙ НАРОД

*Права человека в Афганистане со времени советского вторжения.  
1979 – 1984. Отчет Американской Хельсинкской группы.  
Нью-Йорк, 1985*

«Эта книга, – сообщается на обороте титульного листа, – составлена на основании отчета, подготовленного Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиным». Следует сразу сказать, что работа, проведенная авторами отчета: сбор документации в разных странах, где действуют общественные и медицинские организации, оказывающие помощь Афганистану, сбор информации на месте, включавший многочисленные интервью с афганскими беженцами и представителями афган-

ского сопротивления в Пешаваре, – воистину гигантская, кропотливая и дающая очень полное представление о том, что происходило в Афганистане в первые пять лет войны. Авторы не прекратили своих трудов – вскоре после того, как появился русский перевод их первого отчета, Американская Хельсинкская группа выпустила по-английски новую книгу – «Умереть в Афганистане», – основанную на сведениях, собранных теми же ее представителями в течение 1985 года.

После небольшого, но важного исторического вступления, озаглавленного «Как это произошло», следуют разделы и подразделы, сами заголовки которых дают представление о том, что творят в Афганистане советские захватчики и их местные коммунистические подручные. К примеру, первая из этих глав называется «Сплошное разорение сельской местности» – в ее первом разделе, «Преступления против сельского населения», пять подразделов: «Бомбардировки без разбора», «Убийства в качестве репрессий», «Массовые казни и беспричинные убийства», «Портативные мины», «Аресты, насильственная мобилизация в армию, пытки». И в каждом из них – свидетельства, факты: что, где, когда, – рассказы уцелевших крестьян, своими глазами видевших гибель родных и односельчан.

И так на протяжении всей книги. Авторы собирают перекрестные свидетельства; если что-то известно лишь понаслышке – всегда отмечают, что эти факты сомнительны (увы, в новой книге некоторые зверства, представлявшиеся «сомнительными», нашли подтверждение). Стремясь быть абсолютно объективными, они включают в книгу раздел «Нарушение прав человека борцами афганского сопротивления», где говорится об обращении с военнопленными и прочими заключенными и об атаках на гражданские цели. Этот раздел занимает всего лишь 14 страниц в более чем двухсотстраничной книге, но не исключено, что именно вынесение таких вопросов на международный форум заставило афганских партизан «подтянуться» и не пятнать своей справедливой борьбы печальными злоупотреблениями (даже если в военной обстановке, бывает, и некогда об этом подумать). Отметим, что по тем же темам материал о зверствах советско-кабульских войск и афганской госбезопасности (глава которой теперь «заслуженно» возведен в ранг генерального секретаря) куда страшнее: здесь речь идет об убийстве военнопленных, о политических убийствах, о пытках, которым систематически подвергают политзаключенных, об атаках на гражданские объекты как одним из основных средств ведения войны. Ибо иной и не может быть война против народа.

*Передмова та примітки Дм. Чуба*

*Мельбурн, «Ластівка», 1986*

Публикуемые в этой книге письма известного украинского писателя Бориса Антоненко-Давидовича были адресованы Дмитро Чубу-Нитченко, украинскому писателю и литературоведу, живущему в Австралии. Первое письмо датировано 1968 годом, последнее – октябрём 1983-го, когда Борис Дмитриевич был уже тяжело болен. Через несколько месяцев он скончался, и переписку заключают письма от дочери писателя и от его ближайшего друга Михайлины Коцюбинской.

Борис Антоненко-Давидович прожил тяжкую жизнь, много лет провел в лагерях, а под старость вновь стал жертвой преследований – постоянных обысков и допросов (об этом на нескольких страничках воспоминаний рассказывал в «Континенте» Александр Хахулин – его очерк Дм. Чуб привел в качестве приложения к своей книге). Разумеется, в письмах, которые шли по почте, писатель не мог слишком прямо ни вспоминать старое, ни говорить о новых бедствиях, однако осторожные, обходящие «дуру-цензуру» упоминания об этом постоянно всплывают. Почта – вообще одна из «главных героинь» этой переписки: Антоненко-Давидович часто сознательно повторяется в письмах, так как не уверен, дошло ли предыдущее письмо. И неуверенность эта зачастую оправдана: многие письма и книги, отправленные из Киева или в Киев, так и не достигли адресатов.

Обводя ту же цензуру, киевский писатель обращается к своему мельбурнскому коллеге, с которым был знаком еще в 30-е годы, как к человеку, о существовании которого впервые узнал, лишь получив от него в подарок составленный им орфографический словарь украинского языка (с чего и началась переписка). Следует сказать, что родной язык – одна из важнейших забот Антоненко-Давидовича. Как раз в эти годы он публикует в прессе и затем выпускает отдельной книгой заметки «Как мы говорим». И адресату своему он нередко указывает на языковые ошибки (русицизмы, англицизмы, вообще неточности в словоупотреблении, легко развивающиеся в эмигрантской среде) – надо отметить, что адресат не только не обижается, но зачастую и спрашивает, как лучше выразиться в том или ином случае.

Чем дальше идет переписка, тем больше в ней появляется вкрапленных воспоминаний – о страшной эпохе 30-х годов, о друзьях и зна-

комых, павших жертвами массовых репрессий. Все откровеннее упоминает Антоненко-Давидович и о новых преследованиях: например, о том, как он лишился пишущей машинки (на обыске) и как ему внезапно ее вернули. А вернули ее после того, как задержали на почте машинку, высланную Дм. Чубом, – Антоненко-Давидович справедливо считает, что именно переписка о судьбе задержанной машинки привела к возвращению изъятой.

Из писем можно многое узнать о литературной жизни на Украине, о выходивших в те годы книгах: одни Антоненко-Давидович рекомендует вниманию своего адресата, высылает их ему (иногда после долгих стараний, ибо книги приходится не столько покупать, сколько доставать), о других отзывается прохладно. Для того, кто интересуется этим периодом, письма Антоненко-Давидовича станут неоценимым источником разнообразных сведений, включая детали, которые нигде больше не отражены.

Книга иллюстрирована множеством фотографий, в большинстве своем ранее не публиковавшихся, но фотографии лишь дополняют живой образ автора писем, возникающий из их чтения, – человека много пережившего, потерявшего большинство своих ровесников, видящего, как умирают люди моложе его и горящего, что-де зажил-ся, а в то же время умеющего радоваться и природе, и людям, и родному украинскому слову. Образ удивительно светлый. И за это особенно следует поблагодарить издателя – неутомимого энтузиаста украинской литературы на австралийском континенте.

## ЯНКА КУПАЛА Й ЯКУБ КОЛАС НА ЗАХАДЗЕ

*Бібліяграфія. Укладальники Витаўт Кіпель і Зора Кіпель*

*Беларускі інстытут навукі й мастацтва, Нью-Йорк, 1985*

Библиография западных публикаций произведений двух белорусских классиков и литературы о них, составленная Витовтом и Зорой Кипель, связана с празднованием в 1982 году столетия со дня рождения Якуба Коласа и Янки Купалы. Составители рассматривают свою работу как дополнение к существующим библиографическим справочникам, с той существенной разницей, что здесь учтена литература, выпущенная вне сферы влияния советской цензуры. Стоит, впрочем, сразу отметить любопытный факт: среди западных периодических

изданий (белорусских, украинских и русских) есть и «псевдоэмигрантские», которые пишут то, что угодно именно проводникам советской идеологии. Наличие такого рода библиографических записей прибавляет к общей картине довольно грустную ноту, но делает ее еще более полной.

Всего лишь чтение названий статей и заметок в эмигрантской прессе показывает, что полное присваивание «советской литературой» белорусских классиков, особенно Янки Купалы, явно производится нечестными методами. В биографии Янки Купалы остается ряд моментов, не фигурирующих при установке его восковой статуи в коммунистическом Пантеоне: его арест в начале 30-х годов, когда шел погром белорусской интеллигенции; последовавшая вскоре после освобождения попытка самоубийства; сама его таинственная смерть в 1942 году (он-де вывалился из окна гостиницы в Москве – совпадение этого несчастного случая с известным методом коммунистической расправы, по меньшей мере, смущает); его пьеса 20-х годов «Тутушние» практически остается под запретом.

Тем не менее, с горечью приходится сказать, что оба классика белорусской литературы были сломлены и унижены. Сломлены репрессиями и страхом репрессий, посулами и почестями. Разумеется, и на страницах эмигрантской прессы их образ нередко предстает в хрестоматийном виде, однако нет недостатка и в более серьезных рассматриваниях их сложной судьбы и творчества.

В книгу входит также библиография переводов произведений Якуба Коласа и Янки Купалы на славянские и западные языки, и в числе литературы о Купале и Коласе также немало иноязычных названий. Отметим, что ряд работ (главным образом, обзорного характера) принадлежит самим составителям библиографии.

# По страницам журналов

## ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ ТРЕТЬЕЙ ЭМИГРАЦИИ

Вышел третий номер русского религиозно-философского журнала «Беседа», главный редактор которого – Татьяна Горичева. Журнал издается в Париже, и цель его – знакомство с современной религиозной и философской жизнью. Журнал публикует авторов, живущих как в СССР, так и в эмиграции, печатает материалы по современной западной философии.

Статьи авторов, живущих в СССР, издаются без их согласия.

Третий номер открывается статьями на тему об утопии и антиутопии. Редакция пишет:

«Время утопии отошло в прошлое.

Даже на Западе, где еще несколько лет тому назад умами левой молодежи владела утопическая философия надежды и фантазии (Эрнст Блох, Г. Маркузе), теперь считается цинизмом призывать к осуществлению утопии».

Татьяна Горичева в большой статье «В поисках Рая» противопоставляет идее социальной утопии тот поиск рая, то есть идеального, очищенного состояния души, который является одной из ведущих тем русской литературы. «Утопия, – пишет она, – это ложный, одномерный и нигилистический поиск рая».

Особый интерес представляет статья постоянного автора «Беседы» Бориса Гройса «По ту сторону утопии и антиутопии», в которой автор определяет философию как утопию, пытающуюся стать над всем преходящим.

Отличительная особенность социальных утопий – невозможность их реализации.

В то же время достижение райского, блаженного состояния сознания, которое реализуется внутри человеческой души, вполне возможно. Татьяна Горичева показывает это не только на примере жизни святых и праведников, но и на примере некоторых героев русской литературы. Она исследует, например, феномен князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот», героев Андрея Платонова, Толстого и Гончарова.

В разделе «Религия и философия» замечательна статья известного французского богослова Оливье Клемана «Вопросы о человеке», который высшее выражение человека видит в идее Богочеловечества.

В этом же разделе помещена статья игумена Геннадия (Эйкаловича) «Софийность творения» об учении о. Сергия Булгакова. Сначала игумен Геннадий излагает учение Православной Церкви о Творении как о тайне, «до конца рационально непостижимой», подчеркивая, однако, что Церковь допускает человеческие мнения об этой тайне – как рационалистического порядка, так и на «путях интеллектуальной (и мистической) интуиции».

Одной из таких попыток «разрешения» этой великой тайны было учение о Софии (т. е. о Премудрости Божией) о. Сергия Булгакова. По мысли о. Сергия София является связующим звеном между Богом и миром, даже неким «третьим началом». Таким образом, это была попытка избежать как монизма, с его относительным тождеством Бога и мира, так и дуализма, с его разорванностью между Творцом и творением.

Игумен Геннадий в своей статье заключает, что учению отца Булгакова о Софии присущ некоторый параллелизм с метафизикой Якова Беме и в то же время в нем делается «слишком сильный упор на связь Бога с миром». Однако автор статьи считает, что человеческие попытки понять «непостижимое» не бессмысленны: наоборот, они представляют единую цепь, приближающуюся к Абсолюту, цепь, протянутую «от нашего „я“ к Абсолюту». Софиология же отца Сергия Булгакова является одной из величайших таких попыток.

Очень интересна и статья (в разделе «Религия и литература») архимандрита Киприана (Керна) «О религиозном пути Александра Блока».

Эта статья, на мой взгляд, весьма актуальна и, прежде всего, потому, что до сих пор – и в России, и на Западе – некоторые читатели оценивают Александра Блока как поэта демонизма, как поэта люциферического начала. Автор статьи не согласен с такой односторонней и упрощающей трактовкой. Он пишет:

«Блок – не просто поэт и драматург, критик и художник; он глубокий мистик, дерзновенный пророк, он поэт-теург».

Действительно, Блока вполне можно рассматривать как Данте нашей эпохи, для которого Вечная Женственность как аналог Божественной Красоты была – Раем, а современный мир («страшный мир») – адом. Автор статьи затем приводит слова Андрея Белого: «Блок – душа столь огромная, что, овладей она тайными знаниями, она озарила бы светом Россию».



Архимандрит Киприан заключает, что Блока – как гениального и в высшей степени необычного поэта – надо понимать во всех его противоречиях, во всей его мучительной внутренней борьбе, во всей таинственной сложности его духовного пути, который несводим к любым метафизическим штампам.

Журнал «Беседа» знакомит читателей и с современными западными философами. В частности, в третьем номере «Беседы» рецензируется книга французского философа Мишеля Серра «Паразит», посвященная духовному и интеллектуальному паразитизму, который, по мнению французского философа, широко распространен в современном мире.

Рецензент пишет: «Серр не политик. Он странный, художественно настроенный аналитик. Аналитик страстного, ритмизированного, очень эмоционального стиля... Он не принадлежит ни к одной из партий современной философской идеологии. Серр – одинокий путешественник, искатель...»

Не менее любопытна рецензия на книгу немецкого философа Петера Слотердайка «Критика цинического разума», в которой рассматривается цинизм как социальный и философский феномен. Опубликованы также два интервью с представителями современной западной мысли.

Издание журнала «Беседа» явно свидетельствует о серьезном интересе к философии и богословию в среде эмиграции и, думаю, в самом Советском Союзе.

#### «ЭХО» № 14 (1986)

«Эхо» – кажется, единственный в Зарубежье журнал, эхом отзывающийся (к сожалению, все реже) на литературный процесс, протекающий вне рамок какого бы то ни было реализма. Впрочем, «гвоздем» последнего, 14-го номера стало не художественное произведение, а историко-социологический трактат «Человеческое вещество?» безвременно скончавшегося пять лет назад талантливого ленинградского писателя и ученого Бориса Вахтина.

Трактат ли, исследование, развернутая статья?.. Какое это имеет значение, если по-настоящему это вопль отчаяния по несбыточному бессмертию человечества. И все здесь завешено серым покровом тоски, ужаса и горькой безблагодатности. И жалость охватывает к этому человеку, который в такой безысходности ожидал приближения

смерти. В поисках истины припадает автор к источнику самого для него святого – к русской литературе – и слышит (ибо созвучно душе) все тот же горестный голос, принадлежащий (невероятно!) пушкинской музе:

...Сказал я, – ведайте: моя душа полна  
Тоской и ужасом; мучительное бремя  
Тягчит меня. Идет! Уж близко, близко время.

Обращается Вахтин к Гоголю и к Достоевскому, к Блоку и Хлебникову, и все эти великие русские писатели-пророки предсказывают тьму грядущих времен, но видят и яркую вспышку света в конце. Камнем, на котором строится авторская концепция, стал основополагающий труд философа Н. Ф. Федорова «Философия общего дела», где развивается стержневая мысль о воскрешении отцов и предков и о победе над природой – источником смерти. Именно у Федорова находит Вахтин неожиданную идею об отношении природы, силы слепой и всесокрушающей, к человечеству, а также о том, что такое присущее исключительно людям свойство, как разум, – для чего-то природе нужно. Для чего?

Попыткой ответа на этот вопрос, в сущности, и стала статья Вахтина. Отношение природы к человеку называется в философии «третьим отношением», в отличие от «первого отношения» (человек и природа) и «второго отношения» – отношения человека к человеку. Вахтин, напряженно искавший ключ к открытию сути *действительной* истории человечества, а не мнимой, полагает, что кардинальной ошибкой большинства историков и социологов (взгляды наиболее известных ученых нашего времени Арнольда Тойнби и Николая Конрада он анализирует в статье) как раз и является их базирование на первых двух отношениях, тогда как фундамент истины покоится на третьем. Лишь в «третьем отношении», по мысли автора, кроется разгадка о человечестве как об определенной данности, разгадка его судьбы – гибели или бессмертия.

Жаль, что глубоко насыщенное религиозно-этическое учение Н. Федорова – о необходимости жить прежде всего не для себя и не для других, но со всеми и для всех – Вахтин начал рассматривать под неожиданно позитивистским углом зрения, вычлняя из всего богатства федоровских идей лишь необходимую для собственных построений мысль. Понятие человеческой личности как изначальной божественной сущности и главного феномена истории изгоняется из концепции Вахтина, а на ее место ставится *человеческая масса*, или, точнее, чрезвычайно активное и деятельное *человеческое вещество*.

Процесс развития этого вещества и является, согласно Вахтину, ходом действительной истории человечества. Автор перечисляет и присутствующие человеческой массе (в специальной литературе она называется еще «кашей», кипящей на планете и постепенно ее переполняющей) объективные законы: несомненное ускорение во времени, все большее использование скрытой в мире энергии и, наконец, активное размножение.

Научная теория о человеческой массе и управляющих ею объективных законах отнюдь не нова. Однако совершенно неожиданной показалась авторская концепция, согласно которой смысл существования этой уникальной «способной к самопознанию массы» заключается лишь в том, чтобы «производить работу, вписанную в общую систему движения вселенной», а также в том, чтобы «освободить энергию, скрытую в окружающем мире и неспособную освободиться иным путем». Вахтин, казалось бы, резонно рассуждает, что не обладающее свободой воли человечество, ставшее благодаря этому слепым придатком и безгласной функцией природы, превратится в конце концов в одну из стихийных космических сил и будет содействовать появлению события вселенского масштаба – скорее всего, гигантской космической катастрофы.

Вот и оказалось, что единственное в своем роде мыслящее существо, обладающее свободой воли, способное к самопознанию и осознанию своей божественной сущности, только для того и было призвано в мир, чтобы его «разогреть» и освободить таким образом избыточное топливо. Очень печально, если бы дело обстояло именно так, однако точка зрения Вахтина все-таки представляется ошибочной: не космология включает в себя антропологию, а наоборот. Источник подлинной свободы человека не в физическом и не в материальном, а в божественном и духовном, и проистекает эта свобода от образа Божия в человеке. С удивительным проникновением сказано об этом в Книге Премудрости Иисуса сына Сирахова: «... один человек может значить больше тысячи, ибо от одного разумного населится город, а племя незаконных опустеет».

Впрочем, оставим в покое научные теории. В конце концов, не они главное в «Эхе». Что же касается представляемого им русского литературного авангарда, то попробуем определить наиболее существенные его черты. В одной из своих статей Татьяна Горичева справедливо выделила свойственный ему цинизм, с отрицанием всего вплоть до самого отрицания, а также связанное с цинизмом юродство, с отвержением всего вплоть до сущего в человеке. Мы бы присовокупили к этому также полнейшее нежелание искать смысл в бессмысленности жизни. Существует, однако, важнейший признак, позво-

ляющий разделить внешне подобные в своем цинизме, юродстве и отрешенности модернистские произведения на две категории. Этот признак – боль или отсутствие оной, это озаренность светом или бездушие, это страдание или холодная беспощадность. Если судить с подобной позиции, то помещенные в 14-м номере новеллы Александра Кондратова, объединенные в повесть «Обратная сторона Луны», скорее относятся к вещам холодно-беспощадным. Александр Кондратов, превосходный, умеющий мастерски обыграть сюжет стилист, был широко представлен в 13-м номере своими «Короткими, короткими рассказами». Центральным нервом художественного организма писатель делает манию. В «Коротких рассказах» это была мания механического убийства в самых различных его вариантах. В «Обратной стороне Луны» это мании доноительства, преследования, слежки и разлитая в воздухе ненависть всех ко всему. Произведение отличается внешней обыденностью: герои собираются компанией, пьют пиво, болтают, но в сущности все они – маньяки, а окружающий их мир – это мир сумасшедшего дома. На Западе подобного типа сюрреализм – не новинка, в современной русской литературе довольно неожиданен, хотя и имеет вполне подготовленную социальную почву.

В отличие от, во всяком случае, внешне бесстрастного А. Кондратова, Иван Стеблин-Каменский буквально вопиет от боли в своей пьесе-«мракедии» «Вороны». Абсурдизм этой пьесы воспринимается органически, как абсурдизм самой жизни. Птица, в данном контексте ворона, символ смерти, кладбище и надмогильного карканья, становится символом державным, – хоть ставь ее в герб. Действительность невыносима, удушающая, это ее вороны крылья распростерлись над героем «мракедии» – поэтом, которого должны уничтожить в тюрьме.

И какой же ледяной иронией звучит под занавес реплика тюремщика:

Еще одного не стало,  
И все же осталось немало.

Здесь, в который уже раз, ощутилась печать, налагаемая прекрасным городом-призраком Питером на творчество живущих в нем свободных художников. Воистину «нет выхода для нас – все к гибели стремится...» И та же боль, почти без просветленья, слышится в стихах замечательного поэта, типичного представителя «питерской школы» Виктора Кривулина, представленного в номере подборкой стихов «Одна и единственная жизнь»:

Как же их не любить и не статься во прахе  
перед ними – дрожащими? И ни одной  
неизгаженной жизни, судьбы недвойной,  
но – предательства, мании, страхи.

Или:

Что за полет невозможности жить!  
Что за восторг, исторгаемый из  
обреченного тела!

Для москвичей гораздо притягательней стихийная жизнь, растущая, словно буйные лопухи возле подмосковных бараков. Эта земляная, нутряная бытийственность притягивала именно как антипод идеологизированной советской действительности. В номере представлена поэзия «ветеранов» неофициальной московской поэзии Игоря Холина и Генриха Сапгира – учеников и духовных питомцев замечательного поэта и художника Евгения Леонидовича Кропивницкого. Оба взрастали под сенью лианозовских бараков и казались на первый взгляд довольно похожими, хотя в сущности были совершенно разными.

Барачный бытовизм И. Холина мог бы стать великолепной иллюстрацией именно к статье Бориса Вахтина с его размышлениями о «человеческом веществе»:

Двое спорят у сарая,  
А один уж лезет в драку...  
Выходной. Начало мая.  
Скучно жителям барака.

Короче:

Течет черное марево...  
Варится человеческое варево.

И все так же и дальше, безо всякой передышки и разнообразия. Просто черно-белые фотографии с натуры – эти ранние стихи И. Холина из его сборников «Мир уходящий» и «Лирика без лирики».

Генрих Сапгир в его «Голосах» 59 – 62 годов бесконечно мощнее и красочней. В его поэзии воспринятые от учителя элементы «бытовизма» взметены в вихре страстного оргического гимна. Сапгир еще далек от философской углубленности «Псалмов» и «Сонетов на рубашках». В ранней поэме «Бабыя деревня», к примеру, и Барков, и ранний Клюев, и все в ней стонет и гудит от ищущей излиться силы:

Тоскуют бедра, груди, спины,  
Тоскуют вдовы тут и там.

Тоскуют жены по мужьям.

Тоскуют девки, что невинны.

В общем-то, непонятно, что побудило Владимира Марамзина, главного редактора «Эха» помещать стихи не возлюбленных им питерцев, а москвичей, да еще чуть ли не тридцатилетней давности. Возможно, для того, чтобы они хоть раз в жизни были опубликованы, а возможно, и для контраста с богато представленной в номере прозой и поэзией питерцев. Читателю немаловажно сравнить не только два различных направления в русской неофициальной поэзии, но и представителей двух разных ее поколений. Что ни говори, а разница в десяток-полтора десятка лет играет весьма значительную роль в поэтической традиции.

Раздел художественной критики представлен превосходным анализом Льва Лосева различных редакций солженицынского романа «В круге первом». Лев Лосев – один из немногих, кого привлекает не социально-исторический аспект произведений Солженицына, но исследование их художественной структуры. Сопоставляя варианты 1963 и 1978 годов, критик пришел к парадоксальному выводу, что первый вариант романа, смягченный самоцензурой (Солженицын надеялся тогда издать его на родине), оказался гораздо обостренней по сюжету, чем специально «углубляемый и обостряемый» автором последний. Таковы, на первый взгляд, странные, но неумолимые законы искусства. А все дело в том, что, по словам Л. Лосева, «драматичность сюжета... литературного произведения зависит не от того, насколько значительно реальное событие, положенное в его основу, а от взаимоотношений самих элементов сюжета между собой».

Итак, кажется, что и 14-й номер «Эха» наших надежд не обманул и – «читать себя заставил». Но эхо, как известно, штука весьма капризная: то откликнется, а то и застынет, замрет. Поэтому, не обращая на перебои с выходом в свет литературного «Эха», наберемся терпения и будем ждать следующего, 15-го номера.

М. М.

# Г Р А Н И № 140

Главный редактор

**Г. Н. Владимов**

## СОДЕРЖАНИЕ

Леонид БОРОДИН. *Правила игры. Повесть.*

С послесловием Эдуарда Кузнецова

Лия ВЛАДИМИРОВА. *Стихи*

Игорь ЧИННОВ. *Стихи*

Михаил ЛЕМХИН. «**Всё будет хорошо у нас с тобой...**»

### ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Яков ХРОМЧЕНКО. *Бухара-и-Шериф*

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Е. ТУДОРОВСКАЯ.** На озере Геннисаретском

Б. ПАРАМОНОВ. *Выживание поэта*

Е. ГЕССЕН. *Глоток свободы*

А. К. ЖОЛКОВСКИЙ. *Замятин, Орвелл и Хворобьев*

### НАСЛЕДИЕ

Т. ГОРИЧЕВА. *Христианский дурак в век апофатики*

### ИСКУССТВО

Иосиф ДАРСКИЙ. *Рыцарь печального образа.*

### ИСТОРИЯ

Зеев ВОЛЬФСОН. *История одного отступления*

### ПУБЛИЦИСТИКА

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. *Интервенция.*

### БИБЛИОГРАФИЯ

Т. Г. Икона и современность. **Е. Тудоровская.** Русский писатель в Америке. М. Назаров. *Надо жить.*

## К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «ГРАНИ»

В № 140, выходящем еще под моей редакцией, печатается повесть Леонида Бородина «Правила игры». Как и роман «Расставание» (№№ 131 – 132), автор принес мне ее накануне своего ареста – с той целью, с какой и 2000 лет назад литераторы носили своим коллегам свеженаписанное: услышать отзыв, не более\*. После ареста Бородина мне пришлось позаботиться об его рукописях – уберечь от обысков и переправить на Запад, – разумеется, без чьего-либо ведома. Волею судеб они приплыли в мой же адрес – во Франкфурт, в «Грани».

Но, в отличие от «Расставания», повесть эта выходит уже после моего изгнания с поста редактора за «нелояльное отношение к НТС». Отвечая на письмо в мою защиту более чем 60-и представителей российского Зарубежья («Серые начинают и выигрывают»), руководители НТС и «Посева» попытались представить свою неосторожную формулировку «выдернутой из контекста и произвольно интерпретируемой фразой... Как раз с политических позиций, – писали г-да Брюно и Жданов («Р. М.» от 27. 6. 86), – у НТС не было расхождений с мнениями Г. Владимова, как они выражались в журнале и в его выступлениях». Это – для широкой публики; для избранных – «членов и друзей Союза» – есть бюллетень «Встречи»; там, в № 275, Исполнительное бюро НТС объясняет смещение редактора «Граней» несколько иначе: «Неразрывную связь имени журнала с деятельностью Союза он посчитал помехой, от которой следует избавиться... Оторвать имя журнала от имени Союза и вести его против Союза невозможно...»

Читателям, таким образом, предоставлены на выбор по меньшей мере три формулировки – понимай каждый, как ему нравится:

1. Я вел журнал сообразно линии НТС – «с политических позиций... не было расхождений», был – дурной характер.
2. Я вел журнал независимо от НТС – связь «посчитал помехой», а это предосудительно, поскольку она – «неразрывная».
3. Я вел его против НТС – но это, само собой, «невозможно».

Такое разнообразие вынуждает подозревать, что либо истинную причину моего увольнения «солидаристы» избегают указать, либо НТС – не совсем то, за что себя выдает; не исключается, впрочем, «неразрывная связь» первого и второго. Однако, речь уже не обо мне. В своих партийных забавах хозяева «Посева» упустили, какой опасности подвергли они авторов, живущих в России. Ведь тот же выбор теперь – в распоряжении следователя КГБ, прокурора, состава суда, и уж какую формулировку они предпочтут для автора, ставшего «за черту», на то их карающая воля. До сих пор НТС застенчиво отмежевался от «Граней», представляя их журналом «чисто литературным», внепартийным, – помню, еще по Москве, выступление на сей счет тогдашнего редактора Р. Редлиха по «Голосу Америки». Отныне – всё печатаемое в «Гранях» и выходящее в «Посеве» несет на себе, или должно нести, штемпель лояльности к НТС; словарное значение – «верность», «преданность», «верноподданность».

В этих обстоятельствах, – сознавая, что еще одна публикация узнику пермских лагерей едва ли добавит срока, но сильно убавит шансы вызволить его оттуда, – я счел необходимым обезопасить Бородина мало-мальским «алиби»: проставил личный его копирайт. Поясню для несведущих: крохотный этот значок – © – не украшение

\* Утверждение издательства «Посев», что я был «московским представителем „Граней“» (см. ж. «Грани» № 140, «Вынужденный ответ»), – ложно.



заглавной страницы, но отвоёванный плацдарм свободы писателя, символ защиты его произведений от посягательств и присвоений, в незначительной степени – и его независимости от печатного органа. Копирайт – или проще, авторское право – одно из тех естественных, неотъемлемых прав, что принадлежат нам в силу рождения; только по сговору, самим автором, оно может быть уступлено. Хозяйева «Посева» эту уступку взяли себе сами: бестрепетно зачеркнув копирайт Бородина, они этим, автоматически, обратили его повесть в свою собственность. Для объяснения их действий высокие материи нам, пожалуй, не понадобятся: вместе с правами автор уступает издателю и 30% гонораров с переводных изданий.

Примкнув к Всемирной конвенции, впервые первого позаботился социалистическое отечество – отобрать у писателя этот магический значок, передал его журналу, газете, издательству, ВААПу, чёрту, дьяволу, лишь бы не крепостному, чьи труды заведомо принадлежат хозяину. Как же так выходит, что, сбросив один ошейник, мы вынужденно влезаем в другой? А вот так: «Мы получили, – гордо мне сообщали „посевцы“ в Москву, – мировые права на Вашу повесть». От кого получили? Кто был этот щедрый даритель чужого имущества? С чарующей непосредственностью мне объявили его решение – мне, единственному в мире, кто вправе был решать, – и отныне все мои книжки должен был украшать своим именем владыка моих прав, неведомый мне Горачек. Что он мне, этот Горачек? И что я – Горачеку?

К чести ее, третья эмиграция, с тысячекратно ущемленным, но оттого и обострившимся правосознанием, основополагающая свои издательства («Эрмитаж», «Пресс либр», «Третья волна»), порушила этот порядок. «Посев» – предпочел остаться в заскорузлых крепостниках. И тут его не пошатнуть. Вот что ответят вам на все ваши протесты по этому поводу:

*«Милостивый государь, Георгий Николаевич!»*

*Отвечаю на Ваше письмо от 13. 8. 86. Все правовые вопросы, связанные с выпуском журнала, находятся в компетенции издательства, а не редактора. Авторских прав мы не „присваиваем“, а защищаем и представляем интересы российских авторов. В правовом отношении, журнал, получая рукопись, автоматически получает право ее опубликовать и никаких здесь копирайтов не ставят.*

*Странно, что Вы не понимаете, в какое положение поставил бы автора, находящегося в России, его копирайт на изданном за границей произведении. Мы это понимаем, и подобных ошибок делать не намерены. Копирайт мы в данном случае поставим, лишь если сам автор по какой-то причине это потребует. Н. Б. Жданов*

Венчающая фраза, отсылающая меня за доверенностью к лагерному доходяге, – через «кума»? начальника режима? или напрямую в п/я №...? – так хорошо, что затмевает остальные перлы правосознания. Мы полагали, по дурацки, что правовые вопросы находятся в компетенции парламента, совета министров, прокуратуры, суда, – так нет же, они в компетенции г-на Жданова! Против всего юридического опыта человечества, их решает лицо материально заинтересованное, и стало быть, не беспристрастное! «И никаких здесь копирайтов не ставят» – и вся любовь. Тот самый, классический, случай, когда частное безобразие оправдывается безобразием общим: «А у нас всегда так». Замечательна и укоризна моему непониманию, в какое положение поставил бы автора, в данной ситуации, его копирайт. А вот в какое: было бы очевидно, что здесь, в свободном мире, уважаются и права бесправного зэка. Но вот лишенный копирайта, он поставлен в положение добровольно уступившего свои права «Посеву» – и значит, лояльного (верного, преданного, верноподданного) к НТС.

Мой долг заявить, что от воли Бородина это не зависело.

*Георгий Владимов  
9 сентября 1986 г.*

## ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание  
на русском языке

*Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе*

Главный редактор А. П о л о в е ц

### ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

**Глобус.** Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

**Публицистика.** В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

**Литература.** В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

**Голливуд.** Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в киномире США и других стран.

**Юмор.** В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства  
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

*Стоимость годовой подписки в США и Канаде – 33.00, полугодовой – 18.00 дол.*

**ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA**

*Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»  
на срок 12 мес. \$ 33.00 на срок 6 мес. \$ 18.00*

*В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой под-  
писки – \$ 64.00 авиадоставки – \$ 160.00*

*Чек (мони-ордер) на сумму ..... дол. прилагаю.*

*Газету прошу направлять по адресу:*

---

# Наша анкета

## БЕСЕДА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБА АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ

– Александр Блок – имя, которое нелегко носить. Как вы с этим справляетесь?

– Ну, как вы знаете, я взял себе литературный псевдоним – Жан Бло, но об этом я расскажу позже.

– Да, начнем с рассказа о вашей жизни.

– Я родился в Москве, в семье русских евреев. Это произошло в эпоху нэпа, когда можно было откупиться от большевиков валютой и уехать. Моя семья покинула Россию в 1924 г., когда я был младенцем. С тех пор я живу во Франции. Образование я получил отчасти в Англии – там живет часть нашей семьи. Но войну я провел во Франции, был участником



Сопrotивления и даже руководил целой сетью в районе Лиона. В конце войны, будучи членом партизанского отряда, я участвовал в освобождении Лиона и Гренобля. В армии я был переводчиком, а после войны мне предложили работу в ООН: два года я был в Греции, год –

в Азии. Потом меня перевели в Женеву, где я смог продолжить прерванные войной занятия правом. Я защитил диссертацию по юриспруденции, а затем по филологии – исследование о Гончарове. Впоследствии мне предложили пост директора лингвистического отдела ЮНЕСКО в Париже, который я с радостью принял, а еще несколько лет спустя я получил пост, который интересовал меня куда больше. Я стал директором отдела литературы и искусств ЮНЕСКО. Три года назад я вышел в отставку, и тут меня избрали генеральным секретарем Международного ПЕН-Клуба.

Теперь я могу ответить вам на вопрос о моем имени. Конечно, имя Александр Блок трудно носить даже в жизни, но в литературе это просто невозможно. Когда я послал мои первые опусы Полану, «серому кардиналу» французской словесности, который работал у Галлимара, они ему понравились, но он заявил, что я обязан найти себе псевдоним. Решать надо было быстро, и я, впрочем, по совету Камю, взял псевдоним Жан Бло, которым пользовался во время войны, хотя и по далеким от литературы причинам. К этому имени я за время войны привык – ведь я был лейтенантом Бло в партизанах, а затем в армии. Да и по звучанию Бло близко к Блоку.

– *Наши читатели в общих чертах знают, конечно, о существовании ПЕН-Клуба, знают, что ПЕН-Клуб защищает права писателей на свободу слова. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой организации.*

– Само название ПЕН-Клуб расшифровывается по-русски как «Клуб поэтов, эссеистов, прозаиков». Он был основан в 1921 г., и его первой задачей было преодолеть изоляцию и отчуждение, возникшие между писателями различных стран после Первой мировой войны. Ибо, как ни странно, та война в большей мере разорвала связи между творческой интеллигенцией, принадлежавшей к противоположным сторонам конфликта, чем Вторая мировая война, когда все было довольно просто – за редкими исключениями, все были антифашистами. Так вот, после Первой мировой войны писатели весьма быстро убедились в необходимости и целесообразности международных контактов, встреч, обменов мнениями. Организацией этих контактов и занимался вначале ПЕН-Клуб. Но то и дело возникали трудности: одному писателю не дают визы, за другого – необходимо поручительство и т. д. Так потихоньку сформировалась вторая функция ПЕН-Клуба – защита интересов и свобод его членов. Но наш «звездный час» пробил в 1933 г. на конгрессе в Дубровнике, когда мы первыми исключили нацистов. К этому времени у нас уже был устав, который предусматривал защиту прав писателей, защиту прав человека и в особенности защиту свободы слова.

– *Так, значит, понятие «прав человека» уже использовалось до войны.*

– В общем виде это понятие существует со времен Французской революции, но его содержание, действительно, не особенно разрабатывалось. Во всяком случае, ПЕН-Клуб с

самого начала защищал права писателя, а после конгресса в Дубровнике произошла его «политизация» – Клуб начал всё больше и больше заниматься защитой свободы слова и самого существования писателей, которые реально находились под угрозой в конце 30-х годов. Тогда были созданы специальные комитеты помощи политэмигрантам, а также комитеты, которые боролись за право писателей на эмиграцию, а особенно – за освобождение из тюрем писателей-заключенных.

Эта деятельность получила подлинное развитие после войны, в начале 50-х годов, когда мы осознали, что происходит в Восточной Европе. Но дело не ограничивается соцстранами. Еще несколько лет назад Аргентина была ужасной страной, а Гаити стоило Кубы. Турция по-прежнему стоит у нас на повестке дня. И все-таки наше внимание прежде всего сосредоточено на соцстранах, ибо только там человека могут посадить в тюрьму за стихи, как Ирину Ратушинскую. Конечно, в некоторых некоммунистических странах сажают в тюрьму за оппозиционную политическую деятельность, но не за стихи же!

Надо сказать, что наша деятельность приносит плоды. К нашему голосу прислушиваются даже на Кубе. Благодаря нашим усилиям, поддержанным Франсуа Миттераном, такие кубинские поэты, как Армандо Вальядарес или Хорхе Вальс, прошедшие долгие годы в кастровских тюрьмах, были освобождены. Мы организовали специальный комитет, который находится в постоянном контакте с Международной Амнистией и получает от нее всю информацию о преследуемых писателях. Эта информация поступает во все наши центры, а их более 80-ти. Мы переводим произведения этих мучеников, мы их издаем, мы стараемся способствовать получению ими литературных премий, как это было, например, в случае Ратушинской или Ахметова, которого я считаю своим протеже, поскольку я его открыл и переводил его стихи. Низаметдин Ахметов, который долго был в лагерях, а теперь находится в психиатрической тюрьме, получил Большую Международную Премию поэзии Роттердамской Академии два или три года назад. Он был арестован в возрасте 17 – 18 лет за татарский национализм, а теперь ему лет сорок, и он – действительно прекрасный поэт. А на днях эту же премию получила Ирина Ратушинская.

Мы также стараемся, по крайней мере, раз в месяц писать писателям, находящимся в заключении, чтобы они не чувство-

вали себя забытыми. Конечно, они не всегда получают наши письма, но кто-то ведь их получает. И тюремщики знают, что этими людьми интересуются за границей. Мы посылаем и посылки заключенным – для этого у нас есть специальный фонд. К сожалению, во многие страны заключенным нельзя посылать ни посылок, ни книг. На Филиппинах при Маркосе были писатели-политзаключенные, но им можно было посылать всё, что угодно – еду, вещи, книги. Не сравнить с Советским Союзом или Вьетнамом! Представьте себе, что мы не только переписывались с филиппинскими политзаключенными, но их можно было навещать!

– *Видимо, так же обстоят дела и в Южной Африке?*

– Не совсем. В ЮАР существуют различные формы преследования диссидентов, но писателей в заключении там сейчас нет. Наш фонд очень активен в Южной Африке – мы помогаем семьям тех, кто лишен возможности работать по специальности или был вынужден эмигрировать.

Кроме того, мы посылаем правительствам письма и телеграммы протеста. Иногда кажется, что всё это бесполезно, но на деле это не так. Каждый раз, когда кто-то «оттуда» приезжает на Запад, мы слышим: «Ни в коем случае не прекращайте борьбу! Это очень важно».

– *Какие соцстраны являются членами ПЕН-Клуба?*

– Было четыре активных страны-участницы: Болгария, Польша, Венгрия и ГДР.

– *Болгария – это неожиданно.*

– Да, вообразите, Болгария – весьма активная участница ПЕН-Клуба, а в последнее время болгары ведут себя очень мужественно. Недавно мы попросили у болгарской секции сведения о судьбе болгарского писателя турецкого происхождения, арестованного властями. И они довольно быстро ответили нам, что он был действительно задержан, но отпущен на свободу до суда. Они также дали нам понять, что суда, возможно, не будет.

Из других соцстран у нас очень активный центр в Венгрии, а в последние года два – в ГДР. Это поразительный факт, но наши члены из соцстран голосуют за осуждение политических преследований.

– *Даже если речь идет о преследованиях в СССР?*

– Да! В последние годы резолюции такого рода на наших съездах принимаются единогласно, при участии делегатов из

соцстран. Конечно, следует учесть то обстоятельство, что мы пытаемся избежать скандальных формулировок в наших резолюциях. Например, в случае Ирины Ратушинской говорилось, что ввиду ее состояния здоровья, во имя принципов гуманности, ПЕН-Клуб ходатайствует перед советскими властями об ее освобождении.

*– И восточные немцы и болгары проголосовали за эту резолюцию?*

– Восточные немцы – да, а насчет болгар я не уверен. Кажется, они воздержались. Но в других подобных случаях они голосовали «за». Как видно, какие-то процессы в соцлагере всё же происходят...

Что касается Советского Союза, он, слава Богу, не участвует в ПЕН-Клубе по простой причине. Мы не принимаем в ПЕН-Клуб целые организации. Каждый писатель вступает в ПЕН-Клуб лично и должен подписать наш устав. А советские никогда не соглашались на это.

*– Чего же они хотят – вступить в ПЕН-Клуб всем Союзом писателей?*

– Вот именно. Они хотят сами назначить писателей, которые будут представлять ССП в ПЕН-Клубе. Кроме того, ПЕН-Клуб формирует секции не по принципу нации или страны, а по принципу языка и литературы. Поэтому Советский Союз может претендовать, и не без основания, на создание десятков национальных секций.

*– Но у членов ПЕН-Клуба есть все-таки контакты с советскими писателями?*

– Разумеется. Мы проводим, например, ежегодное совещание в Блехе, куда югославы приглашают советских наблюдателей. Советские наблюдатели присутствовали на многих наших конгрессах.

*– Значит, югославские писатели – тоже члены ПЕН-Клуба?*

– Да, и одни из лучших, наиболее активных наших членов. Их около 400, у них четыре секции, представляющие четыре литературы. Я просто не упомянул Югославию в числе соцстран, потому что югославские писатели ведут себя с восхитительным мужеством, и они очень близки к нам. Как-то не ощущаешь, что они – часть соцлагеря.

– *А Румыния не входит в ПЕН-Клуб?*

– Формально у нас есть центр в Румынии, но он давно уже не дает о себе знать. У нас, кстати, есть центр и в Чехословакии, но и оттуда давно нет известий. Время от времени я посылаю туда письма и циркуляры, но ответов не получаю.

– *А каково положение в Польше?*

– В Польше ситуация сложная, так как правительство Ярузельского распустило правление польского ПЕН-Клуба и назначило распорядителя, который должен был провести выборы нового правления. Мы заявили польским властям, что польская секция ПЕН-Клуба является частью международной организации и они не имеют права вмешиваться в ее работу и диктовать ей свои условия. Мы считаем, что законно избранное польское правление обладает всеми полномочиями вплоть до новых выборов, которые по уставу оно же и организует. После этого заявления Ярузельский передал нам, что его правительство очень заинтересовано в продолжении контактов с нами, и наш предыдущий президент, шведский писатель Пер Вестберг, по личному приглашению Ярузельского, поехал в Польшу на переговоры. Пер Вестберг очень твердо изложил Ярузельскому нашу точку зрения, но это ничего не изменило. И в последние годы отдельные польские члены ПЕН-Клуба приезжают на наши международные конгрессы, но нет польских делегаций, и польская секция не работает.

В беседе с нашим президентом Ярузельский предложил «компромисс»: составить «смешанное» правление, где одни члены будут выборными, а другие – назначены правительством. Этого мы, конечно, принять не могли. Для нас совершенно недопустим сам принцип правительственного вмешательства в дела ПЕН-Клуба.

– *В коммунистическом Китае, как считается, происходит в последние годы либерализация. Есть ли у вас китайская секция?*

– Да, совершенно запамятовал: у нас там четыре центра. Они действуют недавно, примерно с 1980 года. Писатели из КНР долго не вступали в ПЕН, потому что мы всегда отказывались исключить писателей с Тайваня. Как я вам уже сказал, наше деление на секции – не по нациям и странам, а по языкам и литературам. И на Тайване у нас есть два центра: англоязычной литературы и литературы на китайском языке. Но в конце концов они смирились с этой ситуацией и на нашем конгрессе



в Токио были уже очень хорошо представлены. А после этого конгресса руководство ПЕН-Клуба получило официальное приглашение в Китай. Мы провели встречи во всех наших центрах, да и страну немного посмотрели.

– *Есть ли в КНР писатели-диссиденты, находящиеся в заключении?*

– Насколько мы знаем, случаев, подобных Ратушинской, там нет. Но есть люди, которые сидят за публикации с критикой правительства. Мы занимаемся несколькими такими случаями. Благодаря нашим стараниям, одного человека выпустили и дали ему возможность эмигрировать. Однако, в целом, ситуация в КНР несравненно лучше, чем в СССР.

– *Вам показалось, что там вольнее дышится, чем в Советском Союзе?*

– Таково мое впечатление. Вот вам маленький пример. Будучи в Пекине, мы получили официальное приглашение на спектакль в Оперу. За нами прислали роскошный черный лимузин с шофером, но дорога оказалась так запружена велосипедистами и прохожими, что мы двигались с черепашьей скоростью. В какой-то момент шофер оборачивается к нам и говорит: «Слушайте, если вы хотите поспеть на спектакль, идите лучше пешком!» По-моему, в Москве это было бы невозможно.

В разговорах китайцы весьма свободны, но, конечно, до определенного предела. Можно плохо отзываться о Сталине, можно даже критиковать коммунизм, но не «китайскую модель». Зато в самых нелестных выражениях говорят о культурной революции, которую теперь считают одним из крупнейших преступлений своей истории, национальным позором, от которого они никак не могут оправиться.

Мы также могли свободно ходить повсюду, посещать любые кварталы Пекина, говорить с людьми. Разумеется, иностранцы там очень заметны, то есть невольно находятся под всеобщим наблюдением, а все же чувствуешь себя свободнее в Китае, чем в европейских соцстранах.

– *А в Москве вы бывали?*

– В Москве я одно время бывал часто. У меня была такая возможность, поскольку я работал в ЮНЕСКО. В ту пору у меня установились добрые отношения с Анной Ахматовой, Надеждой Мандельштам, Константином Паустовским. В 60-е годы у меня было ощущение, что от поездки до поездки ста-

новится как будто немного свободнее. Была надежда. Но с приходом к власти Брежнева все надежды кончились, особенно после вторжения в Чехословакию. Да и люди, к которым я был привязан: Ахматова, Паустовский и некоторые другие, – поумирали. Ездить туда оказалось вдруг незачем.

– *Вы знаете, что Евтушенко на Западе, а Вознесенский внутри страны «поют» о наступлении новой эры либерализации в Союзе. Исполдволь даже проводится идея (якобы идущая «свыше»), что эмигранты могут без всяких опасений вернуться на родину. Что вы об этом думаете?*

– Я бы посоветовал тем, кто думает о возвращении в Советский Союз, немного подождать. Пусть, например, сначала освободят узников совести. Мы все знаем, чем кончились призывы о возвращении в Россию после Второй мировой войны. Конечно, хочется надеяться, что какая-то либерализация будет. Хочется просто потому, что надежда – естественное человеческое свойство. Горбачев – моложе и, может быть, умнее, чем его предшественники. Только в нем ли одно дело? Если в машине нет аккумулятора – как ее ни заводи, она не поедет, ее надо толкать. Так и советская система. Поскольку она в принципе не может работать, без кнута не обойтись. Кнутом можно стегать, а можно только замахиваться, но он неизбежен.

– *Может быть, мы перейдем теперь к вашей литературной деятельности? Вас никогда не переводили на русский язык, и вы не пишете по-русски. Это значит, что ваше творчество практически недоступно русскому читателю. Расскажите о проблемах, которые занимают вас в литературе, о ваших книгах.*

– Это обширная тема. Начнем с моих занятий русской литературой. Я переводил Ахматову, Ходасевича. Я написал – первым во Франции – книгу о творчестве Мандельштама. А только что вышла моя книга об И. А. Гончарове – это моя переработанная диссертация, которую я с успехом защитил в свое время в Сорбонне. Гончаров плохо известен во Франции, но, по существу, он недопонят и в России, где главным авторитетом по Гончарову остаются «революционные демократы» и Ленин с их высказываниями об обломовщине. Моя книга о Гончарове имеет, возможно, некоторую ценность и для Запада, и для России, ибо это единственная книга о Гончарове, написанная в соответствии с научными стандартами XX века,

книга, в которой сочетаются психоанализ и социология, литературная критика и метафизика. Гончаров – основатель русского реализма, но, может быть, и реализма вообще. И меня, в частности, интересовало сравнение двух видов реализма – у Гончарова и у Флобера.

– *Как же вы расцениваете Обломова?*

– Обломов – отнюдь не лентяй. Он находится в обстоятельствах, где ему, по существу, запрещено действовать, а ведь нет ничего тяжелее и утомительнее, чем бездействие. Он разрушен пассивностью, которая вытекает из географического положения России, расположенной на полпути между Парижем и Бенаресом. В философии Обломова уже присутствует восточный квиетизм, там угадывается поиск нирваны. Соответственно, всякое действие вредно, ибо оно посягает на совершенство Божественного творения и тем самым на самого Творца.

– *В фильме Никиты Михалкова Обломов – по существу, положительный герой. Штольц там – сухой и неприятный человек, в то время как Обломов – обаятельное и трогательное воплощение настоящей Руси, которую лучше было не тормошить. Как вы относитесь к такому истолкованию?*

– Я лично, как и сам Гончаров, – на стороне Штольца, ибо это символ будущего, прогресса, единственный разумный выход. Но Гончаров – великий романист, его образы многогранны. В Обломове, несомненно, есть славянский шарм, глубина, здоровье. Образ Обломова бесконечно сложен, и каждый волен интерпретировать его по-своему. Я думаю, что и Гончаров был под некоторым обаянием созданного им героя. Недаром он иногда подписывался в светских альбомах «князь лени».

– *Какие книги Гончарова известны во Франции?*

– Его романы были переведены на французский, но их невозможно найти в продаже. Только сейчас, одновременно с моей книгой о Гончарове, издательство «Галлимар» выпустило первый полный перевод «Обломова». А «Фрегат Паллада», который я люблю особенно, никогда не издавался по-французски.

«Фрегат Паллада» отвечает моему вкусу к путешествиям. Я хорошо чувствую пейзажи, атмосферу, людей и люблю писать в жанре путевых записок. Я написал две книги о Греции, а также сборник заметок о различных путешествиях, в том числе о моих поездках в СССР.

– Но в первую очередь вы – романист. Расскажите, хотя бы вкратце, о ваших романах.

– Романы – это, действительно, основа моего творчества, хотя я еще написал литературоведческую книгу о Маргарите Юрсенар. Три моих первых романа – это мое открытие мира. Действие первого происходит в Греции, второго – в Нью-Йорке, третьего – в Азии, в Корее и Японии. Затем я написал цикл из трех психоаналитических романов. И, наконец, в прошлом году я закончил трилогию, реалистическую и экзистенциальную, под общим заглавием «Космополиты». Это история и судьба семьи русских евреев, эмигрировавшей на Запад. Отчасти она совпадает с историей моей семьи, с моим жизненным опытом – с детства до послевоенных лет. Конечно, вымысел и действительность там переплетены. Большинство воспоминаний придумано или стилизовано, а вымысел, в свою очередь, основывается на реальных переживаниях.

– Я вновь хочу вернуться к русской теме. Есть ли у вас какие-то особые, личные воспоминания об Ахматовой и других писателях, с которыми вы встречались в России?

– Я расскажу Вам об одной из моих первых встреч с Анной Ахматовой. В ее квартире было полно народу, меня провели в ее кабинет, где она сидела за столом, перед кепой бумаг. Ахматова спросила меня: «Молодой человек, вас, должно быть, интересует, что это за бумаги? Так вот, это стихи, которые мне посвящены. Первое стихотворение написано в 1907 году, а последнее – позавчера». Это, конечно, просто забавный эпизод, но одним своим высказыванием она меня потрясла. Как-то она сказала мне следующее: «Знаете, страх – это самое поразительное на свете чувство. Это единственное чувство, которое не приедается и не изнашивается со временем. Даже пройдя через двадцать лет страха, боишься, как в первый день». Поразительная мысль! Мы много беседовали о Мандельштаме, о Бродском, на которого она возлагала большие надежды. А еще она говорила, что молит Бога не дать ей пережить Хрущева, и это показывает, что у нее не было иллюзий относительно будущего России.

– Что вы думаете о литературе третьей эмиграции?

– Я стараюсь следить за новинками, но это трудно, тем более, что речь идет об огромной литературе, рассеянной по разным странам. Это, несомненно, важная литература – важная как для России, так и для Запада. Солженицын – очень

крупный писатель. Не только потому, что он разрабатывает важные темы и говорит о них с большой силой, но и потому, что он ввел в литературу ряд новых приемов, которым суждена долгая жизнь. Синявский – один из наиболее интересных писателей этой группы. Мне очень понравилась его книга о Пушкине, которая вызвала много споров. Его последняя книга, «Спокойной ночи», мне нравится меньше, хотя и в ней есть прекрасные куски. Максимов – писатель огромного таланта. Его книга «Семь дней творения» – это роман самого высокого класса, о котором, впрочем, много писали во Франции. Максимов – настоящий романист, он создает образы людей, которые входят в твою жизнь, остаются в памяти. С чисто литературной точки зрения, он – один из самых подлинных писателей новой русской литературы. Я очень люблю и Аксенова. Меня восхищает в нем юмор, благорасположенность, некий здоровый тон, какого я больше ни у кого не встречал. А «Остров Крым» – просто гениальная книга. Конечно, я читал Некрасова, читал и даже немного переводил покойного Галича. Собственно советскую литературу я знаю хуже. Читал, и с удовольствием, как преследуемого, сидящего в лагере Бородина, так и вполне официальных Казакова, Бондарева, некоторых других. По правде сказать, с чисто литературной точки зрения, я не делаю различия между литературой эмиграции и честной советской литературой. Конечно, у писателей в России есть идеологические ограничения, но это одна литературная традиция.

*Беседу вела  
Галина Келлерман*

## НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

Нью-Йорк – Париж, 1986 год

*Александр Глезер. Русские художники на Западе.*

В книге – аналитические статьи о неофициальном русском искусстве, эссе о творчестве тридцати девяти художников и скульпторов, живущих в Европе, США и Израиле. В приложении – статьи западных искусствоведов о русских живописцах. В книге свыше сорока иллюстраций.

278 стр. Цена – 126 фр. фр. или 18 амер. долларов.

*В литературном зеркале. Сборник статей о творчестве Владимира Максимова. Сост. Александр Глезер.*

Книга материалов о творчестве одного из крупнейших писателей русского Зарубежья, Владимира Максимова, содержит статьи и рецензии, посвященные анализу его произведений. В первом разделе помещены статьи западных (французских, немецких, американских) литературоведов и критиков, а также авторов русской эмиграции. Этот раздел включает также статью крупного американского критика Фердинанды Эберштадт о творчестве известных писателей-нонконформистов (В. Максимова, В. Аксенова, Ю. Трифонова и др.) и последовавшую за ней оживленную дискуссию (журнал «Комментарии»). Во втором разделе собраны статьи из советской периодики («Новый мир» и т. д.) о советском периоде литературной деятельности В. Максимова. Сборник дает весьма полное представление о творческом облике писателя и читается с живым, неослабным интересом.

270 стр. Цена – 108 фр. фр. или 15,50 амер. долларов.

*Оскар Рабин. Три жизни. Воспоминания.*

Один из наиболее известных современных русских художников рассказывает в этой книге о своей трудной и сложной жизни, на фоне которой раскрывается и жизнь советской России 30-х – 70-х годов. Конечно, много пишет О. Рабин и о своем творчестве, о борьбе художников-нонконформистов за свободу самовыражения, о столкновениях живописцев с государственной машиной и ее карательными органами КГБ и милицией, о том, как его изгоняли из СССР. В книге более 20 илл.

178 стр. Цена – 88 фр. фр. или 12,50 амер. долларов.

*Владимир Максимов. Заглянуть в бездну. Роман.*

В роковые дни послереволюционного безумия адмирал Колчак, один из достойнейших русских людей, находит в себе

силы и мужество принять вызов судьбы и пытаться противостоять надвигающемуся на Россию хаосу. В атмосфере эфемерности, распада, торжества низких инстинктов, двойственной политики, а затем и предательства западных держав, Колчак становится Верховным Правителем России. Новая книга Владимира Максимова – это роман о страстной и высокой любви адмирала Колчака, озарившей последний период его жизни, о его необыкновенной судьбе, о его страшной гибели. Перед читателем – прекрасно документированная фреска Гражданской войны, глубокие философские рассуждения о судьбах России и западной цивилизации.

312 стр. Цена – 126 фр. фр. или 18 амер. долларов.

*Владимир Максимов. Семь дней творения.* Роман. Издание – пятое.

Роман «Семь дней творения» посвящен не только судьбам людей и связанным с ними духовно-нравственным проблемам, но и судьбам России. Роман охватывает время от Гражданской войны по шестидесятые годы. Все части его объединены судьбой семьи Лашковых. Главный герой – комиссар Красной армии и большевик Петр Васильевич Лашков – проходит через все части повести (дни недели), которые, каждая в отдельности, представляют собой самостоятельные произведения.

Роман «Семь дней творения» очень широко распространялся в России Самиздатом. Целиком впервые вышел в издательстве «Посев» в 1971 году. Переведен на многие иностранные языки.

508 стр. Цена – 126 фр. фр. или 18 амер. долларов.

*Альманах литературы и искусства «Третья волна» № 19.*  
Гл. редактор – Александр Глезер.

В номере: вторая часть киноромана Фридриха Горенштейна «Скрябин», стихи Ольги Седаковой и Елены Шварц, обзор выставок русского свободного искусства на Западе в 1986 году, статьи о персональной экспозиции Юрия Купера в парижской мэрии и выставке «Трое русских» в парижской галерее «Мари-Терез» (Сергей Голлербах, Оскар Рабин, Владимир Овчинников). Издание иллюстрированное.

96 стр. Цена – 24 фр. фр. или 6 амер. долларов.

Пересылка за счет издательства.

Заказы направлять по адресу:

В Европе: Alexander Glezer. Chateau du Moulin de Senlis 91230, Montgeron, France.

В США: Alexander Glezer. 286 Varrow str. Jersey Sity, N. J. 07302, USA.

**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН**  
**Alexander Solzhenitsyn**



**ЧИТАЕТ**  
**Reading**

**"ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА"**  
**"One Day In The Life Of Ivan Denisovitch"**  
**ЗАПИСЬ РУССКОЙ СЛУЖБЫ БИ - БИ - СИ**  
**Recorded For The BBC Russian Service**

**ПРОДАЕТСЯ ЗДЕСЬ**  
**Available Here**

---

**ORDER FORM**

Please send me the three cassettes of the BBC Russian Service Recording of "One Day in the Life of Ivan Denisovitch".

I enclose my cheque - postal order - international money order for £12 including VAT, Postage and Packing.

Name

Address

Send to:

BBC External Business and Development Group, Room 913 N.E. Wing, Bush House, London WC2.



# КОНТИНЕНТ

Г о д о в а я п о д п и с к а (4 н о м е р а)  
40,- ДМ, или 20. – US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,- ДМ, или 4. – US\$  
от розничной цены!

---

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),  
начиная с №.....

Имя: .....

Адрес: .....

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком  почтовым переводом   
через банк

---

Платеж и заполненный талон просим направлять:

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB**

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





# **Читайте в следующем номере «Континента»**

## **Проза:**

**Ф. Горенштейн, М. Зайчик,  
В. Максимов**

## **Поэзия:**

**Н. Горбаневская,  
Р. Запесоцкая, А. Магарик**

## **Публицистика:**

**В. Аксенов, И. Бродский,  
С. Курилов, Д. Моро**

## **Наша анкета:**

**Интервью  
с Анатолием Щаранским**

МОСКВА. СЕМЕНУ ЛИПКИНУ.

Дорогой Семен Израилевич!

Горячо поздравляем Вас с семидесятилетием. Для нас Вы – не только замечательный поэт (последние годы выступивший и как прозаик), но и образец гражданского мужества, становящегося в эти мрачные восьмидесятые годы свойством все более редким. Сознательно, не в пылу либеральной моды, сделали Вы нелегкий выбор, избрав судьбу «неприкасаемого поэта». И в этой «неприкасаемости» Вы обрели обе свободы – духа и поступков. Без громких слов, без ярких жестов, Вы последовали правилу, себе же на основе жизненного опыта поставленному:

Всегда вини себя, а время не порочь.

Ты будь с собой, а не со всеми.

Ты лучших ждешь времен. но истина есть дочь  
В твое родившаяся время.

Вы дали своим стихам и прозе зазвучать этим голосом истины, не дожидаясь лучших времен. И дай Бог этому голосу звучать еще долго! Дай Вам Бог здоровья и в той мере «покоя и воли», в какой это возможно там, где Вы живете, и в то время, в которое Вы живете.

*«Континент»*